

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ
МИР

3

1986

||
3
||

НОВОБЫИ
МИР

|| 1986 ||



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 3

Март, 1986 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Из книги «Примета», стихи	3
НАДЕЖДА КОЖЕВНИКОВА — В легком жанре, повесть	7
ЛЕВ ОШАНИН — Мои фестивали. Лирический репортаж	55
Б. ЕКИМОВ — Солонич. Челябинский зять. Рассказы	58
ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ — Обычай, стихи	92
ОЛЕГ ЖДАН — Согласно штатного расписания.. День рождения. Рассказы	96
ЗОЯ ВЕЛИХОВА — В Красном Форте, стихотворение	132
АЛАА ТЮТЮННИК — Утренние сны, рассказ. Перевел с украинского Александр Лисняк	134
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ — Письмо другу, стихи	142
ЮРИЙ МАКСИМОВ — Виноград на красной скатерти, рассказ	144
МУСА ДЖАЛИЛЬ — Стихи. Перевели с татарского Вероника Тушнова, Виль Ганиев, Илья Френкель	151
РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЬНИЦ ГДР — Мария Зайдемани, Бригитте Мартин, Кристине Вольтер, Хельга Шуберт, Хельга Кёвигсдорф. Перевела И. Щербакова	153
ПУБЛИЦИСТИКА	
НИКОЛАЙ СМЕЛЯКОВ — На внешнем рынке	183
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ — Комета Галлея	200
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
АЛЕКСАНДР БЕЛОРУСЕЦ — Интерес к бесконечности. Категории време- ни и пространства в современной художественной прозе	223

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Валентин Катаев. Магистральные линии.	
Валерий Дементьев. Ток времен.	
В. Этов. Современность классики.	
Николай Скатов. Много лет назад и всегда.	
Ю. Каграманов. Читать Феллини.	
<i>Политика и наука</i>	
В. Казаков. На весах публицистики.	
В. Бибихин. Далекое и близкое.	
И. Куликова. Боец ленинской гвардии.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
А н д р е й О р л о в.—Муса Джалиль. Красная ромашка. Избранное. Муса Джалиль. Лирика. Муса Джалиль. Моабитская тетрадь. 1942—1944. ◆	
Е. Г о р б у н о в а.—Г. Н. Щеглова. Жанрово-стилевое своеобразие драматургии Леонида Леонова. ◆	
В л а д и м и р Д а г у р о в.—Виктор Яковенко. Вечерняя лыжня. Лирика. ◆	
Н. М а к а р о в а.—Владимир Сапожников. Родительская суббота. Повесть. ◆	
В и к т о р Ш и р о к о в.—Петр Серебряков. Наяву. Стихи. ◆	
В л. Н о в и к о в.—М. В. Панов. Занимательная орфография. ◆	
С. С в о й с к и й.—Китайская пейзажная лирика III—XIV вв. Стихи, поэмы, романсы, арии. ◆	
Н. Д о л о т о в а.—Ф. Сопрунов. Своим путем. ◆	
Л. Ю з е ф о в и ч.—С. О. Шмидт. Российское государство в середине XVI столетия. ◆	
А. Г р у н т.—К. А. Хмелевский. Сыны степей донских. О Ф. Г. Подтелкове и М. В. Кривошлыкове. ◆	
А. В а л е н т и н о в.—Ускорение. Актуальные проблемы социально-экономического развития	263
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН



ИЗ КНИГИ «ПРИМЕТА»

Поэзия

С громом разорвалась
Молния шаровая,
И оступись в грязь
Кто-то, спасись желая.

Всем повторял: — Живой! —
Верить еще не смея.—
Прямо над головой
Ахнула над моею...

Но километрах в двух
Тоже присел прохожий:
— Аж захватило дух!
Я ее чуял кожей!..

Так, над землей трубя,
Грозного слова сила,
Кажется, лишь тебя,
Выделив, опалила.

У Назара Наджми

Ужасный зной стоял в Уфе,
Когда гостил я у Назара.
Он был разлит в любой строфе
Поэм, садов или базара.

А я хотел перевести
Стихи башкирского собрата.
(Не удосужился, прости.
Жара, должно быть, виновата.)

Он на работу убегал
Чуть свет,— я спал довольно долго.
Листвою шелестел квартал.
Меня будило чувство долга.

Я умывался во дворе,
Всегда был рукомойник полон.
Вскипала смолка на коре.
Земля казалась ровным полом.

Случалось разное со мной,
Но удивительное дело,
Что полотенце за спиной
Как будто в воздухе висело.

Отказываясь понимать
И даже вздрагивая малость,

Я видел, как старуха мать
По трем ступенькам поднималась.

Она по-русски ни словца
За это время не сказала,
Но улыбалась без конца,
Что, впрочем, тоже ведь немало.

А на столе бараний суп
Дымился, жирный, с пылу-жару.
На это как на страшный суд
Пожаловался я Назару.

Но он мне объяснил, что гость —
Ишак хозяина,— таится
Лишь в этом суть, лишь это гвоздь
Восточного гостеприимства.

Дрожало солнце в синеве,
Еще не то сулили сводки.
Мы на трофейной «BMW»
Катались, мы купались с лодки.

А ослепительная мгла
Жары валилась с небосвода.
И наша молодость была
Сильней любого перевода.

Похороны поэта

Н. З.

В дубовых, много видевших стенах —
С чего, не знаю, вспомнилось про это —
Я был когда-то на похоронах
Прекрасного российского поэта.

Народу было мало. Почему? —
 Ведь он считался классиком, похоже, —
 Я сам, сказать по правде, не пойму.
 А кто там был, почти не помню тоже.

Хотя потом у Слуцкого прочел,
 Что были сестры этого поэта,
 Учительницы отдаленных школ,
 Проехавшие, кажется, полсвета.

В цветах и хвое красный гроб тонул
 Посередине траурного зала.
 Сменялся равномерно караул,
 А сверху тихо музыка звучала.

Впоследствии торжественно пропет,
 Немало миру шумному поведав,
 Лежал в гробу измученный поэт,
 В себя вобравший нескольких поэтов.

Из нежности был соткан этот путь
 С приправой из иронии и соли.
 Чтоб сверху на умершего взглянуть,
 Я медленно взошел на антресоли.

И сразу на пюпитре скрипача
 Увидел ноты «Похороны куклы».
 И так обидно стало сгоряча,
 Что краски дня холодного потухли.

Ушел, толкнув увесистую дверь.
 Троллейбусные вспыхивали дуги...
 Но это было — думаю теперь! —
 Как некий жест вполне в его же духе.

Свой сон

Захотел войти в свой сон,
 Из которого случайно
 Вышел, будто на перрон,
 Что окончилось печально.

То ли вдруг исчез состав,
 Где дышалось так отрадно,
 И никто, стоп-кран сорвав,
 Не позвал его обратно;

То ли сам уже забыл
 Все, что с ним недавно было

И казалось выше сил
 Позабыть — настолько мило.

И однако — ничего.
 Лишь тревожная усталость.
 Но ведь женщина его
 В этом поезде осталась.

И уносится весной
 Сквозь разорванную дымку
 На платформе тормозной
 Далеко, с другим в обнимку.

Что нужно актеру

Чужою жить судьбой,
 Но быть самим собой.

И дикцию иметь —
 Чтоб рокотала медь,
 Но чтоб расслышал зал,
 Что шепотом сказал.

Владеть своим лицом,
Крутиться колесом.

Всегда уметь опять
Соперника обнять.

Как истый лицедей,
Гнать бодро лошадей.

Но не ломать рессор —
На то есть режиссер.

Трудиться — и отнюдь
Не мыслить отдохнуть.

Знать тысячу ролей...
И все за сто рублей.

Отпускник в сберкассе

Там, где дышит синь морская,
Входит, всех опередив,
Как кораблик, в путь пуская
Первый свой аккредитив.

Изумленный этой былью,
Блеском южной мишуры,
Не привыкший к изобилью
Женщин, света и жары.

* * *

Провинциальность областная
Подчас не каждому видна.
Пушком наивным обрстая,
Живет размеренно она.

В нее заложенное свойство —
Неистребимостью сильна.
Столичное самодовольство —
Ее другая сторона.

* * *

Писатель-одиночка
(В столице сорок лет)
Назвал собаку Ночка —
Как в детство взял билет.

По сладостному мигу,
Что за сердце берет, —
По вдумчивому мыку
Под вечер у ворот.

Собачка-невеличка
Хозяину близка.
Но то ж коровья кличка,
По родине тоска.

По отческому дому,
Росистому лужку,
По теплomu, густому,
Парному молочку.

Заяц

Как он взвился на юру
Свечкой близкою!..
Что там ваше кенгуру
Австралийское.

Дескать, чешем каждый раз
Здорово,
Ведь собаки-то у вас —
С борова!

Три прыжка — и, весь в снегу,
Сыплет блестками,
Оглянувшись на бегу
За березками:

Дескать, что же так глядим
Косо-то?
Редко все еще едим
Досыта!

.

Возле черной насыпи — дорожка
И базарчик, пусть не выших проб,
Где пучки душистого горошка,
Связанные ниткой, как укроп.

Железнодорожная примета —
Утреннее, в соснах полотно.
Проходило пасмурное лето.
Женщина сказала:— Холодно,—

В телогрейке с вылезшею ватой,
В августе, что близился к концу,
Тот букетик незамысловатый
Поднося задумчиво к лицу.

.

Обнаружил: заболел.
Окатило щеки жаром.
Вот! — когда так много дел,
Пропадет неделя даром.

Огорченья смутный шок,
Повторяющийся снова,
И под мышкою ожог
Градусника ледяного.

Но — внезапный оборот:
Не придется пить таблетки,
Ибо ртуть не достает
До решающей отметки.

Далеко она внизу.
Что ж ты, чучело из чучел!
И опять бегом везу
То, что сам же и навьючил.

Среди длящегося дня,
Как не раз уже бывало...
Что же все-таки меня
Душным жаром обдавало?



НАДЕЖДА КОЖЕВНИКОВА

★

В ЛЕГКОМ ЖАНРЕ

Повесть

Скинув пальто и не взяв номерки, как заведомо вошли в зал, но все столики оказались заняты. «Обещали накрыть», — пролепетал Боба и ринулся в сторону бордовой портьеры, к администратору. Ласточкину показалось, что все вокруг на них смотрят — как они стоят, мнутя, — и у него отвердел подбородок — верный признак подступающей ярости.

— Да брось ты, ерунда это, — шепнула Ксана, приваливаясь к мужу пухлым плечом, улыбаясь терпеливо, по-матерински. — Береги нервы.

Ласточкин моргнул, поглядел на жену и почувствовал, что сейчас сорвется. И что этого все ждут. Резко развернулся, шагнул к выходу. Знал: остальные последуют за ним. Так и вышло. Столпились у раздевалки, ждали его решения.

— Как-к-кого ч-черта! — он буркнул. — Я бы сам все организовал, нечего было Бобе лезть. Кретин! Всегда с ним так. Если через пять минут не прояснится, уходим!

Он бухнулся в кресло, закурил, нервно, жадно затягиваясь. Ксана, подойдя сзади, обняла, обволокла его все с тем же выражением решительной покорности. В подобных ситуациях она всегда умело и точно вела свою роль покладистой мудрой спутницы, сносящей любые капризы мужа. Талантливого, известного — да, поэтому. «Я умею с ним» — вот что Ксана демонстрировала и всем окружающим и самому Ласточкину.

Боба все не показывался. Ласточкин курил, его поташнивало — то ли от голода, то ли от возбуждения. Следовало, конечно, сдержаться, спокойно обождать, но он не мог и не хотел отказать себе в состоянии гневной обиды, разрастающейся, поднимающейся горячей волной и уже более ему неподвластной. Чем-то это оказывалось сродни вдохновению, по крайней мере на его собственный взгляд.

— Ты заметила, — обернулся к жене, — там Светов с компанией. Ужинают, веселятся, а тут мы перед ними топчемся.

— Да что тебе Светов! — с энтузиазмом и вместе с тем тихо Ксана воскликнула. — Светов твоего мизинца...

— Не в этом дело, — притворно морщась, Ласточкин ее перебил. Он, как большинство, любил комплименты, нуждался в них более других, но считал необходимым как бы отмахиваться — так было принято, да и комплименты тогда воспринимались слаще. — Не в этом дело... — повторил он, но не успел закончить: в дверях возник Боба, улыбающийся, довольный.

— И разве стоило волноваться? — громко изрек. — Минутная заминка — и все готово.

Ласточкин неторопливо поднялся, загасил сигарету в пепельнице, оправил пиджак клетчатый, твидовый, возможно, излишне ярко-

ватый, но яркость, броскость стали уже приметамии его стиля, следовало их придерживаться и в жизни и в творчестве.

Для своих лет он был толстоват, но несколько этим не смущался, что выделяло его среди большинства поклоняющихся стройности, минимуму телесности, пусть и не для всех достижимых. Ласточкин же свою полноту нес с заботливой горделивостью, чуть напоказ. Яркие пиджаки, светлые брюки — глядите! И жена его, Ксана, была тоже толстой, толст и малолетний сын. А очень неплохо они смотрелись — потому что неплохо, весьма неплохо ощущали себя. Закон, срабатывающий как для жизни, так и для сцены: от тебя самого в первую очередь зависит то впечатление, которое ты производишь.

Стол им накрыли отлично, на почетном месте, в нише, что каждый завсегда мог оценить. Например, Светов. Осторожно из-под коротких белесых ресниц Ласточкин повел взглядом в сторону световской компании. Вранье, увертки, будто Светову такие моменты безразличны. Просто делает вид. И Ласточкин в его положении тоже бы вид делал. Но дудки, никто не безразличен к мелочам. Мелочи как раз самое существенное. По ним все можно угадать, и ради них как раз все и предпринимается, не так ли?

Теперь Ласточкин ожидал спокойно, пока все рассядутся, женщины выберут удобные позиции; компания собралась большая. Он чувствовал себя хозяином — не только потому, что платил. Чувство это было глубже, трепетнее, несло в себе суеверное нечто. Те его знают, кого коснулся успех. Ласточкин обвел зал рассеянно, прищурясь. Наконец-то отпустило. Напряжение так часто возникало в нем, вероятно, по той причине, что он считал обязательным, непременно, чтобы все всегда ладилось у него. Иначе мог начаться крен, колебания и бог знает еще что. Так ему казалось. Но пока, значит, все в порядке. Пока...

Он вздохнул и тут услышал смешок, конец фразы: «...разумеется, неинтеллигентно. Да и откуда? Вся фанатерия от комплексов. И к ресторанный обстановке такое повышенное отношение, что не может себя лабухом забыть».

Ласточкин мгновенно обернулся, рассчитывая поймать, застать врасплох, но — ему улыбались. Все, кого он мог заподозрить. Ксана дернула его за полу пиджака: ну что же ты не садишься?

Он дышал ровно, ритмично, как пловец, проплывший половину дистанции. За столом обсуждалось горячее. На пяточке эстрады рассаживался оркестр. Здесь играли не часто, два-три раза в неделю, зато группы подбирались приличные. Уж кто-кто, а Ласточкин разбирался. Ему с трудом удавалось не слушать, не вникать в исполнение придирчиво, ревностно. Его точно тянуло магнитом, а надо было беседу застольную поддерживать, изображать гастронома, знатока, ценителя, он же — обжора, а не знаток, поглощал то, что ему Ксана в тарелку накладывала, и отвлекался, забывал собеседника вниманием поддержать. Действительно неважно воспитан, так и что?

Как обычно, общество собралось разношерстное. Ксанин острый язычок наверняка потом каждого в отдельности препарирует, но в данный момент она выглядела довольной, упивалась своим положением мужниной жены, что Ласточкину, как всякому нормальному мужчине, льстило. Ксана умница, и всего в ней обильно — тела, волос, смеха, любви, уверенности, последнее самое главное, пожалуй. Всегда во всем Ксана шла напролом. Вначале к нему, к своему Ласточкину, потом рука об руку с ним вместе.

Заиграли — слегка как бы вразнобой, точно с лентой, потягиваясь. Ласточкин настрожился, сразу отметил класс. Мгновенно взревновал и тут же ожерсся братской, так сказать, цеховой обидой: музыкантов не слушали, переговаривались, жевали. А если бы вдруг

исполнили что-нибудь его, ласточкинское? Так случилось: шаловливые детища, плодясь в эфире, настигали его внезапно и где угодно.

— Тебе гурийской капусты положить? — наклонилась к нему Ксана, мерцая притуманенными серо-голубыми глазами. Такой взгляд был у нее хорошо отработан, но Ласточкин не ощущал разочарования.

Он вообще не замечал в своей жене недостатков и не желал и не смел быть объективным. Ему нравилось, а может, он приучил себя к Ксаниной пышности, высокому бюсту, коротковатым ногам. Ее очень светлые волосы и очень темные брови выдавали ненатуральность либо одного, либо другого, а возможно, и того и другого. Манера гнусаво растягивать слова могла показаться нарочитой, вульгарной человеку незаинтересованному. Но Ласточкин являлся как раз заинтересованным в том, чтобы ничего не менять, не рисковать понапрасну, быть уверенным в крепком тыле. Это вовсе не значило, будто он не способен оценить одухотворенность, хрупкость, загадочность — и так далее и тому подобное — иных женских лиц. Но не стоило забывать о собственном образе: удачник увалень, симпатичный медвежонок с истинно звериным чутьем на все, что могло принести успех. А, неплохо?

За столом оставалось еще два свободных стула. Ждали Зайчиху — так в интимном кругу называли звезду-певицу Татьяну Зайцеву. Впрочем, Зайчихой теперь ее уже звали повсюду — почитатели, обожатели, завистники, злопыхатели. Хотя характер Зайчиха обнаруживала отнюдь не заячий.

И никогда нельзя было на нее положиться. Могла прийти, могла и нет. Могла и спеть, а то вдруг отказаться. Болезни славы. И на сей раз для Зайчихи на всякий случай оставили свободный стул.

Точнее, два. Если уж Зайчиха явится, то со спутником. Пажем, телохранителем. Иначе ведь ее растерзает толпа. Обожателей, почитателей — враз раздерут по кусочкам. Приходилось Зайчихе беречься. Чтобы петь. Только петь. Она вроде и не жила вне эстрады. То есть вне ее казалась глуповатой, нелепой, с расплывчатым лицом, дряблой фигурой. И голос ее с придыханиями, визгливый смех раздражали бы, не будь она Зайчихой. Но так придыхала, так взвизгивала она одна. Про любую другую теперь бы уже сказали: копирует. Зайчиха получила патент. Ее детская челка, пестрые, спиральями завитые пряди, длинная жилистая шея, широкий, чуть как бы спотыкающийся шаг — все стало открытием. Сценическим, которому, как обычно бывает, пытались подражать и в жизни.

Ласточкин застал Зайчиху еще в безвестности, потом, может быть, он к ней уже бы не пробился. Но в ту пору Зайчиха участвовала в детских утренниках, изображая разнuzданных кикимор, не столько детишек пугая, сколько забавляя родителей. Тощая, нескладная, уныло-коварная кикимора, Зайчиха постепенно погружалась в озлобленность в свои двадцать с лишним лет. Пока однажды вдруг не запела с подвизгиванием.

Ласточкин тогда прямо-таки обомлел. Он ждал, искал как раз такую, дикую, встрепанную, обнаглевшую от отчаяния, чьи вопли со сцены шпарили кипятком. Потому что нутро ее пылало, кипело. Как и его, Ласточкина, нутро.

Потный, восторженный, он поймал ее за кулисами, схватил за руку, забыв все слова. Она злобно выдернула свою руку. Никому она не верила, от всех ожидала подвоха — вот что он понял, глядя ошарашенно на нее. Она приостановилась, спросила хрипло: «Ну что еще?»

«Ничего», — он в ответ буркнул. Да, действительно, при всех восторгах он был беспомощен и Зайчихе не мог принести никакой пользы. Его работой в драматическом театре в качестве музыкального редактора хвалиться не приходилось. Так сам думал: перевалоч-

ный пункт. Но после провала в консерваторию проявлять разборчивость не было оснований. И то благо — зарплата регулярная. Он научился шикарно забрасывать конец красного вязаного шарфа за плечо, другим концом драпируя нищенский пиджачишко. Стриг его приятель, не всегда удачно, по настроению. Но разве это важно? Главное, переломилась жизнь. Лет с пяти, сколько он себя помнил, перед глазами лоснились черно-белые клавиши, снились ночью пассажи, октавы, мышечная радость в пальцах, колющая раздавленные подушечки.

Он был фанатик, как все, кому предстояло стать исполнителями Серьезной, Подлинной Музыки. Как все, с кем он вместе этому обучался. Самонадеянно-недоверчивый полуробенек, чье детство загроздило инструментом, вытеснившим обыкновенно-безмятежные радости, томление от безделья, сполна полученные его сверстниками.

Счастливыми, глупыми, не обремененными Высокой Целью, под бременем которой распластался он. Десять лет цель эта на него давила и вдруг исчезла, размылись даже очертания, а он все еще ползал по привычке на карачках: попытался приподняться — оказался пуст, не нужен никому, как уличный сор.

Полгода он не подходил к роялю фирмы «Ибах», кабинетному, с обрубленным хвостом, чья лакированная поверхность пошла мелкими трещинками, а клавиши истончились, пожелтели, как зубы старой, отслужившей лошади. И покрыт рояль был серой попоной, поверх которой стоял пюпитр резной, затейливой выпилки. Рояль мешал, раздражал теперешней своей ненужностью. Ласточкин решил уже от него избавиться и медлил только из-за апатичной лени.

Не менее раздражали портреты в овальных рамках очень красивого Шопена и очень сердитого Бетховена. Ласточкин взглядывал на них ненавистно, с издевкой, как на живых. Он слишком их любил, чтобы сохранить с ними пристойные отношения.

И первое треньканье (буквально трень-трень) пальцем твердым, негнушимся, никогда будто не ведавшим иного прикосновения, а только вот это толчковое, от плеча, с закостеневшим локтем, новорожденное (цыпленок, разбивающий скорлупу), — первое это треньканье возникло в сердитой издевке над самим собой.

Внутри все занемело от кощунства. Преодолевая с усилием робость, избавляясь от пут, он взмок — и дико захохотал. Пальцы упруго впивались в клавиатуру, неслись, запрокидываясь, заходились в истерических глиссандо — это было ужасно смешно. Но неужели лишь ему одному?

Дом спал. У них в квартире в каждой комнате по два-три спящих человека. Сам Ласточкин с дедом оглохшим жил. Отличная мысль — поселить музыканта с глухим, его родне нельзя было отказать в чувстве юмора Дед умер. Ласточкин стеной встал, не подпуская на подселение младших братьев — счастливицков, пущенных по другой стезе: один в Бауманский готовился, другой, счастливцев вдвойне, гонял пока в футбол во дворе их дома.

Старший — мрачный, униженный неудачей Ласточкин — родительский дом не любил. Там кормили, но при этом ненужно, бестактно сочувствовали. В девятнадцать лет он оказался не у дел, надломленным, тогда, когда его сверстники только пробовали себя, только начинали. Он же держался как человек с постыдным прошлым. Улицу Герцена как зачумленную обходил. И в своей комнате на рояль косился, закрытый, мертвый, как гроб.

Вплоть до той ночи, святотатственной. Хотя, если вспомнить, и прежде случались у него хулиганства. Когда из благочестиво-торжественного хора Баха вдруг прорастали, как хвостики, непредусмотренные в тексте, неожиданные, синкопированные нотки, кульбиты,

антраша выдвигались за инструментом, сохраняя, как по жанру положено, застыло-чинную физиономию.

Но все же это были благопристойные шутки, уместные в классе с двойными дверьми, где за стеной виртуозно чеканились трансцендентные этюды Листа либо романтично вздыхал одухотворенно-рациональный Брамс.

А тут случилось другое. В квартире пахло щами. Чтобы домохадцев не разбудить, играть надо было шепотком, полусадохшись, и сами обстоятельства подсказали как бы и манеру и тему. Мотив, пропетый, не разжимая сомкнутых угрюмо губ, с выхлестами тремол, зигзагообразными пассажами. Участвовали в этом двор, улица, бестолковая энергия вдруг обнаружившей себя юной жизни. Быть может, его, Ласточкина, а может, кого-то другого. Важно, что провалось. Он отдернул руки от раскаленных, казалось, клавишей, туло, недоумевая уставился в пустой пюпитр.

Почти год ночные разгулы за роялем оставались личной его тайной. Ни домашние, ни приятели не догадывались ни о чем. Нотные листы, исписанные каракулями, он надежно прятал, отправляясь на службу в театр, где шли спектакли без всякого музыкального сопровождения и никто не нуждался в его профессиональной консультации. Зарплата его скорее напоминала пособие по безработице, но относились к нему актеры славно, даже вроде с симпатией.

Появление Зайчихи впервые заставило его действовать. Из служебного подъезда они вышли вместе: она в хламидном желтом с капюшоном пальто, он в куртке, кепочке, закинув шикарно через плечо конец огненно-красного шарфа.

Жила Зайчиха у черта на куличках. Потоптавшись возле арки многоэтажного дома, в черном провале которой она должна была вот-вот исчезнуть, Ласточкин спросил: «У вас, конечно, есть инструмент?» «Конечно, нет!» — ответила Зайчиха с вызовом.

Горячее подали тютелька в тютельку, когда у клиентов и аппетит вполне разгорелся, и не успели они еще заскучать. Объяснилась с официантом Ксана. Тут она тоже твердо вела свою линию, не обременяя талантливого мужа житейской суетой. В нужный момент незаметно подсовывала Ласточкину приготовленную уже сумму, учтя и чаевые, а ему лишь оставалось хозяйским жестом протянуть деньги официанту. Подобные тактические ходы Ксана ревностно соблюдала.

— Ну так что? — точно поймав мысли Ласточкина, Ксана шепнула. — Наверно, уже не придет?

— А кто ее знает, — протянул Ласточкин притворно-равнодушно.

— Но ты же говорил, что после у нас что-то новое хотел ей сыграть... Я заказала коробку эклеров.

— Значит, в другой раз! — Ласточкин снова почувствовал, как у него твердеет подбородок.

Ксана промолчала. Что говорить, трудная у нее была работа — жена. Властной, цепкой вдвойне трудно.

Ласточкин вспомнил. В недавнем выступлении Зайчиха ему не понравилась. Он по телевидению концерт смотрел. Зайчиха появилась, естественно, под шквал аплодисментов, но первый же ее крупный план заставил Ласточкина поморщиться. Кольнуло унижением — казалось, только за нее. Нет, не имела она права так быстро сдавать! Мешки под глазами, одутловатость — он в этом увидел прежде всего профессиональную безответственность. Раздражился, будто она провинилась лично перед ним. И двигалась Зайчиха как-то сонно, вяло, голос определенно начинал тускнеть, реакция же зала была, как обычно, оглушительной. Но Ласточкина это не могло обмануть. Он знал: зал приручить трудно, но коли уж удалось, преданная его восторженность станет почти рефлекторной. Публике нравится узна-

вать, и эстрадные звезды получают овации как раз на старом своем репертуаре, он действует безотказно, пока вдруг по неясным причинам плесенью, нафталином от него не запахнет. Тогда — все. Зал, только что слепо обожавший, равнодушно отворачивается.

Ласточкин в экран уставился. Отяжелевшая Зайчиха скакала по сцене, путаясь в скользком концертном платье, длинном микрофонном шнуре. Поднялся и телевизор выключил. Понял, чего испугался. Зайчиха могла под конец вернуть беспроектный номер «Ручеек», их общий с Ласточкиным шедевр, и только он представил, его затошнило от затхло, прогорклого запаха.

...Разговор за столом шел бессвязный. Все пили и Ласточкин тоже. Алкоголь на него действовал своеобразно. Другие делались разухабистее, болтливее, а у него все мысли, желания сосредоточивались на одном: встать и подойти к роялю. Томился, пока потребность такая не овладевала им целиком, и о чем говорилось, что делалось вокруг, он тогда уже не ведал.

Порожек эстрады был низкий. С неясной улыбкой Ласточкин двинулся к оркестрантской группе. Музыканты, натренированные на блажи подвыпивших посетителей, посторонились, пропуская его к электрооргану. Плюхнувшись на низкий табурет, Ласточкин сгреб щепотью несколько аккордов, стаккатная россыпь импровизации прокатилась горохом по клавиатуре и оборвалась. Ласточкин замер за инструментом, что-то сосредоточенно обдумывая. Выпрямился и начал снова. Простое, что следовало всем узнать, но не узнали, а только с неловкостью подивились нездешности незатейливого мотива. Как будто бы беззаботного и щемящего своей объемной, всеохватной печалью. Оркестр молчал, не смея такому подыгрывать. На укороченной клавиатуре электроорганчика Моцарт оказался стеснен, но все же кое-как уместился. Достаточно для того, чтобы присутствующих смутить. Только зачем Ласточкин это затеял?

А он продолжал, про себя ухмыляясь. Тугие клавиши, плотное облако обертонов, чересчур жирное, вязкое для исполнения Моцарта, но таков был здешний инструмент, рассчитанный для иного репертуара, где любая глупость хотела показаться значительной. Преодолевая препятствия, Ласточкин все еще надеялся удержать в себе блаженство отрыва, очищения одиночеством, но, вероятно, чересчур много он вкладывал тут упрямства, чтобы наслаждение свое не отравить. Стук приборов, шепоток, смешки — он резко смахнул руки с клавиатуры. Поднялся и преувеличенно твердо направился к своему столику. Инстинктивный взгляд из-под коротких белесых ресниц в сторону, где сидела компания Светова: там уже не было никого. Наступал час закрытия. Ксана наклонилась к нему:

— Ты немножко перепил, милый?

А собственно, почему он оскорбился? И разве следовало стыдиться, что он лабухом пребывал какое-то время? Кстати, хорошее, веселое время, когда все и начиналось. Кухня в том ресторанчике на окраине была дрянной, да и посетители заказы делали скорее для формы, иначе ведь не пускали не давали сидеть. И слушать.

Пластиковые столики, легкие стулья, стена в облицовке из пестрых сланцев, верхний свет отсутствовал, молоденькие, подчеркнуто корректные официанты — риск и энтузиазм во всем. Почти подполье. И в переносном смысле и в прямом. Помещалось их заведение действительно в полуподвале, куда с улицы вели двенадцать ступеней, слякотных либо заледепелых. В крохотном гардеробе так мало места, что посетители там и не раздевались, входили в зал в пальто. Зябко и накурено. В меню фирменные блюда — нечто такое, что брать приходилось, но не хотелось есть. Скудно и в плане напитков: сладковатые разбавленные коктейли. Сидели по двое, по

трое, в полутьме, ожидая. Между прочим, довольно трудно оказывалось туда попасть. Когда успех, молодость, бедность идут рука об руку, это пока всех устраивает. Впоследствии бывает сложнее.

Шурик Орлов в ту пору почти свихнулся на светомузыке, не подозревая о некоторых догадках в данной области композитора Скрыбина. Осю Крутикова, точно бесноватого, сводило судорогами в ритмах рока. Впрочем, все они тогда существовали как одержимые. Но коллективная такая одержимость могла закончиться вместе с их юностью.

Крутиков Ося спустя время устроился работать в солидный кабинет, где из ежедневного «пáрноса» у каждого из оркестрантов складывалась зарплата академика, а день оказывался абсолютно свободным. Только вот жена от Оси ушла, не выдержав такого режима. А Шура Орлов диссертацию защитил. Стал доцентом на кафедре химической физики. Ресторанчик же их знаменитый — и до того уже начал хиреть — переоборудовался в обычное дневное кафе, а после и вовсе забыл о былых подвигах, обзавелся бурой вывеской с надписью «Полуфабрикаты».

И все же то была колыбель. Ласточкин с Зайчихой там вынырнули и встали на ноги впервые.

А отнестись посерьезней к своему будущему их надоумил Эмма. Он первый обронил: «Самодеятельность...» Ласточкин пренебрежительно хмыкнул: самодеятельность? При чем тут они?! Он почти, можно сказать, студент консерватории, прошедший адскую школу подмастерья, да и Зайчиха как-никак имела актерский диплом. Но Эмма продолжил: «Малая сцена...» Это показалось уже заманчивей и даже не без изыска.

Эмма внешностью обладал не самой привлекательной. Низенький, щуплый, заметно кривоногий, с большим втянутым лицом карлика, чье печальное выражение дополнял голос, на редкость высокий, пронзительный. Женским именем его прозвала жена, с которой он давно развелся, а прозвище осталось. «Эмилий Антонович» — так к нему только в сугубо официальных учреждениях обращались, где Эмма, кстати, очень не любил бывать.

Но вот способностью убеждать, настоять на своем безусловно у Эммы осталась. Раз двадцать на разные лады он повторил: «Ребята, вы только послушайте...» — и Ласточкин с Зайчихой, поначалу усмехаясь, протестуя, неожиданно для самих себя согласились. В самом деле, то, что Эмма им предлагал, могло оказаться и разумным и соблазнительным: влиться в состав клуба самодеятельности при Дворце культуры крупного процветающего предприятия, в котором Эмма уже год как занимал штатную должность художественного руководителя.

На оригинальные идеи Эмма был очень плодovit, и вместе с тем будто рок какой-то преследовал его: никогда ничего не удавалось ему добиться самостоятельно. Все пробовал, и все вроде неплохо у него получалось — режиссура, актерство, писание небольших, одноактных пьес. Но он нуждался в напарниках, искал их, находил: напарники пробивались, а Эмма застревал все у той же черты симпатичных поделок, кое-что из которых другие успешно использовали как детали. Но он не мог завопить: воровство! Сам существовал на впрыскиваниях чужой крови, чужой мысли и без такого допинга обходиться не мог. Особенно удачные соединения получались у него с великими покойниками, они и качество обеспечивали, и оказывались куда покладистее других соавторов. Но что там ни говори, а в артистическом темпераменте, подвижничестве, с которыми он отстаивал отчасти свои, отчасти чужие, но, как правило, интересные замыслы, Эмме отказать было нельзя.

И уж соблазнять Эмма умел вполне профессионально, не щадя сил. Ласточкин с Зайчихой глядели заворуженно, как **птенчики**, пока

Эмма, сияя, гримасничая, весь вибрируя, обрисовывал им перспективы: зал огромный концертный, великолепную установку, другие сценические приспособления, коими богатое прибыльное предприятие снабдило свой недавно воздвигнутый дворец. «Понимаете?! — впадал в раж Эмма. — Они деловые люди. Беседа с директором — пять минут. Решено: будет вакансия художника-оформителя. И незачем кинемеханика и осветителя совмещать в одном лице. Масштаб сознаете? Уважение к культуре. Директор так и закончил: нашим людям важен культурный досуг. Качественный».

Спустя неделю Ласточкин и Зайчиха уже репетировали на клубной сцене при полном парадном освещении, среди царственной роскоши, обилия пурпурного плюша, мраморной крошки, полированного дерева, а Эмма наблюдал за ними из пустого зрительного зала, скрючившись на откидном стуле, маленький, будто потерянный, в зыбкой позе, прижав к подбородку кулак.

Репертуар. Это слово обнаружило новые, особые оттенки. Тут требовались скрупулезность, дипломатичность, такт, опыт и еще нечто, в чем Ласточкин с Зайчихой пока не поднаторели. Эмма пытался им разъяснить и буксовал, искал подходящие выражения, чтобы и деликатно вышло и строго. «Надо учитывать аудиторию!» — то ли на них, то ли на себя он сердился. Внять ему следовало. Уж он-то успел набить на этом самом репертуаре шишек, когда, например, проповедовал, еще будучи студентом, драматургию экзистенциалистского направления. «Эк-зис-тен-ци-ализм», — произносил он теперь с усилием, тщательно, будто прожевывая кислый зеленый крыжовник.

Но Ласточкин с Зайчихой ребячливо фыркали, отмахивались: «Да ладно! Тебе самому, скажи, нравится? Нам, — расплывались в счастливых улыбках, — тоже!» И, глядя в сконфуженное Эмино лицо, злорадно торжествовали. Вели себя, словом, как балованные дети, а Эмма — как робко-заботливый отец. Всех же троих очень скоро ожидала катастрофа. Местного, правда, значения.

Номер их, проще говоря, завернули. Упредив реакцию публики, при пустом зале, зато в присутствии нескольких значительных лиц. После разноса Ласточкин думал: все же серьезная музыка под более надежным прикрытием, там больше позволено, потому что специалисты не так лезут, боясь опростоволоситься. А тут все судят, и судят безапелляционно. Ведь песня — для всех. А кто эти «все»? Не значит ли в таком случае, что нельзя обойтись без подлаживания? А после уступишь еще чуть-чуть и станешь угодливо ползти на пузе. И где же тогда упрямство сладостное, бодряя злость, предвкушение неизведанного, с которым только и стоит подходить к роялю? Но самое гадкое, что, как ни спорь, ничего не докажешь. Да и обидно. Ждали, признаться, восхищения, похвалы. Надо, конечно, изображать стойкость, а все же трусливое, постыдное подозрение закрадывается: а вдруг они правы, эти невежды, чурбаки?

Погодка в тот вечер выдалась соответствующая, специально для неудачников, бредущих в промозглом, сером, гриппозном начале октября. У Зайчихи откровенно стучали зубы: возможно, так она маскировала подступающий плач. Эмма шаркал ногами по-стариковски. А Ласточкин чувствовал, что у него настолько закаменела нижняя челюсть, что он просто не в состоянии рта раскрыть. И все же раскрыл. «Значит, — выдавил полузадушенно, — что-то у нас получилось стоящее, если так нас огрели. Значит, мы молодцы, а?» Эмма с Зайчихой с сожалением, сердобольно на него поглядели.

Из ресторана возвращались в такси. Ксана не допускала, чтобы Ласточкин, хотя бы чуть выпив, за руль садился. На сей же раз она **волагала**, что он перебрал, и потому держалась с ним с особой лю-

бовной предупредительностью. Ласточкин капризничал. Он бывал невыносим по пустякам, но в ответственные моменты, как правило, обнаруживал покорность и соглашался с тем, что решала Ксана. И жили они в том доме, в том районе, что Ксана выбрала, сплетя и раскинув хитроумнейшую сеть квартирных обменов со столькими участниками, что любой другой запутался бы при одном их перечислении. В результате, прежде чем въехать, из облюбованной Ксаной квартиры было вывезено три грузовика изломанной штукатурки, щебня, одна стена сдвинута, другая ликвидирована, из кухни образовалась ванная, из ванной с куском передней нечто иное, и только спустя полгода Ласточкин явился к порогу своего дома и узрел тьму нераспакованных картонных ящиков.

Теперь, слава богу, обжились. Ксана, нашарив в передней выключатель, каждый раз тихонько вздыхала и по-кошачьи жмурилась: плоды собственной оборотистости вызывали у нее непреходящее горделивое чувство. А Ласточкин все еще немного стеснялся. В первый раз, ошарашенный, так и брякнул: а не чересчур ли?.. Ксана тогда его пристыдила: «К нам же люди будут приходить». «Вот именно», — обронил Ласточкин глухо.

Потом притерпелся к дубовым панелям, багетам, бронзе, люстрам, вазам, статуэткам, сервизам; это сразу нахлынуло. Как только Ксана сумела так быстро набрать? Прибавились еще туристские яркие безделушки, явной заграничностью искупающие свою дешевизну. Ласточкин искренне одну одобрял — гнутую, распяленную, из многоцветного стекла фигурку клоуна: Венеция вспоминалась.

В Венеции ощутить себя счастливым — не фокус. Поэтому Ласточкин и не делился впечатлениями, но пьяно-пряный, парной солоноватый дух остался на губах и голова кружилась. Кому-то другому было неловко описывать: про Венецию все всё знали, пусть и не бывая там. Это следовало удерживать лишь в себе: бессонные ночи, розовые фонари Сан-Марко, скученные, мшисто-серые, похожие на осиные гнезда купола пятиглавого собора, мост Вздохов, напоминающий карету без колес, осезающее ощущение в ступнях, исходявших запутанные клубки улочек, зажатых в сырых, осклизлых стенах. И разноцветные флаги сохнувшего белья, развешанного будто специально как для киносъемок. И толчковые всплески плотно-коричневой воды за бортом сливающейся с ней по тону плавно-неуклюжей, медлительной и увертливой гондолы.

И самый дрянной номер в самой дрянной гостинице с олеографией мадонны над кроватью, люстрочкой муранового стекла, свисающей с щербатого потолка пестрой связкой засахаренных фруктов. И все вокруг, казалось, создано из плутовства, надувательства, которым очень хотелось поддаться.

Фигурка клоуна стояла на рояле. Время от времени Ласточкин брал ее в руки, утешаясь будто прикосновением к искристо-многоцветному стеклу. Почти все свои командировочные он истратил тогда на кофе «капучино», светлое, пенистое. Сидел на улице за крохотным столиком лицом к толпе, наслаждаясь, погружаясь... А вечером в номере вскрывал банку мясных консервов: пустые банки все члены их группы из гостиницы уносили и по пути где-нибудь выбрасывали, дабы достоинство не ронять. Это была первая поездка, куда Ласточкина направили как уже признанного популярного композитора-песенника. Прошло много лет, но постоянно хотелось вставить в разговор: «Когда я был в Венеции...»

Ксана расплатилась с таксистом, изменяя обычным правилам: Ласточкин по дороге уснул. В подъезде дремала консьержка, но бодро вскинулась, когда жильцы вошли в лифт. «Свои, свои, Марья Степановна», — успокоила Ксана, проталкивая в кабину мужа.

Лифт с зеркалом, и присутствие консьержки, и подъезд, украшенный чахлой пальмой в горшке, и район, тип, категория дома соответствовали тому уровню, все оттенки которого Ксана изучила и к которому стремилась, крепко держа за руку своего Ласточкина.

Стремилась многие, но Ксану отличала особенная бесстыдная решимость, ею самой определяемая как прямодушие. Она откровенно заявляла, что терпеть не может неудачников, что они ей скучны вне зависимости от обстоятельств, свойств, характеров. Категорически она осуждала и тех, кто по каким-либо причинам оказывался смешон. Смешны, то есть жалки, в ее глазах бывали оставленные жены или мужья. Так же смешно получалось не выдвинуться в начальники, не выделиться в своей области, остаться в тени — подобный промах с Ксаниной точки зрения ничем не искупался.

Общаться же следовало лишь с теми, кто выдвинулся. Тогда уже можно было вникать, выказывать собственное оригинальное мнение. К примеру: «Знаете, Пал Палыч хотя и членкор, а полный тьюфак, в институте с ним никто не считается. А Горская на сцене леди Макбет изображает, а в личной своей жизни — курица». Словом, судила об окружающих Ксана хлестко, что не мешало ничуть ее общительности, жажде обзаводиться все новыми знакомствами, с удовольствием отмечая, как вскипает от наплыва гостей их просторная квартира.

Сомнения в своей правоте Ксану, казалось, никогда не посещали. И она чувствовала себя, по-видимому, настолько сильной, чтобы нападать даже тогда, когда другие естественнее бы посчитали обороняться.

Но Ксана в каждом слове, каждом жесте заявляла себя победительницей. Поначалу это удивляло, потом отталкивало, а потом с нею соглашались, если только рядом удерживались. Определенные чары все же в ней присутствовали. Чем-то она опаивала, дурным и вязким, от чего у некоторых опять же голова наутро болела, а другие пристращались, привыкали: Ксана умела и любила властвовать.

Ей удавалось даже внушить иное, контрастное первоначальному, впечатление о своей внешности. Стройные, хрупкие женщины в ее присутствии никли, в буквальном смысле заслоненные Ксаниной дородностью. Ксана не только не старалась скрыть свою полноту, а будто нарочно с вызовом ее подчеркивала облегченными, кричащими туалетами. И такой метод оказывался успешным. Она, случалось, нравилась, точнее подчиняла, а может, и запугивала. Ее кокетливость бывала зловещей, но иных притягивала, вовлекала. Тут тоже обнаруживалась Ксанина «прямота». Она откровенно о том заявляла, о чем другие — из робости, из чувства приличий — позволяли себе лишь намекать. Правда, все это были шалости преданной, любящей жены. Ксана, вероятно, так представляла себе светский стиль, говорливый, раскованный. В окружении, где образцовым воспитанием мало кто отличался. Ксанина линия расценивалась как вполне приемлемая, броско-декоративная.

Уж во всяком случае незамеченной Ксана не оставалась. Такого позора она бы и не снесла. Ее темперамент жаждал выхода, и она со всею старательностью разнообразила свое существование в качестве жены известного мужа.

Приходилось прибегать к интригам, сплетням. Во-первых, чтобы себя занять, во-вторых, ради общей семейной популярности. Хотя трудилась Ксана в расчете на определенный круг, воображая конкретные лица, их реакцию но дальше, вширь наступала тьма. В этой тьме имя плодовитого песенного композитора обращалось уже в слабо тлеющую точку, а то и вовсе пропадало как не существующее. Но если возможно усомниться в способностях, признании, степени известности, то существует и кое-что осязаемое, зримое, мате-

риальное, что в случае чего предъявляется как веский аргумент. Квартира, машина, одежда, украшения в восприятии Ксаны были не только вещами, но и доказательством успеха, таланта ее мужа. Вот почему она всегда старалась соответствовать высокому уровню, подыскивала тщательно престижный район, отличную квартиру — она нуждалась в твердой линии обороны, куда бы не могли проникнуть ни чужие, ни ее собственные сомнения относительно положения, влияния, творческой состоятельности ее мужа. Да и самому Ласточкину, признаться, квадратные метры их жилой площади вселили большую уверенность в себе.

...Пока поднимались на восьмой этаж, Ксана расстегнула пышную длинноворсовую шубу, в которой она выглядела устрашающе монументально, достала ключи из сумочки. Ласточкин, пыхтя, к стенке кабины привалился. Напивался он крайне редко, так что Ксана, можно сказать, была удивлена.

Справившись с замками, Ксана подтолкнула мужа внутрь. Со стен передней запрыгали аршинные буквы, то распадаясь, то складываясь в фамилию Ласточкин. Это тоже была Ксанина затея — оклеить прихожую афишами, быстро желтеющими, так как печатались они на паршивой бумаге. Ласточкин неверной рукой потянулся и сорвал одну, державшуюся на клейкой ленте. Ксана обернулась с шубой в руках.

— В чем дело? — раздельно произнесла. И при ее снисходительности имелись все же пределы.

Ласточкин в дубленке, ондатровой шапке прошел в гостиную — она же кабинет, где стоял гарнитур «Эдвард», бархатные лоснящиеся диван и кресла, телевизор с приставкой видео, а хвостом в угол загнули рояль. Все тот же «Ибах», в поголовной новизне единственный свидетель прошлого. Правда, с него сняли серо-дерюжную попону. Ксана говорила, что вкрапления старины хорошо смотрятся в современном интерьере. У нее хватило усидчивости вникнуть в область антиквариата, иначе облапошить могли. Последнее ее приобретение оставалось еще не приспособленным, без места: мраморная с барельефом каминная доска. Теперь черед настал за часами, обязательно бронзовыми, фигурными.

Ласточкин плюхнулся с размаху в кресло. Ондатровая шапка сползла к бровям, подбородок вперед выдвинулся — вид малоинтеллигентный. Ксана, не выпуская пышноворсовой шубы, вошла следом, встала напротив. Вгляделась с осуждающим интересом.

— В чем дело? — повторила еще раз.

Ласточкин молчал. За годы совместной жизни у них чаще возникали причины для торжества, чем для взаимных упреков, и Ксана сейчас недоумевала.

— Хочешь чаю? — спросила.

Ласточкин злонамеренно отмалчивался. Ксана вышла на кухню, заставленную коллекцией пылящихся самоваров, пестрых базарных поделок, накупленных в пору их модности. Зажгла конфорку, собираясь поставить чайник, и замерла, наблюдая синее рваное пламя...

Это был подлый, алчный мир — артистическое их окружение. Все занозисты, взрючены, каждый мнит из себя нечто, и доверять нельзя никому. Лишь видимость понимания, поддержки, а на самом деле клыки и когти. Узкое братство, кучечками, а вокруг толпы головорезов. Затейливые, сладкие речи — и мгновенный предательский выпад. Она-то, Ксана, навидалась. Созывая на концерты Ласточкина знакомых, хвалилась их численностью, сознавая, что недоброжелательство и зависть kloкочут под шелковистой шкуркой комплиментчиков. И только очевидный успех, только сила способны смирить их кровожадность. В радостную опьяненность победой всегда просачивалась такая отравка.

Ну ладно, это еще можно преодолеть в паре с крепким, удачливым спутником. Но на него-то можно положиться? Полностью? Никогда! Шкодливыи мир, взбаламученный постоянными изменами, разладами. Причем пострадавший не найдет поддержки. Скорее оправдают согрешившего — так поступала и сама Ксана. В себе не находила и от других не ждала иного взгляда, отношения. И ведь кому признаться, сколько опасностей таит благополучная жизнь? Самый гнетущий тогда сопровождает страх: чтобы ничего не менялось...

Поставила на поднос тарелки, чашки, вошла в гостиную-кабинет. Ласточкин по-прежнему в кресле пребывал, в злодейской мрачности.

— Ты не проголодался? — приближаясь грузно, прошептала Ксана.

Не дождавшись ответа, составила закуску, чайник, блюдо с эклерами (да все, вероятно, из-за Зайчихи, так и не пришла) на низкий столик. Провалилась в кресло напротив. Сделала лакомый бутерброд, семга и ломтик лимона, протянула. Ласточкин принял и начал мерно жевать. Отхлебнул чай. Ксана почувствовала, как изнутри отпускает, освобождаются тиски. Ей нравилось, когда они ели, муж и сын. Стабилизация наступала, крепла уверенность. Хотя несла свою полноту Ксана с вызывающей горделивостью, втайне ей хотелось похудеть. Но не получалось, и она выбрала другой путь — Ласточкина раскармливала. Должны они были соответствовать друг другу, и чтобы это бросалось в глаза: да, мы такие! Позиция, образ, стиль.

А Ласточкин жевал, и ярость в его глазах постепенно блекла. Ксана влюбленно наблюдала за ним.

— Знаешь, чем я в тебе восхищаюсь и что сразу заметила: ты все делаешь с аппетитом, и в этом тоже сказывается твой талант. Только аппетита не утратить, тогда тебя ждет большое будущее. Подлить еще чаю?

Ласточкин дернул головой невразумительно, то ли «да», то ли «нет». И хмыкнул, может, пренебрежительно, а может, удовлетворенно.

...Ему снилось, что рот у него залеплен пластырем, больно рвущим губы, дышать только носом трудно, а он еще пытается петь. Мелодия бьется, просится наружу, надо бы встать, записать поскорее, но ноги тоже чем-то опутаны. Совсем простое, короткое, из пяти тактов, но там, как в зародыше, новое, небывалое что-то. Небывалое, по крайней мере, у него, с ним. «Вот как надо», — с предельной ясностью до него доходит. Проговорено об одном, всем понятном, доступном, но нити, щупальца в толщу уходят, и там — бездонность догадок, версий, то ли пережитое, то ли подсказанное: вот оно! Как у Шопена, бывало, в этюдах сплеталось: вокруг да около, сплошные будто недоговорейности, а на самом-то деле — все об одном, одной болью из одной раны. Гордое щепетильное одиночество.

Вдох, спазм — оттого, что трудно дышать? Или мелодия в учащенном пульсе надломилась паузой? Нет текста. Слава богу, текста нет. Хорошенькая задачка: слова перемальвать до полной неузнаваемости, раскатывать гласные, точно отскачившие от телеги колеса, в шепоте изжевывать половину фраз, а другую половину неожиданно высвечивать сполохом ударных. Под чьей ответственностью находится смысл в современном песенном жанре, неясно. Во всяком случае, это не забота исполнителя, и слушатели так и воспринимают.

— Ненавижу текст, — прохрипел полузадушенно Ласточкин.

— В чем дело? — четко, трезво произнесла Ксана. — Что происходит, в конце концов?

Ласточкин уткнулся лицом в подушку. Индийский вышитый гарнитур. «Без переплаты, двадцать пять рублей!» — счастливо оповестила тогда Ксана. Теперь она присела на постели, ждала. Ласточкин лежал поверженный.

— У меня ничего не получается, — проныл жалобно. — Одна пошлятина. И такое ощущение, что я всех обманывал и скоро, очень скоро наступит разоблачение.

— Дурачок, — Ксана дробно рассмеялась. — Выпил и впал в самоистязание. Впрочем, это ведь обычно для творческих натур. Захвалили тебя, дорогой, и вот сам проблемы ищешь. Я-то думала... — Она не договорила, укладываясь поудобнее на бок.

Ласточкин вынужденно зевнул: действительно, третий час ночи. Но забылся только к утру и во сне чувствовал, как наваливается на него Ксана жаркой грудью.

Смешно сказать, но толчком к его раскисшему состоянию оказалась встреча с Морковкиной. Господи боже мой, он уже лет двадцать вообще о существовании ее не вспоминал. Ну да, со школы. Но узнал тут же по все той же невыносимой несуразности, которой она всегда будто нарочно добивалась. Одна походочка чего стоит — нервно-вертлявая, с подскоками, так что хотелось невольно ее обойти на всякий случай, как бы чего не вышло...

Он и отступил инстинктивно, пропуская вперед эту женщину, но вдруг увидел вполоборота серый скошенный, беспомощно скользнувший взгляд, брови выщипанные, безвольный подбородок, вздернутый с вызывающей заносчивостью. И какая-то идиотская пестрая вязаная шаль, накинутая поверх кроличьего лысого жакета, красные на платформе сапоги — всегдашняя ее претенциозная безвкусица. Он скривился ей вслед, но не смог не окликнуть:

— Эй, Морковкина!

Она — будто ее шархнули — обернулась, озираясь, подозрительно уставилась, пока Ласточкин по узкому тротуару шел к ней.

— Ты-ы?! — выдохнула. — Быть не может... — Глаза у нее сделались совсем круглыми.

Ласточкин тихо, сам не зная, чему так радуется, засмеялся.

Он шел по делу. Только по делу он теперь и ходил. Либо ездил в машине. Либо в поезде, на самолете мчался куда-то. С конкретной целью. А как иначе? Иначе нельзя, если хочешь чего-то добиться, достичь. Он сам в себе ценил, и другие в нем ценили обязательность, энергичность. Это тоже стало приметой стиля: никакой уклончивости, двойственности. Определенная задача, четкое исполнение: об этом только так. Когда ему поручали музыкальное оформление гала-представлений, он с легкостью тренированного спортсмена без малейшей ошибки в дыхании как насосом накачивал бравурно-бурливыми ритмами номер за номером, и массовый и солидный. Зарождение, развитие музыкального материала происходило в таких случаях как у простейших, у инфузории-туфельки, путем деления. Возможно, кому-то представлялось: валовой метод. Мол, подумаешь, был бы досуг — и я бы эдакое сотворил! Но Ласточкин, что бы ни говорили, ощущал безусловный азарт, наматывая рулон за рулоном километры нотной ткани, и это складчатое грубое изобилие тоже по-своему радовало его.

И вот он шел по делу и столкнулся с Морковкиной. Под его взглядом, вполне доброжелательным, она поежилась, стараясь изобразить улыбку.

— А ты растолстел!

Ну что с нее взять? Осталась какая была. Хотя разве можно на такую обижаться? Тем более Ласточкину, тем более сейчас.

— Зато ты все по-прежнему стройная, — он сказал как сумел добродушной.

— В общем, да! — признала она охотно. — И вроде помногу ем, а все точно куда-то проваливается. — Прохожий какой-то в этот момент задел ее, и она, шипя, вскинулась. — Черт... мчатся как сумасшедшие! — Но сразу успокоилась, прищурилась не без кокетства. — А знаешь, если присмотреться, тебе эта мордастость даже идет. — Фыркнула. — Ой, Ласточкин! Ну и встреча!

Шли рядом. Ласточкин, начиная раздражаться, подумал, что быстро отвязаться от Морковкиной у него не получится. Либо сразу надо рвануть, сославшись на срочные дела. Но почему-то медлил. Морковкина поспешно семенила, заглядывая на ходу ему в лицо, от ее суматошности он внутренне морщился, вместе с тем не решался оторваться: он не только сразу ее узнал, но сразу понял теперешнее ее положение.

Неверно, будто неудачник воспринимается таковым лишь тогда, когда становятся известны факты, обстоятельства, подтверждающие его невезение. Отнюдь. Неудачник распознается именно сразу. По запаху. По смиренной боязливости взгляда. По агрессивности манер, по вздрагивающей обиженно нижней губе. По эдакой деланной независимости. Искусственной сдержанности. Нарочитой оживленности. То есть никаких примет нет, просто сразу чувствуешь, видишь и не ошибаешься.

Морковкина говорила без умолку, ни о чем. Ни одного разумного вопроса, выказывающего какую-либо ее заинтересованность судьбой Ласточкина, ее осведомленность о его нынешнем положении, деятельности. Держалась так, точно они расстались вчера, и какие тут могли произойти события?

Кудахтага о гастролях знаменитого дирижера, мимо афиши концерта которого они прошли, о погоде — мол, слякоть, и соль портит обувь, об очереди в овощной магазин — наверно, бананы завезли. У Ласточкина уже сводило челюсть, он усмехался, еле преодолевая себя.

— Ну а что ты сама-то теперь делаешь? — спросил, сбив ее щетание.

— Как что? — Она искренне удивилась. — Играю! — Даже замедлила шаг.

— Где и что именно? — продолжал он не церемонясь.

— Играю... Ну и дома, конечно. И в школе, где преподаю.

— А-а! — он протянул. — Ясно.

— А что ты думал? — Она нервозно хихикнула. — Не все же стали лауреатами. А ты... — слегка замялась, — работаешь где?

В свою очередь он чуть не поперхнулся.

— Морковкина! — Под иронично-строгой интонацией он постарался скрыть досаду. — Ты телевизор, радио включаешь иногда? Слушаешь выступления, концерты? Эстрадные я имею в виду. Есть, знаешь, такой жанр популярный, легкий, по определению некоторых. Вот в этом жанре я и работаю, не знала?

— Не-ет, — она протянула озадаченно.

— Ну вот послушай... — Презирая себя, он напел без слов начало своего «Ручейка», известного, как ему представлялось, настолько, что мелодия звучала уже как девиз.

— Да, вспоминаю, — Морковкина проговорила задумчиво. — Это, кажется, Зайцева поет.

— Вот! — поторопился подытожить Ласточкин. — Не так уж ты, значит, оторвалась. Вспомнила и про Зайцеву. Весьма польщен. — Он слегка поклонился.

— Да... — Морковкина повторила пропетые им несколько тактов. — Довольно симпатично и очень-очень напоминает первые темы второй части Четвертой симфонии Брамса, так ведь? — Пристально глядя на Ласточкина, тоненько, чисто вывела начало Брамса.

От неожиданности он не нашелся что ответить. Он в самом деле не знал! Забыл... Но она-то! К чему в глаза тыкать? Странно, грубо...

— Ты расстроился? — Она заботливо к нему наклонилась. — Я думала, ты сознательно. А так... тоже бывает. Сам знаешь, все друг у друга воруют — и очень даже достойные, и даже кое-кто из великих. Не в том ведь дело. Смотри кто брал у кого и с какой надобностью. Одни чужое возвеличивают, другие принижают. Как Малер сказал: материал не нов, расположение материала новое. Ну ладно, что ты, в самом деле. Я ведь так, пошутила...

— Ничего себе шуточки,— пробурчал он, отдуваясь.

— Ты что, серьезно? Ты так серьезно к этому относишься?

— К чему «этому»?

— Ну вот... что по телевидению, по радио...

Он развернулся к ней всем корпусом.

— Радио, телевидение — это миллионная аудитория. Притворяешься, что ли, что не понимаешь?

— Я понимаю! — она сказала на выдохе. — Многие слушают. У многих не развит вкус. И вместо того, чтобы воспитывать, подлаживаются и еще больше портят. Не хотят, верно, рисковать...

— Вот ты бы и занялась,— он хмыкнул.

— Да нет, при чем тут я? Ты послушай! (Он усмехнулся ее горячности, теперь она внимания его добивалась, а он выжидал.) Почему, правда, так получается? Ведь, в общем-то, каждому человеку присуще чутье на хорошее и на дурное. В искусстве тоже. Если бы надо было вникнуть самостоятельно, уверена, что разобралась бы. Но то ли из лени, то ли по чьему-то злему умыслу... — Она вздохнула. — Ну скажи, зачем такое количество второсортного? То есть зачем в первую очередь второсортное скармливать, а настоящее оставлять как бы про запас? Таков спрос? Нет, у меня, во всяком случае, ощущение, что второсортное нарочно поощряется, не знаю вот только, с какой целью. Оно выгоднее, легче ему пробиваться, не замечал? Всегда так было? Возможно... Но теперь иные во всем масштабы и со второсортным тоже — глобальные.

— Ишь ты, сколько наблюдений. Прямо специалист по вопросам массовой культуры.

— Не отшучивайся. Я ведь с тобой откровенно, поскольку ты, как оказалось, имеешь отношение... И музыку любишь, способности у тебя. Я помню, как ты играл в школе. Шопена в особенности.

— Спасибо, хоть поощрила.

— Ну зачем?... Зачем мы вообще с тобой так? Я ведь обрадовалась, тебя увидев...

— Я тоже,— примирительно он сказал. — Но тебя темперамент захлестнул, как и раньше бывало. Накинулась. А я как-то, знаешь, отвык.

— Прости! — она воскликнула и с неожиданной силой вцепилась ему в рукав.

Он отстранился со внезапным стыдом за нее, за себя, заметив, что на них оглядываются. Представил, как они со стороны выглядят, он — и чудно, крикливо одетая немолодая женщина. Скандал, семейная сцена?

— Ну что ж, твоя агрессия достойна продолжения. Давай запиши мой телефон. Созвонимся, встретимся...

— Давай! — Она обрадованно заулыбалась. — А нечем,— растерянно произнесла, порывшись в сумочке.

Он нагнулся, вынул из портфеля блокнот, крупно набросал номер. У него были с собой визитные карточки на бумаге верже, с изящным выпуклым шрифтом: А. В. Ласточкин, композитор, адрес, телефон,— но по какому-то наитию решил сейчас не доставать визитку.

Она благодарно приняла листочек. Подхватив портфель, он шагнул к переходной зебре, но снова обернулся.

— А ты как, замужем? — сам не зная зачем, спросил.

— Ой, что ты! — Она прыснула, расплылась всеми своими морщинками, точно он очень удачно ее рассмешил.

Вспомнив этот эпизод на следующий день, Ласточкин аж крикнул. Завестись от стародавичьих банальностей — ну и идиотство! А еще разобиделся, нахохлился — от чьих упреков? Представил увядшее лицо, лысый жакет, сапоги на гигантской платформе. Ясно, как она живет — по урокам бегаёт, киснет с учениками-бездарями в какой-нибудь районной музыкальной школе. А кто, собственно, выбился из их выпуска? Ну Славик премию на конкурсе отхватил, так он и был самый даровитый. Теперь гастролирует. А что такое концертная жизнь? Только для несведущих может праздником показаться. На самом деле — постоянное преодоление самых разнообразных неудобств. В поезде трясешься или застреваешь в аэропорту, одуревая от скопищ народа, томительной неизвестности, отсутствия элементарных удобств. Потом гостиница, номер, делимый с кем-то неизвестным, с буфетом, где в изобилии коньяк, шампанское, а стакана кефира не достать, места же общего пользования в конце коридора. Потом самое тягостное. Полупустой зал, инструмент — либо тугой до полной омертвелости, либо раздрызганный настолько, что с клавиатурой не сладить. Но ты — исполнитель во фраке, выложенный — играешь Дебюсси. Заканчиваешь — и под ледяной душ жидких аплодисментов. А что? Работа есть работа. Капризничать не приходится, едешь, куда Москонцерт, Госконцерт посылают и где вовсе не обязательно тебя ждут. А в награду, если заслужил, если достоин, трехдневный Рим, или Будапешт, или Берлин, которые так и остаются не-реальными, потому что опять же, кроме гостиничного номера и концертного зала, ты почти ничего не увидел. Удовлетворение? Ну конечно, бывает. Должно быть. Иначе разве вытянешь?

Как и в том случае, если представилось трудиться на педагогическом поприще. К примеру, сонату Гайдна ре мажор разучиваешь с разными учениками столько раз, что, если сложить время ее звучания, получатся годы. Учитель — это человек, который постоянно поднимается в гору и постепенно возвращается к ее подножию, так до вершины и не добравшись. И если от младенческого гуканья ученика душа твоя родительски ликует, значит, педагогика — твое призвание. Но бывает, хочется схватить дубину, размахнуться и...

Ну Славик. Ну Дима Кроликов, получивший класс в консерватории, а также преподающий в школе «для вундеркиндов», которую они все окончили. Ну еще Нюра, принятая в первоклассный симфонический оркестр. Несколько девочек можно считать устроившимися, потому что они удачно повыходили замуж. А остальные? Угадать бы судьбу свою раньше — и к чему тогда многолетняя бешеная гонка, разгул честолюбия, истерики, зависть, сопровождающие их так называемый ранний профессионализм? Чадолюбивые родители сил не щадили, чтобы заранее определить будущее своих отпрысков. Ремесло — штука надежная всегда, во все времена. Правда, обучение ремеслу в раннем возрасте не лишено некоторых недостатков, общее развитие страдает, увы. Пестуя талант, калечит иной раз просто способных. Но ведь в каждом большом производстве без отходов не обойтись.

Ему, Ласточкину, правда, удалось увернуться: провал при поступлении в консерваторию в итоге обернулся удачей. Иначе его ждала бы жалкая участь середняка в сфере искусства, особенно исполнительского, связанная с такими унижениями, о которых не ведают не блещущие способностями представители других профессий. Да вот, к примеру, Морковкина. Болезненная ее экзальтированность, затянувшаяся невзрослость тоже в какой-то мере результат неудавшей-

ся артистической карьеры. Все ясно, поставлены все точки над «и», а возбуждение, лихорадочность не проходят. И мечты, мечты... Вариант маниловщины, но еще более жалкий, вредный, потому что связан с разочарованиями, озлобленностью.

«Права Ксана,— Ласточкин подумал,— что сторонится неудачников. И зачем я свой телефон дал?»

Да от слабости, неловкости и еще какого-то неясного ощущения — виноватости, что ли?.. Она, Морковкина, в школе была хорошенькой, что понимали взрослые, а сверстников раздражала ее, как они определяли, дурость. Все в ней воспринималось манерным, надуманным, как это, впрочем, случается иной раз именно с предельно искренними натурами. Ей бы восторженность свою слегка поунять, подержаннее бы себя вести, похитрее. Даже в их школе, где чужачества скорее уважались как примета неординарности, Морковкина считалась фигурой анекдотичной. Она витала, у нее увлажнялись глаза, могла вдруг расплакаться для всех неожиданно от избытка, так сказать, чувств-с. Но эти странности в обосновании нуждались: если бы за Морковкиной признали явный исполнительский дар, ей бы и не такое простили. Но одной музыкальности для пианиста мало: пальчики, техника нужны. Опять же головка. А у Морковкиной в голове — радужный туман. А сама как кузнечик — хрупкая, узенькая лапка, годная лишь для домашнего музицирования.

Она страдала. В ней что-то пело, вдохновенно пылало, но наружу не просачивалось, за роялем оказывалась застыло-робкой. Продолжала биться как рыба об лед, надеясь, верно, кому-то что-то доказать. Вот-вот могли ее отчислить, но не отчисляли, хотя педагогический совет их школы славился своей свирепостью. Быть может, поразмыслив, педагоги прикидывали, что в каждой области существует костяк из честнейших, преданнейших и свыкшихся со своим беззвездным уделом специалистов, и их тоже надо готовить, как и избранных. Морковкина жила с клеймом второстепенности, всем видным, только не ей.

Она трепетала. У нее по-прежнему увлажнялись глаза, когда на уроках музыкальной литературы из динамиков звучал грозно томящийся Вагнер или еще кто-либо, включенный в учебную программу. Стискивала крошечные, прелестные — не мечтай она стать пианисткой — ручки, точно пересиливая боль, брови ее страдальчески надламывались. Все это было, возможно, правдиво, но неоправданно, и за спиной у нее раздавалось хихиканье.

Даже признать ее явную привлекательность ровесники отказывались, и она начинала уже дурнеть, потому что никому не нравилась.

Только на выпускном вечере, явившись в простом синем платье с белым воротником, она вдруг будто вынырнула из подернутого ряской, тускло-коричневого болота, засветилась, засверкала крыльшками, стрекозиной глазастостью, но это лишь мельком отметили: сегодняшнее уже не интересовало, жили завтрашним.

Удивительно, что Ласточкину запало синее ее платье, строгость неожиданная, испуг, застывший в мохнатых глазах, точно впервые она осознала...

А ни черта подобного! Вместе со всеми, ничуть вроде не колеблясь, стала ломиться в ворота консерватории. Их захлопнули, естественно, перед ее носом. Она год выждала и снова ринулась на штурм. Третья попытка наконец-то ее отрезвила: подала документы в Гнесинский на вечерний и дальше канула в небытие.

Впрочем, и Ласточкин оторвался, отошел от прежнего окружения. Поначалу из-за ущемленного самолюбия, потом в силу занятости. То, что Морковкина закрылась пеленой безвестности, казалось ему понятным, оправданным, но вот что она ничего о нем не слышала!..

Ласточкин недоверчиво усмехнулся: полное неведение Морковкиной казалось ему подозрительным. То, что он делал, могло, разумеется, и не нравиться, но сильнее, чем ругань, задевала бы неизвестность — этап, он полагал, им пройденный.

Он знал, как поносят Зайчиху за вульгарность, самонадеянность, и хотя кое-что в подобных отзывах бывало, возможно, и справедливо, на положение Зайчихи это влияния не оказывало. В самом факте широкого обсуждения голоса недоброжелателей тоже, в конце концов, являлись данью. Популярность всегда привносит чермерность в оценках, полярно противоположных: избыток похвал отзывается, как эхо, гулом негодований. И то и другое следует воспринимать сквозь фильтр, но очень быстро привыкаешь к шуму, тебя сопровождающему: тут как раз зависимость и возникает.

Все вроде соглашались, что известность влияет на поведение, на характер. Одни, у кого больше и вкуса и такта, держатся подчеркнуто скромно, но это скорее искусная игра. Других заносит, и окружающие с удовольствием отмечают их промахи. Но как у тех, так и у других в отношении к собственным недостаткам возникает особенная ревнивая заботливость: не только стремление к самооправданию, людям вообще свойственное, но и осознание определенных своих несовершенств как бы неотъемлемой частью дара. Может быть, вольно или невольно это вызвано стремлением к самозащите у тех, кто постоянно на виду?

Для Ласточкина заветной стала фраза: «Я пробился сам». Необязательно он ее вслух произносил, чаще повторял мысленно. Без поддержки, протекции, родительской опеки — ясно? Никто не наставлял, не советовал, не вел за ручку. Атмосфера в доме, в семье к занятиям искусством не располагала вовсе. Какое там! К отцу, матери нормальное сыновнее чувство, но без тени идеализирования, трепетной нежности, ностальгии по детству, до старости не проходящей у тех, кто рос, воспитывался в родительской любви; кто задолжал, свято задолжал так много, что никогда не расплатиться; кто боль потери, необъяснимую и непростительную вину переживал не только на кладбище; кто гордился породой, преемственностью, ощущением корней.

А можно гордиться, наоборот, безродностью. Сознанием разрыва, отрыва. Это тоже заряд, и бывает, что употребляют его даже с большим толком — в смысле деловом. Конечно, кто-то становится первым в роду, выбивается из общей цепочки, и уже за ним тянется нить следов. Только быстро, к сожалению, эта нить почему-то обрывается в наше время...

Энергия Ласточкина была энергией первопроходца, человека, сделавшего себя самого, о чем ему часто, но всегда вовремя напоминала Ксана, подтверждая свои способности хорошей жены. Очевидная направленность подобной энергии как бы уже не оставляет ни места, ни времени для оттенков, сомнений, медлительности. Завоевывать надо и столбить, и вкус, аппетит не проходит, потому что всего хочется, все не опробовано, все впервые.

Работа, и успех, и деньги, и положение, и вещи, и еще вещи, и новая небрежность к ним вместе с новой свободой денежных обращений, с укреплением положения и боязливостью, как бы не пошатнулось оно, наслаждение непривычным и страх перед быстрым привыканием, чтобы не увязнуть, не пропасть, когда почему-либо лишиться того, о чем прежде понятия не имел.

Достаточно банально. Самолюбие, тщеславие, будучи частью силы, оказываются и причиной повышенной, болезненной уязвимости. Ксана приходила разгневанная: в Союзе композиторов их обделили, отказали в путевках в дом творчества на август месяц, сославшись на переполненность именно в этот сезон. «Так что же нам, зимой к морю ехать?» — Ксана возмутилась. Ласточкин мгновенно

заряжался ее негодованием, вскипал, хватал телефонную трубку. Путевки путевками, но отказ оскорблял как посягательство на его, Ласточкина, права, то есть на положение, репутацию, и даже больше: бросал как бы сомнительную тень на саму его творческую продукцию — вот что задевало подспудно сильнее всего.

Гарантий, что давала бы должность, увы, не имелось. Приходилось творить без усталости, без перерыва, возникать в концертных программах, участвовать в фестивалях, смотрах, мелькать в рецензиях, договариваться, обуславливать, чтобы не забывали, не сбрасывали со счетов! Ощущение толкотни, многолюдства постоянно преследовало Ласточкина, даже когда он бывал один: казалось, жмут на него, давят. Как-то надо перекричать, обратить на себя внимание в общем гуле. Надо что-то придумать, надо...

Это просачивалось в его музыку. А в мозг, в кровь?

Он, Ласточкин, работал. И вкусно ел, надевал яркие пиджаки, не без труда приобретаемые Ксаной. Но это ведь чушь, будто только в голодном головокружении шедевры создаются. И добродетельность тут ни при чем, как, впрочем, и порочность. Ничто вообще не объясняет и не обещает творческих удач. Даже боль. Боль есть у всех. Как и страх. Как и способность к их преодолению. Только разные, очень разные существуют для этого способы, а выбирает каждый сам. Или не выбирает?

Без боли, естественно, какой ты художник. Но боль не должна мешать благополучию, процветанию — как вот тут извернуться? Что бы и боль, значит, и утонченность, и душевная артистическая отзывчивость, а одновременно комфорт, благосостояние, настроение бодрое. Да, да, настроение, подтверждаемое широкой улыбкой. Взглядом соответствующим, походкой, жестом плюс еще миллион доказательств того, что тебе везет. Везет, но сам ты собой недоволен, не удовлетворен, находишься в поиске, потому что творческая натура, потому что так принято, так внушено, таков образ современного победителя. Совестьливого, но зубастого, истерзанного благородными метаниями, но крепкого здоровьем, независимого, трезвого в высказываниях, и лучше, если он, победитель, еще и одет хорошо.

При чем тут, правда, артистические, художнические искания, импульс творческий? А ни при чем. Так, вскользь, случайно обронилось. Не о таланте речь, а о пути к известности, к успеху.

И тут, прежде чем уровня достичь, где окажешься замеченным, осмеянным, опутанным сплетней, какой ведь путь надо пройти! С нуля. Оглянешься — зябко делается. Как же себя не уважать? Сам пробились.

Устаешь, но ложь, будто так уж жаждешь покоя. В безостановочной деятельности, пусть даже суете, скорее уверенность сохраняешь. Нельзя мотор глушить. Слышите рокот? Узнаете Ласточкина? В современный песенный жанр он внес свое.

Как Зайчиха свои прыжки, придыхания, взвизгивания. Не нравится? Надоело? Полагаете, стала халтурить? Но ведь миллионная аудитория ликует, ждет, и у молоденькой приемщицы в химчистке на столе под стеклом рядом с преискурантом ее, Зайчихина, фотография, и ломятся, ломятся на ее концерты, кстати не только почитатели.

Почему-то. Зайчиха как бы олицетворяет собой то ли всенародное признание, то ли дешевый успех, то ли бесстрашие неординарности, то ли падение вкуса. Словом, занято. Штрих времени. А кроме всего прочего и вне зависимости от оценок — ведь пробились. Сама.

Ласточкин защищал Зайчиху от нападков. Помимо братской, цеховой солидарности, он чувствовал в ней сироту, что объяснить было бы непросто. Но именно под шквалом овец, на огромной, космо-

дромной сцене, в пожаре юпитеров метание Зайчихи с микрофоном у лягушечьего, перекашиваемого конвульсиями рта вдруг казалось ему зрелищем нестерпимым, и он в тошнотной слабости прикрывал глаза. Внезапно переставал слышать Зайчихин немой вопль. Ее торжество производило впечатление некоторой обезумелости. Чего-то в ней недоставало, чего-то оказывалось чересчур и выплескивалось с болезненной щедрой расточительностью. В отличие от западных поющих звезд лицо ее и под гримом не превращалось в ослепительную маску, природные недостатки в нем сохранялись, бросались в глаза, но поражало, восхищало и раздражало выражение упоенной отваги. Она все еще сражалась, причем с оттенком явной скандальности. Почти склоки. Это была уже та степень самоотдачи, от которой веяло истеричностью. Иначе доморощенностью, дилетантизмом, что кого-то царапало, кого-то трогало, и возникало странное щемящее чувство.

Звезды Запада самые рискованные движения облекали лоском безупречной тренированности. Их акробатика зрителей не смущала, являясь скорее рекламой образа жизни звезды, железной подчиненности режиму. Певица вставала на голову, продолжая петь,— было чему подивиться. Класс, уровень, для всех очевидный. Как очевидны рамки, границы жанра. В первую очередь для самих исполнительниц.

Иначе обстояло у Зайчихи. Она будто тяготилась клеймом развлекательности. В ней клочотала обида и не находила выхода. Все резче это проявлялось, все обостренней, почти на срыве. Может, поэтому у Ласточкина вдруг возникала к Зайчихе зыбкая жалостливость?

Тень сиротства лежала и на общем их деле. Легкая музыка. Популярность. Плюс, как известно, большие гонорары. Плюс узаконенность как бы дурных манер, естественных у подкидыша, но заставляющих некоторых морщиться. Традиции, казалось, лишь закрепляли несправедливость. А за обиды — еще сокрушительней вой, гул вибро-ВИА, надсадной вопли, припадочные восклицания электрогитар. Какая могла быть мера? При обожании массового слушателя кто-то и конкретный брезгливо отводил взгляд. Неодолимое сопротивление толкало в грудь. Зайчиха взвизгивала, у Ласточкина в ярости каменила челюсть, у обоих возникало чувство, будто им что-то недодали, хотя оба пользовались всем.

Но так чего же, помилуйте, недодали тем, кто больше всего гордился, что пробивался самостоятельно, без всякой поддержки? Возможно ли предположить, что нуждались они как раз в плече, руке, родственном ревностном огляде, предостережении, получаемых в семьях, где линия длится, традиция важна? Где существует, так сказать, культурный задел, которого хватает на много поколений. Где помимо папы и мамы еще и дедушка вспоминается, отлично знавший латынь, а бабушка, кстати, неплохо мазурки, вальсы играла, а на веранде стояла поскрипывающая, разогретая солнцем соломённая мебель, пирог с малиной на столе остывал, и разговоры между тем велись, непонятные детям, но они при сем присутствовали. Дышали, впитывали атмосферу, удержавшуюся надолго в них, почему они не смели сказать: «Я сам, до меня никого не было».

Впрочем, всегда чего-то недостает; относительно же культуры беда эта в наше время общая. А что там легкая музыка, серьезная! Ласточкина постоянно просили: сыграй, пожалуйста. В компаниях, на днях рождения, юбилеях. Не баховское ждали — ласточкинское. И он с готовностью шел к роялю. Безотказность сама собой предполагалась в характере его творчества. Вообще он играл одно и то же, повторяясь без неловкости и без скуки, как это свойственно исполнителям. Искусственная оживленность в какой-то мере и есть артистизм. Фальшь тут улавливают придиры, далекие от мира сцены. Вот им и надоедает, вот они-то от повторения и куксятся. А аудитория

в целом воспринимает все как свежее: кто из доверчивости, кто по небрежности или от неспособности помнить, сравнивать.

Их с Ксаной часто в гости звали. И, если имелся инструмент, в любом обществе, при любых сборищах Ласточкин рано или поздно оказывался в центре внимания. В других случаях он пластинку свою дарил. Огорчало, что в большинстве современных квартир рояль теперь вытеснялся. Зато посещение ресторана, как правило, заканчивалось его импровизацией. Ксана млела, млели посетители. Ласточкин привык.

Конечно, обилие знакомств — одно, а друзья — другое. Но в задушевной дружбе Ласточкин и в юности не очень нуждался. Теперь же лицо друга заменил так называемый круг. Понятие условное и вместе с тем достаточно определенное, влиятельное и влияющее, ну, скажем, на внутреннее состояние, равновесие. Мнение круга, его оценка не пустяк, как часто напоминала мужу Ксана. Хотя она же заявляла, что критериев никаких нет, а есть полное безразличие всех друг к другу. Но подобные противоречия в сознании Ксаны мирно уживались. «Людам не важно, — она говорила, — совершил ли ты безнравственный или благородный поступок, для них имеет значение, только как ты к ним лично относишься». Что опять же не мешало той же Ксане азартно хвататься за телефонную трубку, спеша оповестить приближенных о некоей новости, придав ей нужную окраску, и длилось это подолгу, но Ксана вовсе не считала женской слабостью такую болтовню. Напротив, она пребывала в полной уверенности, что занимается очень серьезным делом — формированием общественного мнения. А может, действительно?..

Ведь не одна только Ксана поднаторела в попытках сделать область, скажем, музыки обжитым как бы домом, где по соседству уживаются друзья-приятели, а другим ходу нет. А как приятно увидеть на экране в нашумевшем недавнем фильме пусть эпизодически мелькнувшую, но знакомую, родную физиономию — племянника, приятеля, соседа, режиссера. Ну прямо как одна семья не только в переносном смысле, но и в прямом. И обещания сладкие и склоки сплетаются в плотную сеть — она же сито, сквозь которое непосвященному не просочиться. По крайней мере, без усилий и затрат. Тем, кстати, радостнее момент приобщения, если он, конечно, наступит. А что, надо же как-то ограждаться от наплыва начинающих, сочиняющих, грезящих, сведенных первой судорогой вдохновения.

Тут, каковы бы ни оказались у Ксаны способности, ей было бы не обойтись без соратниц и наставниц (и соратников и наставников). Злословие? Нет, скорее осведомленность. Но в тех сферах и под таким углом, что доброжелательность, явись она вдруг, сбежала бы притыженной, как явная глупость. В результате все выносилось на поверхность, сор выметался из всех углов, ничего сокровенного ни в ком не оставалось — парад голых, где каждый существовал в обмане, что он-то единственный одет. Общее это заблуждение являлось характерным для круга, проникнуть куда было нелегко, как нелегко и вырваться, если вообще признать факт его существования реальным.

У Ласточкина на этот счет пока не сложилось твердой позиции. Вроде бы круг был, вроде бы и они с Ксаной к нему принадлежали. Вместе с тем на днях рождения, к примеру, за столом обнаруживался странный, не сочетающийся друг с другом народ с явным преобладанием женского пола. Ксане нравилось опекать девиц на выданье или же потерпевших неудачу в первом браке — с условием, чтобы они не оказывались ни явно привлекательными, ни с явными признаками ума. Из мужской половины неизменно присутствовал Николай Николаевич, как обращались к нему все уважительно, директор кооперативного магазина «Золотой бор»: обилие дефицита на столе

являлось исключительно его заслугой. Словом, людно, шумно, но, прежде чем поименно начнешь перечислять, задумаешься...

А что поделаться, Ласточкин все же довольно долго продирался. Задачи профессиональные на каждом этапе находили как бы свой отголосок в людях, лицах, знакомствах, возможностях, финансах. Но беспокойство не оставляло его. Знать бы, где проходит граница между художнической неудовлетворенностью и ненасытностью житейской. А где начинается соскальзывание к халтуре. Неверно, будто халтура — сознательный бандитизм. Халтурщик в своем роде фигура трагическая, как больной обжорством. Вроде комично, а ведь беда. Не получается уже иначе, только гигантскими порциями, несет, волочит за собой какая-то сила. И неловко, а приходится наглотать. А наглость, если вспомнить, со смутного ощущения начиналась, что такая плодovitость сродни бесплодию или приведет к нему. Но где, в чем еще угадываются приметы?

«Я пишу много. Я не слишком много пишу?» — временами с тревогой спрашивал себя Ласточкин. А может, он пугал себя напрасно?

Впрочем, все еще проще: халтурщик — тот, кто всегда знает, что надо, что требуется, и делает именно так. А Ласточкин?

В нем совмещался атеист и верующий, подверженный предрассудкам. Такого, скажем, рода: как там со злодейством и с гением — совмещается? Точнее, на современный лад: если дачу купить и хорошенько ее благоустроить, это не повлияет, не отвлечет?.. То есть желание жить широко, красиво не противоречит ли возвышенным идеалам творчества? А если ты по натуре трусоват, подловат, так неужели... С другой стороны, сколько обратных примеров, сочетаний негодяйства с вдохновением пророческим, пошлости с артистическим озарением. А вообще — еще отрезвленной — какие могут быть сомнения, самоограничения на празднестве, где твое участие может в любой момент оборваться? Миг — и все.

Так вот булькало стыдливо, со смешком — над собой, своими опасениями — и, честно признаться, отравляло. Но не настолько, чтобы на работу влиять. Что правда, то правда: песни Ласточкина, едва явившись, с лета расхватывались.

И тут уже другое подозрение начинало его мучить: мало кто в музыке разбирается, понимал... В теперешнем его окружении, по крайней мере. Постановщики, режиссеры, исполнители, организаторы, устроители фестивалей, концертов — все свои мнения высказывали, но от музыки это было очень далеко. Музыку подменял эффект, а что он являл собой такое — попробуй разобраться.

Судили и хвалили — пока хвалили — точно под гипнозом чьей-то первой лестно-беззаботной оценки. Так Ласточкину казалось. Он же знал: через такую толщу невежества никакое наитие не пробьется. Что значит нравиться? Да попытались ли в задуманное вникнуть? Зверское равнодушие профессионалов из другого цеха, не разбирающихся, по сути, ни в чем. Кто музыку не чувствовал всей плотью, как мог считать себя полноценным? Ласточкин закипал и изо всех сил сдерживался. То, что он делал, то ли являлось общедоступным, то ли в ядре своем неразгаданным. Горечь непризнания, если ощущать ее недолго, была для него, пожалуй, знаком качества. Но песни его с удовольствием повсюду распевались будто в издвке над тайными его притязаниями. А когда он в свою очередь пытался поиздеваться, спародировать ясность, добродушие, от него ожидаемые, это сглатывалось без тени сомнения, с той же доверчивой жадностью. Миллионным зевом, миллионной глоткой. Ласточкин уже вроде колебался: а может, правы они? Тонкий налет изыска, пародийности слетал, и оставался все тот же прежний, неутомимый, бодрый Ласточкин. Узнаете? Он сам себя — да.

..Да, да, да! Доставляли неизбывную радость, казались уже необходимыми рубашки именно в тоненькую полосочку, с небольшим

корректным воротничком, ботинки с дырчатым рисунком, с «разговорами», как фарца выражалась, супердорогие, большой флакон английского одеколona, стоящий в ванной у зеркала во всю стену, и собственное выражение медлительной усмешки при встрече с не очень приятными знакомыми, и новые, вошедшие уже в привычку манеры, жесты человека, обеспечившего себе задел. Все это вместе оказывалось настолько прельстительным, что поглощало общей своей массой смущенные попискивания где-то в самой глубине. А все же царапающие ощущения проникали сквозь толщу. И тут Ласточкин не обманывался: атмосфера вокруг него бывала не самой благоприятной.

Если бы источником неприязни оставалась только лишь зависть, обычная, элементарная, не следовало бы и вникать. Зависть имелась, но примешивалось, вклинивалось и другое, что выдавалось уже за превосходство, причем в сфере нравственной, и оттуда, с иной высоты, осуждало, как бы даже брезговало.

Хотелось отмахнуться. И вместе с тем собственная половинчатость, раздвоенность напрашивалась на конфликты. Под жесткой наработанной броней местами прорывалась рыхлость, потребность объясняться, каяться. Вот уж совсем нелепо получалось. Но его, Ласточкина, томила исповедальная словоохотливость как раз с теми, кто категорически не принимал, не понимал одолевающих его соблазнов — то ли по твердости убеждений, то ли потому, что их-то никто не искушал. Не представлялось им, что ли, никакого выбора?

Они неважно жили. Трудно, скудно. Ласточкин, даже не допущенный, улавливал такие обстоятельства с ходу: детство, юность чуть его отладили на этот счет. Они, они... Сотни, тысячи. Возвращающиеся со службы в метро с серыми, с тенями усталости лицами, уткнувшись в книги, заботливо обернутые газетой. Мужчины пообтертые, не старые, не молодые, женщины в раскисших от уличной слякоти сапогах, с авоськами, которые они надеялись сдать на вешалке, преодолев сопротивление гардеробщиц, спешили на концерт, в театр с глубоко запрятанным ощущением праздника. Они — интеллигенция, вот кто.

Знали, читали, обсуждали, оценивали, слушали, перебивали друг друга, и запал их был истинный, они не соперничали — подлинное для всех искали. Насущное, серьезное, ироничное, скрытое под личиной забавы, но намекающее хотя бы, раскрывающее хоть в какой-то степени то, что волновало всех.

Ели со сковородки картошку, отпивали из бутылки кефир и терпеливо стояли в многочасовой очереди, чтобы увидеть маленькую съездившуюся фигурку Христа Рембрандта. У книжного прилавка листали в забыты роскошный альбом, цена которого представлялась фантастической. Плотно жались друг к другу в проходе амфитеатра Малого консерваторского зала, где живой и уже великий пианист укрощал свой исполнительский гений ради музыки.

Взгляд их небрежно соскальзывал с лакированного бока чьей-то чужой машины без всякого отзвука, и полная их тут естественность и делала их неуязвимыми.

Самая главная, самая ценная аудитория — вот кем они являлись. Их ни в чем не удавалось обмануть.

Они и по отдельности сохраняли свою силу, основанную, пожалуй, на общей вере, корни которой, как ни подкапывайся, враз не обнажатся, настолько они глубоки. В повсеместном коловращении, извне не защищенные, они умудрялись как-то уберечься от суетности, и незамутненное достоинство в них тоже могло показаться загадочным, поскольку не находило обоснований ни в чем осязаемом, зримом.

Скромное положение, небольшие оклады. А в толчее, грубом насаждении друг на друга, безнаказанном рефлекторном хамстве, от-

таптывании ног, обрывании пуговиц в часы пик, скажем, именно у них с невольностью, выдающей породу, вдруг вырывалось беспомощное и разящее наповал: ах, извините... простите за неловкость... пожалуйста...

Вот на кого Ласточкин порой глядел, изнывая от желания приблизиться. И догадывался, знал почти наверняка: не поют они его песен.

Для человека так называемой свободной профессии особенно важен строгий распорядок дня. Не имеет значения, как именно он выстраивается, с ранним ли, поздним ли вставанием, но четкая определенность часов работы вырабатывает инстинкт, пробуждающийся ежедневно, как чувство голода.

Ласточкин был противником мифа, приписывающего вдохновению нечто божественное. Крылатое, прихотливое, неожиданное... Целомудрие профессионала не позволяло ему ни вслух, ни мысленно подобные фразы употреблять. Куда там! В процессе длительного, упорного трения искра, случалось, возникала, но тут же гасла в наплыве новых преодолений. Преодоления, правда, могли породить задор, веселую злость, внутреннее подхихивание, умиленность, растороганность, но и упрямство и прилежание тоже давали неплохой результат. В апофеозе мученичества нужды не возникало вовсе.

Не шло, застопоривалось — это другое дело. Настроение пакостилось, хотелось на кого-то наорать, хлопнуть дверью и, стремглав слетев с лестничных маршей вниз, в подъезд, вдруг обнаружить начищенные до блеска носки своих отличных ботинок, оправить, успокаиваясь, кашемировый шарф, хмыкнуть, достать от квартиры ключи и снова к себе подняться, попить, скажем, кофе.

Удобства размягчали, утопляли гнев. Ласточкин все еще к ним не привык, все еще детски радовался. Или такое гнездилось в его природе — способность малым утешиться, от малого возликовать? Но не означает же это, что если бы удобствами его обошли, он стал бы страстотерпцем? Нет, разумеется, глупости.

Как всякий нормальный, здоровый человек, он, Ласточкин, исходил из собственной нормы, подозревая подобное у всех. Но здоровое не есть ли банальность? И как тогда ее сочетать с постоянным, вынужденным, чисто, так сказать, профессиональным, техническим стремлением к оригинальности? Близко к вычурности: вариации на все ту же банальную тему. Как удержаться, на чем? Ведь песенный жанр требовал правдивости.

Беспокойств, черт возьми, неудовлетворенностей, разнообразных нервных терзаний хватало! Но разве это материал? Страдание — вот струна, из которой лучшие звуки извлекались. Кого из этих великих ни возьми. Даже при спокойной в целом биографии умудрялись же подыскать нечто подходящее для муки мученической. И получалось! У Брамса, Вагнера, даже Мендельсона, совсем неплохо устроившихся. Не говоря уж о Шумане, с ума сошедшем, глухом Бетховене, ницем Шуберте, истерзанном, спившемся Мусоргском. Их песенные циклы... Только вообразить такую над собой глыбу — и даже на мычание не осмелишься. Надо забыть, отринуть все эти громады, тем более что современные слушатели, большинство, тоже, как правило, не помнят, не принимают великое в расчет. Спасительное невежество, забывчивость. А с другой стороны, скучно. Перед кем стараться, изощряться, если все тает, уменьшается горстка знатоков?

И хорошо. Легче так, проще. Людям некогда в эпопеи вчитываться, длинные симфонии слушать, вдыхать запах «соловьиных садов» из стихотворных томиков — дорога ширится, все больше возможностей твердо, уверенно, без особых затрат шагать.

Ласточкин, кусая карандаш, хмыкал. Желание себя высечь не мешало упорству и прилежанию. Мелодия низалась такт за тактом, ко-

кетливая, ершистая, повадкой и лицом явно кого-то напоминающая, но в теперешнем гуле голосов попробуй различить — кого. Да, приходилось нити надергивать из уже сшитого кем-то платья, но уж выбирать следовало подобротней, не гнилье.

Ласточкин трудился, а рядом, совсем близко мелькало: давай-давай, но имей в виду, что сама по себе двойственность еще не создает сложную натуру.

Готовую песню он обычно первой Ксане показывал. Она входила не без торжественности, садилась в глубокое кресло. Ласточкин, слегка волнуясь, начинал.

О способностях своей жены к восприятию музыкальных произведений, тем более к самостоятельному их осмысливанию, Ласточкин давно догадался. Но оба делали вид, что происходит нечто значительное. Ксана с выражением углубленного внимания склоняла голову, прикрывала глаза, у сидящего за роялем Ласточкина на щеках пятнами проступал румянец: будто что-то свершалось, что-то от Ксаниного мнения зависело. Игра, явное псевдодействие. А что? А когда он режиссеру свою музыку к фильму показывал, тот, что ли, не притворялся понимающим? А жюри, где, можно сказать, судьба песни решалась, разве не состояло наполовину из псевдознатоков? Всюду все этим «псевдо» окрашивалось.

Ксана слушала. Трудно ей приходилось, бедняжке. Финальный аккорд, пауза... Поднимала голову, соображала лихорадочно — и действовала наверняка: «Необычно, но, по-моему, замечательно!»

Ласточкин на вертящемся табурете разворачивался к жене. Знал: грош цена подобным похвалам. И тем не менее настроение делалось прекрасным, ликующим, как весной в пору юности. Он любил Ксану. Любил ее потупленный лживый взгляд, в котором искренняя забота о нем сплеталась с соображениями сугубо практическими; любил коварство в ней и нахальную самообличительность, убежденность, что незачем стесняться, коли сила есть, и тайный суеверный страх расшатать, утратить вдруг эту силу. Да, он любил жену, она так была похожа на него самого.

А их сын — на них обоих. Но, разумеется, лучше, перспективней. Сын, Вова, должен был того достичь, чего не успеет и не может успеть его папа Ласточкин. Будущее сына представлялось в сцеплении их трех фигур как бы в акробатическом номере: атлетически сложенные двое подставляют плечи юному стройному гимнасту, способному взлететь под купол цирка — удалось, ура!.. Пока же Ласточкин лично уделял два часа для занятий с Вовой музыкой. В той школе, которую он сам окончил, теперь преподавал его одноклассник Дима Кроликов. Уж как-нибудь... Адская, конечно, мясорубка, но для тех в основном, кто приходит со стороны. Музыка — такая область, где пестование надо начинать с малолетства и умеючи. Без бабушки или там тети, скромных преподавателей фортепьяно, редко выбиваются в виртуозы. Кто-то должен шишки набить, чтобы предупредить идущего следом о наиболее опасных поворотах. И у Моцарта, как известно, был знающий, цепкий папаша. Там, где в основе ремесло, преемственность необходима, чтобы не толковали о чуде дарования. Все чудеса присочиняются потом. А вначале родственница, закаленная неудачница, хваткая и терпеливая тетя Муся, сажает карапуза к инструменту: «Круглее пальчики. Потверже мизинчик».

Телефон зазвонил, когда Ласточкин должен был уже на телевидение мчаться. Там в бесконечных коридорах, бункероподобных помещениях, переходах-туннелях, освещаемых голубовато-мертвенными светильниками, свежий человек преисполняется священным ужасом, трепетом в страхе заблудиться, догадываясь по выражению лиц у встречных, что и они плутают: в лучшем случае знают свою дверь, свой этаж — и все.

Ласточкина тоже мутило, но он, себя преодолевая, решительно пересекал вестибюль, шел напрямик к лифтам, откуда пачками вываливались знаменитости с обесмысленными, стертymi во множестве ролей физиономиями. Случалось, кто-то Ласточкина окликал, хлопал по плечу, и он, мысленно пробегая строчки титров, узнавал неузнаваемое. Так, кстати, подтверждалось одно из чудес актерской профессии: красотки на сцене и экране в обычной жизни выглядели чучелами, образцовые мускулистые экземпляры мужской стати вдруг утрачивали и силу свою и рост, точно из них выпускали воздух, и, напротив, комедийные исполнители, при одном взгляде на которых зрители корчились от хохота, оказывались внешне абсолютно нормальными и даже не лишеными привлекательности.

Ласточкин сквозь насмешливые подначки, про себя им произносимые, улыбался, обнимался, наслаждался моментом приобщенности. Все наслаждалось, потому что все когда-то были обыкновенными, безвестными, и память о тех временах сохранялась, несмотря ни на что.

Атмосфера на телевидении обладала лихорадочным зарядом, призывающим всех спешить или изображать спешку, но тут как раз Ласточкин чувствовал себя как рыба в воде. Попадая в обстановку контрастную, в тишину леса, осень, зиму загородную, на пустынный берег, он быстро скисал, у него портилось настроение. Тишина, одиночество вроде бы соответствовали его профессии, традиционно нуждающейся в сосредоточенности, покое, но — другие времена, другие нравы. Кроме того, его песни заряжали именно упругим, моторным, нутряным ритмом и сами заряжались, возможно, от чего-то подобного.

Так вот, когда телефон зазвонил, он уже почти на телевидение опаздывал: договорились к трем, заказали зал для просмотра проб к задуманному сериалу, и хотя на этом этапе присутствия Ласточкина было необязательным, но раз он пообещал... Трубку сняла Ксана.

— Тебя. Какая-то девица. Странноватая... — И пока Ласточкин шел к аппарату, вслед ему прокричала: — Имей в виду, никаких контрмарок! Все уже обещано!

Он знал. Не взяв еще телефонную трубку, догадался. И чутье не обмануло его.

— Здравствуй, — услышал манерный и ломкий от неуверенности голос. — Это я, узнаешь?

Он тут же обозлился. Что за тон? Кто из приличных людей так представляется после почти двадцатилетнего перерыва?

— Здравствуй, — произнес сухо. — Я тебя слушаю. — И так же мгновенно обратной волной его обдало — виноватости, что ли? Вспомнил, как она, Морковкина, была жалка. — Слушаю, — повторил. — Молодец, что позвонила.

— Да знаешь, я все думала, кстати ли... чтобы не помешать, у тебя, конечно, дела... А потом решила: ну что, в самом деле? Обидно же снова потеряться, когда вдруг встретились. Я. понимаешь...

Он перенес трубку в другую руку. Мало того, что опаздывал, неудобство, неловкость прямо-таки жгли его. Хотя помнил отлично, что за все школьные годы он с Морковкиной даже взглядом, что-то там значащим, не обменялся. Ни намека, ни полслова. Никогда она не интересовала его. И даже больше: тень отверженности, на нее павшая, вызывала у него необходимость подчеркнуто ее сторониться. И это он не забыл: юношескую в себе жестокость, подленькую готовность быть, как все. С большинством, коли там сила. А то, что Морковкина оказывалась слаба, сомнений не вызывало. Она держалась как прирожденная жертва, и ее выпады, ее слезы, выкрики еще пуще разжигали азарт преследователей.

Но, разумеется, в их отборной школе и травля принимала характер рафинированный. Не какие-нибудь там примитивные подначки,

дерганье за косы, молодецкое ржание. Нет, ее, Морковкину, просто не замечали. Ее не было, не существовало. Разговоры, улыбки — через ее голову. Все вместе, она в стороне. А ведь и у них в классе, как и везде, имелись абсолютно неразличимые фигуры, заполнявшие пространство, но начисто лишенные каких-либо индивидуальных черт. Пять, или шесть, или восемь блондинок, безмолвных, невзрачных, невидимых и неслышимых. Блеклая эта стайка перемещалась, не задевая никого. И их не задевали, терпели. Морковкина же лезла на рожон. К примеру, заданное наизусть стихотворение она читала так выразительно, с таким подъемом, что за партами давились от хохота. Она позволяла себе быть не как все, пренебрегая реальностью, не думая о самообороне, но вряд ли сознательно.

Не понимала: почему смеются? С недоумением оглядывалась, и лицо ее резко менялось. Казалось, могла ударить, закричать и уже ударила, уже закричала — так ее щеки пылали, так яростно сверкали глаза.

А казнили ее великолепной невозмутимостью. Стена. Равнодушные невидящие взгляды. Взрывалась она одна — вот в чем позор. Ее задевало, она захлебывалась в негодовании, а всем остальным — наплевать.

Почему их влекло на такое мучительство и не наскучивало так именно себя развлекать? Взрослели, умнели, вглядывались все на протяжении в предвещающее будущее, но появлялась Морковкина — и коллективно зверели.

Надсадный ее вопль: «За что?!» Довели однажды. Группкой, самой отборной, интеллектуальной. Пожали плечами, недоуменно переглянулись. Да ничего они, в самом деле, не сделали особенного, грубого слова не сказали.

Ласточкин слушал. Те впечатления, ощущения оказались уже за чертой — сейчас другая неловкость, другая одолевала маета. Почему никто из остальных одноклассников, тоже потерянных, позабытых, внезапно на голову его не свалился? Почему именно Морковкина? И почему наседала, на что напрашивалась? Он слушал, ронял время от времени «да», «нет».

Нащупал пачку сигарет, вытянул одну, закурил, затянулся.

Какое-то начиналось в нем дребезжание. На неплотно прикрытую дверь в спальню оглядывался, где Ксана с книгой лежала на тахте. До женитьбы, само собой, случалось у него незначительное, а после не до того. И Ксана стояла на страже, и не возникало охоты. Улыбки возбужденным почитательницам, торопливые автографы после концертов, но всегда с соблюдением дистанции. Да и преувеличены эти страсти. В отношении авторов, по крайней мере. Успех пахучей своей, шестелящей букетной массой падает в основном на исполнителей. А Ласточкину отнюдь не часто все это перепало.

— Послушай,— решил он наконец прервать Морковкину,— со временем у меня в данный момент туговато, но давай договоримся...

— Давай! — она его перебила.

И снова в нем что-то скисло, пугливо дернулось.

— Словом, я часам к пяти освобожусь, зайду в Союз, потом... Помнишь, где церковь в Брюсовском?

— Неужели! — она отозвалась все с той же торопливой готовностью.

— Вот там и жди. В половине шестого. Годится?.. Уф-ф! — положив трубку, выдохнул с пафосом в расчете на появившуюся в дверях спальни Ксану. — Ну и Морковкина! Я тебе не рассказывал? Была у нас в классе такая дуреха. И, кажется, совсем завязла. Постараюсь, если смогу, помочь.

Ксана проводила его тягучим насмешливым взглядом.

— Пока!— Схватив с вешалки дубленку, он чмокнул ее в щеку.

С телевидения вырвался даже раньше, чем планировал. Часа хватило на просмотр актерских проб, в обсуждении которых Ласточкин тоже принял активное участие, хотя, сидя в темном зальчике с разбросанными вне ряда стульями, откровенно зевал. Актеры в эпизодном мессе произносили приблизительный текст с неоправданной выразительностью и также без повода выказывали темперамент, демонстрируя себя с наивыгоднейшей стороны, но было бы наивно ожидать, что это сырье так уж разительно преобразуется при завершении работы. И не на что сетовать. Никто не обманывал никого. События случаются время от времени, а кроме того существуют будни. Гонят на телевидении очередной сериал, журналы заполняются романами с продолжениями. Так было, так будет. Хорошо бы только, чтобы не заглохла способность к восприятию значительного. Хотя не все в ней нуждаются, в этой способности,— и невыгодна она и небезопасна для кое-кого.

Ласточкин вышел из здания на улице Королева, пустырь вокруг которого застраивался все плотнее, но ветер все еще гулял, одичало резкий, характерный для таких районов, где как бы вдруг из ничего разрастались вширь и ввысь многоэтажные многоподъездные жилые массивы. Сел в салатные «Жигули» (ничего не поделать, выпал такой поносный цвет на целую партию), но успел воздуху глотнуть, подозрительно весеннего. Включая зажигание, подумал: какие же мы все, однако, зверюшки. Проблемы, сплошные проблемы, а чуть потянуло весной — и один голый инстинкт: жить! Как жить прекрасно!..

Спасибо природе, умеет она нас к себе возвращать. Иначе бы все забылось. Первый снег — и снова детство. Хоть не станешь уже снежную бабу лепить, сосульки слизывать, но давние те ощущения вновь внутри возрождаются... Ласточкин от удовольствия прижмурился, но вспомнил и деловито опустил противосолнечный козырек. В такой атмосфере ощущать себя удачником казалось просто необходимым. И то, что он мог среди бела дня сорваться, ехать куда заблагорассудится, а не досиживать в какой-нибудь конторе до положенного срока, веселило, как удавшаяся ребячья шалость.

Предстоящее свидание его волновало. Любое свидание сейчас волновало бы. А тут как-никак встреча с прошлым. С юностью. Почему не позволить себе иной раз сентиментальность? И так в нас, современных людях, столько уже задавлено, схвачено под уздцы соображениями трезвости, недоверия, опасениями показаться смешными. Но что-то же тянет пожилых уже товарищей на традиционные школьные сборы. И собираются в юбилейные даты выпускники институтов. Пусть совсем уже чужие, отстранившиеся, а все же взглянуть занятно. И себя показать. Конкурентное, задиристое, да просто даже похвальбушное в той или иной мере присутствует в каждом, и от обстоятельств зависит, в какой форме оно потом обнаруживается. Или не только от обстоятельств? Да, конечно. А все хочется на тех взглянуть, с кем вместе стоял когда-то у стартовой черты, и краем глаза хотя бы ухватить почтительное, удивленное в их, в общем, скрытных лицах. Иначе для чего все? Ради одобрения потомков? Ну тоже неплохо. Если правда, хоть чуть надеяться, что не будет тебе тогда уже все равно.

А Морковкина... Морковкина в школе была очень хорошенькой. Но никто за ней не ухаживал, поэтому и Ласточкину в голову не приходило. Надо признать, и в юности и потом общее мнение на него сильно влияло. Даже если он поначалу некоторое несогласие ощущал. Но способность к быстрому, гибкому маневрированию оттачивалась с годами, так что первоначальная ошибка оставалась никем не замеченной, в результате же Ласточкин оказывался прав, как и большинством. Процесс скольжения от одной позиции к противоположной не вносил привкуса унижительного поражения, так как переброс совершался ми-

гом. Почти неосознанно. Да и разве принципиально? Принцип ведь тогда обнаруживается, когда именно в это — в это — вкладываются силы ума, души.

У Морковкиной же, помнится, были чудесные волосы, которые она бездарно портила парикмахерской завивкой. Но глаза испортить не удавалось, они оставались серо-фиалковыми, влажными, притягательными своей беспомощностью, зовущими. Если бы кто-то сумел услышать этот зов. Но не Ласточкин, никак не Ласточкин. В классе царила Джемма, обогнавшая в развитии благодаря восточной крови всех своих сверстниц. Томные взгляды, властная леность движений, коровьи ресницы и пушок над верхней губой — теперь-то, конечно, подобным не обольстишься. Но в ту пору Ласточкин, как и все, ловил каждое Джеммино слово, топтался рядом на переменке, мялся, поджидал по окончании уроков, пересчитывая свои сокровища: сколько раз Джемма на него поглядела, когда улыбнулась. А как-то даже по телефону позвонила задание по физике узнать.

Морковкина плелась по школьному двору в куце красном пальтишке с барашковым, одним углом задравшимся воротником. Волочила портфель, перебирая худыми ногами, точно торопясь поскорее скрыться. А ноги стройные, узкие в лодыжках — Ласточкин увидел то, давнее, только сейчас оценив. И надо же, замуж не вышла! Значит, шлейф детского неприятия может и во взрослое существование протянуться. Грубо, жестоко, а главное, малопонятно — вот что такое жизнь.

Он поморщился. Снова что-то засадило. Уже о себе, о своем. Первое эпизодическое столкновение с Морковкиной вернулось с привкусом неприятным. И глупостей же она наговорила! Но, надо согласиться, если бы прежде не возникло в нем самом щели, Морковкиной некуда было вклиниться.

У светофора на Горького долго продержали. Машину обегала толпа с посветлевшими, обнаженными весенним дуновением лицами. И Ласточкин, принимая заряд, опять приободрился. Кстати, смена времен года вдвойне радует, если на все случаи имеется соответствующая экипировка.

Почему у церкви в бывшем Брюсовском? Это был когда-то их район. Школа находилась пониже, у Арбатской площади, в коротком крученном переулке, путь от нее проходными дворами к консерватории — пять минут. Оттуда, еще быстрее, прямым броском к дому, где помещался Союз композиторов: там тоже случались интересные для небольшой аудитории концерты. А рядом — в бывшем Брюсовском, нынче улица Неждановой, — тихая скромная церквушка. Типично московская, в слабом лепете песнопений, прорывающихся иной раз, а чаще старающаяся быть совсем незаметной. Однажды Ласточкин с приятелями туда вошли поставить свечку перед самым отвратительным экзаменом — по геометрии.

В Доме композиторов Ласточкин теперь частенько обедал. Кормили хорошо, хотя антураж значительно уступал знаменитому Дубовому залу в Доме литераторов, куда у Ласточкина тоже имелся пропуск. Но в своем Доме вместе с обедом могли совмещаться и кое-какие дела.

И на этот раз следовало, наверно, заскочить понюхать, коли оказался рядом. Вдруг подвернется кто-то не без пользы. Так посидели недавно за пивом с поэтом Гнездюковым и задумали совместный песенный цикл. К слову, только обывателям может показаться принижающим сочетание пива и творческого искусства. Но даже оправдываться смешно: встретились, не важно где, — и осенило.

Гнездюков великолепно перевел с каталонского по подстрочнику народные баллады, где жутковатый вымысел облекался в форму грубоватой, простодушно-откровенной и слегка даже непристойной шутки, которая должна была смягчить мертвящую дрожь от сказа, но по-

лучалось — две упругие параллели: смеха и страха. И в музыке их, пожалуй, стоило сохранить в обособленности, напряжение тогда еще больше бы нагнеталось. Современное восприятие все легче справляется с подобной двойственностью, ждет уже именно ее, ею насыщается. Только, к сожалению, и здесь пора открытий миновала. Кажется, нигде вообще не осталось целины, все разработано, пущено в ход, удобрено, использовано по новой. Но, как подсказывает опыт, маятник должен был вот-вот качнуться в противоположную сторону. К нерасщепленной, незамутненной цельности. Только из чего ее рассчитывали слепить, из каких остатков, ошметков? Так, чтобы в нее поверили? Вот ведь в чем фокус.

Пока же оставалось балансировать. Совместный опус с Гнездяковым создавался с учетом изоцирвившегося вкуса и у широкого круга слушателей, их страсти к заполнению белых пятен в отечественной культуре, о которых они с запозданием узнали, больше понаслышке, и, осмелев, потребовали вернуть. Эта атмосфера, утеплившийся климат снижали риск заговорить о сокровенном, необязательно своем личном, но признанном наконец тоже ценным, редкостным. Стихи, за которые прежде отвечали жизнью, честью, сделались годными к употреблению, общедоступными; в такой все увеличивающийся прорыв тоже хотелось вмешаться. А одновременно удержаться на позициях, прежде завоеванных, что виделись все еще пока надежными. Песня посвященная, приуроченная и одобренная закладывала фундамент достаточно прочный. Не только исполнителю, но и сочинителю, автору следовало заботиться о разнообразии, диапазоне своего репертуара.

«Репертуар» — словечко, застрявшее в сознании Ласточкина еще со времен злополучного дебюта на ниве клубной самодеятельности.

Их с Эммой и Зайчихой тогдашний провал можно было бы избежать, если бы юный восторг самовыражения уравнился чем-то более привычным, традиционным. Это бы смешало, смутило, обвело бы вокруг пальца категорически настроенное руководство. Но они еще не представляли, как важны в любом деле пропорции: точное соблюдение их тоже, между прочим, снижает риск. Правда, как ни обидно, лучше всего в таких тонкостях ориентируются посредственности.

А шок от той первой неудачи у Ласточкина так и не прошел. Мысленно он часто туда возвращался, к тому вечеру, знобливому и больному, когда каждый шаг, казалось, представлял опасность: начиналась развилка — налево пойдешь, направо... Ничего, конечно, твердо, прямо еще не решалось, готовности не было, а была ли она сейчас?

Он завидел Морковкину издали. И сразу в голове пронеслось: не на лавочке же ему с ней сидеть! Ресторан Дома композиторов — вот он, и удобно, и комфортно, но явиться туда с Морковкиной... Ласточкин невольно поморщился.

Морковкина принарядилась. Ох, лучше бы она этого не делала! Не соображала, дурочка, что артистический вкус — скорее небрежность, неопрятность простил бы, чем огрехи в общепринятом их кругом стиле. Да и просто элементарные несообразности! В февраль, пусть дохнувший весной, она стояла в туфельках, сплетенных из лакированных ремешков, вычурных и старомодных, и от этой нарочной как бы уязвимости у Ласточкина в раздражении заныли виски. Он попытался вообразить, что у нее под пальто надето, и понял, что фантазии Морковкиной тут непредсказуемы.

А вместе с тем — чудеса! Явно уже поблекшая, пристукнутая неудачами, разочарованиями (все прочитывалось), даже замужеством обойденная, то есть не прельстившая, значит, никого, ни в чем не состоявшаяся, она, Морковкина, оставалась, точнее, узнавалась вновь прелестной. Ее волосы, светлые, слабые, выбившиеся из-под прозрачного шарфа, влажный фиалковый взгляд, ноги-стебли, зябко жмущиеся коленями, сама ее очевидная нелепость вдруг захватили Ласточки-

на, как это всегда и бывает, врасплох. Он сам на себя шикнул: зрение, что ли, помутилось? Февраль, обманно весенний, дурь нагнал? Правда, он знал, когда все встанет на место: лишь только она, Морковкина, откроет рот.

Вылез из машины. Она стояла, приглядываясь, боясь, верно, обмануться. И дернулась, заспешила навстречу. Он подумал: черт с ним, какая разница, кого они в Доме композиторов встретят! Или, может, лучше к литераторам? Пожалуй, заказал бы судака орли. Поесть — это уже кое-как оправдывает нелепое, ненужное свидание. Морковкина торопливо приближалась. Ласточкин вдруг вспомнил, как промямлил Ксане, что собирается помочь «дурехе». Перспектива доброго дела никак конкретно пока не вырисовывалась, но взбодрила.

И у композиторов и у литераторов Ласточкина гардеробчики признавали. Намеренно не интересуясь, куда уносят его дубленку, он пошел к зеркалу, по-мужски неуклюже приглядел волосы, довольно густые, но уже не те, что прежде, не те. За его спиной, отражаясь стройно, боязливо, ждала Морковкина: темная юбочка, свитерочек — вполне прилично. Если бы еще не идиотское сооружение на голове, можно было бы и вовсе успокоиться. Но Ласточкину всегда мешала озабоченность реакцией окружающих, ведь это из-за них он к Морковкиной придирался, а если бы мог плюнуть, забыть — улыбнулся бы ей по-доброму: я рад, а ты? Что бы там ни было, хорошо вспомнить молодость.

Но он знал, что за ними наблюдают. Не важно кто, даже если никто. В полутемном вестибюле, в темноватом и тоже вроде бы пустующем зальчике...

— Как, Маша, если судака орли, получится? — спросил Ласточкин крупную официантку в крупных дорогостоящих серьгах, известную в Доме литераторов не меньше самого знаменитого поэта, и поглядел на нее снизу вверх в меру балованно, в меру искательно, как полагалось своему клиенту.

Маша вздохнула, то ли сокрушаясь возможной удачей, то ли осуждая, устав от всех этих претензий всех этих посетителей, двинулась валко, крупно в сторону кухни и снова вернулась, не больно спеша, держа раскрытый блокнот перед грудью:

— А что на закускую?

«Надо было в забегаловку, в кафе-мороженое, наконец», — подумал Ласточкин. Два бокала сухого, зачерствелое до скрипа пирожное, кисель, компот, антрекот — не важно, все бы сгодилось. Но вот же, сюда притащился, надеясь чем поразить? Собираясь доказать, что и по его «Ручейку» уплыть — да-ле-ко-о! — удастся? Кому доказывать?

Да, здесь неплохо, даже отлично кормили. Здесь обедали, ужинали, снова ужинали те, кто нередко никакого отношения не имел к Дому, не являлся членом ни одного из творческих союзов, что, впрочем, не мешало им заказывать осетрину, семгу, икру. Здесь в куцых, обтертых пиджачках, дрянной обувке, скованные, косноязычные, возникали одареннейшие, талантливейшие личности. Здесь же всеми гранями раскованности, процветания сияли, сверкали одетые не столько как денди, сколько как хлыщи тоже, между тем, общепризнанные дарования. Всего здесь было навалом, вперемешку, якобы без разбору, а вместе с тем, хотя и не всем знакомый, «гамбургский счет» ставил незримо каждого на свое место. Черт возьми, драматург, чьи круто заверченные пьесы с неизменной оптимистической концовкой опоясали чуть ли не все сценические площадки, вдруг незаметно, по-воровски вскидывая от вырезки («Чуть, Манечка, с кровью») взгляд сальеревского накала в сторону совсем неприметного, двигающегося боком, точно преодолевая сопротивление ветра истории, сочинителя коротких, малооплачиваемых, туманных или вовсе расплывчатых в акцентах рассказов, которые он к тому же и выдавливал из себя штуки по три в год. И надо же, какие несоответствия! Сочинитель

рассказов проходил мимо драматурга с полным равнодушием, не узнавая, в то время как драматург провожал сочинителя ненавистно-влюбленным взором, пока тот не исчезал с глаз. Вырезка, аппетитно дымящаяся на тарелке, вдруг казалась безвкусной, хотя что развозить? — у драматурга имелся свой крепкий зритель, и неизвестно, стал ли бы еще он, на другом воспитанный, рассказы сочинителя читать...

Морковкина, впрочем, держалась спокойно, не интересовалась едой, питьем, ничем и никем вокруг особенно не интересовалась — смотрела на Ласточкина без смущения, с прямоотой, обоснованной в ней самой, вероятно, чем-то правильным, несомненным, что от Ласточкина ускользало.

— Ты молодец,— произнесла, будто подытожив свои размышления.

И Ласточкин, как обычно, поймался. Такие замечания, произнесенные пусть вскользь, даже формально, всегда его пробуждали, заинтересовывали. О себе он не уставал слушать, как, кстати, большинство людей и, пожалуй, все поголовно представители творческих профессий.

— Что ты имеешь в виду? — спросил с деланным безразличием, обегая быстрым хватким взглядом все помещение.

Здесь с ним всегда так происходило: с кем бы он ни сидел, о чем бы ни разговаривал, внимание раздваивалось, растривалось на остальных присутствующих, входящих, выходящих. Их лица, жесты, кивки, приветствия набегали волнами, как на полиэкране, ни во что цельное, разумное не сплавляясь, а только раздражая, нервируя. Он что-то отвечал, соглашался, отнекивался, но дерганые изображения не давали не только что-то осмысленное высказать, но даже завершить начатую фразу. А между тем хотелось — спорить, доказывать. Специфическая атмосфера творческих клубов: поддавались ей почти все.

— Что ты имеешь в виду? — повторил он. Или первый раз произнес фразу мысленно? Снова провал — а ведь узнать было интересно! — но вошла, покачалась легонько на каблучках в дверном проеме красавица очеркистка Ольга Солнцева. Кто с ней? Патлатый Бричкин, выбившийся только-только серией статей, гневных, пламенных, но довольно-таки сумбурных? Или некий Скворцов, воспаривший внезапно по административной линии? Нет, скорее все же это великолепный тупица Хрипов. Да, впрочем, какая разница? Ольга Солнцева и не в ласточкинском даже вкусе, и к тому же довольно глупа. Хотя не окажись тут Морковкиной, он, пожалуй, пригласил бы их всех за свой столик, не важно, в каком сочетании, и было бы весело. — Что ты имеешь в виду? — повторил, по-видимому, в третий раз.

Морковкина вроде удивилась, но не обиделась, во всяком случае не подала виду.

— Так вот,— вздохнув, продолжила.— Я хочу сказать...

Но сказать опять не дали — как раз в этот момент подали горячее. Ласточкин подумал, не одобряя себя: «Вот и доброе дело — накормлю, ей полезно, такая худущая». И снова провал. Не приближаясь, на ходу приветственно поднял руку Костя, здешний любимец, завсегдатай, почти прописанный, а может, и ночующий в Доме. Избегающий, правда, Дубовый зал из гордости, из бедности, из-за того, что никаких бы гонораров не хватило. Каждый если день. А ведь все равно получалось — каждый. Рюмочка, бутербродик. Еще рюмочка, еще бутербродик. А к вечеру претолченное настроение, масса друзей, ворох замыслов, оригинальнейших задумок, улыбка, острота, прищур — можно, можно, ребята, жить! На следующий день, увы, грусть, заторможенность, покальвание где-то в середине, пульсирующий болью висок, отчужденность, отстраненность, словечко, полное едчайшего сарказма, соответствующий, суженный короткий взгляд —

и снова в путь от ступеньки к ступеньке. Рюмочка, бутербродик — а можно ведь, братцы, жить...

Костя на ходу подмигнул, и Ласточкин подмигнул ответно. Провал делался все шире.

У Морковкиной шевелились губы, нежные, чистые на потресканном уже лице. Ласточкин подумал, что вот же и приятно утверждаться, а с другой стороны, надо чувствовать меру, затенять, затушевывать, что полный порядок у тебя. Это как бы не принято, считается бестактно, грубо сидеть развалиясь за накрытым богато столом. Посторонним, пришельцам — тем пожалуйста. До них нет дела. Но не своему, не причастному к заботам творческим. Потому что трудно это, тяжело — корпеть, выдумывать, насиловать воображение, давить, гнать строчки через «не могу», «не хочу». В дурном самочувствии, настроении гнусном, обидах, претензиях, ярости на самого себя. Куда деваться? Ремесло, профессия. А доходы? — доходы небольшие, как правило, мизерные, можно сказать. У большинства. И что же, пиршествовать у них на глазах? Заерзаешь, подавишься, потому что они правы. Тяжкий труд, и какова бы ни была тут плата — она недостаточна. Больше, щедрее, расточительнее отдается и о вознаграждении в тот момент не помнится. Какие деньги? И при чем они? Не в том дело, не о них речь. Вопрос всей жизни...

Морковкина, кажется, что-то спросила, глядела выжидательно. Ласточкин слегка смутился. После вкусной еды сонливость, туповатость обволокла как дурманом. Он в них барахтался, сопротивляясь. Да что она хотела от него и что он мог? Разве ему самому что-нибудь гарантировалось? Унизительное, вязкое состояние временности везения, которое приходилось маскировать преувеличенной напористостью. Не только, правда, ему одному. Чего-то действительно всем недоставало. Ну ладно, пусть не всем, многим, некоторым. Общей спайки, общей задействованности, что ли, общей идеи... Чтобы не бояться, не трястись один на один. А если и да, то ради большего, перехлестывающего тебя конкретно. Это бы крылья дало, дало бы мелодию, протяжную, гибкую, естественную и разумную в каждом своем повороте. Мелодия бы тогда вела, влекла, и не приходилось бы ее толкать с одышкой. Или мелодия уже кончилась, удержался один только ритм, клетот, хрипение?

Ну конечно она остается, классика. Но чем теперь тешит? Мнимым умиротворением. Даже у самых резвых, бунтующих всегда присутствовал тогда некий баланс, не в форме даже, а в этическом, так сказать, содержании. Они все были за одно, хотя и выражали это по-разному. Их трагизм, как бы высоко ни поднимался, всегда тем не менее оставался мужественным, преодолевающим, с сознанием своего человеческого превосходства. Теперь это скорее убаюкивает, чем учит, мучит. Идиллические времена. Но только из чего же общее у классиков складывалось? Из чувства личной ответственности?

Морковкина на него смотрела. Ну а что, в конце концов? Что он ей должен, чем обязан? Надо сочувствовать? Так ни беды у нее особой, ни судьбы такой, чтобы содрогнуться. Привычный набор под знаком невезения. У него самого тоже все довольно банально, хотя пока еще везет. Но и он бы нашел на что пожаловаться — с долей игры, правда. Игра вовсе не ложь и не притворство, без нее жизнь скучна и невыносимо сочинительство. Правда, иной раз игра обращается в придуривание, теряя свой первоначальный, очищенно бескорыстный смысл, но обретая, возможно, и что-то уже иное. Перечеркивающее, утешительное, иллюзорное, чем прежде соблазняло искусство, — а обнажающее что? Правду? Какой она теперь сделалась? Точнее, во что раздробилась? И нашим и вашим, так что самому не понять?

И все же его потянуло на вздохи, **мямленье**.

— Знаешь, у всех не гладко,— с ненужной, правда, назидательностью произнес. Умолк. А захотелось вспомнить пощечину, полученную во Дворце культуры процветающего предприятия. Неприятно, но вместе с тем как бы флаг — и нас били, и нам досталось. Точка отсчета всем нужна. Так начали — и вот куда воспарили. А может, сползли? — Будешь кофе? — спросил, сознавая, что она не выговори-лась, но не видя смысла ее желания удовлетворять. Все ясно. Давно всем все ясно. Поэтому, наверно, потребность в общении между людьми все больше затухает.

Она поняла, сняла с колен салфетку.

— Я хотела бы попросить. Мне было бы интересно послушать. Если предстоит какой-то концерт...

— Предстоит,— он повторил с улыбкой, обретая обычную уверенность.— А могу еще пластинку подарить, недавно выпущенную. И кое-что, представь, я себе там позволил. В легком жанре тоже, знаешь, рискуешь иногда. И необязательно в соответствии с отголосками, так сказать, западной моды. Хотя тут я вижу определенное сходство с кино: нам, песенникам, тоже нельзя отставать от последних новинок в приемах, в технике. Мы в этом смысле тоже завязаны, чтобы получалось современно. Своевременно, я бы даже сказал. И колдовать с аппаратурой приходится. Ты, кстати, не пробовала?

— Нет, но ты не подумай, что я уж такая старомодная дура,— она, по-видимому, обрадовалась возможности продолжить разговор.— Пусть джаз, пусть рок — и там, конечно, есть талантливое, прекрасное, когда создавалось и пробивалось с кровью, с потом. А бывает: тяп-ляп — и готово. С легкостью, по накатанному — и с той же миной, что и настоящее, подлинное. Но ведь слышно...

Он подумал: «Что-то, верно, недослышал из прежде ею сказанного. Что-то, значит, в цепи ее невезений особенно ее царапнуло. Всякие там возвышенности, умности — они появляются, когда уже окончательно почва под ногами поплыла. Да и обычно говорится не о том, что в действительности занимает. Тоже уже уловленный и подхваченный и в музыке и в литературе мотивчик. Опять не открытие, увы. Остается, по сути дела, один, да и то все сужающийся ход — в сферу эмоционального. Но и там теперь скучно, блекло. Что мне Морковкина? Что я Морковкиной? Не брезжит никаких завязок. Все мельком схвачено и упущено за ненадобностью. Любые повороты лишь для того, чтобы приблизиться к своему обожаемому «я». Но и «я» изжевано-пережевано настолько, что, кажется, уже я был, и много раз, и тоже скучно, и повторяться незачем. Один долгий, до обмирающей тоски зевок. Что мне Морковкина? Да что я себе сам?..» Мысленно вздохнув, он вынудил себя продолжить:

— Ну легкость-то отнюдь не признак бездарности. Весьма и весьма достойные не стыдились легкости в себе, даже, случалось, ею бравировали. А к «творческим мукам» и бездари прилаживаются. Из личного же, если хочешь, опыта: мало кто всерьез разбирается, что плохо, а что хорошо. Репутация — вот что в основном решает. А уж как ее создавать...— Он развел руками, улыбаясь.

Она тоже улыбнулась поспешно и все же с запозданием. Не ладилось у них, ни в улыбках, ни в словах. Клейкое ощущение при-творства обнаружилось в этот раз обоими. Ласточкин взглянул на часы, она поняла это как сигнал.

— Спасибо. Я ведь и не бывала никогда в такой обстановке. Люди, наверное, тут знаменитые, известные. И так, конечно, с улицы просто не войдешь. Вот я болтала, а ведь действительно занять подобающее место, вырваться, выделиться — это уже кое-что. То есть я хочу тебя поблагодарить, я понимаю...

Он поморщился. И прежде, вспомнил, было ей свойственно такими вот придыханиями, фразами торопливыми, самым выражением лица, глаз доводить чепуховину до полной нелепицы. Вот что, на-

верное, и тогда, в школьные годы, в ней бесило: карикатурная чрезмерность, компрометирующая как бы и других. Нарочно она, что ли? Ну хотелось ему чуть-чуть прихвастнуть, но не так уж явно, пошло, как она сейчас продемонстрировала — на, любуйся! — будто дохлую мышшь держа за хвост.

Оглянулся, отыскал взглядом крупную, вальяжную их официантку.

— И тебе спасибо,— проявил выдержку.— А пластинку, если интересуешься, достану для тебя на днях. Сама понимаешь,— произнес отчетливо,— в свободной продаже ее не разыщешь. Размели в один день.

Дома его ждал сюрприз. Ксана, открыв дверь, поманила в глубь квартиры. Он прошел за ней следом и замер как в столбняке.

— Когда это ты успела? — только и сумел вымолвить.

Она хохотнула:

— Да вот... Нравится?

Он молчал, приходя в себя от неожиданности. В живописи был не знаток, но что это здесь, в их доме, неуместно, ясно стало сразу. Огромное, рычащее, скачущее — полотно, картон? Как его там, коллаж?.. Ксана напряженно за ним наблюдала.

— Так понимаю, это не подарок. Сколько просят? Денег, надеюсь, еще не отдала?

— В том-то и дело! — Ксана с прежним смешком будто всхлинула, винясь, но пока не сдаваясь.— Надо было сразу, немедленно, иначе бы перехватили. Успела, взяла такси.

— А-а! — Ласточкин протянул.— Столько охотников, конкурентов? Из музейных запасников? От разорившегося коллекционера? Сколько же слупили с тебя?

— Ну... потом скажу. В мастерской была — такая роскошная! И на глазах прямо расхватывали, в самые, знаешь, такие дома. Даже из посольства советник один примчался, то ли из ФРГ, а может, из Бразилии. Уртиков не хотел отдавать, сказал, что скоро понадобится для выставки.

— Уртиков? Не хотел? Что-то о таком не слышал.

— Ну понятно! В «Огоньке» такое не пропагандируется. Но тебе нравится?

— Н-не очень. И имеет значение цена. Можно ведь и за шкаф, в конце концов, засунуть, если не очень тебя нагрели. Ты сумму скажи.

— Так разве оценивают? Это же картина, гляди.

— Гляжу. Но если, положим, не понимаю, зачем она мне?

— Например, как даже вложение...— Ксана произнесла уклончиво.— Другие — не дураки, приобретают...

— Какое вложение? Уртиков! Не Врубель же...

— Да ты бы и с Врубелем не разобрался.

— Возможно, не настаиваю. Но в данном случае просто не нравится! За шкаф, только за шкаф.

— Ну знаешь! Эдак деньгами швыряться. И я не удивляюсь...— Ксана, негодуя, накрылась румянцем.

Ласточкин опустил на диван. Картина не только не нравилась — давила, напирала. Ее непристойность открывалась не сразу, но после уже не удавалось отмахнуться, отделаться. Сырая розовая мякоть, раскоряченность, провалы, почти ощутимый скользкий запах от зеленоватых потеков в углах — картона, холста? Но мало того, в крикливости этой угадывалось что-то особо подозрительное. Подделка? Ласточкин сам удивился своей догадке, как-то даже польстившей. Ничем там не брезжило, ни безумием, ни эпатажем. Все заимствовано, поэтому так нагло. Халтура, гнилой товар.

— За шкаф! — он подытожил.— А лучше пускай вернет деньги.

— Не вернет,— Ксана пробормотала чуть ли не со слезами. Ласточкин редко видел ее настолько взволнованной.— Не вернет, знаю. У него такие усики, глазки, я тогда уже насторожилась. Но... так уж вышло, и еще мне хотелось порадовать тебя...

Он поглядел на нее, смягчившись:

— Да ладно... Кто он, этот Уртиков? Есть, по крайней мере, его телефон, адрес?

— Он не отдаст! И к тому же... не принято. Художник все-таки. И мастерская, говорю тебе, роскошная.

— Жулик он, вот кто. И нечего церемониться.

— Это ты так считаешь, а ведь не очень разбираешься. Не надо было, конечно, сразу деньги отдавать. А теперь... Теперь просто не знаю. Ты решительно против?

— Я — решительно. Решительно против, чтобы из меня делали дурака. Тем более за мои же деньги. И кто тебя туда привел? Тоже, наверно, из той же артели, халтурщики?

— Ну это ты зря.— Ксана слабела, но не сдавалась.— И вообще, ты же сам творческий человек, знаешь, как это мерзко, когда навешивают: халтура, мол. От непонимания, невежества. А могут быть разные вкусы, разный взгляд.

— Так и до ночи можно дискутировать. А пока этот шедевр к стеночке, извини, поверну. Чтобы настроение не портил хотя бы до завтра, иначе не вынесу его здесь.

Утром Ксана влетела в спальню, не пожалев разбудила Ласточкина.

— А вот Алине нравится! — сообщила, торжествуя.— Выйди поговори с ней.

За ночь Ласточкин забыл, слава богу, об их приобретении, спроне же сообщение Ксаны несколько его не обрадовало.

— При чем тут Алина? — сказал, позевывая.— Бедняжка! Ты ставила ее примчаться в такую рань?

— Она сама вызвалась. Ей было интересно. Об Уртикове она, правда, не слышала, но сказала, что знает одного англичанина, который работает в той же манере.

— Ну конечно, Алина все знает. Так, может, она хочет это сокровище приобрести? Давай, так и быть, уступим ей по-дружески, без комиссионных, за ту же цену.

— Не смешно,— Ксана произнесла строго. И присела на кровать.— Хочу тебе сказать — ты слушаешь? Так вот,— понизила голос, вздохнула проникновенно,— у меня как-то меняется отношение... ну, к картине. Чем дольше гляжу, тем... Будто погружаюсь, и открывается новое.

— Понятно, Алина наворожила. А сама свою копеечку бережет.

— Перестань! И еще я подумала... Вот раньше в домах висели картины, передавались по наследству. Все ведь тлен — тряпки там разные. А это остается. Произведение.

— Меня тоже хочешь заморозить? — Ласточкин натянул халат. Алина свой человек, перед ней можно было и так появиться.

Алина сидела на стуле прямая, сосредоточенная. Темная челка, острый нос, умеренный макияж — и портивший ее, и вконец запутывающий истинный ее возраст. Считалось, что Алина отлично ориентировалась в современных жизненных ценностях. Разведенная, с хорошей кооперативной квартирой, эрудитка.

— Ну что я могу вам сказать? — произнесла после коротких приветствий.— Был бы этот Уртиков ослепительным дарованием, обошелся бы вам дороже в сто раз. Рассчитывать на период безвестности — кончилось такое время. Чуть у кого забрезжит, сразу нарасхват. Оригинальных идей сейчас, сами знаете... А тут все крепко, в расчете, конечно, на определенную конъюнктуру — ну а как теперь опять же

без этого? Картин в личное пользование приобретать стали больше, чем прежде. Имею в виду не такое уж давнее прошлое... Тогда продавали за гроши, задаром, бескорыстно, с голоду, от отчаяния. Теперь живут неплохо, а хотят еще лучше, еще сытней. Почему нет? И художники тоже люди. В салонах посмотрите, какие цены. Интересуетесь, не надули ли вас? Нет, по-моему, не надули. Но главное — если такая манера вам, так сказать, отвечает. Ведь бывает, все еще тянет к другому, в традициях, скажем, Лактионова.

Ксана посмотрела на Ласточкина. Он улыбнулся:

— Спасибо, Алина. Ты надежный товарищ, приехала, не поленилась. Может, попьем кофейку?

— Нет, ты скажи: ты согласен? — Ксана забеспокоилась, чтобы он не увернулся. Уйдет Алина — ей будет сложнее объясняться с ним.

— Согласен! — он, смеясь, поднял руки. — Алина кого хочешь убедит. Только была бы эта картина поменьше, не так бы бросалась в глаза, я бы уж точно безропотно... А тебе, говоришь, нравится?

— Ну... — Алина на секунду замаялась. — Я стараюсь объективно подойти. Нравится, не нравится — это как-то по-детски. Считаю, каждого художника надо уважать, пытаться вникнуть, взглядеться. А «нравится — не нравится»... Так уже бывало, этим руководствовались и наломали дров.

— Почему? — Ласточкину захотелось поспорить. — Лучшее ведь осталось, существует и в экспозициях, и в запасниках уберегли, сохранили.

— А кое-что нет, а могло бы быть больше. И жизни длиннее. Но это сложный разговор.

— Сложный, — подтвердил Ласточкин. — Но вот что меня смущает: зачем? Купили, собираемся вешать. А ведь не разбираемся. По крайней мере я...

— Ну, это не преграда. — Алина состроила гримасу. — Понимают немногие. Остальные, извини, делают вид или выжидают, подлаживаются, скажем, воспитываются. А в результате верят, действительно наслаждаются. Хотя, может, вправду, а может, врут. Искусство — дело темное, ты не находишь?

— Да, — Ласточкин усмехнулся, — особенно живопись.

— И музыка. Вот, скажем, для меня. — Алина прижмурилась вкрадчиво.

Ласточкин в упор посмотрел на подвижную улыбающуюся Ксанину приятельницу. Замечание ее насчет музыки почему-то царапнуло его.

— А все же скажи: тебе нравится?

— Ну что ты пристал! — Ксана вступилась. — Алина все сказала, и, по-моему, достаточно ясно. А куда будем вешать — после решим.

Следовало, наверно, на Алинин авторитет положиться, но Ласточкин, когда женщины удалились, снова приблизился к творению неведомого ему Уртикова.

Нельзя сказать, чтобы непонятно. Не заумь, нет. И рука твердая, умелая. Вполоборота женская головка с провалами незрячих глаз, на длинной напружинившейся выгнутой шее, крутая толстая задница, мясистая ляжка и игриво назад отброшенная непропорционально маленькая ступня. Будто танец. Где-то это все мелькало, впервые в ту пору найденное. Великие теперь имена. Замес из них, тех открытий, находок. Бесстрашно, диковато, головокружительно. Обывателю все еще хочется стыдливо опустить глаза, хотя понукают: смотри, деревенщина! И Ласточкину хочется, отчего-то ему сейчас неловко. А вместе с тем видит, чувствует: что-то еще тут есть, ну совсем знакомое. Коврики гладкие с лебедями в базарных рядах, с оранжевой каймой — загляденье.

Такое вот удивительное сочетание в этой картине. Тоже, можно считать, находка. Лично Уртикова? Или снова стянул у кого-то, жулик? Как знать, как разобраться? А может, права Алина? Надо к кому-то прислушаться, если собственного мнения нет. И нечего себе голову морочить.

Но к обеду неожиданно возник у них приятель Николаша, заскочил по соседству. Жена его в командировку с неделю как укатила, и потянуло, как он объяснил, неодолимо на семейный борщ.

Борща у Ласточкиных не оказалось, зато — картина. Ксана, сомневаясь в Николашиной компетентности, все же повела его взглянуть. Николаша вошел и присвистнул:

— Сила! Знал, что композиторы хорошо зарабатывают, но чтобы так! Это же целое панно, ему место где-нибудь в вестибюле почтенного учреждения. Ну, ребята, — он хихикнул, — поздравляю! Теперь я абсолютно спокоен за вас.

— Не дури, — Ксана нахмурилась. Такая реакция ее не устраивала. — Разъясни свое впечатление членораздельно. Нам важно, тебе первому показываем, советуемся, — привычно соврала она.

— Тогда... — Николаша отошел, приложил к глазам ладонь лодочкой. — Срам. Вот мое впечатление. Чтобы такое держать в доме, нужна аршинная подпись, к примеру — Сальватор Дали.

— Шут, шут гороховый, — проворчала Ксана. — Это известный художник. Уртиков. Не слышал?

— Ах Уртиков! — Николаша оттянул книзу и без того длиннущий домашней вязки свитер. — Уртиков? Тогда другое дело. Тогда — конечно. Сразу бы и сказали. А то — оцени.

— Ты знаешь, видел его работы? — Ксана встрепенулась. — Да перестань паясничать наконец!

Но Николаша — нет, не перестал бы и под страхом смерти. Грозный Ксанин вид на него не действовал.

— Я?! — воскликнул. — Об Уртикове? Ни плохого, ни хорошего, абсолютно ничего не знаю. Значит, говоришь, есть такой? Очень может быть.

Ласточкин хмыкнул. Но, честно сказать, реакция Николаши его тоже задела. Уртиков этот неведомый уже вроде оказывался своим, следовало взять его под защиту от нападков Николаши. В Ласточкине боролись противоположные чувства — ущемленное самолюбие и желание расхохотаться: ведь действительно влипли, что ни говори.

— Братцы, нет борща — дайте хотя бы чаю, — проныл Николаша. — И может, печеньеце найдется? Одно! Понимаю, что этим приобретением вы сильно пошатнули свои финансы, так хотя бы сухарик; а?

Ласточкин уже предвидел, с каким удовольствием Николаша понесет свежую новость по знакомым, как распишет со вкусом шедевр, ими приобретенный, в каком идиотском свете их выставит, но тут уже ничего не поделаешь. Издержки вращения в одном кругу. И хочешь не хочешь — сажай гостя за стол.

— А может, — жуя, продолжал Николаша издевательство, — она и неплохая, эта... панно. Кое-что можно замазать. Уртиков, вы потерситесь, согласитесь, быть может, за эту же цену? Некоторые места. Не все. Да не смотри ты на меня как тигрица, Ксанюша. Я же по-дружески. Воображаю, как он, Уртиков, сейчас загулял! Сколько всего приобрел на отваленную вами сумму... Да, между прочим, — вытер салфеткой рот, — направляясь к вашему дому, встретил супругу Гнездюкова, твоего, Ласточкин, соавтора. Такая шикарная, душистая, прямо-таки облако с собой оставляет. И мелькнуло почему-то совсем некстати: почему норковая шуба не бросается в глаза на знаменитой, скажем, балерине, а на заведующей овощной базой — да?

Ласточкин плохо спал в ту ночь и утро начал не в духе. Но, надо отдать ему должное, Ксану ни в чем не упрекал. Наоборот, у него было ощущение, что это он ее подставил, в историю с картиной вовлек. То есть через нее, его жену, над ним захотели насмеяться — и насмеялись. Немножко, конечно, бред, но какая-то линия тут просматривалась. Картина эта, ему чудилось, возникла в их доме не случайно, не просто так.

Хотелось сосредоточиться на простейшем: жалко денег. Большая все-таки сумма. Он не скряга, но — зачем, за что? Можно, конечно, постараться настроиться, что сумму такую он просто потерял, обронил, вытащили, в конце концов, у него бумажник — случается. Так не помирать же.

Но соображения о деньгах не заслоняли другого, неотвязного, унижительного и до конца непонятного. Чья-то будто проделка с определенной целью — и удавшаяся. Да-да! Ласточкина точно через силу тянуло к мерзостному изображению, чья вульгарность усиливалась, казалось, раз от разу. Так, вдруг обнаружилось, что на узком черепе приплясывающей крупнозадой дивы ни одного волосенка — лысая! Ласточкина передернуло, и даже сделалось зябко: почему раньше-то не заметил? Картина в самом деле будто менялась, распускалась все ядовитее, воспринималась Ласточкиным точно надругательство над ним.

И вместе с тем, все уже вроде сообразив, он прислушивался жадно к отзывам знакомых, которых — то ли по Ксаниному зову, то ли по совпадению — за прошедшие два дня прибывало к их дому в удвоенном, чем обыкновенно, количестве. Чем не развлечение! Глядели, высказывались. Ласточкина же задевала собственная уязвимость, всеми каждый раз угадываемая: он был точно флюгер, нуждался в чьей-то сторонней оценке, не имея будто своего соображения, своих глаз.

Они тоже, впрочем, не имели. С культурным, так сказать, уровнем в их кругу обстояло неважно. Почему, спрашивается, не обрели или когда растеряли? Творческие вроде деятели, а жили, значит, больше подсказками, слухами, заготовками, слегка варьирующимися в тех или иных обстоятельствах. Интересно, как в такой болтовне, разночтениях вообще критерии возникали? Кто устанавливал: плохо, хорошо? И кого, главное, всерьез это волновало?

Ласточкин видел симпатичные, в общем, лица своих знакомых, умеющих себя вести, высказывающих участие в забавном, хотя и не очень, событии: купили, теперь сомневаются. Сосед по гаражу, драматург Короедов, произнес вроде вполне простодушно:

— Что вы волнуетесь? Везде подстерегают подвохи. Купил вот мебельный гарнитур, а он через год рассохся, ни один ящик не выдвигается. Кому жаловаться? Импортное производство. А творческую продукцию если брать, тем более незачем так уж цепляться. Пускай висит. Понятно, собственные денежки отстегнули. Но как же тогда получалось, когда все держалось на меценатстве? Пожалуй, в те времена при таких-то придирках половина из нас с голоду бы перемерла. Шедевр, не шедевр?.. Если с таким подходом, я лично точно сменил бы профессию.

Ласточкин глотал, вынужденно улыбаясь. Мнилось ему, все точно ждали повода. Может быть, он заболел? Случается: грипп, скажем, температуры нет, а инфекция бродит, окружающее видится воспаленно, в искажении.

А ведь просили, всегда просили: сыграй, Ласточкин! И на концерты являлись, хвалили в артистической наперебой. Или его выступления бывали только поводом женщинам приодеться, мужчинам выпить после за чужой счет? Да он с ума сошел! А овации в зале? А рецензии, премии? Ну да, кое-кто из хваливших, писавших в газетах отзывы действительно были его хорошими знакомыми, но ведь

не все! А ставший почти девизом его «Ручеек»? Не может быть, чтобы и он блеф!

Лысая девка в зеленых трупных пятнах распространяла заразу. Возникла — и качнулось, поплыло. Ласточкин будто прикованный вновь и вновь в нее вперялся. «Что ты хочешь? Что хочешь?» — неслышно шевелил губами. Ясно, явилась, чтобы опозорить его. Как? Да просто доказав, что нет у него ни мнения своего, ни вкуса, и больше того, что она — его родственница. Тьфу, как только пришло в голову! Но какая знакомая, родная повадка, прищур когда-то запретного, влекущего и вместе с тем шлепающая наглая поступь изделия с конвейера.

Почему-то угадывалось, что девица эта рождена не одна, а в пачке, в потоке таких же точно задастых, лысых. Оттого, верно, что Ласточкин так страстно вглядывался в уртиковское творение, ему все больше открывалась манера ее создателя, лаборатория его, точнее цех. Как прозрение: их много, таких же точно лысых!

Нахлынуло неудержимо: Уртикова надо увидеть. Застать врасплох в мастерской. Схватить за руку. Если Лысая одна, уникальна, тогда что же, Ласточкин уйдет посрамленный. Но он был почти убежден: Лысая окружена сестрами-близнецами. Уверенность крепла, чем дольше он всматривался в плутоватую, базарную ухмылку своей блудницы. Кто же он, Уртиков? Вор, жулик, работник, родственная душа?

— Ты хочешь ее вернуть? — спросила Ксана, застав мужа опять возле Лысой.

— Н-нет, не знаю...

— Но я с тобой туда не пойду, имей в виду. И глупо. Денег он все равно не отдаст. — Вздохнула. — Была бы у нас дача, все бы уладилось: свезли бы туда.

Ласточкин, кажется, не услышал — настолько ушел в созерцание. Ксана коснулась его плеча.

— Да ты просто прилип. Изменил, что ли, отношение? Она тебя соблазнила, эта дамочка?

Ласточкин не обернулся. Он даже побледнел, осунулся за эти дни. Думал: важна внезапность. Иначе попрячутся сестры-близнецы. А если он Уртикова не застанет, дверь окажется заперта? Что, ждать, караулить? Не в деньгах уже дело. Надо успеть втолкнуть свою Лысую — и бегом. А вдруг погоня? И Лысую снова к нему водворят? И будет она отныне всегда с ним, каждый, кто в дом войдет, с ней поздоровается, игриво Ласточкину подмигнет: ка-а-кая...

Позор... Жить бы скромно, сводить концы с концами, не думать о предметах роскоши, антиквариате, коврах, картинах — тогда себя не изобличишь. Не узнает никто, что ты невежа, пошляк, нувориш. А для свиданий с прекрасным музеи есть. Смотри, расти — там все проверено, качество подтверждено знатоками. И ты ничем не рискуешь, не подвергаешься насмешкам за спиной. Слушаешь музыку, чужую, прекрасную, находя в ней и свое, себя, лучшее в себе.

— К тебе пришли, — раздался над ухом голос Ксаны. — Давняя, говорит, твоя знакомая и что вы договорились. Пластинку ты свою пообещал. На минуточку, сказала, не хочет тебя задерживать. Так выйди.

Ласточкин во всей этой кутерьме забыл: действительно, оставил Морковкиной адрес и день определил, час. В тот момент лишь бы отвязаться, с чувством неловкости, раздражения — так она на него действовала. Тоже будто что-то в нем обличала. Но почему-то не удавалось ему отмахнуться от нее.

Стояла в передней у самой двери.

— Да ты раздевайся, проходи, — сказал как мог приветливее.

Пока помогал ей снять пальто, промелькнуло: «Ну до чего мы все внушаемы, несамостоятельны в своих осуждениях и как трудно закрепленное уже мнение перебороть. Ведь прелестная, милая жеп-

щина, а я, столько лет прошло, вижу в ней прежнюю затравленную одноклассниками нескладеху и не могу себя перебороть».

— А, Уртиков! — услышал вдруг приветствие будто с хорошо знакомым. Взглянул обалдело на Морковкину, но она уже от Лысой отвернулась.

— Как ты узнала? — хрипло Ласточкин выговорил. — Где-нибудь еще его видела, Уртикова? Кажется, он не так знаменит... — взглянул не веря, с надеждой, подозрительно.

— Почему же, — Морковкина произнесла вроде без всякой охоты. — Уртиков тоже... в определенных кругах. Это ведь так все, условно. Одни знают, другие не знают. Кто-то видел, но не запомнил фамилию, а кому-то фамилия известна и больше ничего.

— А Уртиков, — продолжал Ласточкин осторожно, точно боясь спугнуть, — он что же, котируется? (В голове пронеслось: вот как, все из неожиданностей, а по глупости мог прохлопать, упустить стоящую вещь!)

— Ну тоже как посмотреть, с какого боку, — она обронила вяло. — Покупают. Ты вот купил... Уртиков, знаю, даром никогда никому не отдаст. Не тот принцип. Да и было бы бессмысленно. Зачем тогда такое создавать?

— В каком смысле? — Ласточкину не хотелось расставаться с возникшей уже было надеждой.

— Ну... такое. — Она сделала неопределенный жест рукой. — Чего тут. Сам понимаешь. А вообще-то он, Уртиков, был способный человек.

— А ты откуда знаешь? — Ласточкин спросил теперь слегка задиристо. Его Уртиков, и нечего эдак небрежно с ним.

— Знаю. — Морковкина взглянула, улыбнулась, отвела глаза. — Как-никак бывший муж.

У Ласточкина отчетливо в возникшей паузе лязгнула челюсть.

— Да я же тебе рассказывала довольно подробно, — сказала легко. — Там, в Доме литераторов. Ты слушал. Раз десять повторила: Уртиков, — рассмеялась, нисколько вроде не упрекая его. — Так ты, значит, только-только приобрел? Иначе, я думаю, на фамилию бы откликнулся. Вот совпадение! — Она еще больше развеселилась.

— И отчего же вы разошлись? — Ласточкин процедил, сознавая, что деваться некуда, приперт к стенке. — Ты, правда, говорила, ну а конкретней? Если, конечно, не неприятно тебе...

— Да чего же теперь... Конечно, была причина. — Прошлась по комнате, шутливо поклонившись Лысой. — Даже две, как обычно бывает. У каждого своя. Но за Уртикова можно не волноваться, он, как понимаешь, в порядке. А меня — просто смыло с его глаз. Он не тот человек, чтобы мучиться, терзаться за другого. Ну ты же видишь, — снова сделала в сторону Лысой неопределенный жест рукой.

— Что, что я должен видеть? — Ласточкин готов был уже озлиться.

— Как? — она в свою очередь удивилась. — Да все! Все видно, все слышно, и обмана тут не бывает. Срывы, неудачи — другое дело. Оступился, не одолел, не смог, попробовал еще раз, иначе, сызнава. Но все равно ясно, как в лице, так в глазах. Да что я говорю, ты отлично все сам понимаешь.

— Не совсем...

— А, ладно! — Она села в кресло, показывая всем видом, что не поддастся его заманиваниям. — Я только думала, — произнесла беспечно, — что не скоро, очень не скоро мы с Уртиковым встретимся. Надеюсь — никогда. И вот пожалуйста.

— Ты считаешь, так плохо? — поинтересовался он, притворно заискивая.

— Нет, почему же, — произнесла неуверенно, не желая Ласточкина обижать. — Тут другое. Существует взаимосвязь, как от нее ни

отмахивайся. То есть, к примеру, что-то ты делаешь, себя выражая или, напротив, поглубже запрятывая, но то, что у тебя получилось, вот это готовое, оно никуда не девается, не исчезает, хоть ты его в землю зарой. Обратным действием оно уже на тебя влиять начинает, обязательно, непременно. Все созданное вновь к автору возвращается и им тогда владеет. Точно, закон. И никуда не деться. Говорят, человек меняется, а просто что он сделал, то и получил, с тем и живет, и от этого не отступишься. Стра-аш-но? — округлила глаза. — А с Уртиковым мы вовремя разбежались. Ему, конечно, другая жена нужна была, сообщница в таком деле, — прыснула, не удержалась, — рискованном.

Ласточкин молча слушал. Она внезапно вскочила, подбежала к картине, почти вплотную прислонилась к ней спиной.

— Так и не узнаешь? Ну... — уставилась на него выжидательно. И с огорчением, непонятно только — искренним ли: — Это же я, я! Уртиков с меня писал, в первом по крайней мере варианте. Да, скальп вот снял. — Она оттянула с силой вверх волосы. — Я — муза. Ты разве не знаешь, какое название у картины? «Му-за». Муза художника Уртикова. Правда, сбежавшая, не выдержавшая. Знаешь чего? Скуки. Скучно невероятно, когда лепят, как пельмени... ха-ха, сомнительное твое подобие. Или пусть не твое. Но пельмени, пельмени... Ха-ха! — Смеясь, она изогнулась, коснувшись затылком изображения Лысой. — Но и самому Уртикову невесело. Ему только кажется, что он продукцию свою сбывает и хорошо зарабатывает, а ведь это все в нем, с ним! До других людей долетает лишь то, что с крыльями, и другое, ползучее, под ногами своего создателя копошится, копошится... — Она отдернулась брезгливо, будто действительно что-то коснулось ее ног. — Ну, разговорилась, — сказала вдруг твердо, трезво. — Я ведь на минуту, за пластинкой, и не хочу мешать.

Ласточкин молчал. Провел ладонью по подбородку, закаменевшему, точно на цементном растворе.

— Нету, — еле челюсти разжал. — Разлетелись и пропали без вести. Упали на пол, и я их растоптал...

... — Ну знаешь, это уж чересчур! — Ксана, возникнув перед ним, произнесла негодующим шепотом. — Эта женщина, твоя знакомая, которая за пластинкой, она же тебя ждет! Не знаю, о чем еще с ней говорить, уже и о погоде и о Вовочке... Спрашивает: что ей, в другой раз зайти?

Неторопливо, добросовестно, с прочувствованным усердием Ласточкин водил сверкающим станочком фирмы «Жиллетт» по щеке, покрытой душистой зеленоватой пеной крема «Пальмолив». Решил освежиться еще раз к вечеру: у Толика ожидался большой сбор. Толик прекрасно готовил и в этот раз обещал телятину с персиками. Ксана с утра посетила косметичку для полной боевой готовности. Толик звал к восьми. В семь двадцать Ласточкин вышел из ванной, окликнул жену: ты готова?

У Толика они чувствовали себя своими людьми. Знали, что звонок может быть не услышан и надо стучать в окованную листовым железом дверь три раза. Толик на такой сигнал мгновенно откликался: свои, значит, посвященные. В темном, с двумя рядами золоченых пуговиц, так называемом клубном пиджаке, с бабочкой в мелкий горошек — само обаяние. Обнимался с Ласточкиным, к руке Ксаны прикладывался, усами щекоча: «Проходите, проходите, дорогие». А народу!..

Тянулись к длинному столу, заставленному выпивкой, закуской. Наливали, накладывали, отходили, собирались в группки — все как полагается на настоящем приеме. Для завершенности полной там присутствовал даже иностранный корреспондент, давно примелькав-

шийся, впрочем; корреспондений его никто из присутствующих никогда не читал.

У Толика было шикарно. Чердачному помещению он сумел придать и роскошь и артистическую изысканность, использовав необычность своего жилья, простор, метраж, поражающие московских квартиросъемщиков. А какие редкости Толик собирал! Настоящий старинный Веджвуд, фарфор тончайший лиможский, светозарные вазочки Галле. Стены сплошь в гравюрах, несколько икон, не в стиле, правда, но уж действительно редкостных. Собственные картины Толик не вывешивал, они у него в другом месте хранились. Впрочем, творчество Толика имелось в домах у большинства его гостей.

Это как бы стало приметой их круга, знаком приобщенности — яркое пятнистое изображение девы, одной и той же, в позах, лишь слегка варьируемых, да и тональность красок Толик почти не менял. Тут-то и была вся соль, вся необычность его творческого метода. Он оставался верен своей деве, своей музе. Одна-единственная, она поселилась уже во множестве квартир и, оставаясь все той же, неизменной, могла бы заполнить собой и весь город, да что там — мир! Толик не уставал упиваться томной негой своей довольно-таки плотной избранницы, настолько своеобразной, что даже отсутствие волос ее не портило, придавало как бы особый шарм. И постоянность такая его чувства находила поддержку у его знакомых, знакомых его знакомых, и все дальше, все шире расходились от центра круга.

А почему нет? Кто сказал, что художнику нельзя посвятить себя одной теме? Так бывало? Бывало. А если в точности картину повторить, разве перестает быть подлинником повторение? Ничего подобного. Примеры были? Были. Ну а Толик Уртиков просто дальше пошел, углубил, так сказать, развил: писал только свою деву, музу, повторял ее точь-в-точь многократно. И почему, собственно, нет?

Его почитатели — или скорее клиенты — не жаловались, напротив, гордились, что у них на стене абсолютно такая же муза висит, как висела она, было известно, у людей весьма именитых: у одного члена-корреспондента, у знаменитой певицы Зайцевой, у популярного песенного композитора Ласточкина...

Ласточкин и являлся крестным отцом художника Уртикова: он его открыл, благословил, помог на первых порах. Тем, что говорил. В материальном-то смысле Толик в поддержке не нуждался: благодаря чутью, сообразительности, коммерческой тоже жилке он на антиквариате очень неплохо существовал. Да и теперь это оставалось неким подспорьем, хотя и не столь, конечно, уже важным: муза основной приносила доход.

Глядя на Толика, казалось очевидным, что благополучие, благосостояние на нормального здорового человека действует в высшей степени благоприятно. Он был улыбчив, бодр и на чужой успех не скрежетал зубами — благодаря «Музе» ему хватало на все. Безупречный его вкус сказывался в обстановке жилья, в сервировке, яствах, которыми он гостей потчевал, в ботинках, галстуках, рубашках — тут он являл себя безусловно как истинный художник, как артист. А побывав у него в мастерской, кофе попив из прозрачных, точно скорлупки, чашечек, узнав между делом, с кем Толик по субботам в бане финской парится, кто смел уже усомниться в его даровании? Получить одну из его работ представлялось тогда необыкновенным везением, тем более что и цена подтверждала качество.

А как искусно Толик умел вести беседу со своими потенциальными покупателями! Тут все было срететировано, разыграно с явным талантом. И беглое знакомство с редкостями, Толика окружающими (вот же, пригодился и период, довольно опасный, в иные моменты и унижительный, за черту, случалось, ведущий, когда он, так скажем, специализировался на старине), и свободный обмен новостями из интеллектуальной духовной сферы (Толик всюду бывал, со

всеми дружил), где он не опасался осечки в оценках новой книги, недавней постановки: субботняя баня не только благоприятствовала в плане здоровья, физического самочувствия, но там же из первых рук получал он сведения, что стоит считать удачным, кого поддерживать, а где пожать лишь плечами, замолчать, закопать. В волглых парах, запахах пронзительных, душистых решались судьбы людей, творений. Вот на какую Толик поднялся высоту.

На этом новом этапе трудно уже было сказать, кто кому покровительствовал, Ласточкин Уртикову или Уртиков Ласточкину. Да и не важно: спайка произошла. А в нынешнее время в любой области, оба считали, без нее не обойтись.

Дружба? Скорее кооперация, и оба деловую основу своих взаимоотношений нисколько не скрывали. Зачем? Ласточкину уже одно это принесло облегчение. «Хватит метаться, таиться», — повторял он про себя.

После сближения с Уртиковым для него наконец наступила ясность. И странным уже казалось, как долго он сам себя терзал. Выяснилось, что все куда проще и в жизни и в творчестве. И чего он раньше-то медлил? Надо было только порожек переступить.

Благодаря Уртикову Ласточкин впервые, пожалуй, по-настоящему ощутил свою силу. Точнее, силу таких, как он, для которых сомнения отброшены, выбор сделан. И они — монолит. В сплоченности — гарантия безопасности. Любые наскоки, нападения при такой броне не опасны.

А мнение публики, критики? Да кто в это верит, кого это устрашает! Дешевый маскарад! Чуть сдвинуть маску — и сразу узнаешь знакомую физиономию хитреца, ловкача, вздумавшего сыграть в принципиальность. На него обижаться? Воодушевляться его похвалой? Да смешно, право!

А слушатели? Кто сидел в зале на его, Ласточкина, концертах? Сплошь знакомые Ксаны. И, разумеется, дружно хлопали. А почему нет? С в о и — это мощь, защита, капитал, если умеешь своих ценить, поощрять, одаривать ответной поддержкой.

Среди посвященных своих можно и открытием поделиться, что в с е сходит, любая авантюра, халтура глобальная. Удивительно, но это так. Чем меньше стесняться, тем выигрыш вернее. Лишь бы не дрогнула рука, не закралось бы нечто, похожее на раскаяние. Если такая бактерия еще блуждает в крови — не жди побед.

Ласточкин сознавал, где его подстерегает опасность — именно в подобных колебаниях, щемлениях, впрочем почти уже им преодоленных, задавленных. И дрожь даже пробирала, когда на мгновение представлял, что бы его ждало, останься он одиночкой. Ничьим. Какая безумная отвага — рассчитывать на одного себя, одному пробиваться. Да и с какой целью, ради чего? Чтобы в изматывающей погоне, бреду, бессоннице пытаться настичь мелодию, не слышанную еще никем? Да нет ее, мираж она, химера.

Ласточкин ощущал теперь себя так, точно счастливо избежал угрозы, преодолел искушение. И спас его Толик, Толик Уртиков. Появление у него в доме Лысой — разве не перст судьбы?

Ведь как Ласточкин прежде существовал? Со стороны, возможно, не разобраться, но сам-то он отлично помнил, как отравлялись все его прежние удачи, победы. А что мешало, причиняло страдания? Музыка... Та, подлинная, настоящая, что вынуждала трепетать, слабеть, сознавая собственное ничтожество, но при этом еще и коварно возбуждая дерзкое желание добыть хоть кроху, хоть каплю самостоятельно, — дразнила, соблазняла, доводила до иступления, внушая исподволь, что нет слаще муки. А каково вознаграждение? Каков конкретный результат, где он? Он и невозможен, попросту исключен. Таково условие — в постоянной неутоленности, неудовлетворенности, кто н а с т о я щ е е ищет.

А между тем пожалуйства — есть вполне реальные плоды. Есть те, кто ими пользуется — и довольны, уверены в себе. Скажем, Уртиков, его окружение. Ласточкин готов был у них учиться. Старался, почти уже сделался своим, почти... Но все же что-то, какая-то совсем малость мешала. Поэтому каждый раз приглашение к Уртикову воспринималось им и как испытание: чтобы не заподозрили они его, не уловили чуждый дух, в котором он, Ласточкин, ведь несколько не был повинен и который, впрочем, обещал в ближайшее время на чисто выветриться.

Разумеется, человек одаренный обязательно отыщет повод, чтобы попереживать, потерзаться, что известно, но, кстати, знанием таким как раз можно душевное равновесие себе возратить. Кажется, что слабеет твой дар, что ты сползаешь, исхалтуриваешься, почти уже исписался, так вспомни, что именно для талантливых, незаурядных характерен подобный страх. Они вот и склонны принижать собственную продукцию, сомневаться в своих способностях, в верности избранного пути. Вспомни и успокойся, не мучайся понапрасну.

...Ласточкин с удовольствием втянул терпкий, слегка горьковатый запах английского одеколона, оставшийся на ладонях, после того как он, побрившись, щеки растирал. С удовольствием нарядную Ксану оглядел. И по привычке на прощание бросил взгляд на пятнистое изображение, занявшее почти всю стену. Крупнозадая приплясывающая Лысая стала теперь и его музой, талисманом, вехой в пути.

Весеннее майское утро призывало приняться за дело спозаранку. Светлые оконные шторы налились солнцем, праздничной радостью бытия. Кофе дымился, тлела в пепельнице ментоловая сигарета фирмы «Салем». Ксана с притворной суровостью отчитывала Вову, который только что надетые белые гольфы успел извезить, забравшись под кровать.

Ласточкин сидел за столом на кухне, где самоварное убранство сменилось коллекцией пивных иностранных кружек. Держал перед собой развернутую газету «Советская культура», но мысленно был далеко. Нынешний день волновал его повторением и несходством одновременно. Когда-то... то же самое было совсем иным. Сам он тогда не понимал, и ладони вспотели от, вероятно, передавшегося ему волнения мамы. Кроме того, присутствие большого количества сверстников возбуждало. Бойкие и пугливые, они не давали ему сосредоточиться на том, что его ждало. Он глядел жадно, нетерпеливо, мечтая оторваться от мамы, выкинуть какую-нибудь шалость, чтобы его заметили. Хотелось отличиться, главенствовать, подчинить, а потом уже разобраться, с кем дружить, на кого наскакивать. И не знал он, что обыкновенные такие мальчишечьи дворовые намерения отлетят от него вот-вот навсегда.

И мама не знала: у них в роду не было музыкантов. Даже не вспомнить, кто обронил: а у мальчика способности... — с чего все и началось, закрутилось.

Какая наивность, авантюризм — просто взять за руку своего ребенка и окунуться с ним вместе в толпу родителей с детьми, тоже решившихся, надеявшихся... Во дворе той школы цвели малорослые, искривленные вишни, а из раскрытых окон ливень звуков навстречу в лицо хлестал. Поток, мешанина, разноголосица их воспринимались как обещание чуда. Так же журчало, урчало, плескалось в оркестровой яме, прежде чем собраться, скреститься в едином луче по знаку дирижерской палочки.

Себя Ласточкин в тот день плохо помнил: детское сознание в основном существует впечатлениями извне и потому объективнее, справедливее, но быстрее стирается. Позднее, как бабочка на яглу, все пережитое, весь опыт нанизывается на довольно-таки короткий шпе-

нечек — точку зрения своего «я»: я вошел, я посмотрел, подумал, мне показалось...

Ласточкину показалось, что почти ничего не изменилось. Цветущие вишни окружали кирпичное здание школы, неказистое, приземистое, но вместе с тем и приподнятое как бы все той же упругой волной несущихся из распахнутых окон пассажиров, трелей. Невольно сжал ладонь сына, почувствовав, разом пережив и тревогу, и надежду, и ответственность с удвоенной силой. Правда, теперешняя ситуация иначе складывалась: в отличие от своей мамы Ласточкин отлично знал, куда шестилетнего Вову ведет. И откуда — не с улицы. С бывшим однокашником, ныне доцентом Димой Кроликовым Ласточкин договорился, чтобы он лично Вову прослушал. А после уже наступит черед формальностей: заявление, документы. Кстати, на экзаменах в приемной комиссии Кроликов же и председательствовал.

Вошли в вестибюль и напрямик к лестнице. Будто во сне: двадцатилетия минувшего как не бывало, давнее прошлое сомкнулось с настоящим стык в стык. Холодок пополз и сдавился в груди льдыстым комочком: дни зачетов, экзаменов по специальности вспомнились, когда школярский страх сплетался уже с ощущениями из другого ряда — волнением артиста перед выходом на сцену, с колебаниями то к обморочности тошнотной, то к страстной, нетерпеливой лихорадке, чтобы сейчас же, вот сейчас...

Ласточкин узел галстука поправил, чисто шелкового, благородной расцветки, темно-бордовая точка и глубокий синий фон. Следило вернуть себя к реальности, чтобы не утерять под ногами почву: он известный композитор, добился многого, сумел, достиг... Вот тот же Кроликов по телефону соловьем разливался: «Старик, это же замечательно! Приводи, приводи своего вундеркинда!» Торопился, аж задышался от энтузиазма. Ласточкин, конечно, виду не подал, что польщен.

Вот так. Вот о чем надо помнить, на чем крепить, так сказать, преемственность — с уже достигнутого им, отцом. И линия, подхваченная сыном, будет все круче набирать высоту.

Вова вырвался, понесся, топоча, по гулкому коридору. Ласточкин, забыв о себе теперешнем, струхнул: уж очень все навевало — портреты на стенах, фотографии, окна, двери.

— Ты что?! — нагнав сына и всерьез осерчев. — Ти-хо! — Но смягчился: свое ведь, родное. — Соберись, будь умником. Пойми, это очень важно!

Вова улыбнулся озорно, щекастый, балованно-дерзкий, единственный. Ксана нарядила его в щегольскую, с блестящими заклепками курточку, вельветовые, до колен брючки. Ласточкин взглянул на продолговатый овал из черной пластмассы с цифрой «девять», прикрепленный к белой двустворчатой двери. Точно, тот самый класс. Окно, упертое в слепую стену соседствующего здания, кактус на каменном, в искорку подоконнике, ряд жестких стульев у стены и два рояля, стоящих параллельно друг другу. В нос сразу, как запах хлорки в бассейне, ударила россыпь ненавистного Черни. Повернутое на скрип отворяемой двери лицо ученика-подростка и охи-ахи ринувшегося навстречу Димы Кроликова. Обнялись и мгновенно отпрянули в нахлынувшим столь же быстро смущениям: чужие. Ощупывающие взгляды пересеклись, и каждый свое увидел. Ласточкин: отросшие сальные пряди волос, топорщившиеся на Димкином затылке, вытянутый ворот водолазки тощую, жилистую шею открывал, узкогрудый, потертый стоял перед ним — сверстник.

— Так Саша ты понял? — Кроликов обернулся к ученику. — Рапсодию изволь наизусть к следующему разу. Пока ты в тексте плаваешь, мы с тобой никуда не воспарим. И непременно переучи в финале, как я сказал, аппликатуру. Потом оценишь, поймешь, что я прав. Не упрямясь, — коснулся вздернутого колюче плеча ученика.

Ласточкин про себя усмехнулся: Кроликов даже в манере говорить, растягивая гласные, работал под старика Ник-Ника, то есть профессора Всевожского, у которого они оба когда-то учились, благоговей, боготворя. Ник-Ник в своих насмешках бывал убийствен, неистощимо разнообразен, а в гневе страшен, сокрушитель. Природная грация, старомодная тщательная благообразность нисколько не смягчали его взрывчатости. Оставалось только удивляться, как за сорокалетнюю педагогическую деятельность Ник-Ник так и не свыкся с тупостью, серостью, хотя и те, кого он клеймил, топтал, не могли не поддаваться его обаянию. Его ругань, вопли воспринимались как бы доверительностью, признанием, что и они могут, могут — да, все. Хоть на чуть-чуть, на рывок лучше, выше. Ученики выходили из его класса выжатыми, со звоном в ушах, с туманными, блуждающими улыбками: Ник-Ник таки заставил их пусть на мгновение, но оторваться от земли. Он раздавал им свою легучесть, как донор, пока в нем самом не иссякли силы, жизнь. Портрет Ник-Ника висел в коридоре у класса под номером девять, где теперь Кроликов Дима преподавал. Ласточкин вздохнул, не найдя ничего утешительного в таком сопоставлении. Хотя обычное дело — в пору нашей молодости и снег выпадал пышной, и солнце светило ярче.

— Ну-с,— Кроликов наклонился к крепенькому, невозмутимо ожидавшему Вова,— что мы умеем, молодой человек? Чем можем поразить?

Ласточкин мысленно поморщился: тон, обращение Кроликова с его сыном отдавали явной фальшивкой, оскорбительной, как ему показалось, в столь ответственный момент. Он-то о Диме отличных отзывов наслушался: прекрасный, мол, специалист и только в его руки... А получалось, по знакомству когда, все лишнее и налипает? Димка тоже сравнивает что-то наверняка — и кто поручится за беспристрастность его оценки? «Вот и не знаешь, как лучше, как верней, может, и с улицы»,— у Ласточкина промелькнуло.

Но Вова уже вскарабкался на табурет, вытянул к клавишам руки. Ласточкин опустился на стул у стены с внезапной слабостью, его самого поразившей...

...Так жарко, что ослепило, защипало от пота глаза; вынул платок, отер виски, щеки. Молчал. Кроликов тоже молчал. Вова крутанулся на табурете.

— Ну что же,— Кроликов провел по круглой стриженной его макушке,— ты фотографии в коридоре видел? Вот пойдй погляди, а мы пока тут поговорим с твоим папой.

Молчали. Кроликов достал из кармана пачку сигарет.

— Куришь, нет? — Вдохнул, выпустил дым.— В общем, старина, тут дело такое, сам понимаешь...

От этой невнятицы у Ласточкина напряглись, заходили желваки. Кроликов угадал и произнес иначе, твердо:

— Словом, парнишка у тебя хороший, смысленый, и жалко, смысла нет на него такое взваливать. Только искорежишь. Данные не те,— отрубил.

Ласточкин узнал по интонации, по выражению его лица беспощадных диагнозов их школы. Годен, не годен — предельно краток ответ. Ну уж по старой дружбе Кроликов, верно, счел нужным дать пояснения. Ласточкин решил, что выдержит все до конца. Изобразил спокойствие, внимание. Кроликов, оценив, приободрился.

— Вспомни, вспомни нас, себя! — произнес вдохновенно, убеждающе.— Вот твои возможности, музыкальность — тут всем было ясно. А то ведь, я уверен, тоже ты хлебнул.— Паузу выдержал.— А сейчас у нас отбор еще жестче. И что могу сказать? Да то, что опять же ты знаешь. Удерживаются, уцелевают единицы. Отчего середняки отлетают, это неинтересно. Но вот когда талантливые — почему? Почему? Знаю десятки, сотни вариантов упущенных, нереализованных

задатков, загубленных перспектив. Одних то заело, других другое, третьи сами будто нарочно, назло, четвертые... И вот думаешь: да что могло быть важнее, ценнее? И ничем это не заменишь, не утешься. Когда знаешь — было, было! Такая редкость — выпало, и ты сам... Почему?! Почему?! — Он сжал в ладонях виски, точно всерьез сейчас горя, жалуясь. Кому, Ласточкину? Тот наблюдал с каменной неподвижностью. — А вот еще хочу тебя спросить... — Кроликов замялся. — Ты сам с сыном занимался? И тебе казалось...

— Казалось. — Ласточкин взглянул прямо Кроликову в глаза. — Бывают такие случаи, когда и профессиональные навыки подводят, ты не находишь?

Бывший одноклассник стиснул протянутую Ласточкиным руку.

— Ну конечно! Мне бы, как ты понимаешь, куда бы было приятней, но честность прежде всего, особенно на начальном этапе. Зачем коверкать судьбу? Парень же у тебя отличный, сообразительный, подожди, понаблюдай, к чему у него склонности. — И добавил: — У меня вот дочка... — Кроликов вдруг понизил голос, произнес скороговоркой, в спешке: — Но разумеется, как ты понимаешь, любые способности можно и заглушить и развить. И тоже известны примеры, когда... — Он закашлялся. — Словом, что касается конкурса, то твой сын, считаю, поступит. Ты его еще кому-нибудь из наших показывал? Ну ладно, я сам этим займусь.

Бывшие одноклассники обменялись рукопожатием. Ласточкин вышел, с подчеркнутой бережностью придерживая за собой дверь. Обещанная поддержка не смягчила пережитое им унижение. Это была вторая в его жизни пощечина, после той, во Дворце культуры. Зудящий голос Кроликова застрял в ушах: набор банальностей, таланты, перспективы — тьфу! Но сквозь обиду родительскую что-то другое саднило. Нелепый вопрос «почему?», на разные лады повторенный Кроликовым. Почему... Ласточкин приостановился: поймал себя на том, что думает уже не о сыне. Да, черт возьми, был бы он в себе увереннее — ну в даре, в способности своей к чему-то большему, значительному, — упрись он в это, сосредоточь тут свои силы, и тогда действительно ведь все остальное ерунда. Шелуха, болтовня, глупость. Что же, значит, он ошибся, занизив свои возможности? Почему же не подсказали, не остановили? Ведь это, ведь это что же... Не успев додумать, он огляделся.

Длинный, покрытый линолеумом коридор был пуст. Ласточкин хотел позвать и замер, пригнулся, точно его ударили.

На подоконнике в распахнутом настезь окне сын стоял, вперед наклонившись. Пятый этаж. Обмирая, Ласточкин приблизился, схватил рывком.

— Ты что? — шепнул онемевшими, чужими губами.

— Там, — сын вниз показал, — мальчишки в футбол играют. Папа, скажи, я тоже так смогу? Ну когда вырасту?..



ЛЕВ ОШАНИН

★

МОИ ФЕСТИВАЛИ

Лирический репортаж

Отшумели московские дни фестиваля,
А в ушах все тамтамы и бубны гремят.
Как на горном, открытом ветрам перевале,
Я невольно оглядываюсь назад.

Будапешт. 1949

Мой первый фестиваль был на Дунае,
Где мне открылась молодость иная.
Людские замелькали единицы
В смешенье песен, языков, одежд.
Стал первою моею заграницей,
Моей второю книгой Будапешт.
Весь город был в плену у молодежи
Восьмидесяти, кажется, земель.
Я с ними восемьдесят жизней прожил
В бессонном беге этих двух недель.
Вся радость затаенная на свете,
Вся боль и горечь тех десятилетий
Обрушились без спроса на меня.
Из Африки явились погорельцы,
И партизаны-греки, и корейцы
Из-под американского огня.
Одна земля нас молоком вскормила.
Мы понимали все — и боль и страх.
Горел ночной костер. И Клятва Мира
На всех, на всех звучала языках.
Уходят годы. Мир неузнаваем.
Я видел столько улиц и морей,
Но тот костер венгерский над Дунаем
Не умолкает в памяти моей.

Прощальный вечер в Берлине. 1951

Памяти Анатолия Новикова.

Все просто, казалось бы,— митинг окончен.
 Я с нашим послом на трибуне стою.
 А площадь запела. Все звонче и звонче
 Запела упрямую песню мою.
 Я помню, как первые строки живые
 Слетали с пера, торопясь в эту даль.
 Я помню, как Новиков тронул впервые
 Припевом ее зазвучавший рояль...
 Порой говорят песневеды, что песню
 Поют миллионы,— но где же их след?
 Их адрес, как правило, нам неизвестен,
 И кто же их знает, поют или нет.
 А здесь от нее уже некуда деться —
 Под сотнею разноплеменных знамен
 В Берлине ночном, по подсчетам немецким,
 Стоит миллион и поет миллион.
 С трибуны послу остроглазому видно
 Сплетенные руки, друг с другом на ты.
 На площади Маркса, на Унтер-ден-Линден,
 На всех магистральных поющие рты.
 А лица — ты их не срисуешь, не снимешь,—
 На каждом читаешь надежду свою.
 И строгий посол наш поет вместе с ними,
 И я рядом с ним как умею пою.
 Все в жизни он ведает не понаслышке.
 Но что с ним, солдатом суровых времен?
 Хватает он руку мою, как мальчишка,
 Кричит: «Это он написал, это он!»
 Я вырвался, кинулся вниз по ступеням.
 Застрял посредине, вплетенный в мотив,
 И замер, застыл, околдованный пеньем,
 О прошлом и будущем вовсе забыв.
 А песня уже уходила в безличье,
 И я не заметил, что ей не родня.
 Что Пырьев Иван в режиссерском величье
 Торопится к площади мимо меня.
 «Мешаешь! — взревел он, ладонь поднимая,
 Нацеленный четко куда-то вперед. —
 Не видишь. я гимн молодежи снимаю!»
 И локтем крутым саданул мне в живот.

 ...Пусть больше уж я никогда не услышу
 Тех жарких, тех страстных живых голосов —
 Раздвинув берлинскую звездную крышу,
 К вселенной они обращали свой зов.

Потому что мне восемнадцать

Это строчка из пьесы, а я ни при чем —
Сколько можно гореть, и взлетать, и взрываться...
Ты ступай, подпирай это небо плечом,
Потому что не мне, а тебе восемнадцать.
То светлеет, то ветер темнит синеву.
Как за окнами поезда миру меняться.
Почему ж я спешу, и лечу, и плыву —
Неужели, друзья, мне опять восемнадцать?
Города... Что ни месяц, то новый прыжок.
За полгода четырнадцать — мало иль много?
Это Ямбол и Омск, Ярославль и Торжок,
Хиросима и Кондопога.
И гремящего сердца никак не унять.
Вновь влюбляться, и верить, и вновь сомневаться...
Почему в этот омут бросаюсь опять?
Неужели по-прежнему мне восемнадцать?
...Все в тебе наливается соком, растет.
Первый ус уже начал слегка завиваться.
А в глазах твоих скука и тихий расчет.
Не тебе, мальчуган, это мне восемнадцать.
Нет, я годы свои никому не отдам
И с тобою, мальчишкой, не стану меняться.
Годы льются, а сердце не верит годам.
Что же делать мне, если ему восемнадцать?



Б. ЕКИМОВ

★

РАССКАЗЫ

Солонич

1

Дом Солонича стоит посреди хутора, у кургана. Он виден изда- лека, веселый, в резных наличниках, ставнях, железная кры- ша под свежим суриком пламенеет, словно рыжее вечернее солнце.

Самого Василия Солонича трудно на хуторе потерять. Топора ли, молотка его стук, голос пилы днем доносится от колхозной плотниц- кой, от амбаров, от фермы; вечерами да ранним утром стучит Солонич у себя во дворе. Работы хватает: один в хуторе плотник и столяр. То- му табуретку, тому скамейку, двери ли, рамы связать, творило для по- греба, ворота, вдовам да мужикам поплоше, тем и грабли, косье, че- ренок ли, топорище — мало ли дел...

Лишь порою сенокосною не берет Солонич заказов. Баб у него в семье много: мать, жена, две дочери; помощник — сын Витька — пока лишь растет. А на подворье коровка, бывает, и две стоят. Хозяин — детский, коровы должны быть молокастые, значит, сенца им подавай. Да не абы какого, не болотной куги, не бурьяна. Коровы Солонича займищного сена и есть не станут. Подле коров овечки да козы зиму- ют, а иной раз и бычок-зимнух.

Солонич начинает косить прежде других, в местах укромных. Еще о сене вроде не думают, оно лишь подходит. Выйдут на обережь реки: не цветет трава, рано косить.

Но в степи, на взлобьях, прогретых солнцем, в падинах, глядящих на юг, по склонам балок уже колышет теплый ветер колосок аржан- ца, издали чует пчела сладкий дух желтоглазого донника и белого буркуна, чилига да вострец, едовый пырей, желтоголовник ждут косы.

В эту пору двор Солонича затихает. По уграм будит детвору пе- туший крик. Ранним утром, еще во тьме, на старом велосипедишке, с косою у рамы хозяин исчезает, и вечерами после работы нет его.

Нет и нет день, другой, третий. По хутору пошли разговоры: «Со- лонич косит...» Где-то видели его: на Ярыженских буграх, в Батякиной балке и вроде у колхозных садов. Бабы начинают тревожить своих мужиков: «Солонич косит...»

А пока суд да дело, Солонич уже приволок первой ходкой огром- ный воз зеленого, на весь хутор пахучего степового сена. Навьючил на тележку копен десять хороших, не менее. «Белорус», тракторе- нок, с трудом подтянул воз к Солоничеву подворью, пыхнул дымком и смолк облегченно.

Солоничева баба и мать вдвоем выводили скирд, переходя с угла на угол, середку утаптывала дочь Ольга. Сам хозяин без устали кидал и кидал косматые пласты легкого, неулеглого сена. Ему помогал **ли,**

мешал семилетний сынишка Витька. Трехлетняя Танюшка топотила мужикам вослед. Солониचेвы бабы с трудом успевали.

— Папка! — кричала дочь. — Поттише вали! Не балуй!

Порою ее и впрямь заваливало, лишь белый платочек торчал из сениного легкого облака.

— Папка! Не балуй! — сердито кричала она.

— Вали, вали! — подзуживал Витька. — Навовсе ее...

Плыл по хутору бередящий дух молодого сена. Бабы и старики, ожидая на выгоне коз да коров, глядели, как весело зачинается стог на подворье Солонича. Солнце садилось большое, каленое, горели на небе высокие облака, а у Солонича клали стог. Смеялся хозяин, жена да мать его поругивали не всерьез, Ольга совестила:

— Папк, ты — как маленький...

Семилетний Витек и малая Танюшка кувыркались на упавших с воза пластах. На них шумели сверху:

— Сено не толочите! Отец, чего ты их не прогонишь! Нехай идут скотину встречать...

Сено сложили в сумерках. Стог, не свершенный и потому кургузый, поднялся высоко. Солонич подставил лестницу, помог бабам слезть. Мать он поддерживал осторожно, с женой побаловал, дочку поймал на руки, она без лестницы ящеркой скользнула со стога.

— Молодец, хорошо топчешь, — похвалил Солонич. — На тот год на углы станешь, сделаем из тебя стогоправа.

У него на душе было празднично, словно не лежал позади длинный день от белой зари до нынешнего сумеречного часа. Было хорошо, как всегда, когда начнешь сено возить. Что ни говори, а позади большая работа. Как вспомнишь: ездил, места удобные приглядывал да опасался, не опередили бы... Как, считай, не спал всю неделю, косил и косил с серых утренних сумерек — до работы и потом вечером — до темной ночи. Косил, переворачивал, копнил и все торопился, поглядывая на небо. Хоть и говорят старые люди, что сена без дождя не бывает, но это присловье лишь на худой конец, для утешенья. Нынче, слава богу, обошлось без дождя. Первый воз — зеленый, пахучий — на месте. Второй уже в копнах. И душа на покое. Завтра привезти, стог завершить, закрыть его — и голова не боли.

Настроение было доброе, и он повторил:

— Витьку на тот год середку топтать, а тебя — стогоправом. На всю жизнь специальность...

Он засмеялся, обнимая дочь за узкие плечи, а Ольга вдруг заплакала и кинулась бежать. Солонич не мог ничего понять.

— Доча! — окликнул он.

Но Ольга убежала.

— Она целый день ревет, — доложил Витька.

— Со школой, с отметками, — объяснила жена. — Отметку по математике не поставили.

— Как не поставили? Почему? Она ж вроде... Никто не жалился.

— Всему классу не вывели. По математике весь год... Одна учительница уехала, а другая вовсе убегла. Вот им и не вывели. Она ревет.

Солонич объяснение жены не больно понял. Дочка с первого класса хорошо училась, не ругали ее учителя. Он недоуменно повертел головой, повздыхал, полез за куревом.

— В бане вода горячая, — сказала жена. — А я пойду доить, ты иди, а то остынет.

— Иду, — ответил Солонич, но никуда не ушел.

Витька успел за сестрою сбегать и, подлетев к отцу, сообщил:

— Разведка докладывает, она на курганике сидит.

— Понятно, — отозвался Солонич. — Ты, Витек, давай к бабке, пускай вечерять собирает.

— Есть! — четко ответил сын, отдавая честь. Он где-то раздобыл военную фуражку и какой уж день щеголял в ней.

Задами обойдя свой двор, Солонич вышел на курганик. Дочка и впрямь сидела там, наверху.

— Доча... — позвал он. — Олянька!

Дочь не ответила, пришлось к ней подниматься.

Курган этот, не больно высокий, кликали ласково — кургаником. Старая родительская хата стояла к нему прислоненная, теперь новая — на том же месте. С курганика зимой каталась детвора на лыжах да санках. Летом молодежь собиралась, по старому обычаю. Правда, теперь молодые переводились. А еще недавно гомонили до зари.

Дочка сидела наверху, обняв руками коленки. Белый платочек светил в полутьме.

— Доча... — подошел к ней Солонич и присел. — Чего ты, дочь? Ты скажи, я ж ничего не знаю толком.

— Я не виноватая... — глотая слезы, проговорила Ольга. — Я все задачки порешала. С Амочаевой Таисой все порешали, нам Таиса Николаевна помогала. Весь задачник. Мы разве виноваты, что нет учителей? И по немецкому, а теперь математика. Из районо приехали — и всем черточки. Оценок не ставить. Вроде мы весь год не учились. Кто нас теперь куда примет? Ни в какое училище... Правда что скирдоправом... Или к мамке на ферму...

Ольга заплакала, ткнувшись головою в коленки. Солонич начал вроде понимать, а дочкины слезы так были ему горьки, хотелось остановить их. Он гладил ей голову, плечи, спину. Как было раньше просто: «У собачки — боли, у кошки — боли, у Оляньки — заживи...» — и подуть на болючее. Теперь выросла, и так незаметно.

— Доча, ну не реви... Давай обдумаем. Не реви, а то и я сейчас закричу, да в голос, весь хутор сбежится.

На западе, там, где солнце зашло, было еще светло. Четко виднелась темная зелень колхозных садов, поля с пшеницею, кладбище с могилками. Небо не остывало, ему светить по-летнему долго.

А за спиною, от займищного леса, уже пришла ночь со звездами, редкими голосами птиц, тягучим звоном водяных быков. Странно было глядеть, как борется свет и тьма в небесах, на земле.

Ночь перебарывала. Уже часом спустя на хуторе потухли огни. Стал засыпать и Солонича дом. Первыми забылись ребята: Танюшка, Витек, за ними Ольга. Хоть и казалось, ее огорченной душе не до сна, но коснулась подушки головой, смежила ресницы, и все отлетело — обида и боль. Уснула и жена. Мать еще брякала посудой у стола, домывала, потом прошла по двору, постанывая и охая.

— Ноги нудят? — спросил Солонич. Он помылся, отужинал и теперь курил перед сном на крылечке, невидимый в тени.

— Руки, ноги... Все мосолики... Либо к дождю.

— Нарекаешь еще, — недовольно проговорил Солонич. — Сено свозить надо.

Мать всю жизнь провела на ферме, при коровах, в сырости да резиновой обуви. Теперь у нее суставы ломили и пухли зимой и летом, не говоря уж про осень да весну.

В ночной тиши звучно топотил по дорожке ежик. Давно водились ежи на подворье, из года в год. От флигеля, где жила мать на покое, потянуло едучим.

— Натираешь, что ль? — спросил Солонич, не видя, но зная, что мать сидит на крыльце.

— Натираюсь, хоть чуток отпустит.

— Как ты его терпишь, вонючий...

— А твои папиросы слаже...

Солонич засмеялся.

— Ты дюже не горься, мой сынок, — сказала мать. — Господь с ней,

с учебой. Была бы здоровая да счастливый замуж. Уже невеста, не видя поднялась...

Это она об Ольге говорила, о сегодняшнем, успокаивая.

— Тут горься не горься,— вздохнул Солонич,— а надо в школу. Поеду, попытаю, чего они там.

— Гляди, там не ругайся, по-культурному.

— Ружье возьму с волчиной дробью.

— Никто не говорит. Но все же не колхозная контора, а школа.

— Хуже там, видать, нашей конторы,— сказал Солонич.

Мать поохала, повздыхала и ушла.

За речкою, над займищем вставала краснобокая луна. Солонич докурил. Спать хотелось, тяжелела голова после долгого дня. Но саднила душа, дочку было жаль. Солонич теперь точно знал, о чем слезы.

Учителя математики в школе, считай, весь год не было. Вот и поставили в дневниках вместо отметок лишь черточки. Учителя не было, про это Солонич слышал, но Ольга математику все равно решала вместе с подружкой. Иногда ходили они к кому-то в соседний хутор, к старшеклассникам, к старым учителям. Когда как. У девчат были намерения серьезные: педагогический институт или педучилище, на худой конец. Математика была нужна. Теперь же оборачивалось дело нехорошим. Надо было ехать в школу, за дочь заступиться.

2

В школу он собрался в обед, надеясь за час обернуться. Управляющего предупредил на всякий случай. Хотел он ехать один, а домой пришел — Витек его ждет в новой одежке, аж светится, словно мытая репа, и Ольга крутится тут же.

— Со мной, что ли? — спросил он детей.

— Мамка ж тебе велела мои документы отвезть,— напомнил Витек.

— Про документы она говорила,— подтвердил Солонич.— А ты разве документ? И ты наскучала? — спросил он у дочери.

— Я заходить в школу не буду, в машине тебя подожду.

— Ну коли так — поехали.

Хоть и брился Солонич по утрам, но на всякий случай еще бритвой пожужжал, вроде красоту подновляя. Шел ему уже четвертый десяток годков, все школьное забылось давно, а вот какой-то холодок страха остался. Пожужжал он бритвой, в зеркало поглядел — вроде нормально.

Как всегда, детишки заспорили, кому рядом с отцом сидеть возле руля. Но пока мать наказывала, что купить в вихляевском магазине — свой плохо торговал: то и дело замок на нем,— пока с матерью говорил, ребята уже помирились, вдвоем устроясь на переднем сиденье. Светлые их головенки торчали из окошка.

Когда-то в молодости и сам Солонич гляделся кудрявым, белокурым. Сейчас посивел, потемнел, под вечной кепкою ничего не видать. Откудрявился. А на ребятишек глянул и вспомнил. Они в него пошли. У Ольги — коса, а все равно тугие колечки выбиваются, у Витьки и вовсе гребенкой не раздерешь.

— В школу едешь, а непричесанный,— попенял Солонич сыну.

— Мне Олянька расчесывала.

— А почему ж как у барана? — показал Солонич на завитушки.

Витек в автомобильное зеркальце заглянул, потом сказал отцу:

— У тебя тоже такие.— И потрогал под кепкою на затылке.

Солонич покосился в зеркало — и в самом деле завитки торчат, ухмыльнулся довольный.

— Мы все же родня. Одного заводу.

До Вихляевского хутора, где размещалась восьмилетка, на машине было рукой подать. Мелькнули колхозные сады, плантации, справа Вихляевская гора началась, слева в зеленом камыше озеро. Здесь когда-то над озерком стоял хутор Туба. Теперь от него не осталось даже развалин, лишь старые деревья на месте левад.

Садами, сливами, вишней да грушами всегда славились Тубянской и Вихляевский хутора. Возили в станицу, на базар. Теперь Тубянского нет. Вихляевский, как и прежде, в садах. Домов не видно. Зеленая гущина слив да вишен, а над ними — могучие старые груши: стволы необъятные, просторный шатер листвы.

Подъехали к школе. Когда-то она казалась Солоничу большой, с крыльцом высоченным, теперь съжилась, усохла, словно человек в старости. Серые дощатые стены, сто лет не крашенные, ржавая крыша.

Витек из машины вылез прежде отца, а Ольга осталась.

— Я не пойду, папа. Но ты им скажи, что я все задачки прорешала и все учила. Пусть проверят, если хотят. А без математики нас никуда не примут, как мы будем?.. Пусть хоть тройки поставят, но чтоб оценка, а не прочерк. А то немецкого нет, математики нет, на наши свидетельства и глядеть не станут.

Солонич смотрел на дочь и словно не узнавал ее: глазенки строгие и тонкая морщина лобик сечет... Это лишь на виду. А в душе у нее что? Господи... И лет-то кот заплакал, от горшка два вершка, а уже об жизни загад, горькие заботы. Солоничу сделалось нехорошо. Себя он почуял виноватым. А что мог сделать? Лишь разгладить морщинку на лобике. Он ее разгладил большим пальцем, словно рубанком, осторожно провел, убирая, и пошел. На крыльцо поднялся суровый, решительный, разжигая в себе злость: «Сидят тут... Зарплаты получают...»

Сына он оставил на крыльце.

— Побудь здесь, — сказал ему. А сам прямым ходом направился в директорский кабинет. Одним разом он постучал и дверь открыл.

Директор школы, бессменный Макар Алексеевич, по кличке Мичман Макар, был на месте. Мичманом его звали за пристрастие к морскому прошлому. Он когда-то на флоте служил сверхсрочную и потом, в школе, носил брюки клеш и тельняшку. Все это прошло давно, износились и тельняшка и клеша, осталось лишь прозвище, намертво прикипев.

— Во, еще один прибыл! — завидев Солонича, воскликнул директор. — Математика, да?

— Она самая, — ответил Солонич. — В школу посылаем, надеемся, а дите с пустым дневником приходит. Выходит, год зря шалалась?

— Ну, так уж зря... — охладил его пыл директор.

— Но математика, она же основная считается, — не сдавался Солонич. — И девка моя не ленивая, сами знаете, желает продолжить образование. А теперь как?

Директор сочувственно покивал и сказал:

— Правильный вопрос родитель задает. Вот ты ему и отвечай. Лично ответь, в глаза.

В кабинете в углу возле окна сидела молодая женщина. Солонич ее теперь лишь увидел.

— Это учительница, какая нас бросила, — объяснил директор. — Кинула и уехала. Вот и спрашивай с нее. Пусть ответит. Ответишь?

— Федор Алексеевич, как вам не надоело...

— Тебе надоело? А мне? Ты убежала — нам расхлебывать. Ты документы заберешь, а ко мне люди идут. Я глазами моргаю. Это дети. Живые души! — накалялся директор.

— Конечно! — поддержал его Солонич. — Мы думаем, они учатся. Надемся. Дочка другой день ревет. У нас душа кровит...

— Душа, душа... — поднялась учительница. — У всех душа появилась. А вы знаете, как я здесь жила? — подступила она к Солоничу. —

Сколько я здесь слез пролила? Кто их видел? Я сюда ехала, летела, сама, дура, напросилась, институт не кончила, бросила... Все мне обещали — квартиру, питание. А вы меня как встретили? А? Как вы меня встретили?

Солонич перед горячностью и пристальным взглядом учительницы оробел.

— Да я... Я вас и не знал.

— Вот как... Не знали. А ведь я к вам приехала, в ваш колхоз. Ваших детей учить. А меня затолкали в какую-то халабуду вместо квартиры. Крыша течет, холодно. В пальто сидела. А я, дура, забрала себе в голову, думаю, обоснуюсь, маму заберу. Заберешь... А вы знаете, что ваш председатель мне ответил, когда я о колхозной квартире попросила? Дома-то вон стоят. В доярки, говорит, иди. Тогда поселю. И вот так ключами позвенел, — потрясла она рукой. — «Мне доярки нужны». Что? Не так это было? — спросила она директора. — Может, придумываю? А чем я кормилась? Все тухлые консервы в магазине поела. Колхоз, называется. Молока литр пожалели. «Государству сдаем...», — передразнила она.

— Я тебе предлагал на квартиру к женщине встать, была бы накормлена. А ты отказалась, — напомнил директор.

— Не нужны мне чужие углы и чужие щи. И вы меня не упрекайте, — снова подняла она глаза на Солонича. — Не может колхоз учителей держать, учите детей сами. Председатель ваш, бригадир ваш, каланча носатая... «Государству...», — снова вспомнила она. — Вот так. И ваши бумажки мне не нужны. Обойдусь без них.

Учительница вышла из кабинета, и были слышны ее шаги в коридоре, а потом на ступенях крыльца.

— Вот так, — развел руками директор. — Ты все понял?

Солонич, конечно, не все, но кое-что понял.

— Пацана еще надо бы записать в первый класс.

— А это там, в учительской, — облегченно сказал директор, у него не было охоты разговор продолжать.

Вышел Солонич в коридор, постоял недолго, потом учительскую сыскал. Двери ее были открыты, и сидели там две женщины.

После коридорного сумрака Солонич не сразу их разглядел. А привыкли глаза, узнал свою старую учительницу, самую первую, до четырех классов.

— Полина Ефимовна, — обрадовался Солонич, — здорово живете...

Встречались с учительницей и прежде редко. А теперь и вовсе. Солонич в Вихляевском раз в год бывал, а Полина Ефимовна, постарев и уйдя на пенсию, редко из дома отлучалась. Когда последний раз виделись, не упомнить.

— Вася-Василек... — засмеявшись, припомнила Полина Ефимовна.

Назвала его учительница по-старому, по-давнему, и снова что-то вернулось из детства. Солонич спрятал за спину кепку и стоял оробело, потом опамятовал.

— Сына в школу хочу определить, — сказал он.

— У тебя дочка Оля? А это второй?

— Наследник. Казак, — подтвердил Солонич. — Отгулял. Теперь давайте ему налыгач.

Другая женщина, помоложе, взяла документы, сказала Полине Ефимовне:

— Вот и все ученики. Можете заниматься.

— Вы опять будете работать? — обрадовался Солонич.

— Нет, нет... Это упростили меня подготовительную группу вести сейчас, летом.

— Витек! — выглянув в коридор, позвал Солонич. — Иди сюда.

Сын вошел, поздоровался.

— Вот он, — сказал Солонич. — Примете такого?

— Возьмем, возьмем, хороший парень,— похвалила Полина Ефимовна.— Еще веди. А то двое всего.

— Вдвоем будут? — не поверил Солонич.

— Вдвоем.

— Из двух хуторов? Не тесно будет за партами сидеть. Мы когда-то по трое,— вспомнил он.— А тута... Гуляй, батюшка...

— Просторно,— подтвердила Полина Ефимовна.

Записали Витька в школу, сказали, когда приходиться. Солонич распрощался, но вместе с ним поднялась и Полина Ефимовна.

Из школы выходили вместе. С крыльца Солонич поглядел на свою машину, дочку увидел и сник: «Что ей сказать?» Полина Ефимовна по ступенькам спускалась осторожно. Солонич поддерживал ее.

— Святая душа на костылях,— посмеялась учительница.

А у Солонича сердце сжалось, когда почуял он немощную, невестомую плоть и на солнце, на ярком свету увидал Полину Ефимовну.

— Я вас подвезу,— сказал он,— до дому подвезу.

— Мне еще в магазин за хлебом.

— Доедем. Какие дела...

Солонич подогнал машину, на дочерин вопрошающий взгляд никак не ответил, посадил Полину Ефимовну, подъехал к магазину.

— Ты отвозишь пока будешь,— сказала дочь,— я к Таисе зайду. Ты потом посигналишь.

Подруга дочери жила рядом с магазином, а Полина Ефимовна на дальнем краю, в Заольховке.

Хутор лежал просторно, от горы и озера протянувшись до Старицы, до леса. Когда-то он был чуть ли не станицей: сельсовет и почта, школа и Дом культуры с библиотекой, медпункт, четыре магазина. Жили неплохо, дома ставили под железом. Они и теперь стояли, магазины, дома, подворья, сады. Но торговали хлебом, водкой да кое-чем по мелочи лишь в одном магазине, остальные — давно под замком.

Машина проехала по хутору из конца в конец, не встретив живой души.

— Какой-то хутор у вас немой... — сказал Солонич.

— Он, как мы,— ответила Полина Ефимовна,— слепой, глухой и немой, в общем, едва дышит.

Остановились у дома учительницы. Солонич вышел проводить ее. Витек резво пересел на отцово место и взялся за руль, подвывая вместо мотора.

Солонич вошел во двор. Глаза его быстро обежали стариковское хозяйство. Дом учительницы обветшал, словно спешил в годах за хозяйкою. Просила починки крыша, конек вовсе развалился, перекосилась дверь, подались в сторону ступени крыльца, к ставням были приставлены жерди. Огород же гляделся хорошо: картошка росла, плелись огурцы, дыбился лук, чеснок, редиска распускала листья, по краям огорода, сторожуха, поднимались подсолнухи да кукуруза — все как у людей.

— Хороший огород,— похвалил Солонич.— По вашим годам очень хороший.

— Копаюсь,— вздохнула Полина Ефимовна.— Куда денешься.

— Огород хороший,— повторил Солонич.— А дому надо ремонт.

— Тут уж не совладаю,— развела руками учительница.

Солонич возил в машине плотницкий ящик на всякий случай. Теперь он его принес, сказал:

— Пока мы толкуем, я вам подлатаю кой-чего. А то двери скоро уж не откроются.

Нижний крюк из косяка выпал. Пришлось двери снять, крюк и навес в новом месте ставить, хотя, по-доброму, все полотно двери просило замены и косяки тоже.

— Ваша дочка,— вспомнил Солонич,— она же учительница. Сюда не собирается? Заместо матери бы. Она как?.. Детная?

— Двое уж внуков у меня. На Севере живут. На каникулы прилетают. Побудут месяц, и нет их. Как во сне,— пожаловалась учительница.

— Далеко забрались,— посочувствовал Солонич.

— Пусть живут. Там хоть и Север, а все условия—и тепло, и светло, и молоко тебе, и мясо. А я вот корову сдала, нет сил, не совладаю с сеном. Сдала свою Розу и теперь зубы на полку. Щи нечем забелить.

— С фермы не дают для учителей?

— Кому мы, Вася, нужны? Постановление было в газете, мы обрадовались, пошли к Чапурину, к председателю, в райком писали! Не положено — и все. Один ответ.

— У нас так... — согласился Солонич.— Работаешь — нужен, на пенсию вышел — никому не нужен. Ни дров, ни соломы.

Наружную дверь он подвесил, укрепил замочную накладку и теперь на крылечко глядел, на его ступени, повторяя:

— У нас — так... та-ак...

— Спасибо, Вася... Не надо больше, поезжай.

Осмотрев крылечко, Солонич решительно взялся за него, отрывая прогнившие боковины. Походив по двору, он сыскал мало-мальски подходящие бруски, стал их резать и меж делом пожаловался:

— А у меня с дочерью беда, Полина Ефимовна, вот получилась... — И он рассказал все, закончив словами: — Теперь чего? Жалиться куда или как? Жалко девку. Она смышленная и к учебе стремится. Как вы посоветуете?

— Мой совет, Вася, простой: забирай ее отсюда, пока не поздно. Никакого толку тут не будет. Кончилась вихляевская школа. И тут кому хочешь жалуйся. Старые учителя свое отработали. А других не будет, добрых. Нынче молодым условия нужны. Квартиру им с теплом; а не наши... — со вздохом кивнула на свою хату.— Требуют условия. А у нас — сам себя корми. Так что добрых не жди, какие-нибудь пьяницы или от жены сбежал. Химику вот прислали, он каждый день поперец улицы лежит. И ты Олю не губи, у нее светлая головка. Отдай хоть на центральную усадьбу в интернат. Или, может, к родне. На станции нет никого? Там школы, конечно, лучше. И этого малыша,— с улыбкой показала она на Витю, который из машины не вылез, а все гудел там, уцепившись за баранку,— и его бы сюда не стоило. Учителя начальных классов опять нет. Значит, пришлют какую-нибудь десятиклассницу. Протянет три года — и на центральную. Школу здесь закроют.

— Почему закроют? — не понял Солонич.

— Учеников нет. Ты же слышал? В первом — двое, во втором — трое, в третьем — не знаю, но столько же. Учителей нет, здание разваливается. Через год закроют.

— Да-а-а... — только и мог протянуть Солонич, потому что открылось такое, что не сразу и сообразишь.

Крылечко Солонич поправил, прошелся по нему, топнул, засмеялся:

— Можно плясать...

— Только и осталось,— ответила учительница.

Для ставен крючки и петельки он стал делать из проволоки. Легко молотком постукивал, плоскогубцами гнул, и получалось не хуже фабричных. Приладил, и ставням подпорки стали не нужны. А без подпорок и дом гляделся по-иному.

— Ремонт нужен, ремонт... — сказал Солонич, задирая голову к трубе и крыше.— Сказали б в правлении. Тут на два дня работы и материалов чуток.

— Милый ты мой... — даже прослезилась старая учительница. — Милый ты мой... Спасибо тебе, спасибо за помощь. А детишек своих пожалей.

Обратной дорогой к магазину ехали медленно, и вновь никто им не встретился. Остановились возле магазинного крыльца, посигналили. Ольга из гостей не торопилась. Солонич вышел из машины, дожидаясь ее.

Хутор лежал в сонном забытьи. Дом культуры под высокою крышею, почта, магазин, медпункт, школа — все было рядом. Глаз и слух искали людей, их шагов, дверного стука, детского крика, громыханья ведра, наконец, — искали напрасно. Дремали за плетнями дома, притворив ставнями окна, садовая гущина, конопля да крапива тянулись выше плетней, могучие вековые груши высоко вздымались над землей просторное бремя листвы и ветвей. Казалось, это не груши, не деревья, но древние богатыри в черных латах корья берегут свое недвижимое, сонное царство.

Вышла наконец Ольга, села в машину. Она ничего не спросила. Солонич, встретив взгляд дочери, промолчал.

Когда хутор остался позади, Солонич вздохнул облегченно, словно из больницы вышел на волю и здесь вздохнул. Впереди виделось глазу веселое: плантация колхозная, бабы на ней пестрым горохом, потом сады и родной хутор.

Повернувшись к детям, Солонич хотел им сказать что-то веселое и обмер.

Ольга сидела, чуть закинув голову, и глаза ее были полны слез. — Дочь, доча... — испуганно проговорил Солонич.

И вдруг болью резануло по сердцу, так резануло, что нечем стало дышать. Солонич, ничего не видя, остановил машину, дверцу отворил, сунулся к вольному воздуху и так сидел минуту, другую. Лицо его сделалось серым, а дышать было по-прежнему трудно.

Потом боль ушла. Солонич закурил. Ничего не понимающая Ольга выбралась из машины и подошла к отцу.

— Что с тобой, папка?

— Ничего, ничего... Сейчас поедем. И ты, доча, не горься. Все будет хорошо. Вот поглядишь.

Он докурил и поглядел через открытую дверцу на волю: озеро синело, а дальше темнел лес, поля, плантации, сады ласкали глаз свежей зеленью. Он глядел, и таким пригожим виделось ему все. Пригожим, дорогим. Солонич уже все знал. Пока курил, отдыхивался — все понял. Он знал уже, что в этих местах ему не жить. Отжился...

Теперь предстояло жене и матери объявить. Им будет тяжелее, они бабы.

Витьке надоело сидеть, и он спросил:

— Чего стоим? Поехали.

Поехали. И путь был недалек. А после Вихляевского родной хутор гляделся городом, чуть не столицей. От кузни шел дымок, рядом вспыхивала и горела синим огнем электросварка, катил на телеге Мишка, конюх, — словом, жизнь текла.

3

К вечеру Солонич привез второй ходкой остатнее сено. Клали его невесело. Даже малые ребятишки, Витек с Татьянкою, бродили вокруг неприкаянно. Татьяна упала, ногу зашибла, горько плакала.

Клали невесело, но сложили. Сверху натянули брезент от дождя.

По обычаю, за ужином бабы поставили хозяину вина.

— Такую страсть одолел, — как всегда, говорила мать. — Теперь наша скотина глядит и радуется.

По обычаю, такой ужин за вечерним столом тянулся допоздна. Со-

лонич, рюмку-другую выпив, подробно рассказывал, как косилось, да где, да что, да какие случаи. Вспоминали бывшее мать и жена. В общем, говорили о сенокосном.

Нынче поужинали молча. Вина Солонич не стал пить, поглядел на него, шумно понюхал, поморщился и отставил, сказав:

— Без него голова кругом идет.

Это было принято как знак недобрый.

Поужинали. Солонич закурил. Мать с Ольгой посуду убрали, жена Витьку да Танюшку уложила. Солонич все курил, не поднимаясь от стола, потом попросил дочку:

— Ольга, дневник принеси.

Дочь удивилась, но принесла, встала напротив и глядела, как листает отец дневник, разглядывая его словно впервые. Мать и жена снова сели за стол. Ольга стояла.

Солонич и сам не знал, зачем он дневник листает, разглядывая пятерки да четверки дочерины. Все это он видел. А нынче ныла душа ли, сердце. И этот дневник, отметки словно утишали боль. Наконец Солонич поднял глаза на родных.

— Так чего будем делать? — спросил. — Садись, Олянька. А то вырастешь, как колодезный журавец, жениха не найдем. — Он обнял ее за плечи, спросил: — Чего будем делать? А?

Ольге, к отцовской редкой ласке не столько привычной и оттого, что глядели на нее бабушка и мать, Ольге сделалось зябко.

— Я не знаю, — ответила она. — Я старалась. Мы весь задачник прорешали.

— Ладно с задачником, — сказал Солонич. — Так что же будем делать? — спросил он у жены и матери.

Те сидели друг подле дружки и были, казалось, кровной родней. Не в пример худому Солоничу обе невысокие, телом статные, круглолицые, и глаза, и темный волос — одно в одно, словно у дочери с матерью. Они и характерами были схожи, до поры вместе на ферме работали, вместе Солонича ругали, когда он вином грешил или в рыбалку ударялся — водилось за ним такое.

— Ты обскажи, — осторожно сказала мать. — Мы же не ведаем. Ты к директору ездил, прибыл тихомолом.

— Сказ тут короткий. В Вихляевке учебы не будет. Едва дышит. Не ныне-завтра прикроют назовсе. Полину Ефимовну перевстрел. (Мать с женой закивали, они помнили ее.) Перевстрел, погутарили. Она напрямки заявила: губить детей в этой школе, и все. Не советует там учить.

Заговорили разом и мать и жена, вспоминая знаемое и слышанное об вихляевских учителях и школе, все недоброе: откуда взялись, да как учены, да как мужчины с директором во главе в кочегарке с истопниками вино пьют на переменах, а потом их оттуда не вытянешь. Они говорили взахлеб, со злостью, пока Солонич их не оставил.

— Об чем и речь, — сказал он. — Так чего будем делать?

— Жалиться надо, — твердо ответила мать. — В колхоз и в район, всем миром.

— Мертвому припарки, — махнул рукой Солонич. — Об детях речь. Еще год, и загубится девка. Потом не поправишь.

— Я, папка, может, в интернат пойду, на центральную? — спросила Ольга.

— С таких-то лет, моя внуча, — охнула бабка.

— Бабанечка, другие-то живут. Там и моложе живут, с четвертого класса. Там кормят, кровати есть, белье меняют, телевизор глядят.

— Хвали тюрьму крепкую, — усмехнулась мать.

Подступала ночь. Рядом в поле, во хлебах, кричал одинокий перепел: «Пить-пить! Пить-пить!» Закатная сторона светила зеленью, жел-

тизной и алостью. Потревоженное воронье в далекой лесополосе поднялось и кружило, ясно видимое: черные птицы на алом небе. Подходила тихая ночь с низов, от речки, полоня хутор. Звезды уже светили кротким небесным светом. По воде, по речке до самого озера, по Старице, по лесным протокам хором гудели водяные быки.

За столом задумались, сидели молча. Солонич нетерпеливо постукал кулаком.

— Так чего?..

— Не стукоти,— сказала мать.— Не за поллитрой бечь. Господи, царица небесная, помоги нам,— перекрестилась она.

— Ты чего молчишь? — спросил у жены Солонич.— Тоже царица небесная?

— В интернат — не хочу,— ответила жена.— От своих рук, от своих глаз дите отпускать. Так и будет сердце кровить. Это вы, мужики, каменные.

— Ну да,— покривился Солонич,— железные. А вы, доброхоты, языком.

— Папа... — тронула его за плечо Ольга.— Не надо. Не пойду я в интернат, буду на центральную ездить. Грейдер недалеко, а там — машины. А зимой наши механизаторы будут на ремонт ездить. Я с ними.

— Вовсе хорошо придумала,— осуждая, сказала бабка.— Нынче с цыганами на кобыле, завтра еще с кем. А осень, грязюка по шейку, зимой переметет.

Ольга было вскинулась, но не стала перечить. В полутьме белело ее лицо, и все. Не видно было, как она до крови закусил губу, но бисерная слезинка все же скользнула по щеке.

Солонич этого не видел. Но чуял. Вчерашние горькие слезы, нынешние, та морщинка, которую разгладил он на дочкином лбу,— все это пугало его, но чем-то и радовало, взрослеет дочь. И теперь он повернулся к ней, спросил серьезно, словно у ровни:

— Доча, дело нешутейное. Жизнь ломаем. Подумай. Витькина учеба терпит, Танюшкина — вовсе за горами, твоя — криком кричит. Скажи нам, будешь учиться, желаешь? Или абы переходить, время провести? И без учебы люди живут. Мы вот с твоей матерью, бабана — на медные деньги учены, а неплохо живем. И тебя, годы пододудут, пристроим. Даст бог счастья, будешь жить. Скажи как на духу: есть желание учиться, продолжить образование? Не будешь лодыря гонять? А то мы взбулгачимся, тронемся с места... — Он невольно выдал еще не решенное, то, что было пока лишь в нем и появилось только нынче. Появилось и не ушло. Потому что другого пути он не видел.— Думай, доча. Ты уже не дите. Думай и говори нам.

— Буду, папка. Изо всех сил буду стараться. Вот увидишь... Я выучусь все одно. И математику догоню, и немецкий. Вот поглядите...

Она заплакала, прильнув к отцовскому плечу. Солонич ее не успокаивал, ждал, потом сказал:

— Иди ложись спи.

Ольга послушно встала и ушла. Теперь заплакала мать, уронив голову на грудь. Качаясь из стороны в сторону, чуть слышимо она стала причитать:

— Господи, да и чего же я раньше не померла... Похоронили бы возле отца, лежали б мы вместе, а теперь... Господи, сколько сил поклали, такую страсть подымали... Дом, хозяйство...

— Завели детей,— сказал Солонич,— надо их до ума доводить, в интернаты не распахивать. Хоть и грешите на мое сердце, что оно ледяное, а в интернат я их не пущу. На станцию будем переезжать.

— Может, на центральную, к правлению, там родни много... — перебила его мать.

— Нет, давайте уж доразу. Центральная... на нее тоже надежда плохая. Завтра она, может, хуже Вихляевки будет. А станция, она при

железной дороге навек. Туда и будем править. Как говорится — мило не мило, а вези кобыла.

Заплакала жена. Она не причитала, слезы молча лила, но думалось — горше некуда: обо всем нажитом и обжитом, о всем новом, которое ждет.

Солонич сидел, курил, приговаривал:

— Ничего, пока в силах, устроимся, обвыкнемся, еще, може, лучше...

Жена вскинулась, спросила:

— А куда все это? — И обвела рукой хату, базы, все подворье. — Куда это?

— За пазуху покладем, — зло ответил Солонич.

Жена заплакала в голос. Солонич курил. Хотя изо всех троих горше его никто бы не смог сейчас плакать, было бы можно, так заревел кровавыми слезами. Но он лишь курил.

Той порою возвращался с центральной усадьбы Чапуринов, колхозный бригадир и управ — главное хуторское начальство. Он заседал на правлении колхоза, потом у замужней дочери погостил, теперь возвращался.

На хуторе уже спали. Даже синих огней телевизорных и тех в окнах не было видать — пора сенокосная, всякий час дорог. Но у Солонича горела во дворе яркая лампа под колпаком. Солонич вечерами работал и пристроил светильник над верстаком. Сейчас он горел.

Чапуринов ехал на машине. Солонич был нужен ему, а поутру можно не застать, укатит косить. Заглушив машину у двора, Чапуринов прислушался. Во дворе говорили. Тогда он смело отворил калитку.

— Здорово дневали. Чего не спите? Либо от сена? Или гости приехали?

За столом у летней кухни от фонарного света в стороне сидели хозяин да бабы его: мать, жена. И не было гостей.

— Да так... — нехотя ответил Солонич. — И сено и тары-бары.

— Я к тебе чего заглянул... Утром давай телятам для лагеря все заготовь. Поставим его возле коров на старом месте. Я с наряда тебе помогалщиков пришлю. И надо начинать об коровниках беспокоиться. Сходи обгляди. Давай делать по теплу. А то — сено, уборка, а там — зима.

— Я завтра заявление напишу, — сказал Солонич.

— На утят? Решили брать?

— На себя. Переезжаем мы с хутора. Подпишешь заявление?

— Куда собрался? — не понял и потому легко спросил Чапуринов.

— Куда, куда... На станцию жить.

— Чего тебе на станцию?

— Ты прям как дите... Или придуриваешься. Переходим мы с хутора, переезжаем в район на станцию.

С другим человеком говоря, Чапуринов бы понял все давно. А здесь глазами моргал и не мог в толк взять, о чем речь: какое заявление, какая станция.

Солонич был трезв, и сам Чапуринов вина нынче даже не видал, но словно пьяный шел разговор — каждый себе.

— Рассчитываюсь из колхоза, понимаешь? Уезжаю.

— Кто рассчитывается? Кто уезжает?

— Да я, я... — стучал себя в грудь Солонич.

— Не брешь, — отмахнулся Чапуринов. — Плетешь...

— Вот и плетешь, — злился Солонич. — Уезжаем. На станцию. Наво все. Заявление, говорю, сразу подпишешь или держать будешь?

Крепкого, центнеров на семь быка бьют обухом по лбу, ошеломляя, чтобы он в беспамятстве осел на колени, а там уж — нож ему.

Рослого, тяжелого Чапурина тоже словно бухом стукнули, когда он все понял наконец. Коленки подогнулись, он сел на скамейку рядом с бабами.

У тех слезы уж высохли, а теперь они снова заплакали не таясь. Бабы слезы убедили Чапурина лучше слов. Он поверил.

— Почему? Что приключилось? Я утром рано уехал, не слышал.

Казалось Чапурину: случилось что-то необычное, страшное. Ведь только оно могло Солонича, самого Солонича, не кого-нибудь, а Солонича с хутора поднять.

Хозяин нехотя начал говорить о школе, о дочери, о математике, о других детях. Чапурин перебил его.

— Ты с ума сошел...— проговорил он.— Правда, что ль? Да нет, это ты с ума сошел... Какая школа? Сошел с ума!

— А ты не сошел?!— взъярился Солонич. Ему нынче некому было высказать, теперь нашелся человек.— Ты был в своем уме?! У тебя одна дочь. Ты припомни, какой ты муки принял, когда она в городе науки брала. До скольких разов она в институт поступала? А ведь то еще были добрые времена, на школу не жалались. Ты сколь овечек, гусей, индюков, курочек, меду сколько в город отвез? Сколь денег издержал на городских учителей? Считаю, вновь переучивал. Пойми, я это не в укор тебе вспоминаю. На то ты и отец. Не в укор, но в быть. У тебя, значит, дочь? Ты об ней сердцем болел? А мои разве на́йды? В поле обсевки? Я их что, с дерева снял или с чужой телеги? Я об них тоже горюсь. И, може, дюжей тебя. Тоже хочу им дать образование, чтоб они в люди вышли и меня потом не упрекали. У тебя одна, у меня трое. Твоя хоть три зимы, а на хуторе училась и потом — наблизу. Моим сразу бечь в чужие края. И достатков твоих у меня нет. Ты при власти. А я лишь при руках,— показал он руки свои.— А боле ничего нет.

Чапурин слушал, нагнув голову. Сказать было нечего, лишь одно он промолвил:

— Да с твоими руками...

— И я на них надежу имею,— твердо сказал Солонич.— Пока крепкие, надежа на них.

— Солонич, Солонич...— качая головой, проговорил Чапурин. Он все понял, всему поверил, но представить не мог воочию: как это Солонич уедет и не будет его.

— Не сам ухожу, Тимофеич,— мягко проговорил Солонич, величая управа теплее обыкновенного, по покойному отцу. Обычно-то — Чапурин да Чапурин. А тут само легло на язык.— Не сам, Тимофеич, ухожу, пойми. Дети уводят.

Снова заплакали бабы. Чапурин поднялся, хозяин его проводил до ворот.

— А как же это все?— показал управляющий рукой на поворье, повторяя вопрос Солоничевых баб.

— Об этом лучше в голову не брать,— честно ответил Солонич.— Пьяным до смерти напьюсь, нехай меня увозят. Чтоб не видать.

— Ты завтра с утра косить? — спросил Чапурин.

— Нет, откосился, привез.

Чапурин поглядел на задворье. Даже сейчас, в ночи, темной тучею, заслоняя половину звездного неба, высился сена стог и пахло сенцом легким, степовым, какое всегда было у Солонича.

— Ладно, пойду.

— Ты заявление подпишешь? — напомнил хозяин.

— Подпишу, о чем разговор... Ох, Солонич, Солонич...— шептал сам себе Чапурин, шагая в темноте.

— Машина-то! — уже издали окликнул его хозяин.

О машине Чапурин забыл. Пришлось возвращаться. Он сел в нее, доехал до дома, поставил во двор. Как доехал, как поставил — не

помнил. Словно и впрямь ударили его обухом по широкому бычьему лбу. Вот он теперь не то отходил, не то совсем умом рушился.

Жена услышала голос мотора, стук открываемых ворот, а шагов на крыльчке долго не было. Она пождала-пождала и вышла.

Чапурин сидел в машине, дверца была открыта.

— Либо пьяный? — спросила жена.

Чапурин в ответ лишь вздохнул.

— Точно пьяный. На правлении набрались? Или с зятем? А ведь за рулем сидишь. Задавишь кого, посадят. Вставай! Или тянуть тебя за виски?

Чапурин будто опаматовал, вышел, хлопнул дверцей.

— Откидного принеси. Ирянцу попить.

— На похмел повело, — укорила жена, но принесла молока, развела в большой кружке.

Сидя на крыльце, Чапурин запаленно выглохтал кружку, усмешливо глядя на жену. Она принюхивалась, но не могла ничего учуять.

— Либо загрыз?

— Загрыз, загрыз... — подтвердил Чапурин.

По тону, по голосу она поняла, что муж — трезвый, и испугалась еще больше.

— Заболел? Сердце иль чего?

— Солонич уезжает. Поняла?

— Куда он на ночь глядя, сбесился? Либо пьяный?

— Вот вам, бабам, хорошо, — позавидовал Чапурин. — На все один ответ: пьяный — и шабаш. На станцию переезжают, совсем. Дети, говорит, увозят. Вот так...

Чапурину казалось... расскажи он сейчас жене, пожалуйста, она посочувствует и будет легче. Но жена не поверила.

— Не пьяный, значит, с кем поругался, — твердо сказала она. — Никуда он не уедет.

На том и кончился разговор. Чапурин плюнул со зла и улегся спать. Полежал, поворочался, потом вспомнил, что машину не замкнул, ключи оставил, а нынче на хуторе всяких зятьев да ахарей больше чем надо. Он поднялся.

— Чего ты? — сонно спросила жена.

— Машина незамкнутая.

Чапурин вышел из дому, машину замкнул и вдруг почувствовал голод. Обедал он нынче наскоро, спешил, а ужинать не довелось. Ехал — в животе посасывало, а потом — Солонич, отъезд его, забыл о еде. Теперь вот вспомнил.

Он кухню отомкнул, нашел в холодильнике мясо, взял яичек сырых, хлеба, сел перекусывать. Жена вышла на крыльцо, увидела в кухне свет.

— Ты чего там потерял?

— Да вот закусить решил.

— Люди добрые, он всю ночь будет шалаться...

Она накинула халат и пришла.

— Вареники я ныне лепила. Будешь?

— Давай покушаю.

— Разогреть?

— Конечно.

— Мать божья... Люди поглядят, управ либо колдует по ночам, либо деньги считает. Уж спать некогда, скоро корову доить.

Ворчать она ворчала, но разогрела вареники, они зашипели в горячем масле и сметане. Чапурин поел и вареничков.

— Правда, что ль, Солонич надумал уезжать?

— Правда.

— Из-за детей?

— Из-за них. Учеба...

— Завтра надо его попросить, чтоб сделал скамеечки две невысоленькие. И табуретки. Стулья скрипят да ломаются. А табуретки — до веку. И как мы теперь без плотника будем? — спросила она. — Ты думаешь об этом?

Вот об этом как раз Чапурин не думал. Солонич из головы не уходил. Не колхозник, не плотник, а просто человек, какого знал давно, всю жизнь, считай. Прямо стояли перед глазами: Солонич, дом его, подворье, базы да сарай, сеник, огород с поливом, с движком. Другие все собирались, а Солонич поливал какой год. Картошка у него была в кулак. На семена брали.

— Хату он продавать будет? — спросила жена.

— Конечно.

— Кому-то повезет. Правда, заломит цену. Тысяч пять будет просить.

— И пятьдесят стоит и сто.

— Сто тысяч... — усмехнулась жена. — Где такие деньги? В банке. Тысячи за три, может, продаст.

— Там одни базы.

— Ладно, пошла я спать. Не булгачь меня, Христа ради.

Чапурин вспомнил, как Солонич базы свои ладил, и забыл про вареники. Они остывали.

Скотьи базы у Солонича и впрямь были редкостные. Что дубовые стояны, сохи, лаги — это ладно. Это у многих. Стены и потолок чаканом проложены для тепла, окна двойные, шелевка. Это все можно где-то увидеть. Но полы... Сначала это был просто настил, конечно, настоящий: не дощечки, не горбыль, а дюймовые плахи. Потом ему этот пол разонравился. Стал он резать пилой дубовые чурбаки. День, другой, неделю — режет и режет. Целая гора чурбаков, выше дома. Режет и обтесывает их в квадрат. Приходили люди глядеть. Солонич посмеивался. Чурбаки приготовил, выкинул полы из коровника, срезал пласт земли и начал ставить дубовые чурки друг подле друга впри-тык, подгоняя и расклинивая, чтобы вплотную, без щелочки. Такие вот полы. Это не паркет, это выше. Паркет — дощечки. Каблуком его хорошенько — и душа вон. Это — Красная площадь, ее брусчатка, где сверху булыжника квадрат невеликий, а вниз идет чуть не метровым стеблем. Мощь. Такие вот полы Солонич в коровнике сладил. Не из гранита, конечно. Из дуба. В ту пору и сейчас сохли дубравы на Бузулуке. Вози кому не лень. Вот Солонич и сделал.

Люди удивлялись:

— Господи... Какой труд.

Солонич посмеивался:

— Скотина, она тоже... Зато голова не боли. Навек.

Сейчас вот Чапурин раздумался. Не-ет, тут не веком пахнет. Тут и через тысячу лет раскопают ученые, будут в затылке чесать. И вряд ли поймут, что это Солонич для скотины своей такие полы сладил. Месяца два работал в упор. Утром, вечером, по выходным. Для всей скотины: для коров, овец, коз, телятам, пороссятам тоже — чтобы уж без обиды. И птице.

Чапурин кухню прикрыл, подергал ручки машины, пошел в дом, но на крыльце остановился.

Высокая луна стояла над спящим хутором. Дом Солонича подле кургана виден был ясно. Он сиял словно игрушечка: крыша на четыре ската, труба с узорчатым дымником, резные ставни, витые столбики крыльца, ворота, скамеечка со спинкой, колодец тоже с шеломистым навесом и резьбой, рядом — качели для детей: качи-качи, качи-качи.

В лунном обманчивом свете подворье Солонича стояло словно сказочный дворец или сон колдовской, вздохни поглубже — и нет его.

— Когда тебя угомон возьмет? Ты дашь мне ныне покою? — спросила из хаты жена.

— Иду, иду...— ответил Чапурин.

Голову склонив на подушку и уже засыпая, он подумал, как трудно теперь Солоничу в ночи в маете бессонной.

Солонич и вправду не спал, но было ему вовсе не тяжело, а легко и счастливо.

Проводив Чапурина, он уселся писать письмо брату. Старший брат жил на станции уже давно. Солонич написал коротко, чтобы дом приглядел не больно дорогой: за десять—двенадцать тысяч. Были такие деньги. Дом на окраине, чтоб скотину подручней держать, и земли побольше для огорода и сада.

Покончив с письмом, он обошел подворье, проверяя, все ли заперто. Луна поднялась высоко и светила ясно. Не хотелось спать. Курган за двором, молодая полынь на нем отсвечивали серебром.

Солонич вышел со двора, на курган полез, но добрался лишь до середины. На макушке еще углядит кто, скажет, с ума сошел. Он долез до половины кургана, сел на траву. О худом не думалось. Вспоминалось детство, молодые годы. Еще отцовская мазанка под курганом стояла. И здесь, вот здесь хороводились до утра. Солонич старенькой гармошкой раздобылся, наладил ее, заклеил. Играл, а девки припевали. Хорошие в ту пору были припевки.

Ох ты, Васенька-Васек,
ты мне сердце все посека,
И посека и порубил,
а сам другую полюбил.

Это про него, про Солонича.

Я любила, ты отбила,
ты люби облюбочки.
Так целуй после меня
целованные губочки.

Это тоже не просто так. Это было. Даже сейчас за сердце берет.

Я иду, она колышется,
зеленая трава.
Я пою, она не слышит,
жура милая моя

Разве не хорошо... Впервые за долгий день теплое проснулось в груди. Такое бывало не каждый день. Когда детишкам что-нибудь ладишь: качели, скворечню, какую-нибудь лопатенку, грабельки делаешь, а они глядят, ждут. Не видишь, а чуешь — и хорошо на душе.

Не вставая, Солонич потянулся, поглядел вокруг. Хутор и округу заливал лунный свет. Сияли крыши, поблескивали окна. Дома словно новенькие, даже старой Чурихи флигелек светил словно беленный вчера, а тополь-раина серебряным столпом уходил в небо.

Он писал брату письмо и прикидывал: как уезжать, что брать. Хотелось и лодку увезти, мотор бензиновый для полива, трубы, машинку, какой картофель перегонять на крахмал, он ее долго ладил, на весь хутор одна. Сани тоже не бросишь, телега, плужок... Да мало ли... Хотелось целиком поднять и унести все подворье разом.

А теперь, а сейчас об ином думалось. В лунной ночи лежали вокруг поля, тянуло от них хлебной сладостью, дышала пресным теплом речка, над ней пели соловьи. Тореные дороги и тропки бежали во все края. За речку, в займище. А там — колки березовые, дубы... Малые Городбища, Большие — вроде пески, кучугуры да вербовая гущина, а свое. Дальше — лес. На речке плесы: Инякин, Юдаичев, Фетисов, Щучий Проран, Лесная Паника, где он рыбачить любил. На Лесной — тишина. Лист на воду упадет, и слышно. А луга... Ярыженская гора, Вихляевская, их балочки, падины: Митякина, Братская, Козинка, Калтуки... Покосы, где он из года в год... На все четыре стороны лежало

дорогое, которого не забрать. Родина лежала, где он родился, вырос и хотел умереть. Да не вышло.

Утром Солонич написал объявление: «Продается дом Солонича, Проваторова Василия Аникеевича, на хуторе...» Это прозвище было хуторское — Солонич, еще от дедов. И теперь Солонич да Солонич, а фамилию знали не все.

Объявление получилось короткое, но понятное. Теперь дочка красиво напишет, он развезет и наклеит на магазинах в Дубовке, Борисах, Ярыженском, Дурновке, Мартыновском. Полетит молва.

Месяц спустя Солонич уехал с хутора. Под конец заказов было много, он и ночью работал, не хотелось людей огорчать, все свои. Но всего переделать он не успел.

Бабки Чурихи в ту пору на хуторе не было. Она приехала от детей под осень. Приехала, узнала и всплеснула руками: «Господи! А кто же теперь на святую нам на гармошке будет играть?» Смеялись над ней до слез. Кому что...

Челядинский зять

1

Полуденный субботний автобус ждали всем хутором. Ко времени его прихода выглядывали на улицу, издали угадывая звук. Выбегали за ворота, а то и на выгон шли, к амбарам, встречая жданных и неожиданных. По субботам хутор, словно старая мать, нетерпеливо ждал дорогих детей своих, внуков на короткий воскресный побыв.

Ярко-желтый кургузый автобусик, подкатив, треснул дверцами, словно спелый стручок, высыпая на дорогу людей; остальных он повез вилючей дорогой к иным хуторам: Вихляевскому, Мартыновскому, Деминскому, Большой Головке тож.

У железного столбика автобусной остановки быстро откипела шумная ярмарка встреч с поцелуями, слезами и смехом, и разом разбежался народ, словно вода по капустному листу.

На придорожье, на бугре, где ржавели краснобокие сеялки, культиваторы и прочий негодий снаряд, остался лишь один пассажир — высокий нестарый мужик в короткой стрижке, с новым чемоданчиком в руках. Его никто не встретил, а главное, никто не признал. Разошелся народ. Мужик опустил чемодан на землю и, не спеша закурив, стал оглядывать место, куда принес его бог.

Старинные бревенчатые амбары стояли рядом на пустыре, а хутор, дома его чуть поодаль тянулись прихотливой дугой, обнимая и этот пустырь и амбары. Дома располагались над речкою, и высокие, развесистые вербы указывали путь ее. Дальше кудрявился лесок ли, займище. В другие стороны открывались поля и поля. Сейчас, в июньском полудне, они ясно зеленели, желтели, отдавали розовым и фиолетовой чернью, уплывая до самого горизонта. И пусто было в полях, безлюдно и тихо. Стрекотали кузнечики, легко шелестело подступающее к ногам пшеничное поле, безмолвная большая птица лениво кружила в пустынном небе, тоже одна.

Приезжему сделалось не по себе. После людных и шумных мест, где пришлось ему обретаться, одиночество тяготило и настораживало.

Из-за амбаров вывернулся известный на хуторе Тимофей Иванович. Он спешил к автобусу в надежде кого-нибудь встретить, но припоздал. Угадав в приезжем нежданный и недолго понаблюдав за ним, Тимофей Иванович решительно подошел и сказал:

— Ты, с-случаем, не ш-шпион? Раз-зглядываешь наши секреты.

Приезжий оглядел Тимофея Ивановича, по лику и стати разом поняв, что это за птица, и спросил:

— Это какие же у вас секреты?

— М-магазин, например,— прозрачно намекнул Тимофей Иванович.— Могу указать.

— Обойдусь без магазина. Ты мне скажи, где у вас Челядины живут.

— Смотря какие...

— Что же, у вас много Челябиных?

— Навалом. Мишка Челябин, Фетинья — бабка, самогон у нее п-поганий, Клавдия,— загибал палец за пальцем Тимофей Иванович.

— Погоди,— остановил его приезжий.— Ты так дотемна будешь считать. Раиса мне нужна Челябинка. Есть такая?

Тимофей Иванович мгновенно все понял. От волнения он не мог сразу слова промолвить, губами почмокивал и таращил глаза. Потом справился и перестал заикаться.

— Это ты, значит, Раисин заочник? Из этой, как ее...

— Из нее,— подтвердил приезжий.

— Вот ты и приехал! — обрадованно всплеснул руками Тимофей Иванович, и темный лик его как-то даже просветлел.

— А ты откуда знаешь? Родня, что ли?

— Мы тут все родня. Сейчас я тебя поведу, сейчас все будет. Встретим тебя, как положено,— заторопился Тимофей Иванович, предвкушая добрую выпивку.— Моя теща, она твоей теще, Мартиновне, доводится сеструшкой двоюродной. Так что мы с тобой теперь... Я тоже сутки сидел два раза на станции. Один раз Шураня законопатил...

— Ну ладно, дядя,— остудил его приезжий.— Я такую родню знаешь где видал? Покажи и шагай куда шел. Ясно?

Голос был командный, ледяной, нельзя было его не послушать. Тимофей Иванович указал Раисы Челябинкой дом, проводил взглядом приезжего, недолго погоревал, а потом понял: потеря невелика. С новостью о том, что к Раисе Челябинкой приехал затюремщик — так его на хуторе загодя окрестили,— с этой вестью в любом дворе встретят и стаканчик-другой поднесут. И Тимофей Иванович вертлявой походочкой зашел к Василисе Амочаевой. Там новости любили.

Приезжий человек не торопясь пошел к Раисину дому, который издали приманчиво светил белой жестью крыши.

На первый взгляд усадьба Челябиных смотрелась справно, хоть и домовничали в ней три вдовы: молодуха Раиса, муж которой помер пять лет назад, Мартиновна — мать ее, женщина преклонных лет, хоть и крепкая, громкоголая, и трухлявая бабка Макуня, она последние годы ходила плохо, а все больше дремала да спала, обвыкаясь перед вечным покоем.

Хозяйничали бабы, но дом, поставленный Раисиним покойным мужем, светил оранжевой краскою, ставенки голубели; привалок прошлогоднего сена темнел на забазье, а рядом — нынешнего стожок; пышно зеленел огород, картофельник; возле двора в мутной глубокой луже, напущенной из водопроводной колонки, покрякивал добрый табунок белоперых уток — все как у людей.

Но пристальный взор разом бы углядел, как пьяно похилился забор-штaketник на подгнивших столбах и чаканом крытая погребца, обнажив жердливую хребтину, просила рук, из лета в лето зарастал жилистой крапивой обчинок летней кухни, которую хозяин начал, но до ума не довел. Высокая телеантенна заметно кренилась, крылатый ее венец, словно хищная птица, целился в печную трубу. Бабий двор он и есть бабий.

Челядины хозяйничали и жили втроем, отправив детей Раисы к доле иной. Парень учился в городском техникуме при заводе; вовсе далеко, под самую Москву, уехала меньшая дочь, на ткацкую фабрику по вербовке. И теперь в субботние да воскресные дни Челябины никого не ждали, о детях весть приносила почтальонка. Она же доставляла иные письма, от затюремщика, как называли его. **Алешка**

Боровсков, свой непутевый хуторянин, отсиживая немалый срок за магазинную кражу, расхваливал тюремным друзьям хуторских вдовых баб, добро что адреса у них были простые, без улиц и квартир. И потекли на хутор непривычные письма. Первой откликнулась на зов Фаина Чертихина, потом Скуридина. В округе на добрых мужиков давно уже был недород, много их спивалось. А жизнь просила свое. Стали и Челядиными письма приходиться. Ответно отправляли в тюрьму посылки с харчами. Но надежда была невелика, и думалось о будущем страшновато.

Хотя перед собой и людьми оправдывалась Мартиновна: «Тама всякие бывают. И хорошие. С женой не поладят или начальством, его на кукан. От тюрьмы да от сумы...» С ней соглашались. Но жутковатое «затюремщик» особо радоваться не давало. Надеялись лишь на бога и ждали. И вот пробил час.

Во дворе Челядиных, когда подошел к нему приезжий, находились лишь двое старших — Мартиновна да бабка Макуня. В тени спасаясь от солнца, вязала пуховый платок Мартиновна, мать же ее, в теплой кофте усевшись на самом сугреве, сбивала масло в высокой дубовой пахтанке, уцепив стебель мутовки сухими немощными руками.

Приезжий подошел ко двору, увидел сидящих баб и стал их разглядывать, издали угадывая свою заочную подругу. Одна была совсем уж стара, не годилась и другая, хоть в такого рода знакомствах случается всякое: и чужие приглядные фотографии присылают, лишь бы уцепить, а там — в помощь бог.

Пристальный, с улицы взгляд почуяла Мартиновна. Она голову подняла от платка, незнакомого человека увидела и спросила громко:

— Либо ищешь кого?

— Ищу, — ответил человек и шагнул ко двору, к забору. — Раиса Челядина не здесь живет?

— Тута... А чего она вам?

Незнакомец открыл калитку, во двор вошел, сказал:

— Константином меня зовут, Костей. А Раиса кто будет?

Женщины разом оставили свои дела, угадав пришедшего. И не столько имя им помогло — у бабки Макуни новой памяти вовсе не было, — они угадали его по чужому обличью, короткой стрижке, неробкому взгляду. Он был вроде военный: высокий поджарый, строгий.

— Господи, — поднялась Мартиновна. — Значит, вы... ты, значит... — сбилась она, не зная, как гостя величать. — А Раиса на обеденной дойке, у коров. Проходи проходи. чего посеред двора. Давай твои вещи.

С резвостью, неожиданной для ее большого, грузноватого тела, Мартиновна чемодан унесла на крыльцо и притащила стул, поставив его в тени.

— Садись, садись... Передохни. А Раиса скоро подойдет. На дойке. Во-он слышать, доят.

В хуторской тиши явственно слышен был негромкий зуд компрессора, что доносился от летнего лагеря, от плотины.

— Чего попьешь? Компотцу или молочка? Кислого, пресного? Может, закусить желаешь?

— Закусывать будем потом, когда Раиса придет. А молочка бы неплохо, — голос приезжего помягчел.

Пока Мартиновна бегала из дома в погреб, приезжий решил познакомиться с бабкой, которая с его приходом будто обмерла. лишь глаза ее помаргивали. Старуха разменяла девятый десяток, как говорится, доживала век, за дочерью да внучкой не особо бедую. Покойный Раисин муж иногда во хмелю гонял жену и тещу, старую Макуню не трогал. После смерти его она плакала. Сама вдовца с молодых лет, к дочерниному долгову вдовству привыкнув, Макуня историю с заочным знакомством внучки всерьез не приняла, полагая это балов-

ством, от жиру. И когда соседи при случае спрашивали ее о Раисиних новостях, она отвечала, поджимая губы:

— Овечки глупые, посылки щлюют. А он — убивец иль чего украл в магазине. Жених... Да его сроду не выпустят, таковского.

Макуня знала точно, что добрые люди по тюрьмам не сидят, но особо не горевала, полагая умереть до той поры, когда зайвится затюремщик.

А теперь он стоял рядом и спрашивал:

— Дышишь, бабушка?

— Дышу, сынок, дышу,— через силу ответила Макуня, боясь голову поднять и поглядеть в страшные глаза.

— А что работаешь?

— Масло пахтаю

Приезжий вынул из сухих бабкиных рук высокую бочечку пахтанки в темных обручах, поднял крышку, дырчатую веселку, внимательно оглядывая снасть, отпил из пахтанки кисловатой сметаны, чмокая губами.

«Полпахтанки зараз выдул,— рассказывала позднее Макуня соседским старухам.— Глоть да глоть, губищами чмок да чмок».

— Сколько ж тебе, бабушка, лет?

— Много...— ответила Макуня.

— А все работаешь, помогаешь?

— Стараюсь.

— Ну старайся, отработывай харчи.

Макуня хоть и отвечала в лад, но ничего уразуметь не могла. Лишь последнее ударило в голову — «работай...» и про харчи. Показалось, будто упрекнул приезжий ее и работать велел. Уцепив руками веселку, Макуня по-молодому зашлепала ею. Руки скоро начали неметь, пот прошиб, но страх был сильнее.

Мартиновна наскоро собрала на стол: молоко, яйца да хлеб.

— Перекуси, перекуси, пока туда да сюда.

Она уселась против гостя, глядя, как ловко тот управляется с яйцами, хлебом да молоком. Руки у мужика были крупные, пальцы сильные, с круглыми, словно ореховая скорлупа, ногтями. А зубы не свои, железные, но работал он ими исправно, острый кадык ходил энергично туда-сюда. И глядя на эти ручищи, на крепкую шею, на всю могучую статью, Мартиновна затосковала. «Документ бы проверить...— думалось ей.— Может, это вовсе не тот, какой писал, а вовсе другой, бугайна...»

Все знала, сама к Боровским ходила, письма читала, глядела фотografiю, но казался ей издали этот человек не страшным. Писал, что сидит за пустое, люди подвели. Заранее утешала себя: «Всякие в тюрьме...» Но теперь по взгляду, по могуче, по хватке понял: не зазря сидел, посадили за дело.

Хотелось проверить документ, но как... Может, позвать бригадира? Казалось Мартиновне, что иной, подставленный человек и оттого страшный пришел в ее дом.

Приезжий не чинясь съел все поданное, закурил.

— Может, на речку сходишь? — предложила Мартиновна.— Тут близочко, в низах за огородом.

— Неплохо прохладиться,— оживился приезжий.

Мартиновна полотенце вынесла, указала тропку, а когда скрылся гость за деревьями, она, отбрасывая притворство, кинулась к бабе Макуне:

— Мама, мама... Как он, на твой погляд? Ты много жила, повидала...

Макуня, без устали пахтавшая масло, лишь теперь опомнилась, бросила веселку и проговорила шепотом:

— Чистый затюремщик. Кабы он нас не поджег. Надо спички похоронить и людей упредить

Мартиновна лишь махнула рукой, минуто-другую посидела, обдумалась и пошла в дом. Пока гость ушел, она собрала в узелок деньги, Раисино кольцо да сережки, сберегательную книжку, новенькие паспорта, лишь недавно полученные, и отнесла к соседке на всякий случай. А лишь потом принялась к обеду готовиться. Как-никак в доме был гость, весть о котором уже пошла гулять по хутору вместе с досужим Тимофеем Ивановичем и докатилась до Раисы.

В летнем лагере над плотиной у пруда кончали дойку. Стадо черно-пестрых тяжелых коров уже прошло через доильные станки и на просторном базу, у яслей похрумкивало сочной зеленой люцерной. Последних коров додавали, последние молочные фляги тащили к машине-молоковозу.

От хутора по дороге подкатил к летнему лагерю Амочаев мальчонка, ерзая в раме великого ему велосипеда. Остэнавливаться он не стал, сделал круг перед машиной и доильными станками и выкрикнул громко:

— Тетка Раиса! Бабаня велела переказать: к тебе жених приехал из тюрьмы!

Крикнул и, завернув, снова покатил на хутор той же дорогой. Велосипед под ним вилял, велик он был для мальчонки.

Конечно, новость услышали все: и Раиса Челядина, и другие доярки, и шофер молоковоза, и зоотехник — тушистый молодой мужик, к каждой дойке приезжавший на собственном красном «Москвиче».

Услыхав новость, Раиса обмерла. Кое-как последнюю коровку додоив и выпустив из станка, она поглядела вокруг, словно проверяя, все ли слышали; поглядела, убедилась, и яркая краска стыда кинулась в лицо, даже слезы подступили.

Раиса Челядина родилась здесь, на хуторе, возрастала возле матери своей, Мартиновны, — бабы очень неробкой, мужиковатой. Но иная кровь превозмогла. Раиса и статью была не в мать: худоцава, подбориста, лицом белява — ступала по земле словно аккуратная белая курочка. А уж характером и вовсе... Мать ее могла любого перешуметь. Раиса с малых лет росла тихомолом, замуж пошла — отдалась в чужие руки и волю, овдовев — снова мать во всем слушалась. Такая уродилась.

И теперь ей было стыдно, срамно. Смеялся шофер молоковоза: — Невеста, тащи скорей молоко! Тебе женихаться, а мне — работа!

Улыбался зоотехник. Бабы спешили высказаться:

— Раиса, взаправду, что ль? А молчишь?

— Да не видала я никого.

— Значит, с автобусом прибыл. Амочаевы, они чисто все знают.

— Ты беги. Мы уж доделаем.

— Куда бежать?

— Как куда... Встрень человека.

— Там мама да бабаня встренут.

— Ба-ба-аня... — передразнили ее. — Он на бабаню, что ль, приехал глядеть? А то разинешь рот, жениха и уведет Нинка Сытилина.

Раиса в ответ лишь вздохнула и понесла тяжелую флягу к машине. Потом заторопилась, быстро-быстро доильный аппарат помыла и фляги, бабы поняли ее, отошли. Но Раиса спешила не домой. Ей хотелось быстрее уйти отсюда и к дому ехать одной, чтобы опамятоваться, подумать.

Закончив дела, она села на велосипед, закрутила педалями, но отъехав, сбавила ход и дальней дорогой, в объезд, через плотину, через луг, медленно покатила. К чему спешить? Что судьба уготовила — того не минешь. Но доброе ли впереди, как знать.

Историю с перепиской и заочным знакомством затеяла мать. У самой Раисы не хватило бы смелости. Адрес добыла мать, но писала,

конечно, Раиса. Фотокарточку отослала, получила ответную, собирала посылки. Тянулось дело...

За глаза, по письмам Раисе будто нравился человек. С фотокарточки глядел нестарый, приглядный мужчина, несколько, правда, суровый на вид. Но до улыбок ли там. Раиса заочника жалела, думала о нем по-доброму. И для себя хотелось жизни. Вдовья судьба несладка. А веку — сорока нет, жить да жить.

Без мужа провела Раиса пять лет. При нем — покойнике, — хоть и забурунном, как-то складывалось все не видя: словно сами собой приходили дрова, сено, уголь, зерно. Потихоньку новый дом вырос. А ушел он, и в бабьих руках, пусть и работающих, сквозь пальцы текло. За пять лет летнюю кухню и ту не могли поставить. Да что кухня... Коридор к дому дед Архип все лето лепил, вышло курам на смех — какая-то скворечня. А денежки взял.

А для души, для сердца — без дружечки какая боль... Милая на лицо и нравом словно трава покорная, Раиса мужиков манила. Липли к ней и свои, женатые, и чужие. От своих она отстранялась, жен совестясь. С чужими иной раз сходилась. Лето прожила с заезжим шофером, другое — с командированным веттехником. И тот и другой обещали серьезное. Она слабо верила, но поддавалась. Слова обманное пила словно мед, отзываясь на них бабьей лаской. Обещали многое... Но по правде случайные ее дружки и сама она словно игрались в игру. У тех были семьи и дети, у Раисы двое на шее висели да мать с бабкою. И о чем тут речь... Но словно перед собой и людьми они оправдывались серьезным загадом наперед.

Сватались за Раису местные, но все — люди нестоящие, горькая пьянь, каких жены прогнали.

Словом, в пятилетнем вдовстве сладкого было мало, и потому так хотелось хорошего впереди.

Дорога, которой Раиса поехала, вела за речку, за вербовую урему, потом просторным лугом, который раскинулся широко: от горы Бычок до Ярыженского хутора, до песков Ярыженских и, считай, до леса на Бузулуке. Теперь в летнем полудне после доброй весны с дождями луговина сочно зеленела и простые цветы ее — алый клеверок, белые кашки, желтяк — пестрели по зелени, уходя вдаль и вдаль.

Дорога вела околесом, но приходила на хутор. Пора было приближаться к дому, там ждали.

По хутору Раиса катила быстро и опустив глаза, ей казалось, что в каждом дворе уже знают все и судят.

А той порою в низах челядинской усадьбы над речкою обживался гость ли, новый ли хозяин.

Тропка, которую указала Мартиновна, вела межой по огороду, где лишь распускали плети поздние огурцы, стрельчатый лук стоял в колено, цвел горох. Приезжий искал огурчик, не нашел, выдернул белохвостую редиску, обтер ее, похрумтел. На гороховой грядке в зеленой гущине набрал горсть стручков и на ходу шелушил их, выбирая губами молодые сладкие горошины. За огородом начинался старый сад с непролазным вишенником, колючими тернами, корявыми яблонями и старой грушей-дулиной с могучей высокой кроной.

Сойдя с тропы, приезжий стал пробираться через садовую гущину, словно птица небесная пробуя все подряд: кислые яблоки, жесткие груши, красные уже вишни. На берегу подле воды на садовой опушке сыскал он земляничную крохотную поляну, она цвела белым и алела спелыми пахучими ягодами. Приезжий лег на теплую землю, лениво щипал ягодки, погружаясь в покойную дрему.

Спать не хотелось, да он и не заснул бы сейчас. Через смеженные ресницы виделось все: синее небо, длинные косы вербовых ветвей над текучей водой, плоские листья кувшинок по водной зыби, алые и синие стрекозы, шурша крыльями, летали и садились подле

самого лица на сухие былинки, неведомые птицы пересвистывались и пели рядом.

После долгой неволи, серой барачной жизни, скудной на радости, теперь вдруг нахлынуло все разом: столько зелени не видал он много лет, такое просторное небо, такая тишина, и в ней лишь птичье пенье да голос ветра в легкой листве — детство вспомнилось, пионерский лагерь. Но память прошлого была короткой и быстро ушла, ведь рядом был день сегодняшней, ослепительно яркий.

Подойдя к речке, он уселся на берегу, глазами вымеривая ширину и глубину. В годы прошлые, вольные он любил порыбачить, ухой побаловать на природе. Это было давно, но помнилось, и теперь колыхнулась память.

Шесть лет отсидел в колонии челядинский гость. И зря Мартиновна сомневалась, он был тот самый, что писал и фотографии слал, и звали его Костей — все правда.

Тридцать пять годков Косте стукнуло, из них восемь отсидел он в неволе. Сначала по молодости, по глупости короткий срок, теперь подлинней и за дело. Вырос он в городе, имел двоих детей и жену в заводской двухкомнатной квартире и профессию токаря на том же заводе. Токарное ремесло ему опостылело давно, к жене и детям он не спешил, тем более что еще несколько лет нельзя ему было в городе появляться согласно приговору.

В колонии на досуге, в раздумьях решил он попытаться иную жизнь. К ней и прибыл. Зачин оказался славным: приняли пока хорошо; и это побережье, земляничная поляна, чистая речка, в которой он плавал и нырял, не боясь холодных ключей, а потом лежал на траве, на солнышке, даже от тихого хутора отгороженный глухой чащею старого одичавшего сада. Лишь птицы да ветер в вершинах деревьев ласкали слух, да порою плескалась рыба, и шуршало что-то в прибрежных кустах не пугая.

Начиналось по-доброму. И уже звал его голос Мартиновны, трубный, мужичий голосок, ясно долетавший через огород и сад:

— Константин! Константин!

Имя было непривычное, язык им с трудом владал, и потому как-то странно звучал ее зов, по-чужому.

Дальняя соседка Чигариха, в огороде копаясь и услышав, стала раздумывать: кого кличет Мартиновна? Ничего не придумала, решила спросить.

Обедали в доме. Константин был человеком все же городским и потому в горницу носили из кухни лапшу из петуха, вареники, молоко, огородную зелень, яйца, сало.

Позвала на обед Мартиновна племяша, человека бывалого. Тот, наученный теткой, с ходу проверил у Константина справку об освобождении, подтвердив, что все без обману.

Затем сели обедать Мужики распили бутылку белого вина и сразу породнились. загалдев о рыбалке, охоте. Племяш, правда, в тюрьме не сидел, но прошел огни и воды, ездил на стройки в чужие края. К работе он был не больно горяч, а вот с ружьем баловать да на речке имел охоту.

Бабка Макуня, похлебав лапши, разомлела и ушла отдыхать. Мужики выходили курить, галдели. Мать с дочерью переглядывались да переговаривались, оставаясь вдвоем.

— Как он тебе? Глянулся? — спрашивала Мартиновна.

— Не знаю, мама, — пожимала плечами Раиса.

Она и вправду ничего не знала. Увидела, угадала по фотографии и опустила глаза. Здороваясь, почуяла тяжелую мужскую силу, сидела рядом, порою касаясь чужого плеча, тепла, и обмирала, пугаясь ли, радуясь, не знала сама.

— Ты его враз соструи, — громким шепотом учила Мартиновна. — Поглядим, мол, что ты за птица. Може, нам и неподходящий.

Нам хозяин нужен, чтобы и в поле и в доме. А то можем и прогнать взащей.

Учила и не верила своим словам. Сидела дочь словно перепелушка у крутого мужского плеча. Такая не сострунит, не прогонит.

А новый хозяин за столом не церемонился: пил и ел, петуха умял, говорил громко, уверенно:

— Будем жить... Руки-ноги есть. Голова на плечах. — И уже обнимал жену ли, невесту, ободряя ее: — Будем жить.

Раиса молчала, лишь робко улыбалась, шумно вздыхала.

Мартиновны племяш поддакивал:

— У нас можно жить. Тут у нас, ежели человек неглупый... А там... — И текли рассказы о чужих краях, неприютных. — А если с ружьем да с умом... — Про охоту велась речь, про рыбалку.

Константин, Костя, как звали его теперь, об этом говорил охотно и за столом и во дворе, когда уходили курить. А Мартиновна дочь пьгала:

— Не боишься?.. И как теперь?..

Она гадала, прикидывала, но все уже было решено; сидел за столом высокий, крепкий мужик, похохатывал, сверкая железными зубами, Раису обнимал, обещал: «Будем жить...» Мартиновну тоже ободрял: «Руки-ноги целы... Заживем...»

Обед протянулся долго. Бабка Макуня успела выспаться и снова поднялась. Костя, о гостинце вспомнив, достал из чемодана конфеты бабам посладиться.

А потом пришло время Раисе на вечернюю дойку идти, и Костя за ней увязался, балагурил там и смеялся, удивляясь, как выстраиваются коровы в очередь к доильным станкам, словно в цирке.

Бабам-дояркам он понравился, и у Раисы от сердца отлегло. Она колготилась у коров, подмывала вымя, массировала да надевала доильные стаканы. Костя фляги с молоком к машине носил. Их тяжесть была ему нипочем.

После дойки пошли домой не впрямую, а над речкою, садами и вернулись совсем родными. Ночевали в горнице на широкой постели мужем и женой.

Мартиновна всю ночь не спала, за дочь, за себя боясь — за все разом, хоть и унесла к соседям узелок.

А молодые проснулись поутру с легкой душой. Раиса отправилась на работу, Костя до прихода ее зоревал. Перина была высокая, мягкого гусяного пуха, в доме тишина, лишь шелестела губами старая Макуня, творя утреннюю молитву. Помянула она и нового жильца за здравие, по-хорошему.

2

В один из первых дней утром вышел Костя на подворье до пояса голый, крякнул, щурясь на солнышко да на ясную зелень. На плите уже шкворчала яичница с салом, Раиса несла на стол зелень да молоко. А пока она колготилась, Костя поглядел на пошатнувшийся забор и в пять минут поправил его, вогнав две железные трубы стоякам на подмогу. Кувалда в руках его играла легко. Трубы пошли в землю, как в масло. Так же с ходу подтянул он растяжки телевизионной антенны, и она встала «как стуцер».

Это Челядины, Мартиновна да бабка Макуня, людям хвалились. — Прямо враз... По ухватке видать — делучий. — гудела Мартиновна. — Взялся, и забор, как стуцер.

— Как стуцер стоит... — подтверждала бабка Макуня.

Что такое «стуцер» ли, «пгугер», никто на хуторе не знал, но понимали, потому что говорили так отцы и деды.

С колхозной работой Костя не спешил.

— Отдохну немного,— сказал он Раисе в первый день и пообещал: — По хозяйству кое-чего поправлю.

— Отдохнет... — послушно передала Раиса матери, бабке. — И по хозяйству...

— Нехай отдохнет чуток,— повторила по хутору Мартиновна гулким басом. — По хозяйству у нас много дел. Косить надо, кухню ставить, погреб перекрывать, на базах...

Соседи понимающе кивали. Дел в каждом дворе было невпроворот.

Сколько бы отдыхал Костя, как знать, но в субботу да выходной гуляли у Алифашкиных, встречая сына из армии. Раиса и Константин сидели на первом столе как близкая родня. Тут уж челядинский новый зять всему хутору себя показал и многим пришелся по душе. Он петь умел и сплясать был мастак, не отказывался от рюмки, но голову не терял.

Здесь и углядел его Чапурин, управляющий отделением, по-старинному колхозный бригадир. Знакомясь, они поздоровались, пожимая друг другу руки. А рученьки были что у одного, что у другого — лопатистые. И сами мужики под притолоку, плечо в плечо. Бригадир, правда, был потушистее и старше.

Поздоровались, поговорили о том о сем.

— Работать думаешь? — спросил Чапурин.

— Надо,— коротко ответил Константин.

— Это правильно. До пенсии тебе далеко. Специальность имеешь?

— По моей специальности у вас работы нет.

— Тогда иди паси. Новый гурт молодняка нам дают. Дня через три пригонят. Николай Скуридин и ты. Он болел, а нынче опять берется.

В шумной тесноте двора и застолья отыскали Николая. Он после болезни только отходил, с восковым лицом, худой до невозможности, мослы все наружу.

— Бери напарника,— сказал ему Чапурин.

— Возьмем,— легко согласился Николай. — На коне сидишь?

— Не приходилось,— ответил Костя.

— Ну, не беда. Подберем тебе кобыленку какую помирней. Трю-юшкой. А там обвыкнешься, и в казаки примем.

На том и сговорились.

Скуридин на гулянке и раз и другой к новому напарнику подходил. Он быстро пьянел, после больницы в чем и душа держалась.

— Будем пасти,— говорил он. — Я всю жизнь при скотине. Будем пасти... Кобыленку тебе подберем. Триста рублей гарантия.

Потом его жена увела, никакого. А челядинский зять весь день на гулянке пробыл и ушел на своих ногах.

Дома Раиса и теща его разговор с управом одобрили.

— Хорошая работа... — довольно гудела Мартиновна. — Скотники ныне у бога за пазухой. Мыслимое дело: то триста рублей, а то и боле...

— Позавтракаешь и пообедаешь горячего,— заботилась Раиса.— В обед отдохнешь. А на другой день — дома. Работают люди.

— Такие зарплаты... — гнула свое Мартиновна.

О деньгах Костино сердце не особо болело. Манила пастьба через день. В другом ремесле — шофером ли, на тракторе, за станком — всю неделю привязанный. А здесь с передыхом.

Через два дня пригнали с центральной усадьбы гурт молодняка. Смирную кобылу для нового скотника подобрали и оборудовали, и дело пошло.

Первые дни, приучая скотину к новому месту, Костя с Николаем пасли вдвоем.

Хуторской луг лежал за речкою, просторно раскинувшись до самого Ярыженского хутора, до песков. Когда-то он заливался вешней водой, теперь плотины мешали. Но и сейчас луг оставался богатым. Нынче весенние дожди да тепло взбудрили траву, она поднялась пышно, хоть коси. Поднялась и цвела простыми цветами луговины.

Два гурта молодняка, дойное стадо да хуторские коровы паслись теперь на лугу, иногда забредали козы. Но последние больше любили обретаться на солонцах да песках, похрумкивая сибирьком, полынью, а то и молодой вербой. Вдали у Ярыженского хутора еще два гурта виднелись ясным крапом. Пастись было вольно.

К обеду, когда припекало солнце, в парной духоте, в безветрии звенели над лугом оводы. Заслышав их, скотина тревожилась, стремилась убежать, задирая хвосты.

А с утра пастухам можно и подремать. Бычки идут неторопко, кормясь. Луг просторный, не скоро их заворачивать.

Николай Скуридин дремал на коне. К седлу он уже прикипел за долгие годы. Легкий телом, сутулый, он сжимался комочком и, бросив поводья, подремывал, опуская голову на грудь. Через время вскидывался, глядел на скотину и опять сникал, словно старый коршун на сугреве.

А новый пастух, зять челядинский, на кобыле сидел по-мужичьи, колом, в седле елозил, натирая пах. И все стремился к земле при удобном случае. Там было покойнее. Расстилал он телогрейку, ложился, но не брал его сон. Позвякивал удилами конь, тревожа, муравьи беспокоили, букашки. Костя вскакивал, тряс телогрейку.

— Пыль вытряхиваешь? — спрашивал Николай.

— Кусаются. Еще тарантул заползет.

— Чего это такое?

— Ядовитые пауки.

— Бабы у нас ядовитые, — смеялся Николай. — Но они сюда не доберутся.

Хутор лежал вдали за речкой, за вербовой, садовой гущиной и отсюда казался малым. За хатами его, за кладбищем тянулись поля наизволок, к Вихляевской горе. Просторно было, покойно. Солнце взбиралось круче, припекало.

— Скотины сейчас немного, пастись можно, — говорил Николай. — Лишь поглядывай, чтоб не смешать гурты. Можно пастись. И платят неплохо.

За эти дни Николай с Костей узнали друг о друге все.

— Мы должны по килограмму привеса брать, — убеждал Николай. — Да. Вплоть до килограмма и выше. По такой траве... И хорошо получим. Ты не горься, и алименты заплатишь и тебе останется.

Поднималось солнце, начинало парить. Скотина чуяла оводов тревожилась. Кончалась покойная пастыба.

— Может и забзывать, — говорил Николай. — Задерет хвосты и на баз. Не удержишь. А и удержишь, так кормиться не будет. Как оглашенная бежит, и все. Головы не опустит. А мы бзыка обманем.

Обступали просторную луговину пологие холмы, рассеченные теклинами и балками. Зеленели холмы травой, хоть и не луговой, в колено, но едовой, сизый полынок, свистуха, чилига, вострец, а местами в падинках да по отрожьям вовсе хорошие были полосы.

— Это Батякина балка, Терновая, Козиная падина, Лучки, Каргали, Краснов курган, Веселый, — называл Николай места здешние, им исхоженные вдоль и поперек.

Завернув скотину с луга, погнали ее вверх, уходя из парного душевного полудня к свежему степному ветерку.

— И ты так-то всегда, — учил Николай. — Скотина нудится, ты ее на бугры, над балочками, чтоб ветерок обдувал, на ветерок. Одну неделю, положим, Батякиной балкой, потом Терновой, а той — роздых. Не толочи траву. Потом Лычкой, Козинкой.

Поднимались вверх и вверх. Хутор уходил. Сочно зеленела, пестрея, внизу луговина. Темнела обременная гущина, кое-где речка по-сверкивала. Округа ширилась, открываясь с каждым шагом просторнее, и уже виделся хутор Вихляевский в садах, синело Ильмень-озеро, белели пески, Малые Городбища открывались, Большие, Летник и совсем далеко — Бузулук, скрытый уремым лесом. Словно расступалась земля, забирая у неба новые и новые версты.

Николай Скуридин долго болел, в райцентре в больнице дважды резали его, и не верил никто, что он выживет. Он выжил. И вот теперь сидел на коне. Эти первые дни радовали его возвращением к привычной жизни. Там, на больничной койке, у смерти под крылом, грезилось ему что?.. Ребятишки, жена, хутор, эти места, в которых провел он жизнь. Так хотелось сюда. Рвался хоть и помереть, но дома.

И теперь с новым напарником Николай был разговорчивее обычного.

— У меня-то четверо,— повторял он в который раз. — Врачи говорят — на пенсию. А пенсией семью не продержишь. Работать начну, враз оздоровею.

Он был худ, желтолиц, да еще редко брился. Седая щетина вовсе старила. Это на лицо. А в душе он чуял живость и верил, что теперь от болезни ушел.

Светило солнышко, живое тело коня будто свою кровь, горячую, отворяло в человечьи жилы. И чуял Николай, как прибывают силы. Он говорил живее, улыбка теплила лицо.

— А поить будем у Пяти колодцев, у Чурьковых ключей. Я там колодки сделал, трубы повставлял.

И словно виделись Николаю эти места, тенистые, укромные, там и скотине покойно переждать дневной жар и самому пополудновать.

— Летом тута повыгорит... — повел он рукой. — Все погорит дочиста. А мы к лесу будем уходить, в колки. Там такие места есть, я покажу. Молодняк у нас добрый.

Бычки были неплохие, широкие в кости, присадистые. На центральной усадьбе на худых кормах они затощали, но теперь должны были быстро нагулять мяса.

— Хорошие бычки,— хвалил Николай.— Прокормят они и твоих детишек и моих.

Он был один в семье работник на четверых детей да еще теща с женой. За всеми болезнями с деньгами прожились, жена ругалась.

— Обрабатваем... детишек... И нам на табачок...

Молодой летний день разгорался, стремясь к полудню. На буграх тянуло полынным ветром, скотина кормилась, шла неторопко. Николай говорил, Костя на часы поглядывал; припекало, морило, тянуло в сон, а время тянулось медленно.

Вдвоем отпасли неделю и стали гонять скотину в черед: день Николай, день Костя, как всегда это водилось.

В челядинском дворе были довольны. Бабка Макуня хвалилась перед соседями:

— Со Скуридиным пасет. Теперь обогатеем...

Довольна была и Мартиновна. А Раиса и вовсе. И не столько работой нового мужа, будущими деньгами, сколь им самим. Костя не пьянствовал, не поднимал на нее руку, даже худого слова не молвил — о чем еще мечтать? Теперь лишь одно ее заботило: не ушел бы Костя к старой семье да на хуторе к кому не прилабунился. Раиса и прежде была милой на вид, чистопрядной, теперь она стала лицо беречь от солнца, закрываясь платком по-старинному, по-хуторскому, так, чтобы одни глаза на белый свет глядели. Лицо она берегла, причернивала брови, губы подкрашивала, потаясь, молоком умывалась.

Костя же в хуторском своем житье правил медовый месяц. Ему

нравилось, что по утрам его никто не будит, приходила Раиса с утренней дойки, вместе и дозоровывали.

Дивила его тишина. В доме лишь муха ли порой пожужжит залетевшая. Да в дальней комнате бабка охнет — и все. И во дворе словно тоже под крышей: петух пропоет, утки покрякают, чей-то голос прозвучит и стихнет — редкий звук разом тает и глохнет среди вольно разбросанных хуторских домов, в зеленой огороже палисадов, левад, густых вишенников, а то и просто крапивы да лопухов выше плетня. Редкий машинный гул где-то там, возле кузни, бригадной конторы, на дороге к грейдеру и вовсе не тронет слух, растворясь в зеленых земных полях да синих небесных.

Лишь гул самолетный иногда повещал, что есть в мире другое. Его Константин хорошо помнил. Завод, улица, семейная толчея в квартире. Лишь порой вырвешься за город, на рыбалку. Поживешь день-другой среди зелени, тишины, над речной водой.

Теперешняя жизнь была похожа на долгую-долгую рыбалку. Все казалось, сейчас она кончится. Просыпался утром — она продолжалась.

И простодушная новая семья нравилась Константину: покорная милая Раиса, мужиковатая мать ее, о бабке что было и речь вести. Разве можно хоть на миг поставить их рядом с прежней семьей. Здесь вбил у забора два кола да антенну поправил, они и рады до смерти.

А в косьбе Костя не преуспел. Махнул два раза косою, увязив носок до обуха, и бросил.

— Дурость, — сказал он. — Люди ракеты запускают, а тут — как при царе Горохе.

И бабы его не осудили: городской — и косили сами. И с летней кухней дела не больно клеились. По утрам Константин неспешно оглядывал бревна обчина, положенные покойным предтечей. Осматривал, задумчиво курил, чесал в затылке, словно мараковал: как тут и с какого конца ловчее начать. И забывал до следующего утра. Заботила его рыбалка.

В первые же дни он проверил свою речку, хуторской и соседний пруды, на теплых ярыженских ериках побывал, на Лесной Панике, на озере. Без рыбы не приходил. Жарили карасей да карпов. ушицу варили. Пошел, правда, говор, что проверяет он чужие сети да верши. Но не пойманный — не вор, а охотников чужие грехи считать на хуторе много.

Как-то, осмелившись, Мартиновна сказала зятю:

— Погреб наш распокрымшись стоит. Дожди пойдут...

Погеба на хуторе крыли чаканом. Челядинский давно просил рук. Старая кровля почернела, расплзлась, обнажая ребра стропилин.

Костя поглядел на погреб. похмыкал.

— На озере чакан берем. — объяснила Мартиновна. — Тама много. Об лошади надо с управом поговорить. Я сейчас пойду, и мы в четыре руки... — засобиралась она.

Костя ее остановил:

— Само: он есть? — спросил он.

— За лошадь-то? Конюху? Само собой.

— Сегодня понедельник, — прикинул Костя вслух, — строители приехали. Давай две бутылки и сала.

На хуторе поднимала два домика районная стройконтора другой уж год.

Мартиновна не поняла, но послушалась. С сумкой в руках направился Константин к выгону, где домики строились. И спустя полчаса на жестяном листе, словно на санях, приволок шифер. Его тут же на место и определили. Погребница встала на базу ясным белым домиком, радуя глаз.

Мартиновна лишь руками от радости всплескивала да повторяла:

— Теперя наша картошечка... Теперя она...

И виделось ей наперед, как лежит в погребной тьме сухая картошка высоким буртом. Радовалось сердце.

Бабка Макуня с порошков качала головой:

— Зимовать можно в погребе.

Радовалась и Раиса: за погреб, за бабу с матерью, за своего мужика. Костя в душе посмеивался.

А когда начал он скотину пасти, то от хозяйских дел и вовсе руки развязались. Понимали домашние — у мужика работа.

В день пастьбы, утром, Костя ходил за лошадьё, потом завтракал. Смирная кобыла под седлом дремала у ворот.

Скуридин в обед скотину на хутор не пригонял, он поил ее и держал на стойле, в местах не близких. Он и напарнику внушал:

— С собой набери харчишек. Скотине там лучше. Место укромистое, тенек. Она хорошо отдыхает. А на базах — солнцепек, нудится скотина. Я всю жизнь на этом деле, я, парень...

Скуридин убеждал горячо. Но Костя с первого дня стал гонять скотину по-своему: обед — значит, обед. Гуляк отправлялся на колхозный баз, а пастух — к горячему хлебову, к отдыху.

Раиса его поддержала.

— Скуридин в обеды не пригоняет, потому что дома его все одно не кормят,— сказала она. — Вот он насухомятку.

Семейные дела всякого дома на хуторе, чужой обиход не держался в секрете.

Поддержала дочь и Мартиновна:

— Конечно, такую страсть... Весь день без горячего. Желудок загубить можно.

И Костя домой приходил обедать, отдыхать. Да и не только он. Другие скотники тоже гоняли скотину на стойло на колхозный баз. Лишь Николай Скуридин делал по-своему. Но на то он и был Скуридин, не кто иной.

Прошла неделя, другая. Скуридин стал замечать, что бычки по утрам его встречают невесело, словно после худой пастьбы: животы подтянуты, глаза мутные, просящий мык. А тут жена с тещей запели. Они колхозной работы сроду не ведали, из двора не выходили, но знали все.

— Затюремщик челядинский... Люди говорят: до обеда он завтракает, до вечера полуднует, а ты его обрабатываешь. Дурак ты и есть дурак.

Николай не поверил, на хуторе любили и прибрехать, абы уцепиться за что. Не поверил, но решил поглядеть.

Утром, уже не рано — по росе он успел покосить — отзавтракав, пошел Николай к Челядиным. Вся скотина уже давно была на попасе.

Челядинский двор лежал за выгоном, но от Скуридиных его не было видать. Николай пошел улицей вроде к куме Лельке по делам. Еще издали он увидел кобылу под седлом, понуро дремавшую у челядинских ворот.

— Твою мать... — заругался он вслух. — Хоть кобылу бы спрятал, а то и впрямь весь хутор глядит.

Из двора навстречу Николаю вышла Мартиновна.

— Где пастух-то? — спросил Николай.

— Да вроде завтракал... — со вздохом ответила Мартиновна.

— Тут уж полудновать пора, а он все завтракает. Подсказала бы...

— Вам раз подсказешь, другой раз не захочешь,— ответила Мартиновна и пошла дальше.

Она ведь и вправду подсказывала. В первые дни, когда зять начал пасти один, она сразу увидела, что он не топится, и сказала:

— Надо выгонять. С утра самый попас.

— Успеют, наедятся,— отмахнулся зять.

Она сказала в другой раз да в третий. А потом не рада была.

Костя встал перед нею, глаза построжели, и голос словно военный.

— Много говоришь, мать,— цедил он. — Мне скотину доверили? Мне. И ты не суйся во все дырки. Я этого не люблю. Очень не люблю. — Он смотрел ей в глаза, она хотела отвести взгляд, но не могла, страх сковал. — Ты поняла меня? Чтобы я не слышал. Не люблю повторять.

Потом он ушел, зятек. А Мартиновна долго зябла, не могла отогреться и пожаловалась матери:

— Зятек-то наш...

Макуня ее выслушала, попеняла:

— Приманули сокола... А чего же хотите? Он из тюрьмы. А туда зазря не берут. Он, може, людей резал. Ты уж его не тронь. Може, даст бог, уйдет.

Мартиновна после того долго мучилась: сказать дочери — не сказать. Решила перемолчать. Жалко было единственную. Хоть какой, да мужик и вроде не обижает Раису. Может, и приживется. А что до пастьбы, то нынче немало таких пастухов развелось. Умных.

И потому теперь, встретив Скуридина, она и ответила ему так. Сказала слово и ушла. Пусть меж собой разбираются, на то они мужики.

Костя во дворе налаживал велосипед.

— Ты чего? — спросил Николай.

— Да вот, занялся,— ответил Костя. — Камеру клеил, завтра на озеро.

— Солнце-то где? Когда же скотина будет пастись? Потом овод. Ты, парень, уж как-то...

Скуридину было неловко ругать немолодого уже мужика. Он слов не находил.

— Сейчас погоню,— ответил Костя. — Наестся, трава хорошая.

Он тоже не хотел ругни, особенно здесь, во дворе, и потому поднялся от велосипеда и пошел. Отвязал кобылу, неловко залез на нее и поскакал. Не наметом, но бодрой рысцой. Подкидывало в седле. Оставив Скуридина позади, он перешел на шаг.

Николаевы, как и тецины, укору были ему в тягость. Теще он дал укорот. Пора было и напарнику ломать рога. Чтобы раз и навсегда понял. Он знал, что откладывать такие дела нельзя.

И потому когда через день в ту же пору подошел Скуридин к челядинскому двору, по-прежнему стояла у ворот оседланная кобылка, ее мухи одолевали. Она махала хвостом, звенела железом удил.

А хозяина во дворе не было. Мартиновна пропальвала картошку.

— Костя где? — спросил Николай. — Заболел, что ли?

— С удочками пошел туда... — махнула Мартиновна рукой. — К речке.

— С удочками? — не поверил Николай.

— С ними,— подтвердила Мартиновна, опуская глаза.

Скуридин стоял и глазами хлопал. От себя, из дома он шел нынче и впрямь лишь к куме Лельке косы отбить, безо всяких проверок, понимая, что теперь его напарник хоть неделю, да вовремя будет скотину выгонять, посовестится укора. А потом глазам не поверил: кобыла стоит у ворот челядинских. Сразу подумалось: заболел. Теперь же, услышав про удочки, Николай минуту-другую приходил в себя. а когда опомнился, то не знал, что делать ему: бежать ли напарника

искать в прибрежных кустах или напрямую в контору идти к управляющему.

Подумал и пошел на берег. Вослед ему глядела Мартиновна, горько поджав губы.

Николай не торопился: сладкого впереди было мало, а главное, не мог он ничего понять. Стояла сейчас на базу голодная скотина. Стояла нынче, стояла в прошлые дни. А этот человек, его напарник, спокойно рыбу удил, велосипед ремонтировал, спал. Николай прожил уже сорок с лишним годков. Дети выросли. Считай, дед. Много пожил он и всяких людей видал. И скотину видал всякую: голодную, недоеную, под открытым небом среди осени, зимы, по брюхо в грязи ли, в снегу. Но чтобы трезвый и в своем уме человек рыбачил, когда скотина от голода ревет, этого он понять не мог. Не мог, и все тут. Чего-то до него не доходило.

Костя сидел на берегу на черном вербовом пне. Когда-то вербу спилили, пенек остался. Удобно сидеть. Скуридина он услышал издали, не обернулся, но спросил:

— Гнать меня пришел?

В это время поплавок дернулся, распуская по гладкой воде круги. Костя замер, дожидаясь, когда поплавок нырнет, и подсек коротким рывком, почувя тяжесть рыбы.

Увесистый карасик светил темным золотом, отдавая красниной. Костя снял его, кинул в ведро, где гулял остальной улов. Карасика бросил, смыл с руки слизь, не торопясь вытер ладонь и лишь тогда повернулся.

Скуридин стоял тощий, сутулился, горбатый нос торчал из-под фуражки, тоскливо смотрели глаза.

— Чего надо? — поднялся Костя. — Чего пришел? Нынче ты отдыхаешь.

— Там же скотина. Как тебе не жалко?

— Скотина, — подтвердил Костя. — Скотина там. А мне людей жальче. Тебя, дурака, например.

Он шагнул к Скуридину, и тот по глазам, по оскалу зубов понял: сейчас ударит. Николай хотел защитить больное, резаное, еще живое. Но не успел.

Костя коротко махнул рукой. И не ударил. А Николая уже жиганула боль, он упал, скорчился, минуту-другую приходил в себя. Потом боль ушла, но дышать было трудно, и осталась в голове какая-то дурь. Зеленое, красное плыло перед глазами пятнами.

Костя поднял Скуридина за шиворот, держал его, считай, на весу, в большой лапе. Отпустил лишь тогда, когда прнял: будет стоять.

— Не тронул, а ты уж валишься, — сказал он. — А если трону?.. Чего будет? А? Гляди. Заруби на носу. Чтобы я от тебя слова не слышал. Я тебя не учу жить, и меня не трожь. Второй раз повторять не буду.

Все было понятно. Николай отдыхался и не мог взять в толк, трогал его Костя или нет. Вроде не тронул. Он пошел было, но Костя позвал его:

— Погоди...

Николай остановился и через минуту не верил слуху своему и глазам. Костя обнимал его, помогал идти и говорил дружески:

— Тебе лечиться надо, на курорт. А ты изводишь себя. Надо по-человечески: как нравится, так и живи. А другого не трожь, у него, может, свой ум, чужого не просит.

Они прошли по тропке через старый сад, огород, а во дворе Мартиновна удивленно глаза тарщила: зятек ее был весел, доволен.

— Зарыбалился, понимаешь, мать. Спасибо, Николай подошел. Время летит. А рыбу — Николаю. Детишки поедят. У нас много.

Он сложил улов в целлофановый пакет, вручил Скуридину. Вместе они и вышли со двора.

— Не люблю я, когда у меня над ухом зудят. Ты меня понял, надеюсь, Коля. Повторять не буду,— сказал за воротами Костя и, забравшись в седло, поехал к скотским базам.

А Николай у кумы своей Лельки во дворе отыскал старый табак-самосад, растер лист-другой и закурил. Сначала поплыло перед глазами и кашель просек, болючий, отдающий где-то в животе, в резаном. Он долго не курил. Сначала помирал, очухался — не до того было. И врачи запрещали, сказали: помрешь. Но кашель прошел, и стало легче. Яснее думалось, трезвее все понималось. Хотя чего понимать? Все ясно. И теперь, через час почти, ныло в боку и груди, гудело в голове. А ведь и впрямь, наверно, не тронул. Просто испугал. А если тронет? Сила-то бугаиная, и кое-чему научился в тюрьме. Если тронет — конец. И дети останутся сиротами.

Николай покурил и отправился напрямиком к управляющему. Он решил не жаловаться, но про скотину как умолчать? Рано ли, поздно — всплывет. И в чем бычки виноваты? Жаловаться не жаловаться, но надо сказать. И попросить себе другого напарника или самому в другой гурт уйти.

Чапурин находился возле конторы. Сломалась машина, конюх подседлал коня. Чапурин верхом ездил редко, лишь когда хозяйских коров пасли в очередь, раза два или три за лето. В седле он держался не больно ловко, мешали длинные ноги, и тяжелоат был, больше центнера весом. Он уже в седло взгромоздился, слезать не хотел и потому Николая слушал сверху, похмыкивая.

— Ладно,— сказал Чапурин. — Это ты правильно. Надо враз, а то избалуется. Никаких замен, будете пасти. Я его ныне соструню. Чапурин уже слышал про челядинского зятя пастьбу, жена говорила.

— Сегодня я с ним погутарю,— пообещал он, трогая коня.

Конь пошел в намет, екая селезенкой.

Управляющий такие дела в долгий ящик откладывает не любил и вечером пошел к Челядиным. Во двор он не стал заходить, с улицы крикнул:

— Мартиновна! Зять дома?

— Дома. Пас ныне, отдыхает.

— Покличь.

Возле забора лежала вязовая колода, ошкуренная и обтерханная до блеска за много лет. Чапурин сел на нее. Вышел из двора Константиин, потягиваясь и позевывая. За это время на хуторе он заметно поправился, лицо потемнело от солнца, железные зубы ярче светили при улыбке.

— Здорово живешь, казак,— поприветствовал Чапурин, протягивая руку.

И как в первый раз, на гульбе, они померялись силой в рукопожатье. Костя был моложе, сильнее. Управляющий хмыкнул:

— Хорошо масло жмешь. А вот скотину пасешь плохо. Поздно выгоняешь, обедаешь долго, рано пригоняешь.— Он поглядел на солнышко, которое садилось. — Свойская только идет с попаса. А твоя когда на базу?

— Виноват, исправлюсь... — с улыбкой сказал Костя.

— Это другое дело,— помягчел управляющий. — Ты мужик в силах, напарник у тебя хороший. Вы можете. И каких бычков вам дали, геренфордов. На дрожжах будут расти, только паси. И заработки пойдут. Деньги-то нужны?

— Нужны,— ответил Костя. — У тебя деньги есть, ты дом построил вон какой.

Дом управляющего, просторный, шелеванный, крашенный, под шиферной крышей, виден был как на ладони. Чапурин строил его долго, но по-настоящему. До смерти на хуторе жить, а там — наследникам. Словом, навек.

— Хороший дом,— улыбнулся Чапурин. — Не хвлясь скажу. И ты займись строительством. Зарабатывай, расширяйся.

— Не стоит,— ответил Костя. — Такая жара стоит. Строишь-строишь, мучаешься, деньги изведешь. А какой-нибудь дурак спичку бросит,— понизил он голос. — Одна спичка, и нет дома.

Чапурин вскинулся, хотел было рот открыть и замер. В глазах челядинского зятя горел недобрый огонек. «Подожжет»,— сразу же поверил Чапурин. И взгляд его метнулся к дому. Садилось солнце в алом пожаре. В стеклах чапуринского дома играл закатный отсвет. На мгновение перехватило дух, потом отпустило. Но холодок в груди не проходил, и ощутимо кольнуло сердце.

— Ты вот ко мне пристаешь,— спокойно сказал Костя. — А другие как пасут? Один запил — не пришел, другой с похмелья. А я не запью. Гарантия. Так что давай жить мирно.

Разговор кончился. Чапурин пошел домой.

Не хотелось о худом думать, а думалось. Сколько денег перевел на этот дом, сколько трудов, нервов. Другого уж не вытянуть, нет. А этому дураку чего стоит... Кинул спичку — и все. Будет потом сочувствовать, зубы свои железные скалить. Докажи, что это он. Да и посадят его — разве легче? Дома не вернешь.

Опять кольнуло сердце. Чапурин остановился, прислушался к нему. И против воли, но стало думаться о том, что челядинский зять действительно не из худших. Пьет в меру, работать пошел сразу. Есть и почище ахари, зятьки. А с Николаем Скуридиным кому тягаться. Пусть сам ищет себе напарника. А то — управ да управ... Привыкли как детишки за управом, да разве он не человек? Разве он лишь бригадир? Ведь тоже покою хочется, и сердце одно. Хочется до пенсии дотянуть, пожить на покое, садом заняться, рыбалкой. Попробуй тут доживи.

Возле дома, с другой его стороны, у ворот сидел на лавочке Николай Скуридин. Вот уж кого не хотелось сейчас Чапурину видеть.

— Сидишь? — спросил он его со вздохом.

— Да вот тебя жду. Думаю, може, ты поговорил.

— Я поговорил, я давно поговорил,— раздражаясь, ответил Чапурин. — У меня только и дел с одним да с другим гутарить. В обедах я говорил,— соврал он. — Потом в правление звонил, советовался. Там прямиком сказали: воспитывайте своими силами. Прикрепляйте наставника и учите. А прогонять никто не разрешит. Так что давай уж как-нибудь. Он — парень неплохой, не алкаш. Разболтался. Обвыкнется. Мне председатель не звонил?! — крикнул он через забор жене. — А главный агроном?! Звонил?! Я тоже его ищу,— уже Скуридину объяснял управляющий. — Заходит уборка, а он...

Николай все понял, поднялся и пошел домой.

На выгоне было шумно. Перейдя плотину, рогатое козье племя на хутор вышло наметом. Потерянно блеяли козлята, орали козы, ребяташки и бабы с криком отбивали свою животину в шайки, искали потерянных, хворостиной гнали норовистых, иных за рога тянули, красноватая пыль вздымалась над выгоном, словно ворвалась на хутор не козья, мамайская орда.

Младшие Николаевы дочери, увидев отца, крикнули:

— Папка, корову перевстрень. Козленка одного нет и комолой, будем искать.

— Встрену,— ответил Николай и остался на выгоне.

Коровы приходили позднее, в сумерках. Скуридинская Марта, молокостая, до корма охая, обычно правилась не впрямую домой, а к амбарам, где меж брошенной, ржавеющей техники росла трава. Николай туда и пошел. Там сел на сиденье старой косилки и ждал.

Козы прошли, хутор сразу притих. Солнце ушло за Вихляевскую гору. Вспыхнули, загорелись алым и розовым высокие перистые об-

лака. «Перушки на небе горят — к дождю», — вспомнил Николай покойную бабу Фешу, невольно глянув на кладбище. Давно она там.

Горело небо желтизной, обещающая долгую зарю. На хутор от займища потянулись сумерки. А вместе с ними — коровы в теплом облаке мягкой дорожной пыли и терпкого скотьего духа.

Николай увидел свою Марту. Она поглядела на хозяина и опустила голову к траве.

Николай остался сидеть: успеется, долгий вечер. Думалось все о том же: о скотине, о затюремщике, о Челядине — словом, о нынешнем и предстоящем. Нынешний день прошел, завтрашний лежал на ладони: подняться рано утром и пасти допоздна. А вот потом...

У своего двора на теплой вязовой колоде сидел Костя, челядинский зять, ожидая Раису. Ушел бригадир, Костя посмеялся ему вслед. «Как легко их припугнуть... Дети, дети...» Посмеялся — и все. О другом стало думать, о завтрашнем. Велосипед на ходу. Забраться куда-нибудь на Лесную Панику и провести там день. Там крупный окунь, черный, горбатый. Ушицу сварить, запечь окуней в чешуе, в горячей золе. Солнце село в бурлящем желтом огне. Алая с желтизной заря разлилась вполнеба. Хутор и вся округа уже покоились в вечерней дреме. Лишь высоко над головой почти невидимый самолет стремился куда-то, тревожа слух и высокое золотое небо.

Так закончился день. Следующий прошел по задуманному: Костя рыбачил на Лесной Панике, Николай до ночи пас молодняк. Бычки за день наелись хорошо, бока их округлились — любо глядеть.

А потом, ночью, Николай плохо спал. Думалось и думалось. Спал плохо, проснулся затемно и стал собираться. Не его был нынче срок, Костин, но Николай собрался, своим ничего не говоря, хлеба взял, сала и в положенный час выгнал бычков на пастьбу. Кости, конечно, не было, он еще завтракал.

Николай понимал: ругани будет, а может, еще чего. Но он так решил: выгонять, и все. И нынче, и потом. Потому что скотина не виноватая и семью кормить надо. А еще хоть и слабая надежда, а была: может, совесть прошибет. Должна ведь у человека совесть быть. Пусть зубы у него железные, но душа, как у всех, человечья, живая.



ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

★

ОБЫЧАЙ

.

Пока, о забвенье, твою добычей
не стал еще тот стародавний обычай,
святой ритуал тот, скреплявший семью,
ячейку в четыре людских поколенья.
Издревле давалось нам благословенье
на бой, на любовь, на дорогу свою.
На слово и дело. На память и муки.
Вот разом родители подняли руки,
собой уже не заслоняючи дверь:
во веки веков, мол, и присно, и ныне
на заль эту благословляем ты, сыне,
а ты на терпение, юная дщерь.

Неяркий обычай. Но исподволь шире
с годами он распространяется в мире.
Не раз приходилось и мне на веку,
с любимой повздоря и с другом рассорясь
тревожить свою задремавшую совесть
в бессонницах:
— Благослови на строку! —
Я за откровенье дарю откровенье:
ты мучим желаньем самоутвержденья?
Судьбу захотел переладить свою?
Возжаждал найти на вопросы ответы?
Пожалуйста — в благословенье воздеты
березы в твоём неоглядном краю.

Изволь — все тебе указывает дорогу
и прочь от порога, и снова к порогу.
Друзья мои! В смене путей и минут,
хоть дом ваш и полною плещется чашей,
во имя заветной сверхсущности вашей
на новый вас благословляю я труд!
На честный На дящийся не из приличий.
Давайте же чтить этот добрый обычай,
взошедший на отчей земле испокон.
Машины и люди, деревья и стены,
давайте же будем мы благословенны
по высшему счету — без всяких икон.

По сути глубинной — без знамений крестных.
Хотя от покладистых, смирных да пресных
порой нам особенно невмоготу,
вас, дочь и жена мои, вас в этом мире —

как бог ваш и царь на миру и в квартире —
 сам благословляю я на доброту.
 Сам благословляю с надеждой. Со сладкой.
 Сам благословляю. Но все же с оглядкой:
 в семье. дескать, есть и постарше родня.
 И к ветру над полем, и к солнцу в зените
 как младший взываю я:
 — Благословите
 на ждущее завтра и вас и меня!

Жили-были

Жили-были дед да баба. Ели кашу с молоком.
 Ели, словно не заботясь ни о чем и ни о ком.
 Ели дружно, с аппетитом.
 Ложка к ложке. Лоб ко лбу.
 А тревожный сорок первый перекраивал судьбу.
 И тебе. И деду с бабой. И семье моей. И мне.
 Перекраивал в разрывах. Перекраивал в огне.
 Перекраивал в запросах: чтоб не слечь наверняка,
 мне сухарь тогда бы черный да полкружки кипятка.
 Да на кудри бы шапчонку — пусть и задом наперед.
 Сорок первый гнал поземку мимо окон и ворот.
 В голодуху и в морозы под шальной метельный плач
 гнал из глаз он наши слезы — слезы были как первач.
 По сугробным по ухабам гнал меня он босиком.

Жили-были дед да баба. Ели кашу с молоком.
 Ели ячневую с пылу. Ели гречневую всласть.
 Ели желтую — из тыквы. Ели пшенку — в ту же масть.
 Ели манку и овсянку. Основательно и впрок.
 Жили-были дед да баба — вышел деду верный срок.
 Выпал кон сквозь кровь и муки прогуляться по войне.
 На своих двоих. На брюхе. На носилках. На броне.
 Поперек фронтов свинцовых.
 Вдоль посланья на листке.
 Вниз по матушке по Волге. Вверх по Эльбе по реке.
 В полный рост. На четвереньках.
 Под призывы и молчком.
 Мы с тобой в иное время ели кашу с молоком.
 День ко дню. Обед к обеду.
 Утро к утру. Сон ко сну.
 Слава богу, то бишь деду, одолевшему войну.
 Он кому пришелся дедом, братом, сватом, свояком?
 Где сегодня с бабой старой ест он кашу с молоком?
 Сколь из миски он осилил?
 Сколь — покруче — из горшка?

Баба с дедом — вся Россия. Мы с тобою — два вершка.
 Дед да баба. Мы с тобою: что в избе, что в терему
 нас встречали по одежке — провожали по уму.
 По уму, с каким в соседстве нам и горе не беда.
 По уму, с каким и сердце ладит вроде бы всегда.
 По уму, с каким и в дали шли мы чаще пряником,
 хлеб жевали, щи хлебали, ели кашу с молоком.
 Ели-пили. Жили-были. Трали-вали. Ты да я.
 Щи да каша — пища наша: ешь, любимая моя!
 Ешь — вовек не будешь слабой.
 Ешь — оказывай мне честь.
 Мне с тобой, с моею бабой, много каши надо съесть.

Солнышко садится

Война, похоже, близится к концу.
 Перед войной я подошел к отцу
 и поднял синий взгляд к его лицу,
 к шинельным «разговорам» да петлицам.
 Погоны в Красной Армии теперь.
 Но не гремят сраженья без потерь.
 И не стучит почтарка в нашу дверь.
 И за рекою солнышко садится.
 За край земли садится. За луга.
 За наши кривобокие стога.
 За те пределы, где, грома врага,
 шагают волгари по заграницам.
 И мне об этом память — по судьбе.
 И я с такой судьбою — по тебе.
 И тени наши слитны на тропе.
 И за рекою солнышко садится.

Прошли мы вместе через двадцать лет.
 Прошли мы рядом через тень и свет.
 Моя любовь — вопрос, твоя — ответ,
 накапливающийся по крупичам.
 И дальше нам с тобой идти вдвоем.
 За оком. За мысли о своем.
 И мы от них пока не устаем.
 И за рекою солнышко садится.
 И нежный свет скользит по чабрецу.
 Перед войной я подошел к отцу
 и вскинул синий взгляд к его лицу
 по праву тех событий очевидца,
 что были велики и непросты.
 От черт моих отцовские черты
 теперь не отличаешь даже ты.
 И за рекою солнышко садится.
 Садится, чтобы снова поутру
 восстать, разгуливаясь на миру.
 Ты не умрешь — я тоже не умру.
 Ты станешь птицей — сам я стану птицей.
 Ты дышишь мною — и живет во мне
 отец мой, павший на былой войне.
 И наша дочь томится в тишине.
 И за рекою солнышко садится.

В подводе

Без предела и границы
 ходят были-небылицы.
 И кружатся в небе птицы
 над пшеницей и овсом.
 Над колодцем. Над колодой.
 И плывет, дыша свободой,
 жеребенок за подводой —
 тонконог и невесом.
 Конь не конь, но что-то вроде.
 И трясемся мы в подводе —
 во саду ли, в огороде
 восемь девок, один я.
 Восемь. Я при них девятый.
 А вокруг нас сорок пятый
 бродит, слухами богатый
 о загадках бытия.

Сеет были-небылицы:
попросил испить водицы
инвалид у молодежи —
оказалось, мил дружок.
Обгорел в «тридцатьчетверке».
Ордена на гимнастерке.
А наемни на пригорке
бабка сеяла горох...
А малец играл гранатой...
Восемь девок, я девятый.
Хмурый. Тощий. Конопатый.
Не пацан и не мужик.
Не уздечка и не воля.
Не забава и не дроля.
Я обвык без харча в поле,
а без девок — не привык.

Саша, Даша, Маша, Глаша,
три Танюхи да Наташа.
Словом, вся бригада наша:
восемь их да я к тому ж.
Восемь душ не из гулящих,
а из самых настоящих.
Из простых. Из работающих.
То есть всякой нужен муж.
Нужен он любой хозяйке.
Но под будничные байки
(о других, слышь, без утайки,
а свое — в себе тая)
едем мы от сини к сини —
гвардия колхозной силы.
Тыл. Резерв самой России.
Восемь девок, один я.



ОЛЕГ ЖДАН

★

РАССКАЗЫ

Согласно штатного расписания...

Настроение, так же как и погода на улице, могло быть плохим или очень хорошим — это не имело никакого значения. Ровно в семь утра он, Сухоручко Андрей Максимович, заместитель начальника цеха по производству, появлялся в цеху, летом — в юношеском пиджачке с хлястиком, зимой — в затерханном полушубке и рыжей — боярской? — шапке (уж где и достал такую? Сам сшил? Из чего? Не бывает ни зверей таких, ни портных), весной и сейчас, осенью, — в продувной кепочке с кожаным козырьком и болоньевой куртке, застегнутой до нервного, всегда исцарапанного лезвием острого кадыка.

Настроение могло быть любым — шел озабоченно, словно журавль, завидевший на другом берегу болотца добычу, высоко вздергивая сухие длинные ноги. А ежеутренней поживой был для него начальник смены, который стоял к этому времени у своей конторки с белым листком-отчетом в руке.

Настроение могло быть самым безоблачным — до проходной, но миновав турникет, с отвращением взглянув на цветные лампочки доски показателей, будто подключался к электроцепи и, когда сворачивал с центральной заводской аллеи к цеху, вскипал, как самовар или чайник сперва одной нежной песенкой, потом другой, третьей и вот уже хлопал крышкой, выпуская накопившийся пар.

Когда-то в молодости вроде как сам подогревал себя, сам себе подавал пару, однако давно уже привычка стала натурой, и теперь, подходя к цеху, бурлил всерьез.

Обыкновенно распекал начальника смены и кое-кого из мастеров по четверти часа, водил по участку, тыкал носом в углы или, наоборот, расхваливал, перевозносил до небес так, что хоть провались от свалившейся славы, но сегодня, заглянув в листок, только и прохрипел: «Хреново!»

Сунул отчет в карман и — к выходу. Мастера и начальник смены переглянулись — чудо. Что это стряслось с ним? Помчал, будто расстройство желудка, а обыкновенно вытаскивал ноги, словно из глины. Потолклись еще минуту друг около друга и начали расходиться. О том, что произошло — если произошло, — узнает первая смена, а они — через шестнадцать часов.

Сухоручко в это время чесал напрямик по цеху — через браклощадку, через рольганги обрубщиков, через выбивку к административному корпусу, на третий его этаж. Случилось действительно нелепое: он, заместитель начальника цеха, проспал, это во-первых. А во-вторых, в цех пришел новый начальник.

О том, что Шерементов уходит заместителем генерального на автозавод, было известно давно, а вот о том, что на его место придет Головаченок, — недавно. «Егорка?» — удивился Сухоручко. «Егор Егорыч», — с усмешечкой поправил Шерементов.

Когда стало известно, что Шерементов уходит, Сухоручко взволновался. И не в том дело, что уж очень полюбил своего начальника, а в том, что...

Была причина. Нет, сам он на должность начальника цеха не метил, не тот возраст, натура и образование — все не то, не те, как говорится, нос и голос, выправка и походка, — это он понимал прекрасно, не хуже тех, кто решает судьбы; цели такой никогда не ставил, следовательно, и разочарования не испытывал. Дело в другом. В том, что каждый новый начальник, а их уже четыре было на его веку, начинал с того, что выставлял Сухоручко с его не такой уж завидной должности, переводил куда-либо на участок; видно, всем им казалось — если в цеху беспорядок, он виноват, Сухоручко, его метод и стиль. Может, так оно и было отчасти, да только через год-два каждый из них звал Сухоручко обратно. Тот же Шерементов, придя в цех, сразу погнал его на формовку, но, правда, быстро сообразил, что к чему, уже через полгода потащил назад.

«Зачем тебе это надо, Максимович? — интересовались приятели. — Что ты им, козел отпущения?» Сам думал: зачем?.. Перейти бы на другой завод и спокойно доработать до пенсии. Однако будет ли на другом заводе посыпано сахаром? Не накормят ли опять черной редькой?

И чем дольше работал, тем труднее становилось уйти.

«Ну как же, помню, — усмехнулся и Сухоручко. — Егор Егорыч».

Так называли Головаченка и в те времена, когда появился в цеху; маленький, слабосильный, стоял на эпроне, раскидывая щипцами раскаленные заготовки, как рыба на берегу, хватал ртом воздух или упирался ногами в землю за подвесным наждаком, тянул-толкал, и наждак валял его, как плуг неумелого пахаря, слева направо, или... В общем, где бы ни стоял, к одиннадцати часам, к обеденному переыву, — всё, весь, тут же и садился на бадью, на какой-либо ящик... Даже каплю пота с кончика носа подхватить не оставалось сил. И только когда иные рабочие начинали возвращаться из столовой, брел в буфет за бутылкой кефира или молока. Он, Сухоручко, всегда морщился, проходя мимо: такому не на эпроне, не за наждаком или у «нокаута» с кувалдой стоять, а со школьным ранцем ходить. Он, Сухоручко, и предложил попробовать его на комсомольской работе, избрать комсоргом цеха — чем-то парнишка все же располагал к себе. То ли безропотностью, то ли девичьим выражением очень красивых глаз. Дескать, полюбите меня, а я вас всегда полюблю.

Вот тут-то и началось Егоркино восхождение. Через год его забрали из цеха в заводской комитет комсомола, а еще через парутройку лет — в партком.

И вот опять оказался в родном литейном.

Сухоручко все эти годы встречался с ним редко и теперь удивился. Выше ростом Егорка, конечно, не стал, но появилось в лице такое, чего вроде и не должно быть: ирония. Если не прямая насмешка, — дескать, все еще бегаешь, старая кляча?

Признаться, в какую-то минуту, узнав о новом начальнике, подумалось, что работать с ним будет славно, обязан все-таки кое-чем чижик-пыжик. Однако заглянул в глаза и увидел: нет, не тот Егорка, униженный своим малосильем, безропотный и послушный. Другой — пообтершийся, пообвыкший. По-прежнему, ясно, маленький, но заматеревший. И кажется, недовольный.

Чем?

Сухоручко сразу почувствовал себя виноватым — и в том, что вдвое старше Егорки, и в том, что вдвое выше.

Первые дни он и не появлялся в цеху, пропадал в заводоуправлении, но вчера собрал пятиминутку перед концом рабочего дня.

«Я прошел по всем конторкам и не увидел ни одного начальника участка. Считаю это нарушением трудовой дисциплины или непониманием своей роли. Незачем ходить по цеху, на то есть другие службы...» Все они не без удивления поглядели на Головаченка. Шерементов твердил как раз обратное: «Не сидите в конторках! Стойте на линии! Ходите!»

«...И еще...— Головаченок замолчал, будто размышляя, сейчас сказать или погодить.— Вам друг на друга глядеть не тошно?»

Они сперва и не поняли, о чем речь, а когда огляделись и догадались, заерзали на стульях, заулыбались приниженно и согласно: и в самом деле, света белого не видят из-за этой работы. Коношник не брился, похоже, с воскресенья, у Забурдаева ботинки развалились, вот-вот палец покажется, у Белоногова прореха под мышкой — ладонь влезет, да и другие некоторые хороши. Головаченок тоже улыбался, но отнюдь не согласно, мол, смешно все это лишь только на первый взгляд, а уже на второй — позорно.

«Все, завтра начинаем работать». Словно до сих пор они, начальники служб и участков, ваньку валяли.

Обыкновенно после совещаний и оперативок расходились шумно, натыкались на стулья, доругиваясь на ходу, а тут — стулья на место и, не шаркая излишне подошвами, в коридор. Непонятная пока сила исходила от этого маленького широколобного человека.

Сухоручко уходил последним. Но как только взялся за ручку двери, услышал: «Андрей Максимович, а ты куда? Задержись». Опять глянуло неудовольствие в голосе человека. «Давай-ка пройдем по участкам...»

То, что с первой встречи Головаченок решительно и твердо перешел на «ты», Сухоручко устраивало. Иначе как было бы обращаться ему самому?

Вышел из-за стола, остановился в двух шагах, улыбаясь. «И еще одна просьба к тебе, Андрей Максимович... Личная. Прекрати ты материться, как сапожник. А? — Совсем уж широко улыбался.— Есть?» Сухоручко смутился. Неловко было стоять и глядеть на него сверху вниз. Сел на ближайший стул, ответил, махнув рукой: «Нервы сдают, Егорка...» «И не ходи к начальнику смены за отчетом. Сам принесет».

«Откуда знает все, сукин сын? — подумал Сухоручко.— Не был в цеху десять лет, а...» «Служба информации, Андрей Максимович,— ответил Головаченок на невысказанный вопрос.— Пошли!»

Ходил этот маленький человечек очень быстро, Сухоручко едва поспевал за ним.

Они облазили весь цех от модельного до покраски и вывозки. Зная, что такой обход неминуем, Сухоручко заранее наказал мастерам привести участки в порядок и теперь ревниво косил взглядом, пытался увидеть цех его глазами. Но пока понять что-либо было трудно, многие рабочие помнили Головаченка в ту еще бытность, и теперь он приглядывался, выискивал их у вагранок, формовочных машин, на конвейерах, панибратски здоровался, о чем-то говорил с каждым. Не все знали о назначении Головаченка, многие просто не слышали, как складывалась его жизнь, и разговоры происходили разные: «Здоров, головастик!», «Откуда ты взялся, Егор Егорыч?», «Чего ты, Егорка, ползаешь здесь?..» Ну, а те, кто знал, уже не без смущения встречали его.

Головаченок всем этим был очень доволен. Казалось, устраивает его и порядок в цеху.

Но когда наконец вышли на улицу, он, минутой назад веселенький, беззаботный, резко обернулся к Сухоручко: «Ну что, Андрей

Максимович? Можно, по-твоему, и дальше так жить?» Не ожидая ответа, пошел к себе.

При Шерементове начальники служб и участков, цеховой «совмин», как выражался бывший начальник, находились в цеху до шести вечера, а ровно в шесть встречались у табельной и уже вместе шли к проходной. Если случалось, что кого-то недосчитывались у табельной, значит, ЧП, отправлялись на тот или иной участок и сообща выясняли характер происшествия.

Вот и вчера собрались на обычном месте, курили в терпеливом ожидании, а Сухоручко в это время размышлял — звать Головаченка или не звать. Совсем не хотелось объяснять традицию и, возможно, получить насмешливый взгляд.

При каждом новом начальнике возникала какая-либо традиция, и каждый следующий с иронией относился к ней.

Решил позвонить, хоть комнаты их находились рядом. «Я ухажу», — сказал коротко. «Иди», — ответил еще короче.

«Совмин», дружно ржавший пустым анекдотам Хвалынского, увидев Сухоручко, примолк. «Пошли», — сказал он. «А... Егорыч?» — «Он позже».

До проходной шли молча. Бывало, надменный и нервный Шерементов, безжалостно резавший премиальные, раздававший выговоры налево и направо, к концу дня расслаблялся, обретал даже некое чувство юмора. «Что прокисаешь, Забурдаев? Премиальных жалко? Что жалеть о том, чего не держал в руках?.. А ты, Хвалынский? Из-за выговора? Тоже — причина. У тебя их тридцать три». Какой-никакой, а человеческий разговор. Можно было и пообижаться вслух и даже поспорить.

«Как он тебе, Максимович?» — спросил за проходной Коношонок. «Поживем — увидим», — ответил Сухоручко. «Погонят тебя или нет?» Усмехнулся: «Ты за себя беспокойся». С тем и разошлись.

Дома было, конечно, пусто. Жена работала во вторую смену, дочь Лиза не появлялась раньше десяти. Он хлебнул чаю на кухне, помыл посуду, что бросила в раковину мойки дочка, и сел с газетами в кресло, поставив телефон рядом, чтоб не бегать поминутно в прихожую. Телефон уже прозвонил дважды. «П-позовите, п-пожалуйста, Лизу». Голос был незнакомый, видно, кто-то из новых поклонников. «Лизы нет дома». «П-простите, п-пожалуйста», — разочарованно, однако и с облегчением. Ох как нелегко бывает им с ней говорить. А через пять минут другой голос, ломкий, независимый, с молодым раздражением оттого, что он, отец, поднял трубку: «А что. Лизы нет?..» Ох, Лиза...

Была у него еще дочь, Зоя, но — давно замужем, живет на другом конце города, растит двух сыновей. С ней, с Зоей, всегда было покойно и хорошо — училась старательно, матери помогала, художественную литературу читала. Всегда дома, в своем уголке. Ласковая была, обидчивая. Чуть посмотри на нее строже обычного — слезки в глазах, ротик дрожит. Потому и подумалось однажды обоим, Сухоручко и его жене Катерине: если они, дети, такие славные, то почему бы не родить еще одного?

Родили. И не в том дело, что кричала Лизка первые месяцы как резаная, а в том, что... Нет, поначалу и с ней было покойно и мирно. Вот разве только забывчивая или задумчивая была больше меры... Снимет чулочек с одной ноги и сидит. Снимет второй — опять сидит. Ложку супа проглотит — сидит. Вторую — опять сидит. До девятого класса в куклы играла, детские песенки пела. Спала, как новорожденная: не разбуди — и десять часов проспит и двадцать... Зато в девятом как с цепи сорвалась. Бывало, не могли выпихнуть из дому на улицу, теперь — загнать в дом, каждый вечер ходили с Катериной

ее отлавливать. «Где была?» — «В кино с девочками ходила». — «Почему не позвонила?» — «А я номер забыла, папа». Номер! Забыла!.. Крик стоял в доме и гвалт.

Учителя и ученики, вся школа глядела на нее, затаив дыхание: что-то будет!.. Однако пронесло, окончила школу, даже поступила в торговый техникум. И тут уж... В кого удалась? И что будет дальше?

Жена позвонила около девяти. «Ты дома?» — «Дома». — «Лизы нет?» Говорить было не о чем, замолчали. Но не позвони она, стал бы звонить он: «Чего не звонишь?» — «А что?» — «Ничего...» И настроение испорчено на весь вечер. «Когда придет, скажи, чтоб замочила белье». — «Ладно, скажу». Опять замолчали. «Как он?» — вдруг спросила жена. «Кто?» — хоть сразу догадался, о ком спрашивает. «Ну... новый начальник». «А что ему?.. — усмехнулся и почувствовал, что жена усмехается вместе с ним. — Вступает в должность».

Лет десять назад, когда оба они начали быстро и одновременно стареть, раздражаться и ссориться по пустякам, думалось иногда: а как же через пять, десять лет?.. Оказалось, вполне можно жить. Больше того, мир пришел и взаимопонимание. В то время и возникла эта привычка и необходимость — позвонить.

Он замочил белье, приготовил ужин для дочери, но ни в десять, ни в одиннадцать она не появилась. Он уже начал сердиться, когда опять раздался телефонный звонок. «Папа, — услышал ее голос. — Можно мы придем вместе с Вадиком?» Вадик — новый ее кавалер, задрыга и свистопляс. «Что за надобность среди ночи?» — «Потом узнаешь...»

Они явились через три минуты, видно, звонили из автомата у дома, объединенные некой тайной или умыслом, слегка испуганные.

— Ну? — Глянул из-под очков, отложил газету. — Что за срочность?

Молчали, неуверенно посмеиваясь, переглядываясь.

— Говори! — повысила голос Лиза.

И тогда Вадик сел к нему на диван.

— Папа, — сказал, — мы с Лизой решили пожениться.

Позже он не мог вспомнить, что так потрясло его — «папа» или «пожениться».

— Что? — вскочил, и Вадик тотчас отлетел к двери. — Пожениться?

— Да, — подтвердила Лиза. — А что? — И оба хихикнули.

Он ловил выскальзывавшие очки, чтобы поглядеть на них, Лизу и Вадика.

— На первом курсе?

— Какая разница, папа, — ответила дочка, — на первом или на втором?

Наверно, следовало вести себя как-то мудрее, но нормальное соображение отказало ему.

— Жить вы будете где? — закричал он.

— У нас, — сказала Лиза.

— На какие шиши?

— Ну... — вступил Вадик. — Вы нам поможете.. мои старики тоже...

— Учиться кто будет за вас?

— Если ты, папа, про детей, то их не будет, — сказала дочь.

— Что? — совсем уж ошалело закричал он. — Вон из моего дома!..

Видно, были они готовы к подобному повороту и довольно спокойно ушли.

Он никак не мог отыскать капли с валерианой, рассердился из-за этого на жену (сколько раз говорил ставить на одно место!), а когда нашел, не мог попасть в ложку, облил полы. Кошка принеслась на запах, хотел пнуть ее — попал ногой в дверь.

«Жениться!» — разъяренно хромал по квартире взад-вперед. «Папа!» — словно ничего более дикого не слышал.

Не было Лизы и в двенадцать ночи. А в половине первого пришла жена.

— Ты что не спишь, отец? — спросила с порога.

— Сейчас скажу, и ты спать не будешь!

Против ожидания жена отнеслась к рассказу спокойно. Так же было и когда старшая дочь, Зоя, пришла с такой вестью. Дала ему покричать, ей поплакать, а потом спросила: «Ты его любишь, дочка? Ну и выходи, мое дитя». Но там был парень как парень — армию отслужил, профессию имел, а этот свистопляс?

— Ничего, отец... — сказала она. — Может, и лучше... Сам видишь, какая она у нас. А Вадик... Поумнеет, когда дети появятся.

— «Детей не будет!» — закричал он.

— Будут, — улыбнулась она. — Куда они денутся?

Однако по тому, как сосредоточенно взялась чистить пастой ложки, понял, что и ее сразила новость, что вертятся мысли вокруг одного.

— Ладно, — сказала наконец. — Мы ее не дождемся, а тебе рано вставать.

Заснула все ж таки быстро, а он только под утро. Слышал, как около двух ночи явилась Лиза, осторожно прошла к себе. А в три жена вдруг подхватила, села на постели, глядя в окно. Нет, не так легко она переживала случившееся, как показалось.

Заснул около пяти и потому проспал. Потому и мчался сейчас через браклощадку, через рольганги обрубщиков, через выбивку — прямиком.

Вчера, когда он уходил из цеха, был уже в конце длинного коридора, открылась дверь Головаченка: «Андрей Максимович, завтра в семь тридцать ко мне». Пока он оборачивался, дверь закрылась.

Сегодняшний Головаченок в противоположность вчерашнему был весел и разговорчив.

— Что плохо выглядишь, Андрей Максимович? Спал плохо?

— Хорошо спал.

— Выглядишь, говорю, плохо.

— А с чего мне хорошо выглядеть?

— Ну как же? Ты еще молодой. В отпуску был?

— Был.

— Значит, неважный санаторий попался. Я тебе такой посоветую — десять лет скинешь за один раз. А за два — двадцать.

Сухоручко опасливо поглядел на него: чего это он пряник показывает?

— Расскажи мне, Андрей Максимович, твой личный режим дня.

— Режим?..

Что за вопрос? Ради этого он сказал вчера «в семь тридцать ко мне»? Да и не было никакого такого режима...

— Обхожу участки, смотрю суточные журналы... Потом к начальнику смены за отчетом. Потом в плановый, задания на сутки прикинуть, потом к снабженцам...

— К снабженцам зачем?

Выражение лица Головаченка было доброжелательным, свойским, и только на самом донце его женски красивых глаз играла усмешка. И Сухоручко вдруг почувствовал: не то делал до сих пор, не так...

— А как же иначе? Мы зависим от них. Мало ли что...

— Например.

— Ну... например, краска.

— Например, краска, например, крепитель, например, песок, кокс, металл?

Сухоручко пожал узкими плечами: дескать, чего спрашивать, если все ясно?

— Ладно, Андрей Максимович, — еще добрее, дружелюбнее прозвучал голос. — Ты это дело бросай. Журналы тебе должны принести, результаты за сутки сообщить. Снабженцы тебя должны искать, а не ты их. А еще лучше — никому никого не искать, но это уже дело завода.

— Чем же мне заниматься?

— Своей работой согласно штатного расписания. — Головаченок улыбнулся и встал. — Я к директору, Андрей Максимович, посиди на моем телефоне. Мало ли что...

Это было нелепо, утреннее время — важное, ходить надо и ходить, глядеть и глядеть, но не возражать же с первого, считай, дня? И Сухоручко кивнул: ладно, мол, посижу, раз такова воля.

— Мы с тобой, Андрей Максимович, — сказал Головаченок у двери, — наведем в цеху настоящий порядок. Ты только помоги мне. Без тебя я, сам понимаешь, ни черта не смогу...

Уже не только доверие, а печаль и надежда прозвучали в его голосе, покорная просьба влажно сверкнула в красивых глазах. Сухоручко никак не ожидал такого оборота и встрепенулся, даже привстал. «О чем речь, Егорка? — выразило его обтянутое кожей, как старым противоголозом, лицо. — Кто же, если не я? Какие могут быть сомнения?.. Все сделаю, что смогу!..»

Головаченок улыбнулся еще печальнее, вышел. А он, Сухоручко, вскочил из-за стола и — в один угол, в другой, третий, чувствуя, как звучит, отзывается в душе голос Егорки. «Что это я? — подумал. — Мало ли какое состояние было у человека? Мало ли огорчений, обид поджидает нас на каждом шагу? Что ж торопиться с выводами? Уж чему-чему, а благодарую и терпению должен был научиться за свои пятьдесят пять лет... Каково ему, Егору, не знающему толком производства, брошенному в цех чьей-то волей, — хочешь — тони, хочешь — плыви?..»

Обязательно надо сработаться. Взять на себя сколько сможет, освободить парня от мелких хлопот. Пусть вникает, переорганизовывает, в конце концов, все они здесь засиделись, притупилось зрение, может, со стороны и видней.

Было тихо, гул цеха доносился сквозь уже закрытые на зиму окна однотонный, невнятный. Но то был живой, полный, сложенный из работы сотен машин гул. По его уровню и характеру он давно научился судить о здоровье всего организма, как судит, к примеру, шофер по выхлопу о надежности двигателя. Гул был разный утром, днем, ночью, и по его ритму, сбивам и всплескам он мог предполагать, каким окажется для цеха предстоящий день.

Время с восьми до девяти особо важное, многое еще можно успеть, поправить. Именно в этот час настраиваются люди и техника — одно от другого, одно рядом с другим. Как пройдет этот час, такими образуются сутки. Есть ритм, а точнее скорость, главного конвейера, но есть — цеха, складывающийся из тысячи ритмов молодых и старых, больных и здоровых, счастливых и несчастных людей. Все они приспособляются сейчас — друг к другу, к технике, к собственному самочувствию, они хотят и будут работать, торопиться, стараться, важно только не мешать, а помочь им, важно, чтоб техника не подвела, не сбила этот единый, очень даже сложный процесс.

Есть свой ритм и у завода, но он уже недоступен ему, Сухоручко, он в большей мере определен ритмом сборки — там все выравнивается, успокаивается, и кажется, что не имеет особого отношения к явным, пульсирующим ритмам цехов. Есть свои жиденькие ритмы и у механических цехов... Но опять же, если уподоблять завод живому организму, то все они — от дирекции до обработки, сборки и сбыта — что угодно: голова, руки, ноги, спинной мозг и

желудок, однако — не сердце. Сердце — он, Сухоручко, чугунолитейный цех.

В кабинете было тепло и уютно; Шерементов незадолго до ухода сделал ремонт, сменил мебель — шкафы во всю стену, мягкие стулья, переходящее знамя с подсветочкой в красном углу. Он, Шерементов, очень гордился этим знаменем, долго решал, где поставить, и в конце концов установил здесь, по правую руку. А вот Головаченок покосился на знамя сердито: отберут через год — и всем станет ясно, кто хороший начальник, а кто плохой.

Сухоручко ходил взад-вперед по ковровой дорожке и не сразу заметил; что на табло сигнализаторов погасла секция «Б». «Б» — это земледелка, то есть начало процесса, и если завод — организм, а цех — сердце, то земледелка — предсердие. С минуту стоял перед табло, выставив острый кадык и раскрыв рот, в надежде, что загорится зеленый огонек, потом чертыхнулся и закоптыл на тощих ногах вниз.

— Что случилось? — прокричал ремонтникам, бегавшим вдоль транспортера.

— Все в порядке, — ответили. — Защиту выбило.

— Сколько простояли?

— Ерунда, десять минут.

Сухоручко почувствовал, что закипает. Ничего себе «все в порядке». Защиту выбивало и вчера и позавчера по два раза на день. Однако гнев был не по адресу. Его следовало излить на Шмакова, механика, но того не было здесь. «Ладно, голубчик...» — мысленно пообещал. Во время неполадок Шмаков всегда исхитрялся оказаться в самом дальнем углу.

Пора, пора ему пройтись по цеху, беспокойно было на душе.

Шел обычным своим ходульным шагом, прислушиваясь и приглядываясь к тем участкам и уголкам, где вчера или позавчера было какое-либо ЧП.

И — кошмар, вот что увидел.

Нет, еще не кошмар, но живую клетку кошмара: на доске химанализов в графе «Si» стояла цифра «2,8».

Начальник плавки Белоногов — здоровущий, кровь с молоком — стоял здесь же, тоже рассматривал доску.

— Что это? — спросил Сухоручко и полез за очками; может, не два и восемь, а два и три или хотя бы два и четыре?

Белоногов недоуменно пожал широкими борцовскими плечами: дескать, знать не знаю, ведать не ведаю, тоже стою вот и удивляюсь.

— А кто знает? — Еще выше поднял могучие плечи.

Сухоручко почувствовал, что с наслаждением дал бы кулаком по его медному лбу. И был уверен: лоб загудел бы, как вечевой колокол, — так был пуст и огромен.

Так же нелепо держался Белоногов на оперативках. Пыхтел, пучил глаза, удивлялся: что вы говорите?.. неужели?.. странно...

Сухоручко с трудом поднялся по крутой, почти вертикальной лестнице на завалку шихты и все понял. Две кучи ферросилиция лежали здесь, одна марки «18», другая — «45». Из второй завальщики и швырнули на весы, а может, и на глазок в вагранку пяток лопат. Каков начальник, таковы и рабочие, это всегда один к одному.

Принародно высказав все, что он о нем, Белоногове, думает, зная, что сзади он, Белоногов, корчит ему гримасы перед рабочими, Сухоручко с еще большим трудом спустился вниз по той скользкой и крутой лестнице — ноги у него болели уже больше тридцати лет, с того времени, как вынули осколочек у позвоночника, оттого и походка выработалась журавлиная, — и опять заглянул на земледелку. Транспортер уже бежал, струился, нес землю в смесители, «бегуны». И Шмаков стоял здесь: вот он я, принял меры. Ругаться два раза

подряд не хотелось, шагнул мимо. Десять минут — куда ни шло. Хотя наверняка двадцать. Надо бы установить счетчики времени на линиях, да недосуг.

На одной из площадок заливки увидел Гришу Бархотова, старого друга, вместе когда-то пришли на завод. Хорошо заливал опоки, плотной и ровной струей, ни одной брызги мимо. А молодые — то один танцует, то другой. Затанцуешь, когда попадет за шиворот или в сапог. Впрочем, и он потанцевал в свое время, до сих пор тело в синих пятнах. Он, Гриша, уже выработал себе приличную пенсию, но уходить не хотел: внуки пошли, надо помогать молодым.

— Как ты сегодня? — спросил его. Последнее время жаловался на боль в правом боку.

— Болит... — с досадой ответил Бархотов.

Чувство вины кольнуло Сухоручко — болезнь печени, по свидетельству медсестры, была на этом участке профессиональной. В минувшем году лаборатория промышленной санитарии завода потребовала установить дополнительные вытяжные вентиляторы, прислала акт: загазованность воздуха окисью углерода превышала норму в двенадцать раз, окислами никеля — в десять, запыленность на очистке — в двадцать пять с лишним. На очистке тогда же поставили вентиляторы, а сюда еще не добрались...

Говорить было некогда да и не о чем, разошлись.

Пора было отправляться в ПРБ. Обыкновенно к этому времени они с Касьяновым уже заканчивали составлять задание цеху, а сегодня кряхтит один.

Касьянов сидел красный, как вареный рак, опасливо покосился на открывшуюся дверь.

— Что у тебя? — спросил Сухоручко.

— Дверь закрой.

Вернулся, закрыл. Была у него такая манера — дверь настежь и пошел. То же и дома. Однажды и в отпуск укатил — заходите, кому чего надо берите. Жонке дурно сделалось, когда через месяц вернулась и увидела открытую дверь. Подумал, что и кабинет Головаченка оставил открытым.

— Что случилось?

Оказалось, что Головаченок, направляясь к директору в заводоуправление, столкнулся с Касьяновым у механического-два. «Поздно на работу приходишь, Федор Никитович», — заметил ему. «Я... я...» Касьянов был не то что робок, а косноязычен и все, что пытался объяснить, запутывал. А объяснить он хотел, что пришел на завод вовремя, однако пробежал по механическим, как делал уже много лет, чтоб убедиться в обоснованности заявок, а поскольку живет на другом конце города, а автобусы и трамваи... и потому... того... поскользнулся... Отчаявшись выбраться из словесной каши, умолк, но Головаченок все понял и усмехнулся: «Ты можешь хоть вокруг завода бегать, но чтоб в семь сорок был в кабинете».

Человек Касьянов был старательный, исполнительный и любые унижения переживал неадекватно долго — час прошел, а он все еще сидел растерянный и убитый.

— Ладно, переживешь, — сказал Сухоручко. — Давай по заданию. Жаль его, но и Головаченок прав: надо приезжать пораньше.

— Ни черта не получается, — сказал Касьянов.

Та же причина. Обычно легко и быстро разбрасывал номенклатуру по конвейерам — униженный, не мог прикинуть, не видел самых простых решений.

Опоздал Касьянов еще и потому, что вчера механические цеха все как один потребовали увеличения, и он носился по заводу, прощая, кому в самом деле надо срочно добавить, а кто может и погодить. Приближался конец месяца, и механические заказывали отлив-

ки кто на план, а кто и на перевыполнение или на всякий случай. Мало ли что. Вдруг он взорвется или сквозь землю провалится, ваш проклятый литейный-один...

Они сидели над заданием, ломая головы, чтобы удовлетворить всех, созваниваясь с механическими, как вдруг дверь открылась, и на пороге встал Головаченок.

— Я же тебя просил, Андрей Максимович, побыть у меня в кабинете,— тихо сказал он.— Я же просил!

И хлопнул дверью.

Сухоручко и Касьянов тупо переглянулись. Вот тебе и на. Что там случилось, елки-моталки? И что теперь? Идти следом, как мальчику за наказанием, или уж сидеть как сидел?

Вздохнул, поплелся следом.

— Что там произошло, Егор Егорович? — спросил виновато.

— Поздно, Андрей Максимович,— равнодушный к его раскаянию, ответил Головаченок.— Поздно. Иди.

Вот так начался и развивался день.

В одиннадцать часов дня по всему заводу останавливались станки и конвейеры, пустели цеха. Жизнь перемещалась в столовые, блинные и пирожковые, ну и, конечно, сюда, в кабинеты начальников цехов, где в это время начинались оперативки.

Мастера, начальники служб и участков уже прослышали, как нервно реагирует Головаченок на опоздания, и собрались в коридоре минут за десять до начала оперативки. Курили, переговаривались вполголоса, посмеивались, скрывая настороженность и беспокойство.

В одиннадцать дверь открылась, и Головаченок, оглядев толпу, сказал:

— Опаздывать не надо, раньше времени приходите незачем.

Те, кто стоял впереди, потупились, кто сзади, со значением переглянулись: эге, дескать, ого, слухи подтверждаются.

Оперативка проводилась по технике безопасности и мало чем отличалась от тех, что вел Шерементов. Разобрали по протоколу прежние задания, записали новые. Пожалуй, разговор мог получиться и более нервным, поскольку коэффициент частоты травматизма в цехе к приходу Головаченка оказался четыре и пять десятых, а коэффициент тяжести — тридцать. И только в конце оперативки Головаченок слегка озадачил всех.

— Я слышал, Шерементов крепко бил по карману? — поинтересовался.— Я, товарищи, никого бить не стану. Каждый будет бить себя сам.

Чего-либо особенно нового в таком сообщении не было: провинившийся сам определяет процент лишения премиальных, ну а право корректировки остается, естественно, за начальством. Как говорится, что лбом об пень, что пнем по лбу. Однако и оживились — Шерементов в последнее время редко кому оставлял все сто.

Видно, Головаченок был в хорошем настроении: коэффициенты высокие, но не он в том виноват. Встал, подошел к Забурдаеву, начальнику участка обрубки, положил руку на плечо.

— Завтра оперативка по культуре производства... Ты, Федор, как считаешь, есть о чем поговорить? А?.. Правильно, есть. На участке твоем такая же грязь, как и тогда, десять лет назад. Думаешь, я забыл? Нет, не забыл, все помню...

Забурдаев поднял плечо с ладонью Головаченка повыше, и нелепая улыбочка перекосилась на его угрюмом лице. Таилась еще некий намек на панибратство. То, о чем все забыли, кроме, может быть, Сухоручко, Забурдаева и, конечно, Головаченка. Десять лет назад Егорка попал на участок Забурдаева и тот гонял его как сидорову козу. Шипел и плевался: «Где ты рос, головастик?..» И вот пришли иные времена: «Не забыл, Федя?.. Я все помню».

— Ладно...— Головаченок сел и почти нежно оглядел всех.— Давайте работать.

Мол, хотелось бы поговорить обстоятельнее, повспоминать, но в другой раз, некогда. Надо работать.

Выходили из кабинета совсем иначе, чем входили. Вот сколько слухов было, а оказалось — простой человек. Гомонили, шаркали, а Забурдаев сказал: «До свидания», на что Головаченок тотчас ответил: «Здрарсте». Заржали, будто невесть какая получилась острота, а в коридоре тотчас начали развивать: «Забурдаев!» — «Что?» — «До свидания!», «Федор Игнатович, ты где?» — «Здесь я». — «А, здоров».

На сегодня же, на тринадцать ноль-ноль, был назначен выезд руководителей цехов на городскую свалку. Там, на участке, отведенном заводу, народный контроль — по слухам — обнаружил металл. Народный контроль — всегда неприятность. Куда бы ни заглянули, везде прицепятся и виновных не выясняют: давай, Андрей Максимович, выполняй.

Рейды на свалку устраивались два раза в году: весной, где-нибудь перед 1 Мая, когда растает снег и подсохнет, и осенью, перед Октябрьскими. Прошлый раз нашли среди дряни и хлама три битых коллектора, пяток крышек, редуктор — звон подняли на весь завод. Фомичев, корреспондент заводского радио и председатель группы, сунул в нос микрофон: «Как объясните, Андрей Максимович?»

Объяснить несложно. Обрубщик или подсобник в ночной смене разбил отливку и, чтобы не иметь боя, швырнул в бадью с мусором. Но кому нужны такие объяснения?

Ехали на управленческом «рафике», и Сухоручко сидел рядом с Камшиловым, замом сталелитейного, старым другом. У его дочери очень долго не было детей, пожалуй лет десять, уже собрались разводиться с мужем, как вдруг забеременела. Беременность протекала трудно, три раза дочка лежала на сохранении, и теперь старик тихо сходил с ума в ожидании родов и все гадал, внук родится или внучка. «Ты считал своих по обновлению крови?» — «Чего считать? — ответил Сухоручко. — Какая разница?» — «А я считал. Один раз девочка получается, другой — мальчик. Не слышал какого другого счета?» — «Не, не слышал».

Наконец остановились, вышли из «рафика». И ахнули. Гора «козлов», то есть бесформенного металла, что выбрасывается из вагранок при выбивке, лежала перед ними. Сразу же по серому цвету стало ясно чья — сталелитейного. Камшилов, ругаясь и про себя и вслух, покорно ждал, пока Фомичев настроит свой «репортер».

По литейному-один все было благополучно, и Сухоручко отошел, чтоб не присутствовать при унижении старого приятеля.

Пейзаж на свалке был сказочный. Может, так и выглядела планета Земля когда-то? Не суждено ли ей такое еще раз? Тишина, низко стелющийся дымок и душный смрад. Красота. Есть шанс зародиться новой жизни и есть шанс задохнуться тому, что еще осталось живым. С некоторых пор мысли о будущем преследовали Сухоручко, хотя, казалось бы, чего бояться — жизнь давно свернула в известный тупичок. С того дня, как родились у старшей дочери Андрей, а за ним Максим, и выяснилось, что ничего не стоит твоя собственная долгая уже жизнь в сравнении с их двумя жизнями — такими коротенькими еще и случайными. Это потом, когда вырастет человек и окрепнет, обзаведется долгами и должниками, кажется: как же без него? Начертано в книге бытия жить. А сейчас — вот они, голошейки. Пищат.

Два часа ушло на поездку. А когда возвращались обратно, Сухоручко вспомнил дело, о котором не должен был, не имел никакого права забыть: в цеху, на стержневом участке, кончался фенол.

Камшилов, отъединенный позором и грядущими неприятностями, ерзал на сиденье, вздыхал и вдруг спросил:

— Как новый начальник? — Дескать, не так уж крепко они прихватили меня.

— А!.. — отмахнулся Сухоручко. Было уже не до него.

«Снабженцы тебя должны искать, а не ты их», — сказал Головаченок и был безоговорочно прав. «А еще лучше — никому никого не искать» — это и вовсе было бы замечательно. Однако цех получал около пятидесяти компонентов, и всегда чего-либо не хватало, что-то было на исходе, и никогда не случалось такого, чтобы все — в избытке.

Да и могло ли быть иначе, если песок везли из двух мест — из-под Гомеля и с Украины, из Вольногорска, кокс из Череповца, Калининграда, Подмосковья, чугун из Тулы, Макеевки, Днепропетровска, Кривого Рога... Фенол поставляли ленинградский и кемеровский химзаводы. Как правило, поставляли аккуратно и вовремя, но случилось однажды — загуляла цистерна по железной дороге, пришлось одалживать на радиаторном, автомобильном, велосипедном заводах, всех обобрали, на весь город прославились, а цистерны как не было, так и нет. А когда уже и надежду всякую потеряли, едва цех не остановили, вышли с Шерементовым на шихтовой двор, увидели — вот она, родная, под роскошной белой шубой, заиндевелая, медленно катит по рельсам. Литейщикам пламенный привет!

И вот опять похожая история. Фенол из Ленинграда шел четверо суток, из Кемерова десять, а в понедельник Сухоручко, не надеясь на ОМТС, то есть на снабженцев, сам запросил по межгороду и Кемерово и Ленинград: «Выслали?» — «Выслали». Но и во вторник понастоящему не заволновался. Заволновался вчера. Обычно, когда приходила новая цистерна, в прежней еще оставалось литров сто — двести, а тут, видно, получился недолив — вчера нацедили последний бачок. Он договорился с литейным-два позаимствовать у них сотню-другую литров и вот забыл организовать получение, послать машину и человека. Наверняка в цеху уже разразился скандал, Хвалынский побежал к Головаченку, запах жареного явственно проникал сквозь закрытые окна машины...

И все же есть нечто необъяснимое и фантастическое в этом мире, в этой системе. Не раз бывало такое: все, пропали, нет ни выхода, ни спасения, завтра пойдем искать другого места и хлеба, — глядишь, выскочили. Или выползли. И наоборот: там, где было надежно, благополучно, вдруг хрястнет по шее, аж звон в ушах, — откуда, отчего?..

Он шагнул в цех, втянул голову в плечи, словно на него тут же, на первой ступеньке, должны обрушиться гнев и ярость самого производства в лице женщины-стерженщиц, Хвалынского, Головаченка, а может, и самого начальника производства завода Чигирина, и ничего особенного не увидел, участок работал.

Оказалось, что проныра Хвалынский припрятал в темном углу еще бачок крепителя, кроме того, сам послал машину в литейный-два, а главное, уже позвонили из железнодорожного цеха: есть цистерна из Ленинграда, встречайте. Он сразу простил все всем: и прошлый недолив ленинградцам, и лишние сутки железнодорожникам, и Хвалынскому его хитрость, скандальность, глупые анекдоты и даже позорный, неумеренный интерес к женщинам. Начальник участка он все же разворотливый, а женщины... Пусть сами блюдут свои интересы и себя.

В прошлом году Хвалынский повадился оставаться на работе во вторую смену, и однажды нагрязнула жена, тяпнула камнем по занавешенному окошку конторки и увидела то, что ожидала увидеть.

В результате через полгода Хвальнский развелся с ней. Плакала в кабинете у Сухоручко: «Помогите, Андрей Максимович!» А он лишь только сочувственно глядел на нее: чем я тебе, женщина, помогу?..

Они, женщины, часто приходили к нему. Кто-то хотел поменять работу, кто смену, кто хлопотал о квартире, о зарплате, об отпуске... Псалтысячи женщин в цеху, и просьбы были разные, но когда жаловались на пьянство мужей или супружескую неверность, Сухоручко скучно отворачивался. «Поговорите с ним, Андрей Максимович! Пригрозите ему!..» Пригрози — уйдет в другой цех. Тут, видно, и господь бог отвернулся бы с выражением смертной скуки.

Смена заканчивалась спокойно. Правда, позвонил из механического-один Кузьмич, закричал, что кончается тридцать четвертый стакан. «На смену есть?» — спросил Сухоручко. «На полсмены». Значит, на смену. Он заглянул в задание формовке и увидел, что в самом деле они с Касьяновым промахнулись: вместо тысячи заложили пятьсот. «Продержись, Кузьмич, смену,— попросил.— К третьей подам». «Ну, гляди, Максимович. Ну, гляди...»

В четыре провел пятиминутку по подготовке ко второй и третьей сменам, сделал поправку по стакану и всех успокоенно отпустил.

Около пяти к нему пришел Головаченок. Сел у дальнего края стола, облокотился — маленький, притяжший, задумчивый. Что ж, первая смена закончилась хорошо, сутки обеспечены — можно и погрустить.

— Просто не верится, Андрей Максимович, что десять лет прошло,— сказал вдруг.— Будто и не уходил из цеха... Неужели и вся жизнь так пройдет?..

Сухоручко взглянул на него и увидел, что Головаченок смотрит мимо, в окно за его спиной на заводскую трубу да и обращается с этими неясными словами не к нему, а туда, в непостижимое пространство, за облака. В женственных глазах Головаченка стояла такая тоска, что Сухоручко обдало холодком — может быть, тем же ощущением времени, о котором он говорил. Захотелось утешить его и самому утешиться, поскольку и он знал едкую власть таких размышлений и только недавно научился прогонять от себя.

— Да что ж, Егорка...— сказал он.— Жизнь есть жизнь... Никуда не денешься. Лучше не думать про это... Тут справедливости нет.

Головаченок не отозвался, будто и не слышал его слов. Он сидел, упершись руками в стол, нахохлившись, и словно опять уменьшился физически, снова стал мальчиком, которого впервые сразила мысль о времени и своей жизни. Но вдруг поднялся, не оглянувшись пробормотал:

— Пойду...

Глядя ему вслед, Сухоручко подумал, что, наверно, ох как не просто складывалась жизнь Егорки, если способен на такие размышления, и, возможно, они ближе друг к другу, чем показалось вчера и позавчера. А возраст — это еще не все.

Дома он неожиданно застал и жену и дочь. Занимались какими-то делами на кухне, вполголоса разговаривали и обе умолкли, услышав стук двери.

— Папа, ты?

— Я.

Дочка вышла навстречу в передничке, с мукой на руках и щеке. Чмокнула в подбородок, как ни в чем не бывало лукаво спросила:

— Как ты?

— А ты?

Дочка рассмеялась, вернулась на кухню — опять послышались их умиротворенные голоса, постукивание ножей.

У дочки был счастливый характер, размолвки не оставляли долгого следа в ее душе. В этом она унаследовала характер матери; он, Сухоручко, мог копить и сгущать обиду по неделе и две. Лишь только по кухонному рвению можно было догадаться о раскаянии дочери, обычно ее домовитости хватало самое большее на омлет.

Однако сегодня было не до обид. Он вошел на кухню и поразился благодушию в лицах что у дочери, что у жены.

— Чего это вы обе дома? — спросил, голосом дав понять, что все помнит, что такие дела быстро не забываются.

— Меня Клара Бунчукова попросила заменить, — сказала жена. А дочь хохотнула:

— А я, папа, передумала замуж выходить. Ну его к бесу, этого Вадьку. Надоел он мне.

В общем, если поразмышлять, ничего неожиданного в таком афронте Вадьке не было, но все ж таки замуж она еще никогда не собиралась, — у него присох язык.

— Ты думаешь, что говоришь?

— Пусть он думает, — сказала Лиза. — Больно умным себя считает. Даже своих родителей не смог уговорить, а хочет жениться.

— Подожди, дочка... — сказал он неожиданно для себя. — Надо разобраться. Ты его любишь или...

— Откуда я знаю?

— А кто должен знать?

— Ай, папа, — отмахнулась. — Хочу замуж — не пускаешь, не хочу — выпихиваешь. А тебя как понять?

Он пожал плечами и счел за лучшее убраться из кухни. Взял газеты, удобно устроился перед телевизором и вдруг почувствовал, что на душе хорошо и легко. Эта девочка, так много отнявшая у него здоровья, была ему дорога. Просто неизвестно, как жить, если бы она ушла.

Вскоре с кухни повеяло печеным — сопутствующим ароматом семейного счастья.

Вспомнил Головаченка и подумал, что, наверно, у него не сложилось в семье, может, оттого и вылетел из парткома завода, попал в цех. Опять мысленно посочувствовал ему.

Вспомнил Камшилова и пожелал ему здорового внука или внучку.

Через час дочка позвала его ужинать. Первая партия булок и пирожков с творогом, изюмом, яйцами, капустой была готова, аппетитно громоздилась на столе.

— Папа, тебе какие?

— Все равно.

Она положила перед ним по одной разных. А он, прихлебывая чаек, решил ни о чем не спрашивать дочь, сама расскажет о случившемся матери, а мать — ему.

И еще подумал: какое ему дело до этого Вадьки, до бывших ее и будущих кавалеров? Или до Головаченка, например.

Есть у него вот эти две женщины, мать и дочь, они для него полмира и полжизни, все остальное суета и прах.

В одиннадцатом часу позвонил начальнику смены Капустину, услышал, что и вторая смена заканчивается хорошо. Можно было спокойно отправляться спать.

Он поднялся в шесть утра и, чтобы не беспокоить жену, прихватив одежду, пошел в ванную. Потом на кухню — хлебнуть на дорогу чаю, и тут увидел плоды вчерашних хлопот дочери и жены — румяные пироги, витушки и ватрушки, рогалики и тартинки, засыпанные сахарной пудрой, удобренные клубничным и смородиновым вареньем, покрытые глазурью и липовым медом, — они лежали на столе, на шкафчике, на табуретках, прикрытые свежими полотенцами, источая

благовоние и благодать. Кому столько наготовили, зачем? С наслаждением вкусил этих щедрот. Тут, сонно шлепая босыми ногами, вошла на кухню жена.

— Поел?..— зевнула, потянулась громоздко, лениво.— Ох, спать хочу...

— А чего поднялась? — недовольно спросил он.

— А не знаю... Сейчас лягу.

Была у нее такая счастливая особенность: поднимется, выпроводит всех из дому и опять завалится, засунет голову под подушку, спит, будто и не просыпалась, лишь перевернулась на другой бок. Потому, наверно, и выглядела хорошо, куда моложе своих пятидесяти четырех. С другой стороны, когда дети были маленькие и болели, могла не спать и сутки и двое, не жалуясь и не ропща.

Когда-то казалось — староватую он выбрал себе жонку. Однако после сорока пяти она будто не только перестала стареть, а еще и отмотала назад лет десять. Не сам — приятели навели на такую мысль. «Слушай,— вдруг озабоченно заинтересовались один, другой.— Сколько это твоей?» Посмеивался: «Семнадцать». Пускай думают, что сорок пять.

На улице было сыровато, но тепло и безветренно. Обычно по осени у него сильнее болели ноги, но сегодня чувствовал себя хорошо.

Показалось, что мелькнула около дома тщедушная фигурка Вадика. Вглядываться не стал. Какая ему разница — его фигурка или не его?

«Не ходи к начальнику смены за отчетом,— говорил Головаченок.— Не носись по участкам. Ты не надзиратель, а заместитель начальника цеха. И не матерись, как сапожник».

Касательно сапожника — справедливо. В самом деле, опустился, даже рабочие смеются, подходят послушать, когда он кроет мастеров вдоль и поперек. А касательно того, чтобы не ходить по участкам,— нелепо. Основная работа и состояла в том, что ходил, подталкивал, проверял, пихал в шею и спину, выбивал, висел, напоминал, маячил.

Подходя к проходной, увидел Касьянова — несся на всех парах, расстегнув пальто, шарил по карманам пропуск, вот и обрадовался — нашел. «Ты можешь хоть вокруг завода бегать, но чтоб в семь сорок был в кабинете». Ладно, будем на месте, Егор Егорович, а по заводу все ж таки пробежим. За это ты нас не съешь, а вот если что такое... Еще как стрямкаешь. Не ты первый у нас начальник, хотя, может, и последний, как знать... С чего еще начинать новому человеку, как не с дисциплины и организации труда? Шерементов тоже вопил когда-то: «Где вы ходите?.. Вы — мозговой центр! Совмин! Вы... Вы...» А там, глядишь, закатал штаны и — колесом по заводу и цеху: «Давай!.. Выгребай!.. Нажимай!»

Видеть распаренного Касьянова было приятно, но говорить некогда. Пожали руки, а за проходной — каждый в свою сторону, Касьянов к потребителям, то есть по механическим цехам, Сухоручко к себе.

Начальник смены Капустин уже выглядывал из ворот.

Сухоручко взял отчет по тоннажу, удовлетворенно кивнул: неплохо. Надо его, бестолкового, похвалить. Не Капустина, конечно, за слуга, но хоть вывез все, что наформовали и обрубил, и за то спасибо. Да и нельзя молотить человека раз за разом — привыкнет. И вдруг в самом низу, против графы 1701034 увидел легкий такой, небрежный, почти незаметный прочерк.

— Где стакан? — повернул к Капустину разом позеленевшее лицо.

— Не было, Андрей Максимович,— ответил бодро. Видно, тоже уверен был, что сегодня его похвалят, а может, и премию выпишут.— Весь цех облазил, нет как нет.

Сухоручко глядел на него, все еще надеясь, что — недоразумение. Бывает и так: завезут, а в ведомости не отметят.

— Ты понимаешь, что говоришь? Пятьсот штук наформовали во второй смене.

— Нет, не было.

— Где мастер?

— Заболел Воробей. Не вышел на смену.

Все стало ясно. Махнул к печам отжига — вот она, бадья со стаканом, торчит уголком, заваленная другим литьем.

— Иди сюда! — гаркнул уныло подходившему Капустину. — Что это? Хрен собачий?..

И тут из него понеслась такая брань, какой и сам никогда ни от кого не слышал, каковой и прославился в цеху. Не мог остановиться, сдержаться, трясло и колотило, и только этой бранью можно было хоть как-то успокоить дрожавшее от ненависти нутро.

Злоба и ненависть ирсыкли так же мгновенно, как нахлынули. Он замолчал на полуслове и поплелся, высоко и медленно поднимая тощие ноги, к себе.

Было семь часов тридцать пять минут.

Сел, пододвинул заводской телефон поближе, а тот, красный, что ударит в упор ровно через пять минут, отодвинул подальше. Набрал по заводскому номер.

— Кузьмич, ты до одиннадцати со стаканом не подождешь? — спросил не здороваясь.

— Так я уже стою, — мирно ответил тот. — В семь утра стали.

Да, теперь Кузьмичу кричать и возмущаться нечего. Дело перешагнуло его цех, теперь всем ясно, как он выбивал, вымаливал эти стаканы, и вот результат.

Сухоручко молчал.

— Максимиыч, ты где, здесь?.. Как здоровье?

— Здоровье хорошее, — ответил и положил трубку.

Красный телефон ударил на две минуты раньше, чем он ожидал.

Оперативка началась вовремя, и опоздал на нее только Сухоручко.

В одиннадцать он еще стоял в механическом-один на линии, где растачивали стакан, и смотрел, как прожорливый «Буллард» пожирает их. В цеху было пусто, начался обед, и только рабочих этой линии упростили остаться, поскольку ЧП. Здесь же стоял и Кузьмич, тоже интересовался, как пойдет дело, ну и на него, на Сухоручко, было ему интересно взглянуть. Крупно подзалетел старый приятель. А еще наладчик, молодой, но уже всем недовольный мужчина, стоял с ними, шевеля губами, прислушиваясь.

— Кузьмич, — сказал он, — слышишь? Сейчас резцы полетят.

Стакан подали с отбелом, то есть твердый, поскольку торопились и как следует не отожили.

Кузьмич махнул рукой: мол, давай крути. Теперь он был отомщен и даже не прочь поспособствовать Сухоручко.

— Ладно, — сказал Сухоручко. — Я пойду.

И только шагнул журавлем, как услышал вой, хруст и проклятия наладчика. Не оглянувшись — и без того знал, что там произошло.

Как и было намечено, Головаченок проводил оперативку по культуре производства, будто и не случилось ЧП в цеху. Разбирали протокол, составленный опять же при Шерементове, и Головаченок улыбался, сидя на стуле верхом и даже раскачиваясь: вот какой я, совсем простой. Сухоручко подумал, что лучше бы ему родиться женщиной — так красивы и нежны были его глаза.

— ...А в тоннелях? — сказал, обращаясь к Забурдаеву.

Забурдаев молчал.

— Ты, Федор, как женщина, что сметает сор под кровать: главное, чтоб не видно.

Тоннели — вечная тема на оперативках по культуре. И любимое место санстанции.

— Как считаешь,— продолжал Головаченок,— на сколько процентов тебя лишит?

Еще тише стало в кабинете.

— Молчание — сто процентов.

— А я виноват? — окрысился вдруг Забурдаев.— Отливками тоннель заваливает — я виноват?

— Понятно,— кивнул Головаченок.— В протокол: начальника термообрубного участка Забурдаева Ф. Н., который ни в чем не виноват, депремировать на пятьдесят процентов. На первый случай.

Да, прочиталось на лицах, такого не было и при Шерементове... Однако подействовало: теперь называли процент быстро и не жадничали. А Белоногов тоже назначил себе пятьдесят, на что Головаченок улыбнулся и возразил: «Хватит с тебя пяти...»

Опять расходились на цыпочках, и только Забурдаев так хватил ногой стул, что полетел через весь кабинет. Впрочем, тут же и струился — поднял стул, поставил к стене. Власть этого маленького женственного человечка над всеми ими росла...

— Ну что, Андрей Максимович,— сказал Головаченок, когда остались вдвоем.— Я тебя, сам понимаешь, лишать премиальных не стану. Это Чигирин с Крумаком сделают. Да и не в премиальных дело...

Вот именно. не в премиальных. Эти пятьдесят или сто рублей он выложил бы Чигирину и Крумаку хоть сейчас и сверх червонец добавил.

— Не в премии дело, Андрей Максимович,— повторил Головаченок, и голос его стал тихим от дурных предчувствий.— В безответственности. В твоей порочной практике работать за других. Согласен?

— Согласен,— сказал Сухоручко.

Головаченок опять был безоговорочно прав.

— А если согласен, то иди попей чаю и успокойся... Говорят, резцы там летят?

— Летят...

На том и разошлись.

Конечно, прав.

Однако не правотой делают план. Она тут ни при чем.

План делают руками, ногами, головой.

Под цехом сборки, под главным конвейером, имелся подвал — во всю длину и ширину цеха. Там хранился НЗ узлов и деталей, от туда и везли их в случае перебоя. Привезли и сегодня, поэтому информация о срыве по литейному-один до директора завода не дошла, событие замкнулось на Чигирине, начальнике производства завода. К директору тоже попадет, но позже. Впрочем, от этого тяжелая рука его не станет менее горяча. Этим, видно, и объяснялся тихий голос Головаченка—Крумак умел выставить на посмешище. Однако вот держался достойно: знаю, что меня ожидает, но ни словом больше не упрекну, ни взглядом. За всех вас, нерадивых, отвечу, все возьму на себя.

Это-то и мучило Сухоручко. Куда проще отвечать самому.

Оставив Головаченка, он вспомнил, что железнодорожный цех сообщал о простое вагонов в ночной смене. Законы у железнодорожников были драконовские — тридцать процентов премиальных автоматически слетали за простой. Но опять же не в премии дело, ее так и этак не будет в этом поганом месяце, а в том, что разгрузку он, Су-

хоручко, поставил примерно и гордился, что в его цеху хоть с этим не было проблем.

Белоногова на месте не оказалось. Сухоручко поднялся к нему в конторку и только раскрыл журнал, увидел, что не только в ночной смене вагон с траками простоял три часа вместо пятидесяти минут, но и сегодня два вагона с песком два часа вместо часа. В ночной понятно, магнитная шайба траки не берет, пришлось снимать рабочих с участка и разгружать вручную, а песок?..

— Белоногов! — закричал, увидев начальника плавки.

Но тот уже летел к нему, как раненый бык. Сорвал с головы каску, лянул о стол.

— Надоело!.. Меня ночью в цех привезли! Я три часа спал!.. Я..

Все-таки сегодняшние события вынули у Сухоручко силы. Не было никакого желания ругаться с ним. Плюнул и шагнул из конторки.

Решил было идти в ПРБ, просмотреть дополнительные требования на сутки, но вспомнил, что не обедал. Столовая была закрыта, постучался в буфет.

— Это я, Валя, — сказал буфетчице. — Не осталось у тебя пожевать?

— Сосиски есть с капустой, Андрей Максимович.

— Давай сосиски.

— Яичницу могу сделать с колбасой.

— Давай и яичницу.

Все-таки до конца дня еще далеко.

Он сел за любимый стол у окна с видом на цеховой скверик и, ожидая, пока Валя разогреет сосиски и поджарит яичницу, стал глядеть в окно на облетевшие клены и топольки. Он посадил их на комсомольском воскреснике лет десять назад, но земля и воздух были тяжелыми, сыпалась из трубы сажа — деревья укоренились и росли плохо, поздно покрывались листвой по весне и рано оголялись осенью. Он чувствовал к этим тополькам и кленам нежность. Подумал, что надо вменить в обязанность конторской уборщице поливать их. Будет старуха ворчать, но не так уж много труда надо на это.

Поташнивало от голода и всех нервных встрясок. Казалось, необыкновенно аппетитно шкворчит яичница на плите.

Увидел, что пробежал мимо окна Головаченок. «Не сидится, однако, в кабинете, — подумал и усмехнулся. — Быстро бегаешь, чижик. Где бы ты, однако, был сейчас, если бы не я? На каком эпроне или наждаке стоял?»

Успокаивалась помаленьку душа. В конце концов, чего не бывает на производстве. Сборка работает — это главное. А премии, выгоды и награды — все это личные, частные дела.

— Кушайте на здоровье, — сказала Валя.

Славная девушка. Между прочим, он, Сухоручко, свою жену нашел именно в этом буфете. Тоже славная была лет тридцать назад. Вспомнил, что сегодня конец недели, вечером все будут дома, и совсем хорошо стало на душе. Скорей бы он прошел, этот день.

— Валя, — вдруг спросил Сухоручко, — а пива у тебя нет?

— Есть, — ответила, — чешское.

— Давай сюда.

Она заставила весь стол едой, улыбнулась:

— Что у вас за праздник сегодня, Андрей Максимович?

— Сколько той жизни, Валя? Посиди со мной.

Однако поесть Сухоручко не успел.

— Пируешь? — услышал голос.

В двери стоял Головаченок и злобно глядел на него.

Случилось вот что. Поскольку стакан подали в мех-один с отбелом, часть его пошла в брак, а поскольку новую партию отжигали

уже как следует, опять получилась задержка. Кузьмич не стал звонить в литейный, а сразу вышел на Чигирину. Ну а Чигирин такое событие — второе ЧП по той же отливке — понял как личное неуважение. Разгильдяйство, бестолковость, глупость — все мог простить Чигирин, но только не это. Это его обижало и возмущало. Если его, Чигирина, человека с чемпионским здоровьем, когда-нибудь хватит инфаркт, то не от перенапряжения, не от домашних и производственных стрессов, а единственно от него, от неуважения. Сказать, что Чигирин от неуважения вскипал, — значит, ничего не сказать. От неуважения он взрывался, как паровой котел.

— Быть этого не может, — сказал Сухоручко. — Есть у них стакан. Даже если половина пошла в брак — есть.

Головаченок глядел на него, как на дитя.

— Да не в этом дело, Мак-си-мо-вич!.. Неужели не понимаешь?.. Не шныряй ты без толку по цеху! Сиди на своем рабочем месте!

— Подожди, Егорович, — сказал Сухоручко. — Цех и есть мое место.

Головаченок поглядел в окно будто в поисках поддержки от неба или заводского начальства.

— Андрей Максимович, — сказал с холодным спокойствием, — а ведь мы не сработаемся с тобой. И видит бог, я не виноват в этом... Я тебе приказываю: сиди!

Видно, все же есть в живом организме нечто подобное температурному реле, и успокоение, которое чувствовал Сухоручко, заглянув в буфет, было таким временным успокоением. Опустится температура до нужного градуса — подключится опять. Но бывают сбои в любой системе.

— Что ты сказал?..

В глазах Головаченка мелькнул страх, он сразу стал похож на того мальчика, что стоял у рольганга и с отчаянием тянул-толкал подвесной наждак. Однако Сухоручко его отчаяния не заметил.

— Щенок, — сказал он. — Не сработаемся? Сработаемся! Я четырех начальников пережил и, даст бог, тебя, щенка, переживу!..

Как старый аист, трудно пошagal к механическому-один, казалось, сейчас с усилием взмахнет поредевшими крыльями и медленно взлетит, вытянув сухие ноги.

Первым его начальником здесь был Кулажкин Петро Иванович.

Он встретил Сухоручко, раскрыв для объятия единственную левую руку, как будто жили до войны на одной улице или воевали в одном полку, заставил рассказать о себе все, что было значительного в этой жизни, показать пятнышко под ключицей, у позвоночника на пояснице и на ноге, что приобрел за время войны, и очень заинтересовался тем маленьким, величиной с пятак. «Повезло, — сказал, потрогав пятнышко пальцем. — Еще бы чуть-чуть, и все». Сам тоже показал свой шрамчик, расстегнув три пуговицы гимнастерки, и еще шире улыбнулся: тоже чуть-чуть, и все. Он, Сухоручко, смущенно глядел на этого бесцеремонного рыжего человека и чувствовал, что готов полюбить его. Нет, не удивлялся. Настало особенное время. Мир. Дружбы хотелось и любви.

Завод был уже восстановлен, уже работал не на войну, а на долгую счастливую жизнь. Кулажкин поставил его, не знающего производства, на участок формовки мастером, потом впихнул в открывшийся при заводе техникум, через год сделал своим заместителем, он же и женил его. Подвел однажды к раздатчице обедов Кате, сказал: «Видишь, какой тощий?.. Клади ему двойную порцию гарнира. Откормишь — твой». А Сухоручко давно уже на эту девушку поглядывал — упитанная была, толстоногая, славная... На свадьбе, что справляли в общежитии, Кулажкин пел песни вместе с ребятами, дирижировал левой рукой и култей. Он же помог комнату получить в бараке, он

и дочерям предложил имена. «Если дочка родится,— сказал однажды,— назови Зоей или Лизкой, а?»

А за неделю до того, как родиться первой дочери, Кулажкин вдруг не пришел в цех. Оказалось, что-то еще осталось у него с войны, кроме культишки правой руки и шрамчика на груди. Какой-то осколочек там, в опасной близости с сердцем, и вот стронулся, сдвинулся и — попал.

Похоронили. О, какие то были похороны. Первые на заводе после войны.

Долгое время Сухоручко и ночью вскакивал: не может быть... Да и днем казалось: вот подкрадется сзади, шлепнет пустым рукавом или пихнет культей: «Ну как?.. Скоро поправишься? Что за порода у тебя, а?»

Потому, наверно, и невзлюбил нового начальника цеха, Лухова. Нет, нелюбовь — сильное чувство, в нем есть возможность сближения, а тут была одна лишь досада и недоумение: что за человек?.. Ни радости не увидишь на его лице, ни злости. С одним и тем же постным, как редька на подсолнечном масле, выражением подписывал приказы с выговорами и поощрениями, одинаково монотонно читал мораль и хвалил. Ни с кем не здоровался, не прощался. Чем был так озабочен всегда? И однажды Сухоручко не выдержал. «Пустите меня на формовку»,— сказал. «Почему?» — «Надоело». Пожал плечами, отпустил.

И не имело никакого значения, что при нем, Лухове, цех начал расширяться и обустраиваться, брать первые места и премии, что через год Лухов опять пригласил его: «Давайте попробуем вместе еще раз». «Не хочу»,— ответил Сухоручко. «Я вас прошу». Что будешь делать? Согласился, а через месяц раскаялся. Тошно было встречаться с ним по десять раз на день.

И только когда стало известно, что Лухов раньше времени уходит на пенсию, взгляделся в его старое лицо, вслушался в болезненный голос и подумал, что ничего не знает об этом человеке, а ведь он из того же поколения, что Кулажкин, и, наверно, не так уж мало событий за его сутулой спиной. «Нет здоровья, товарищи,— как всегда, равнодушно сказал на последней оперативке.— Пора».

Плохо тогда подумал Сухоручко о себе. Впрочем, не он один, многие все эти годы, глядя на Лухова, пожимали плечами, а то и посмеивались. И вот загрузили. О нем ли, Лухове, загрустили? Не о своем ли будущем — без него?.. Сообразили наконец, что неплохо было с ним и работать и жить.

Третий начальник, Круковский, был барин. Молодой, румяный, здоровый, он пришел волею случая из республиканского министерства, с иронией относился к своему назначению: дескать, занесла судьба, ладно, потерпим, поработаем, переждем. Всех работников перетасовал, как колоду карт, кто куда попадет, а Сухоручко без всякой видимой причины — походка скорей всего не понравилась — послал аж на очистку литья, подальше с глаз. Год не прошел — опять перетасовал. Сухоручко, например, отправил на стержневой, со стержневого в обрубку, с обрубки... «Андрей Максимович...— вспомнил однажды имя и отчество.— Что-то рук не хватает, лоботрясы кругом... Может, поработаешь опять замом?» Вот тогда и спросили приятели: зачем это тебе надо, Андрей?

Уходил Круковский из цеха через три года подрастерявшимся, пооблезшим. Нет, ни на мгновение Сухоручко не посочувствовал ему.

Потом — Шерементов. Тоже недоволен был назначением, прежде работал начальником производства завода — бросили на прорыв. Тоже погнал Сухоручко на участок формовки, но вовремя спохватился, через полгода сказал: «Максимович, не держи зла». Выбил денег на оборудование, взялся за технологию и кое-чего добился. Цех, а вместе с ним Шерементов опять пошли вверх. И вот уже

нет его здесь. Заместитель генерального на другом заводе, большой человек.

Что-то скажут о Головаченке те, кому суждено его пережить?..

Так и оказалось, как предполагал. В механическом-один в ящике у начала линии имелось еще полсотни стаканов — вполне достаточно, чтоб доработать смену. Паника была поднята на всякий случай.

Он вернулся в цех — новую партию уже вынимали из печи.

Прошел в кабинет и до конца дня сидел, не поднимаясь с места, с неохотой отвечая на телефонные звонки. Как всегда, после волнений и встрясок разболелась правая нога — врачи говорили, что каким-то образом боль связана с тем последним ранением в поясницу, — сидел и растирал ее. Укутал курткой, начала успокаиваться.

В пять дверь кабинета приоткрыл Головаченок — в шляпе, легком плаще. Этот плащик и шляпа, надвинутая на глаза, опять превратили его в подростка. Виновато улыбнулся в двери.

— Пошли по домам, Андрей Максимович.

Сухоручко отвергающе двинул головой.

— Ну, тогда до понедельника... — Пора было и уходить, однако стоял. — Ты прости меня, Максимович...

— Бог простит.

Не поднял головы даже, когда дверь закрылась.

Домой он пришел в обычное время, то есть около семи. Катерины не было, а Лиза вертелась у зеркала.

— Привет, папочка, — сказала весело. — Ты не в настроении?

— А чему радоваться?

Дочка отвернулась от зеркала и щекой поласкалась о его плечо.

— Муррр, муррр.

То была старая, оставшаяся с детства игра, и он улыбнулся. Когда-то они вдвоем с Зоей так ласкались около него.

— Куда собираешься?

— А так... прогуляться.

Вряд ли она собиралась к Вадику, обыкновенно, разругавшись, не возвращалась к вчерашним дружкам, ходила к девочкам в общезитие, пока не возникал новый герой.

— Папочка, тебя покормить?

А вот это уже странно. Обычно такое не приходит в ее красивую маленькую головку. Даже сама, наскоро поев, сваливала посуду в раковину — мойте, папа и мама, а меня уже дома нет.

Пока он раздевался, мыл руки, Лиза уже разогрела суп, налила полную, до краев тарелку.

— Папочка, ты восемнадцатого января работаешь? — спросила, осторожно неся от плиты к столу.

«Может, и образумится? — подумал он. — Посерьезнеет?.. Вон как славно сегодня получается у нее. Говорят, у женщин все это в крови».

— А что восемнадцатого?

— Суббота. Черная она у вас или красная?

— Не знаю. Какая разница?

— Мы с Вадиком записываемся восемнадцатого января.

Он поперхнулся и уронил ложку.

— Что?

— Сегодня заявление занесли.

Первым порывом было шваркнуть эту тарелку об пол, перевернуть стол, свалить холодильник и...

Однако он только швырнул в раковину упавшую ложку, двинул ногой табуретку так, что перевернулась, и выскочил из-за стола.

Через минуту оказался на улице.

То, что едет в трамвае к старшей дочери, осознал, проехав половину пути.

Обычно они с женой ездили к ней по воскресеньям, предварительно созвонившись, прикупив гостинцев для внучат. Будут они, приученные к подаркам, и сегодня заглядывать в глаза, за спину, но не вылезать же, не поворачивать обратно. Невмоготу было одному.

Впрочем, начал он и успокаиваться. Три месяца — большой срок, до сих пор игры дочери длились полтора-два. Да и Зоя посоветует что-нибудь, ей, молодой женщине, все это понятней.

Кнопку звонка, однако, нажал не без робости: вечно у дочери было захламлено, к концу недели особенно, и она сердилась, если не успевала перед приходом гостей похватать вещи, запихать в шкаф. Но откуда быть порядку, если дети растут?

Так и есть. Открыла дверь в драном халате, стоптанных шлепанцах, с всклокоченными волосами.

Однако не досаду, а радость прочитал он в ее глазах. И еще показалось: увидел на щеках следы слез.

— Папочка... — произнесла жалобно, ткнулась в плечо, вздохнула прерывисто, как дитя.

Внуки, Андрей и Максим, вылетели навстречу, завопили: «Дед! Дед!» — норовя одновременно зацепиться за шею. Были они погодки, оба упитанные, крепенькие. Еще год назад обоих поднимал на шее, а теперь нет, потяжелели, дай бог одного поднять. Так и стоял, пригнувшись, посмеиваясь, похлопывая по крепким спинкам, — ожидал, пока минет первый порыв.

Значит, не дети причина слез.

Никита, муж?

Вообще-то он считал, что с Никитой им повезло. Парень хоть и был грубоват, простоват, но не пил, не гулял, дружески относился к тестю и теще. Имена сыновьям дал в его, деда, честь.

Решил не спрашивать ни о чем — или скажет сама, или знать ему не надо о том, что произошло. И тоже не рассказывать, что привело к ней. И вообще, чепухой показалось все, кроме ее грязноватых щек.

— С Никитой поругалась, — не долго выдержала дочь. — «Халда» на меня сказал. «Живем как в сарае: поесть нечего, отдохнуть негде». А сам?

Он промолчал. Прав Никита. Дочка и есть халда. Все у нее абы где и как, открой шкаф — вывалится куча тряпья. Не приучена делать что-либо на будущее, впрок — только то, что надо сегодня, сейчас. Посуду мыла перед едой, обед готовила, когда подведет живот.

Мать виновата, не приучила к порядку ни одну, ни другую дочь. Он, Сухоручко, всю жизнь видел перед собой на стульях, на столе, на полу, на телевизоре, на шкафу, куда ни повернись, платья, чулки, трусы, колготки, бюстгалтеры — все, чем богата женщина, чем так, когда оденется во все это, хороша.

Никита из другой семьи, строгой, крестьянской; сперва сам пытался убирать, готовить, но позже и он опустился, вот бачок протекает в туалете — хрен с ним, пускай течет. Но иногда срывался — хлопнет дверью, неизвестно куда пойдет.

Впрочем, дочка уже сполоснула лицо и посвежела, повеселела. Ходила по квартире, поднимая свои и детские одежды.

— Папа, — сказала, — может, ты искупаешь детей, а я поесть приготавлию?

— Ура-а-а! — отозвались Андрей и Максим.

Обожили, когда купал дед. Он засовывал в ванну обоих сразу — дом старый, ванны огромные, и тут уж они расходились так, что и он, дед, выходил после купания мокрый как мышь.

В этот раз едва не подрались в ванне, пришлось дать шлепка по розовым распаренным попкам, зато когда наконец одел в пижамки, повязал платочки и вынес на диван — тут была одна радость.

Младший сразу залез на плечи, скомандовал:

— Скакай, дед!

И что будешь делать? Скакал. Ну что за существа эти внуки?.. Нет для них более привлекательного места, чем старая дедова шея. Попробуй «поскакай» три минуты с одним, а потом с другим...

В квартире было уже свежо, прибрано, с кухни доносились вкусные запахи: если бралась Зоя, все делала умело и быстро, — и тут явился Никита. Вроде все еще мрачный, но скорее обиженный, уже усомнившийся, с вопросом в лице: что, мол, будем продолжать пыхтеть или как?.. Но увидел порядок в доме, вымытых детей, услышал шипенье шкварок и разулыбался, потянулся к жене. Вот и там, на кухне, кто-то кому-то залепил шлепка по мягкому месту.

За ужином зять достал из холодильника половину водки, выпили по рюмке и закурили.

— Лизка замуж собирается, — сказал Сухоручко.

— Наконец-то! — воскликнула Зоя. — Слава богу.

Вот тебе и ответ.

— Да ведь молода еще, — попробовал возразить он.

— Ну... Уж кому-кому, а ей давно пора, — ответила дочь.

И эти слова окончательно успокоили его.

— Как на работе, отец? — спросил зять. — План даешь?

— А как же? — ответил. — План — закон, а закон нарушать нельзя. Посадят.

Никита кивнул. Он и сам работал мастером на электроштитовом заводе, такие заботы понятны ему вполне. Зоя отправилась укладывать ребят в постель, а у них пошел нормальный мужской разговор.

Когда ехал домой, трясясь в том же длинном трамвайчике, ему опять стало тягостно. Вроде как забыл что-то важное, необходимое и для сегодняшнего и для завтрашнего дня. Хотелось скорее приехать домой, увидеть жену, дочь Лизу, уяснить то, что томило его. Но маршрут трамвайчика был извилистый, долгий — дребезжал и дергался битый час.

О Головаченке не вспомнил ни разу с того времени, как покинул завод. Нет уж, спасибо, не вспомнит о нем до понедельника, пока не войдет в цех. Ни о ком не вспомнит из тех, кто трепал ему нервы и душу изо дня в день. Не вспомнит о плавке, формозке, обрубке, о шихте, вагранках, опоках — ни о чем, что заполняло его жизнь в течение тридцати лет. Сейчас будет проезжать мимо завода и отвернется, будто никакого отношения не имеет к нему.

Вот она, огромная заводская труба. Вот и пустынная проходная.

И вдруг он понял, что томило его — завтрашние выходные.

Будет он болтаться по квартире, равнодушно читать газеты, глядеть в телевизор, в окно, ворчать на жену и дочку и ждать, ждать, ждать, когда же закончится это бессмысленное бездельное время, когда наконец затрещит будильник в шесть утра и придет понедельник — нормальный рабочий день.

День рождения

Собственный день рождения для Матвея Селиха самый ненавистный в году день. Нынешний же — приближалась непростая дата, сорокапятилетие, — обещал быть самым ненавистным из ненавистных.

Селих вообще всегда ходил злой и гневный, а как только наступал октябрь — тут и вовсе не погляди на него, не спрости. На ра-

боте — ладно, там до его настроения никому особого дела нет, только Воробей и спросит иной раз: «Ты, Матвей, с какой ноги сегодня поднялся?» — а вот дома... Бедная его Марья. За неделю до этого прекрасного дня не знала, как угодить ему, что подать, сказать. Бывало, пробовала она, как все люди, отмечать те дни — пекла пироги, выставляла к ужину бутылочку водки, загодя приобретала подарок, но Матвей не прикасался к рюмке, любимое блюдо — жареного гуся с изюмом — отодвигал локтем и, поковырявшись вилкой в картошке, уходил спать. А что касается подарков — запонки там или рубахи, — то, во-первых, не надевал их три года, во-вторых, таким взглядом одаривал Марью, что скоро она зареклась что-либо покупать.

Однако забыть вовсе об этом дне Марье тоже никак нельзя. Пробовала не дарить, не готовить, делать беззаботный вид — по две недели не разговаривал с ней.

Так что теперь Марья что-нибудь все же готовила, однако не слишком праздничное (если гуся, то без изюма, если пирог — без глазурики), что-нибудь покупала — те же запонки, галстук, носки или перчатки, но не дарила, а оставляла где-либо на видном месте, будто и не подарок это, а так, шла мимо магазина и соблазнилась, говорить не о чем, дешевка, пустяк.

То — в обычные дни рождения. А нынче? Целые вечера Марья размышляла у плиты, как поступить. Обыкновенно Матвей суровел за неделю до дня рождения, тут, похоже, началось за две...

Когда-то и у них было как у людей — и гости и песни. Однако прожив вместе лет пять-шесть, Матвей сказал: «Хватит. Не праздник». И — отрубил.

Про свой собственный день рождения Марья и вовсе забыла: ничего он, Матвей, не покупал и не дарил ей — ни когда женихался, ни после... Соседки и подружки, собравшись у дома на скамеечке, начинали иной раз долгие разговоры: этот ухажер стал таким, этот — этаким, с этим так могла бы сложиться жизнь, а с тем так. Одна лишь Марья молчала. Что рассказывать? Никого не было у нее ни до, ни после. Через неделю после того, как приехала в город и еще топталась, не рискуя, около заводской танцплощадки, Матвей подошел к ней и дернул за руку: «Хочешь, провожу?» Поглядела на него, а он мимо смотрит, будто и не раскрывал рот; на подруг — вовсе глядят, будто нет здесь. «Не гуляла до меня?» — спросил, проводив до общежития. «Нет». Удовлетворенно кивнул и теперь уже весь вечер молчал, будто главное узнал, а все остальное неинтересно. Она сама рассказала помалу, откуда приехала, чего ради и когда. И чем упорней Матвей молчал, тем большую зависимость чувствовала она от него. Очень он был ей по душе, настоящий мужчина. На площадку ходит, но не танцует, домой провожает, но пустых слов не говорит, спрашивает только о том, что и должно настоящего мужчину интересовать. И когда на третий вечер Матвей сказал безразлично: «Хочешь, женюсь» — и опять посмотрел вбок, она даже рассмеялась от радости. «Хочу!» — «А чего смеешься?» — «Так...» Как подтвердило будущее, Матвей был прав: смешного в браке не оказалось ничего...

Наконец пришел он, тот роковой день, в который сорок пять лет тому назад появился на божий свет младенец Матвей.

Теперь трудно установить, каким был примечательный день: солнечным или пасмурным, теплым или холодным. Нельзя сказать, и с каким настроением появился Матвей: доволен был или недоволен, криклив или молчалив или, может быть, с первого своего дня суров и гневен. Известно лишь, что родился он 15 октября 1930 года в семье бедняка из бедняков Тишки Селиха, в тот день вступившего в колхоз, чтобы спасти от голодной смерти хоть этого, недоношенного

и желтого, четвертого уже по счету, сына. В общем, остался Матвейка жить.

Она простой получалась, его жизнь,—никуда не ездил, никогда не сидел, с работы на работу не бегал, не разводился — простой, но совсем не легкой. Впрочем, об этом потом.

Проснулся Матвей темней тучи. Марья, хлопотавшая в кухне, поняла это, как только услышала шаги из спальни, а потом увидела самого — с тяжелыми глазами, недвижным лицом. Пока умывался в ванной и одевался, она быстренько хлебнула чайку, куснула хрустящий поджаренный хлебец, что приготовила сегодня вместо обычной яичницы и картошки, а как только появился в двери, тут же шмыгнула в спальню застилать постели—Матвей не любил, когда завтракала вместе с ним. Главное, не дать Матвею рассердиться открыто, а там, бог даст, пронесет.

Однако не пронесло. Не успела застлать одну кровать, как услышала:

— Машка! Чего есть не идешь?

— А я уже поела, Матвейка...— ответила торопливо и ласково.

Прислушалась. Что-то он там говорил сам с собой («Это ж надо... придумала хлеб жарить... Зубы поломать можно...»), и вдруг загремело, хрустнулось, покатилося... Теперь уж ей вовсе не следовало показываться из спальни, пока не хлопнет оглушительно входная дверь.

Марья тоже работала на заводе — уборщицей, собирала стружку в механических цехах; рабочие смены их совпадали, однако к заводу шли порознь — Матвей этого не любил («Может, мне под ручку с тобой идти?»). Она с удовольствием съела еще один хлебец и выпла тремя минутами позже. Так и шли: он впереди, она сзади на таком расстоянии, чтоб, оглянувшись случайно или нарочно, не заметил ее («Чего в шею глядишь?..»). И когда Матвей скрылся в проходной, вздохнула Марья незаметно для себя самой — трудный день.

Толпа людей, мчавшаяся к заводу, сразу обрела лица. О, как много можно прочитать на лице человека утром! Всю жизнь.

Погода была хорошая — свежо, сухо.

Солнышко вставало над заводом, и слабые его лучи нежно грели лицо. Когда закончится рабочий день, оно перейдет на другую сторону неба и опять встретит людей ласковым теплом. А вот Матвей не любил, когда светило в глаза. Жалел, что не взял квартиру с северной от завода стороны.

«Бедный Матвейка...» — еще раз, уже легко и смешливо, подумала о нем.

Дурные предчувствия подтверждались: забыл дома от квартиры ключи. От квартиры — ладно, однако на том же колечке находился ключ от шкафчика гардеробной... Поковырившись несколько минут гвоздем в замке, Матвей так рванул его, что замок вылетел вместе с пробоем.

— Ух, дядя,— сказал какой-то щегол, три дня из армии,— силен.

— Сила есть, ума не надо,— сказал другой и тем же гвоздем одним движением открыл замок.— Научить? Может пригодится.

— Иди ты к...— И Матвей так обдал обоих щеголов, что по всей гардеробной захохотали.

— Кто это там?

— Селих.

— А-а...

Тогда, понимай, все ясно.

Хорошо бы и ему, понятливому, влепить, но знал — два раза нельзя, обрадуются еще больше. Такой уж народ в цеху, только бы посмеяться над чем, повод не имеет значения.

Пока переодевались, мелкое это происшествие забьлось. Гово-

рили все сразу и кто о чем, гам стоял. Тоже удивительно: есть у людей охота с утра болтать.

Мастер Воробей переодевался в пяти шагах и, как все, не закрывал рот.

— ...Я ему говорю: сколько времени рабочий проводит на заводе и сколько я? А зарплата? Когда у нас премия была последний раз?.. Стану на наждак — в два раза больше заработаю.

— И нервы трепать не надо.

— ...А он: «Вообще с завода уволим». С нашим удовольствием, говорю, вот заявление.

— А он?

— «Только через партком».

— Эйшь ты, — засмеялся второй, кажется, мастер с очистки Монышев. — Обратный ход!

— Ну. Принимают через отдел кадров, увольняют через партком. Научились...

Дальше слушать Матвей не стал. Все мастера, скольких он знал, грозились перейти в рабочие. Да что-то не видно очереди за наждаками. Видно, языком легче все ж, чем руками.

Воздух в гардеробной из-за находящейся рядом душевой влажный, Матвей с отвращением натянул на себя сырые трусы, майку. А когда Воробей проходил мимо, сказал:

— Мастер, когда сушилка будет в цеху? Я таки напишу кое-куда...

Воробей приостановился, соображая.

— А ты писать, Селих, умеешь?

— Умею...

— Тогда пиши. Я тебе красивый конверт принесу.

В этом Матвей уловил скрытый намек на его, Селиха, скупость дернулся к нему, однако с опозданием, Воробей уже улетел.

— Конверт он мне принесет... З-зараза...

— Ты, дядя, меньше разговаривай с ними, — посоветовал тот же щегол. — Фуфайку на голову — сразу поймет.

Покосился на них, молодых, промолчал.

В общем, денек обещал быть как праздник.

Вот еще новый пробой придется... Черт!

Взвалил на спину цепи — два пуда, не меньше (все подкрановые подсобники носили цепи с собой. Не раз случалось: придут из другого цеха во время пересменки — сопрут. Он и сам в свое время спер — в литейном-два. Ничего, пускай не спят на ходу. Крюки перековал — никакая экспертиза теперь не узнает), погромыхая, пошел на участок. И только ступил на лестничную площадку, как выскочили из противоположной женской гардеробной Зина Неглядова и Тоня Катушкина.

— Привет, Матвеюшка! — крикнули как глухому. Там, в своей гардеробной, с бабами перекрикивались и здесь орут. Если у мужиков гам стоит, можно представить, каково там. — Чтой-то ты сегодня такой веселый?

А тут дело в том, что Селих и правда будто веселел и молодедел, когда злился. Кровь отливала, глаза темнели.

— Жонка, видно, ночью уладила!

Захохотали, унеслись налегке, оглядываясь.

— Эйшь, депутатка... — проворчал Матвей. Однако о чем они? О его дне рождения никто в цеху не знал. Не хватало еще и здесь бессмысленных поздравлений.

И началось!

Во-первых, Матвей увидел на участке подкранового с третьей смены Володьку Кошугу, которого он менял и который должен быть уже не в цеху, а как минимум за проходной.

— Здорово, Матвей! — Несся по цеху, будто всю ночь только и думал что о встрече с ним, чуть дождался.— А я тебя жду! Слушай!..

Оказалось, к Володьке на следующей неделе приезжает мать из деревни, хочет он показать ее городским докторам, а потому просит заместиться сменами. Каждый согласится поменять ночную на первую, потому и выглядел Володька так, будто с подарком пришел, а не с просьбой. Однако Матвей терпеть не мог всякие неожиданности и нарушения.

— Вечно ты то с маткой, то с теткой...— ответил.

— С какой теткой? — опешил Кошуга.

— С такой. С хромой.

Вспомнил и рассмеялся. Было дело, приезжала года три назад его хромавшая тетка — тоже пришлось меняться с Матвеем. Сам давно забыл, а Матвей, оказывается, помнил.

— Померла уже тетка.

Матвей молчал. Вечная ей память, если померла.

— Ну так что, договорились, Матвей?.. Хочешь, я тебе свои цепи дам?

— Зачем?

— Мои легче.

Посмотрел как на дурака.

— Ему,— кивнул на мостовой кран под крышей,— все равно, какие поднимать.— И начал цеплять на крюки мосты и муфты.

Володька Кошуга стоял рядом и не понимал — договорились они или нет.

— Ну так я пошел? — спросил неуверенно.

— Иди...

Значит, договорились. Хорошее настроение тотчас возвратилось к Володьке.

— Я тебе за это на весь год свои ночные отдам! — пошутил этак.

Матвей поглядел на него, и улыбка у Кошуги как вымерзла.

Мостовой кран подкатил и тихо остановился, приспустив крюк. Матвей цеплял литье так, чтобы на одну цепь две, а то и три заготовки, и хоть литья было еще не много, что-то его беспокоило. Понял вдруг — тишина над головой. Обычно Зося издали начинала трезвонить: давай, мол, давай, вас много, а я одна. Поднял голову — тьфу, черт, так и есть, новенькая, стажировалась на прошлой неделе, ерзала взад-вперед, все кишки вымотала, но тогда хоть Зося сидела рядом и трудную работу брала на себя.

— Вирай! — крикнул Селих.

Вот оно, продолжается. Схватила не за тот рычаг, цепи поехали вниз, крюки повыскакивали.

— Курья твоя голова!

А девочка-крановщица от испуга опять не попала — поехала в другую сторону.

«Славно, славно начинается этот денек,— подумал Матвей со злым удовлетворением.— Посмотрим, чем кончится».

Не прошло пятнадцати минут, как появилась в цеху группа незнакомых людей в костюмах и галстуках, а среди них, как две белые вороны, Гурзо Тимофей Иванович и Воробей. Остановились в пяти шагах от цеплявшего крюки Селиха.

Матвей терпеть не мог, когда наблюдают за ним, и, как только зацепил последнюю муфту, обернулся к Воробью: чего надо?

Воробей тотчас подошел.

— Комиссия,— сообщил,— по технике безопасности. Дай-ка твое удостоверение.

Матвей усмехнулся: развелось этих комиссий. Проверяют один другого, ищут, как слепой глухого.

Похлопал по одному карману спецовки, другому — и похолодел: не было удостоверения. Тут же вспомнил, что в минувшую субботу принес спецовку для стирки, Марья нашла в кармане удостоверение и... Там оно, на кухне, на шкафчике и лежит.

Удостоверения у стропальщиков на право работать под краном проверяли раз в год или и того реже, и, понятно, должно было это случиться именно сегодня. Когда же еще? Каждый год в этот проклятый день что-нибудь да произойдет. В прошлый день рождения крюк сорвался и так ударил в мужское место, что три раза вокруг цеха как на самолете облетел. В позапрошлый... Ни разу не было, чтоб такой день начался и кончился как все дни.

— Нет удостоверения, мастер...— сказал.

— Нет?

О, что тут началось.

Будто комиссия эта много дней искала следы преступника, уже и надежду потеряла найти, и вдруг — вот он, стоит. Ах ты голубчик и сукин сын!.. Было их человек пять-шесть, и все с торжеством кричали что-то на ухо из-за шума в цеху — то Тимофею Ивановичу и Воробью, то сами себе. Гурзо, правда, спокойно пыхтел своей трубкой, а Воробей стоял красный, как вареный рак. Наконец подошел к Селиху, сказал сквозь зубы: «Иди отсюда...»

И Матвей пошел.

По слухам, несколько дней назад в одном из цехов придавило стропальщика, и оказалось, без права работать под краном.

Они там еще несколько минут кричали и друг другу доказывали, а потом пошли дальше, на другой участок, уже без Воробья. Воробей в это время носился по цеху в поисках кого-либо с удостоверением. Ну вот, снял с обрубки гидроусилителя молодого парня, повел. Селих с кислой усмешечкой наблюдал за ними: вот-вот, именно такие, с удостоверением, и попадают под груз.

— Что с тобой делать? — наконец подошел и к нему.

В другое время Матвей нашел бы, что ответить на такой вопрос, но чувствовал вину, пожал плечами.

— Рубить пойдешь?

Опять пожал: рубить так рубить. Не идти же домой за удостоверением.

В молодости Матвей уже работал обрубщиком. Заработал вибрационную болезнь и перешел в подсобники. Однако переоформляться не хотел: отпуск у обрубщиков двадцать четыре основных дня плюс льготные, у подсобников — восемнадцать.

Как отказаться?

— Пойду,— согласился.

Что ж, подарочек вполне ко дню рождения. Черт!

Рубить ему пришлось гидроусилитель вместо того парня, что стал под кран. Сказать, что заготовок была гора,— значит, ничего не сказать. Площадка была похожа на свалку, в лучшем случае на шихтовый двор. Матвей даже обрадовался, увидев это.

— Сюда твоя комиссия не глядела?

Воробей промолчал.

— Кто в ночной работал?

— Да ковырялся один... Считай, никого не было.

Прояснялось. Эти хлопцы, «Маруся, раз-два-три», которых недавно набрали после демобилизации, держали грудь колесом только за проходной да в столовой. А как за молоток... Месяца три пройдет, пока научатся работать.

Опробовал пневмозубило и опять усмехнулся: любым концом можно рубить. Что за народ?

И еще стало ясно: очистники в ночной, увидев с молотком но-

вичка, гнали литье не глядя — что обрубится, что закрасится, все сойдет для родного колхоза.

Кое-какой план действий Матвей уже выработал, однако пока молчал. Сходил к наждакам, наточил зубила, по пути с удовольствием понаблюдал, как скандалит новая крановщица с новым подкрановым: он — что дергается взад-вперед, она — что не умеет связать груз. Хорошо! Пусть попыхтят. Не одному ему праздник.

Рассортировал заготовки: чистые влево, грязные вправо. Но пока все еще ничего никому не говорил. Рано, успеется. Золотое слово должно быть вовремя сказано. Начал работать.

И через полчаса такое время пришло. Явился Воробей, одобрительно огляделся, сказал:

— Тридцать штук на экспорт заказывают, Матвей. Надо сделать.

— Сделаю,— ответил, радуясь подарку, что приготовил.

— Потом... Из мех-четыре прибежали, пусто у них. Сдай им полсотню.

— Сдам.— Ах, как хорошо получалось! — А вот эти,— кивнул направо,— заведи на очистку.

Это и был подарок.

— Куда?

Матвей пальцем показал на стену, за которой гремели очистные барабаны, и не выдержал, рассмеялся.

Вот тут-то и опять началось, точнее, продолжилось. Сперва Воробей орал на Матвея, потом на мастера очистников Меньшева, потом прибежал начальник смены Зимогор и орал на них обоих.

— Слушай, Матвей,— нашел Воробей выход,— иди-ка на гидропресс. Пускай кто помоложе рубит. Хватит с тебя уже. Пора нам, старикам, о здоровье подумать, верно?..

Матвей рассмеялся.

За кого они его принимают? За дурачка?

На гидропрессе, конечно, работа не бей лежачего, однако сегодня, дорогие гуси, у него праздник — день рождения! Пускай и они порадуются вместе с ним.

— Не, Антоха,— сказал ласково.— Не выйдет. Никуда я отсюда не пойду.

Через пять минут подкатили три электрокара, начали забирать на повторную очистку литье.

Хорошо работалось, между прочим. Очень хорошо!

— Я вас всех работать научу.— И голова затряслась от доброго чувства.

Обеденный перерыв на участке начинался в одиннадцать утра, но Матвей решил не спешить — слишком людно поначалу в столовой. Решил поработать час в тишине, когда пыли меньше и не шныряют по проходам электрокары.

Рубить было легко. Во-первых, металл оказался в самый раз, пожалуй, и мягче нормы, во-вторых, Меньшев подал заготовки после второй очистки как серебряные — любо смотреть. Перед обедом Матвей сдал партию в сто штук гидроусилителей и тем заткнул дырку, что образовалась в мех-четыре неудачной ночью. Контролер Настя сказала: «Хоть все на экспорт».

Что ж, обрубщиком когда-то он был неплохим.

Однако какая-то новая подлость должна была его караулить, не могло все так просто закончиться.

И когда шел в столовую, подумал, что здесь-то она и ожидает его: наверняка нечего будет есть. И если учесть, что не позавтракал из-за Марьи сегодня (нажарила вместо мяса хлеба!), качество подлости окажется именно то.

Однако — было. И суп любимый — гороховый, и на второе отбивные, и на третье — хочешь компот, хочешь чай.

Сел в сторонке в опустевшем уже зале, начал хлебать.

Через проход сидели мастера: Воробей, Монышев, Колосов,— у них обед начинался попозже. Переговаривались, посмеивались и поглядывали на Матвея. Запустить бы ложкой в которого, да не было повода. Воробей, видно, уже успокоился, а Монышев сидел отвернувшись: не понравилось чистить гидроусилители второй раз. Известно, скупой два раза платит, ленивый переделывает.

— Я ему говорю,— кивнул Воробей на Монышева,— Селих не Сухоручко, он порядок быстро наведет. А, Матвей?

Матвей усмехнулся. Уж это точно. Единственное, что надо в це-ху,— это порядок. Распустились, тошно глядеть.

И компот оказался сладкий.

С какой же стороны ее, подлость, теперь ждать?

Ладно, день велик.

Все шло неплохо, вот только контролер Настя после обеда куда-то запропастилась, а готовых гидроусилителей стояло штук сто пятьдесят.

— Воробей! — гаркнул он.— Где Настя?

Воробей неясно ухмыльнулся, полез под шапку чесаться.

— Нету Насти, Матвей. Она... Дело важное тут одно. Поручение профсоюзной группы выполняет.

— Дело? Важное? — Побелел от гнева.— А это что,— кивнул на литье,— шутки?.. Кто принимать будет?

— Не шуми, Матвей. Соня примет.

Вот теперь стало ясно, что за сюрприз поднесет ему этот день. Соня! Все обрубчики от нее стонут, а что касается Матвея... Как сова голову Соня заворачивает — только его увидит.

И так начал рубить, что люди останавливались.

— Чегой-то ты сегодня развоевался, Матвей?

Зина Неглядова с Катюшкиной подошли, хи-хи, ха-ха одна дру-гой на ухо.

— Матвейка! — позвала Тоня, а когда оглянулся, послала воз-душный поцелуй: — Ку-ку!..

— Что? — не понял Матвей.

— Кукушеньки!

Ну ладно, ей двадцать пять, а Зина?

Митя Брусов остановился.

— А вот у меня рубить не получается,— пожаловался.— Кон-ституция крупная. Я по радио слышал: для каждой работы должна быть своя конституция.

«Идите все в задницу»,— мысленно ответил Матвей и больше не разгибался.

Между прочим, Марья во всем виновата. Завела дурную привыч-ку стирать спецдежду по воскресеньям, вот и получилось, что забыл удостоверение. Вынула документ, должна положить на место.

Ладно, с Марьей разговор впереди.

Смена заканчивалась в четыре, и к половине четвертого вся пло-щадка, все углы и проходы были заставлены гидроусилителем. «Все,— решил Матвей,— хватит».

Тут и показались Соня и Воробей, парочка, баран да ярочка. И еще неизвестно, кто людям больше крови попортил — он или она. Не на того, однако, напала, если что, он...

Кошкой кинулась к заготовкам. Валяет по земле один, другой, третий, кривится, морщится, ехидна, качает головой. Выползала все углы, тараща рыбки глаза, и вдруг распрямилась:

— Принято.

Вытащила свой штампик.

Матвей, приготовившийся ко всему, но не к такому исходу при-емки, плюнул и пошел в гардеробную.

Вот она, подлость этого дня.

Помывшись и переодевшись, Матвей вместе с другими рабочими вышел из гардеробной и, увидев возле Доски комсомольского секретаря Брузовского с объявлением в руках, задержался: посмотрим, чем еще порадуют, что пишут. И увидел.

«Поздравляем Матвея Селиха с 45-летием! Желаем передовому рабочему здоровья, счастья, новых трудовых успехов!»

— А-а-а! — закричали те, кто стоял рядом. — Матвей! Тебя, что ли? У-у-у!..

Никогда еще так глупо не чувствовал себя Селих. Надо же было остановиться!..

Вдобавок из красного уголка вышел председатель цехкома Синкевич и начал жать руку, за ним другие, кому делать нечего.

Вырвал вспотевшую ладонь, скособочился и пошел к проходной.

Там, у объявления, все еще смеялись...

Как, интересно, узнали, кто разведал? Зина? Или эта приткая Катушкина, которую недавно избрали проформом? Или, может, Марья ляпнула кому-нибудь сглупу? Будет висеть объявление до понедельника людям на потеху, а в понедельник опять: «У-у!.. Ы-ы!..» Придется в понедельник пойти пораньше, сорвать лист и заодно сказать Синкевичу — именно он заказывал объявления художнику — пару слов. В конце концов, ему действительно сорок пять лет, и он им не артист, а рабочий.

Однако «ха-ха!» все еще продолжалось. Обычно, когда приходил домой, Марья уже ползала по полу с тряпкой, а тут дернул, позвонил — тихо.

Ударил ботинком в дверь, пошел по улицам. Где ее черти носят? Заглянул через полчаса — нет как нет. Еще через час — опять нет. Что за проклятие, наконец?

Между прочим, есть хотелось. Порылся в карманах, нашел десять копеек, оставшиеся от рубля, что брал на обед, купил на углу пирожок. Спрятался за угол, съел с неясной обидой. Вкусный был пирожок, пахучий, но больше в карманах ничего не нашел.

Марьи не было.

«Не приду ночевать», — решил он.

Однако куда деваться?

И вспомнил Семена Горцевича, человека из его деревни, единственного в этом городе, с кем он поддерживал более-менее приятельские отношения.

Марья меж тем выстаивала очередь в парикмахерской.

Ничего хорошего купить Матвею она в этот раз не придумала, взяла лишь пару носков да набор носовых платков по дороге и, увидев парикмахерскую, подумала, что, может быть, если приведет себя в порядок, это и будет подарком? Говорит же иной раз: «Мне на тебя глядеть страшно...» Не потому ли и забыла она день, в который Матвей обнимал ее последний раз, — не до нежностей, хотя бы уж так, в субботу... Она и сама последние годы глянет на себя по утрам в зеркало — и мимо. Ох, что уж там теперь глядеть!..

Однако пойдя она в будний день в парикмахерскую — «гляньте, — скажет, — артистка пришла, чем это от тебя воняет?». Ну, а сегодня... Не рядовой день.

Суббота, и очередь собралась немалая. Невообразимо было потеть столько времени, но поглядывала на других праздничных женщин и заряжалась от них терпением. А еще волновал запах духов, просторные зеркала в зале, красота, что выносили в лице оттуда дождавшиеся своей очереди. Ах, как меняет женщину красота! И походка другая и другие надежды на будущее.

Видела, как сердито прошагал мимо окон парикмахерской Матвей, но не выбежала к нему, не показалась. Засмеет, отправит домой.

И чем ближе подвигалась очередь, тем сильнее женщиной чувствовала она себя. Решила сделать и прическу и маникюр.

Платье есть — не новое, но почти не надетое, навряд ли Матвей его забыл, капроновая косынка, чулки... Пусть будет настоящий сюрприз.

Семен Горцевич жил здесь же, на поселке, и Матвей, хоть был у него только раз, на новоселье несколько лет назад, адрес помнил.

Обрадовался Семен, но еще больше удивился: в гости друг друга никогда не звали, встречались на поселке редко и всегда случайно. «Как оно?» — «Ничего». — «В деревню не собираешься?» — «Пока нет...» Такие были у них разговоры.

Домашние — жена, теща — тоже удивились. Что за гость? Ни день на дворе, ни вечер.

Семен усадил его в кресло, сам сел, с любопытством глядя на земляка.

— Как жизнь?

— Ничего.

— Картошку копать не ездил?

— Не...

— И я в этот раз не мог...

Оба не родились говорунами, и чтоб придумать какой-либо вопрос, времени уходило больше, чем чтоб ответить. Нет — да, да — нет — такой получался разговор. Скоро и вовсе замолчали. Домашние, видно, решили, что по делу пришел Матвей, что-то ему от Семена надо. Выторкнется теща или жена из другой комнаты: как там, не прояснилось? — и спрячется. А через три минуты опять.

Если б Матвей сказал сразу: с жонкой, мол, поругался, хочу у тебя переночевать, — все устроилось бы, пошел бы мужской разговор. Но ведь не ругался, а рассказывать, как получилось, — выставить себя дураком. И даже когда совсем уж потерявшийся Семен кивнул на сервант, в котором от праздника до праздника хранились красивые рюмки, и мигнул со значением: дескать, может... а? — Матвей отвергающе дернул головой. Денег в кармане не было, а на чужие пить и есть не хотел.

Оказывает, одно — говорить на улице, встретясь случайно, совсем иное — в квартире, когда дела друг к другу нет.

Семен ерзал, переключал программы телевизора, а время от времени выбегал на совещание к своим и возвращался еще более недоумевавший. Пытался даже выяснить:

— Как заработок? Туговато?

— Нет, — получал ответ. — Ничего.

— А... дома все в порядке?

Тут бы и признаться Матвею. Но — в чем? И он ответил:

— Все.

В конце концов Семен принял решение и исчез. Забрякала на кухне посуда, повеселели там голоса. Матвею же от всего этого стало совсем тошно. «Может, чего случилось с ней? — подумал вдруг. — Завод есть завод...» Но и уходить теперь вроде бы было поздно. Высидел угощение — как ни крути, а получилось так.

— Готово! — Семен широко раскрыл дверь. — Прощу!

Вот тут-то как нельзя более вовремя Матвей сказал:

— Нет... Пойду.

И теща, и жена, и дети вышли в прихожую подивиться на этого человека, переглядывались меж собой. Так и остались в недоумении: ничего не спросил, не сказал, чего приходил?

Не успел Матвей пересечь двор, как опять увидел Семена: тяжело бежал по клумбам цветов.

— Ну?... спросил отпыхиваясь. Дескать, теперь без свидетелей можно обо всем. — Что, Матвей?

Он был неплохой мужик, этот Семен. Здесь, в городе, они вроде не имели друг к другу дел, а поедет в деревню — к матери Матвея зайдет, картошку вспашет, сена привезет.

— Да нет... — вяло ответил Матвей. — Повидаться зашел.

— Ага, — согласился с такой дипломатией. Важное, видно, дело, если и теперь не решается сказать... — Ну, а может, надо чего? Ты говори прямо, я... денег там или...

— Не... Не надо.

Совсем сразил его Матвей. Плохо принял человека, побоялся те-
щи, не поставил сразу бутылку — вот и наказан теперь.

Виновато глядел вслед.

Обратно Матвей шел быстро.

Сколько раз думал о том, с каким облегчением вздохнул бы, если б Марья — нет, не заболела, хватит уже с него, не попала в дру-
гую беду, а так — раз! — и исчезла из его жизни, как бы и не была ни-
когда, уехала куда или что, но вот не оказалась дома в нужный мо-
мент, и уже плохо, не по себе. Что же такое она для него?

Возненавидел, когда понял, что не может она рожать детей. Уве-
рен был, что еще год-два — и бросит ее. Или нет, не в том дело, не
так уж нужны ему эти дети, а просто намучила его Марья, как не
намучил бы дикий враг. Вскоре после женитьбы начала болеть, что
ни год, месяц, то хуже, резали ее несколько раз, до того дошло было,
что с ложки кормил, если что требовалось, на руках носил. Сперва за
дверью, а потом и рядом стоял. Это теперь она ничего, а тогда... На
работу уходит — она голову вслед не может повернуть. Идет с рабо-
ты: «Может, померла?...» Сколько может продолжаться все это, кон-
чится ли когда-нибудь?

Однако по той же причине в деревню к матери перестал ездить.
«Кидай ее! — начинала с первого дня. — Что будешь в старости делать
без детей?...» И чем старей становилась мать, тем злей.

Возвращался уверенный, что тут же, с порога, объявит: «Хватит,
Марья. Хочешь — квартиру тебе отдам, хочешь — деньги бери». Но
как кинешь бестолковую, если он на кухню — и она за ним, он в ком-
нату — и она за ним? Поморщится — «что, Матвейка, болит?». Чих-
нуть соберется, а она уже «будь здоров».

Так что мать видел теперь раз в три года и того реже.

А ведь могла попасть в беду, бестолковщина, очень могла. Ка-
ково прыгать с ее здоровьем со стружкой вверх-вниз?

По лестнице поднимался на ватных ногах. «Ну, если закрыта...» —
думал одновременно. Высадит дверь, а когда явится — кэ-эк...

Ударил плечом — дверь распахнулась.

О-о-о, что тут было... Чего не ожидал, того не ожидал. О чем не
думал, о том не думал.

Полная квартира народу была.

Воробей, Зина Неглядова, Тоня Катюшкина, контролер Настя, Сте-
панович, Митя, Гриша... И еще какая-то женщина незнакомая, хоть
и ее вроде где-то видел, встречал, не из заводских, роза.

И ахнул: то была она, Машка, жена.

— О-о-о! — заголосили все разом. — У-у-у!

Видно, хватили уже по маленькой, кинулись к нему — не то ка-
чать, не то по прихожей валять. И схватили, потащили, налили, всу-
нули, чего-то разом заговорили — ни одного слова не понять.

От растерянности Матвей не слушал и не понимал, о чем речь,
увидел вдруг в руке стакан и тут же тянул его, чем еще больше
всех обрадовал, а там перестал обдумывать и соображать. Пришли
так пришли. Ничего особенного. Захотелось людям гульнуть.

Стол, между прочим, ломился от закусок.

Вот, видно, какое профсоюзное поручение выполняла после обе-
да Настя.

Вот отчего ухмылялся Воробей, хихикали Зина с Тоней, что началось «ку-ку».

Вот отчего Машки не оказалось дома.

Подлость во всем этом, конечно, какая-то имелась, но имелось и еще что-то. Что — пока не понять...

Вот только со временем — или сознанием? — что-то случилось.

Не то проваливалось вдруг одно, не то выключалось другое. Матвей сидел, положив руки на колени, вроде и глядел, слушал, как поют-танцуют, однако не видел и не слышал своих гостей. Какое-то непривычное выражение, утомляя мышцы лица, дрожало на его губах. Пробовал возвратить то, привычное, — не возвращалось. Видел же он не то, как неумоимо пляшет Тоня Катущкина, как нелепо поводит плечами и шаркает туфлями Марья, как поочередно падает перед ними на колени Митя, а себя самого — каким, должно быть, видели его они — коротконогого, злого, сорокапятiletнего, одинокого даже здесь, за праздничным столом. А еще видел себя самого, каким, наверно, не видел никто: не столь уж злого, не так уж изменившегося с того времени, как пришел на завод.

Нет, не выключалось сознание, а наоборот, так включалось, что не только себя, всех видел насквозь. Пьют, поют, пляшут, будто дождались наконец, дорвались, будто это и есть их настоящая жизнь. Ну, а что там, в уголках глаз? Отчего год за годом копяется морщинки?.. Может, и поверил бы их веселью, если б не наблюдал день за днем вот уже двадцать лет...

Чего пришли? Что они хотят от него? Люди всегда чего-то друг от друга хотят. Даже Машка — хочет с ним жить. Деваться ей некуда, свет клином сошелся, вот и хочет, ходит с утра до вечера вокруг него.

Воробью надо, чтоб они хорошо работали, соглашались на сверхурочные, им от Воробья — отгул-прогул, хорошее время на отпуск, то-се.

Только ему, Матвею Селиху, не надо ничего ни от кого. Они сами по себе, он сам.

Повеселиться пришли?.. Что ж, люди серьезными быть не хотят, их жизнь заставляет стать серьезными.

Его тоже заставила.

Думал так: завод не колхоз. Отработал смену — гуляй, сколько душа просит, отгулял — пошел поработал. Люди будут вокруг тебя, и ты среди людей. Такая вот легкая, несерьезная жизнь.

Устроился. Первые годы с пневмозубилом — рrrr... рrrr... — с утра до вечера, теперь с краном: поднял руку — поднимай, опустил — опускай, махнул — поехали.

Думал так: приходишь с работы — стол накрыт, молодая жена на пороге стоит: «Заждалась я тебя, Матвейюшка».

Маленько иначе все получилось. Но что заждалась — точно. Сходил в туалет, сварил суп, белье ее замочил, в магазин пошел... Что там на очереди?.. «Проснись, Матвейюшка...» — «Что?» — «Грелку бы мне...» На тебе грелку. Что еще? «Завтрак себе сготовь». — «Завтрак?» К чертям собачьим.

Ничего, выдержал. Привык и к тому «рrrr... рrrr...».

Бывает, правда, захочется самому слово сказать, других послушать. Придет в конторку — «о-о, Селих пришел. Начальство костить будет. Беги, Воробей, пока цел!..». Плюнет, пойдет обратно. Ничего, можно и без них.

И вот сами пришли.

— Вот уж не думала, что тебе сорок пять, — сказала вдруг Тоня. — Думала, молодой!

Тоня?.. Ну ладно — мужики, ладно — Настя, Зина, Марийка, а эта чего пришла?

— А что — старый? Это нам, бабам, в сорок каюк, а мужикам... Ого! Верно, бабоньки?

— Верно, — согласились, видно, имея в виду своих и чужих мужей. — Другому и в тридцать и в пятьдесят — ого. Как жонка со двора, так и ого.

— А что? — подключился Митя. — Все зависит от группы крови. Есть такая группа, что и в шестьдесят середина жизни. Даже в шестьдесят пять. А другому в тридцать — только поесть, поспать. Человек не виноват: природа. В журнале «Здоровье» пишут...

Ни одну из его речей Матвей дослушать не в состоянии, плетет Митя всегда неизвестно что. С начальством до земли кланяется, как увидит Сухоручко или Шерементова — ног не чувствует. Этот чего пришел?

— А по мне, как проснулся утром — так и середина, — сказал, усмехнувшись, Степанович. — Вот если не проснулся, тогда... А, Гриш?

Гриша весь вечер сидел тихо, не пил, не ел и только глядел вокруг, будто и действительно сегодняшний день — середина жизни для всех.

— Я на свой день рождения в ресторан всех поведу! — объявила Тоня. — Не хочу прибираться, готовить...

— Это ж сколько денег надо на ресторан?

— А мне какая разница? Вы будете платить, а не я!

Ха-ха, ха-ха. Что ни скажут, все ладно.

— А я помню, как Матвей в цех пришел, — сказала Настя. — Это теперь партиями литье принимают, а тогда иначе было, контролер рядом стоял. Он рубит, а я говорю: «Что уж так, солдатик, стараешься? Так никто не рубит, на хлеб с маслом не зарабатываешь». Не помнишь, Матвей?

И Селих неожиданно для себя улыбнулся.

— Помню, — сказал. Никак не думал, что помнит то время кто-нибудь еще, кроме него самого.

Так и было: не заработал. Вскоре после полочки у нее же, у Насти, одолжил денег, а рубить абы как так и не научился. Всегда зарабатывал меньше других.

— Хороший кому-то парень попадет, думала тогда.

— Сама небось целилась на него?

— Нет, — погрустнела Настя. — Я уже замужем была...

— А я помню, как Матвей на Первомайской демонстрации знамя от завода нес, — сказала Зинаида. — Всю дорогу одной рукой!

Да, нес. Молодой был, здоровый.

И все равно непонятно. Кто он для них? Если всерьез — только с Машкой связывает его судьба. Чего тогда вспоминать?..

Но отлетала на какое-то время его прошедшая и настоящая жизнь и оставалась эта, сегодняшняя, — с песнями, танцами, безработными лицами, хоть вылезай следом за Катускиной из-за стола. Нет, не надолго: жалко становилось ее, отлетевшую, не так уж легко далась...

И все же зачем пришли? Не осчастливить ли? Так надо было приходить раньше, лет эдак пятнадцать назад, когда на руках носил Машку по дому. Нет, не приходили. Отработают свою смену и бегом каждый в свою нору.

Впрочем, они и не знали об этом. Никто не знал.

Еще одно, последнее, включение, и он, может быть, ответил бы на тот вопрос. Но тут уплывшее было время выплыло, вынырнуло углом стола, стенами, потолком, ярким светом. Он огляделся и увидел, что женщины уже целуются у порога, а мужчины завязывают шнурки. Все?..

Вот когда по-настоящему Матвею стало не по себе. «Подожди-те, — захотелось ему сказать. — Не уходите! Куда ж вы?.. Это что,

тоже по-человечески — выломать человека из привычной жизни и...» Он выпил бы еще сто, двести или сколько там требуется граммов, чтоб продлить этот странный и удивительный день.

Но ничего такого Матвей не сказал.

— У кого следующий день рождения? — шумела у двери Тоня.

— У моей тещи, — сказал Степанович.

— Ура! — залилась колокольчиком. — Живем!

Вот и посмотрели все на него.

— Ну, Матвейка, спасибо! — сказала Зина. — Оказывается, компанейский ты человек! — Схватила за уши и расцеловала в обе щеки.

Еще минута, и они с Марьей остались одни.

Он сидел на табуретке повесив голову, а Марья, повязав передником платье, мыла посуду и иногда осторожно взглядывала на него. Ни о чем таком больше не думал, а просто ждал, когда она закончит свою работу и день будет полностью завершен. И она ни о чем особом не думала, а выполняла привычную для себя работу, и единственно — поскольку было легко на душе — хотелось узнать: так ли и у него? Но лучше все же не спрашивать, потому что он не умел произносить такие слова. Вот разве заговорит сам?.. И закончив мыть посуду, она взялась перетирать кухонный шкаф, стол. Нет, не заговорил. Поднялся, пошел.

Он вошел в спальню, лег в чистую, неизвестно когда разобранную постель и, глядя на полоску света в двери, стал думать о прошедшем дне. Насобиралось в нем всякого и всего.

Что-то мешало, однако, вынести окончательное суждение об этом дне. Полоска света в двери? Или... Что это? Машка так красиво и тихо поет?..

Вот и погасла полоска, вот и вошла она. Задернула занавески, чтобы и звездный свет не проникал сюда, стесняться стала, когда порезали ей живот, разделась и осторожно, не прикоснувшись к нему, легла, как ложилась уже много и много дней. «Спишь?..» — почудилось ему в тишине. И тогда стало жалко ее, так жалко, что захотелось сказать что-нибудь, поговорить с ней обо всем на свете, о том, что было хорошего в их жизни и что еще будет. Но вместо этого он протянул к ней руку и в то же мгновение по прильнувшему легкому телу понял, что все правильно, ничего сегодня не надо говорить, а надо лишь только повернуться к ней лицом.

ЗОЯ ВЕЛИХОВА

★

В КРАСНОМ ФОРТЕ

В Красном Форте старого Дели,
Чьи сапфиры спят на прилавках
И смеются ветрено изумруды,
У стены глухой и великой
Почти терракотового цвета,
Где автобусы съезжаются на площадь,
С самого утра и до заката
Под шелково-палящим солнцем
Нищая девочка с ребенком
Встречает иностранных туристов.

Она ничего у них не просит,
Что как-то чудно и необычно,
Весела и резва в тряпье цветастом.
Но минутами взгляд ее глубокий
Вдруг задумчив, хотя и без грусти,
И тогда становится серьезным.

На руках больного ребенка,
Вечно полусонного, таскает,
Вовсе, кажется, не замечая
Судорог его улыбки странной.

То к бедру прижав, а то в обнимку
Ходит с ним по площади гудящей,
Возникая то тут, то там без цели,
Радуюсь лишь тем, что жизнь встречает,
Никому не нужна в жаре столичной.

Я зашла в раскаленный автобус
И оттуда протянула ей плитку
Чуть подтаявшего шоколада,
Чтобы на меня опять взглянули
Темные глаза, где пламя в пепле.

Радостью такой, какую в лицах
Так нечасто отыскать возможно,
Той, которую теперь вовеки
Позабить, наверно, не удастся,
Полыхнули они и засветились.

Обхватив поудобней ребенка,
Шоколад под худенькую руку

Сунула ему и так прижала,
Улыбаясь, тихого младенца,
Что сразу стало понятно —
Нет счастливее ее на свете.

Просто так, а не за услугу
Принимая случайный подарок,
Улыбнулась такой улыбкой,
Словно меня и раньше знала,
Будто я ей не чужая,
Постояла несколько мгновений
И снова куда-то исчезла.

Загудел тяжелый автобус,
И стена терракотового цвета
За стеклом поплыла под солнцем мимо.
Красный Форт за спиной оставался.

Только вдруг заглох мотор, как видно,
Вышла какая-то неполадка,
И минуту мы еще стояли.
Я тогда опять к окну прильнула —
Не появится ли где-то рядом?..
Так и есть, смотрю, стоит у стекол
(Все же догнала, чтоб проститься),
Мне в лицо, как прежде, улыбаясь.

Навсегда прощай, уже вовеки
Не увидимся больше с тобою!
Все поплыло мимо, только помню:
Смуглая рука еще мне машет.

В тот день у Красного Форта,
В далеких и чужих широтах
Я тогда поняла такое,
Что уже и счастья не надо —
Жалкая, пустая затея.



АЛЛА ТЮТЮННИК

★

УТРЕННИЕ СНЫ

Рассказ

Отец собирается на рыбалку, и из дому лучше не высовываться. Это касается только нас с матерью, мы ведь женщины. Отец, выходя из дому по серьезному делу, становится слишком уж суеверным. Не приведи господь в такой момент ему углядеть какую-нибудь юбку... Уши у отца становятся свекольного цвета, голубые глаза его делаются прозрачными, прямо белыми, лицо каменеет — отец молча поворачивает назад и уже в хате, бросивши шапку об пол, взрывается проклятиями. И потом еще день ходит с таким видом, словно вот-вот извергнет молнии.

Вечно отца одолевали идеи. Сколько раз, еще маленькой, проснусь я среди ночи и наблюдаю такую картину: заспанная мама в одной сорочке сидит у стола, а наш папочка прохаживается перед нею, размахивая руками, что-то громко говорит, хватая карандаш, рисует на листке, подсовывает маме под нос нарисованное и снова говорит, а мама хлопает глазами, засыпает и вскидывается, когда он победно гремит на весь дом: «...И тогда мы сразу разбогатеем! Поняла?»

Я понимала только, что завтра в нашей жизни начнется новая эпоха. Не знаю, почему ни одно из отцовских начинаний не принесло нам ожидаемого богатства. Но сколько б ни бурчали дед с бабкой, сколько б ни зарекалась мама, а когда отец выкрикивал свое знаменитое «разбогатеем!», все радовались. Точно загипнотизировал нас!

Мы пережили эпоху животноводства, когда каждый уголок усадьбы нашей хрюкал, блял и крякал с утра до ночи. Потом отец заразил всю семью лихорадкой ткачества. Они с дедом смастерили огромный верстак. Этот странный верстак притягивал нас, завораживал, скользкий челнок вылетал из рук, чтобы тотчас опять юркнуть в пригоршню, бесконечные пестрые рядна заполняли и нашу и соседские хаты... Мы выращивали шелкопрядов, мастерили трюмо и серванты, превращали обычное стекло в зеркальное — чего только мы не делали по веселому приказу отца!

Теперь, когда мать с отцом остались вдвоем, он стал заядлым рыболовом, завел катер, сеть и всякое другое снаряжение. Купил даже весы, чтоб взвешивать улов. Хоть я и не помню, чтоб он когда-нибудь принес полное ведро рыбы.

И вот мы с мамой сидим в сумерках и вспоминаем, как наш папочка шел получать медаль за свое двадцать седьмое рационализаторское предложение и столкнулся около ворот с бабой Полькой. Ох, было же тогда грому в нашей хате!

Лакированный желтый сервант и темно-вишневое трюмо эпохи отцовского столярничанья тихо задремывают под наш хохоток... Марлевая занавеска в открытых дверях веранды чуть поскребывает вшитыми в уголки камешками.

— Ба, а где дедушины сапоги? — отстраняет занавеску Андрей.
 — В сарайчике, под брезентом, — не задумываясь говорит мама. — И пусть шерстяные носки возьмет, а то простудится! — кричит уже вдогонку.

Через минуту мой сын возникает на том же месте.

— А где шерстяные носки?

Я точно знаю, что скажет мама, и она действительно говорит:

— Раскройте глаза и поищите!

Мама слегка уже сердится, ведь приготовленья к торжественному лову рыбы в честь моего приезда начались еще с утра, когда мы с нею волнисто сложили сеть на листке фанеры и положили за хатю на припеке, дабы выветрился из сети женский дух. (Рыба духу женского не выносит, это знает в нашем селе каждый рыбак.) И потом на протяжении всего дня мама, возясь по хозяйству, словно между прочим собирала то одно, то другое для ночного лова.

— Ваня, вот тут я положу...

И ни звука про то, что именно она положит. Упаси бог назвать вслух! Водяник услышит. От их перешептываний, настороженных переглядываний, недомолвок начинало мне казаться, словно и впрямь ходит за нами кто-то невидимый, прислушивается...

Отец смотрел, где и что кладет мать, а оставшись без ее помощи, ничего не мог найти, чудное творилось...

— Ба, ну скажи: где носки? — в третий раз прибегает Андрей, и мама сдаётся:

— Около сапог и лежат... Как за дитятей ходи, — вздыхает не сердито.

Слышно, как переговариваются отец с Андреем.

Внезапно сумерки наливаются голубым дрожащим светом. Где-то далеко перекатывается гром, и сразу — сплошная тьма. Не видно ничего, только на месте дверей шевелится белый призрак, и еле зримо светится трюмо, словно вода в колодце.

— Ваня, дождь собирается, — виноватым взволнованным голосом предупреждает мама.

Отец не отзывается, сердито сопит — сейчас мы не должны подавать голоса. Молчим.

— Куда ж ты хлеб-то кладешь, а, Вань? — снова не выдерживает мать.

Кажется, она и сквозь стены видит, что делает ее Ваня. В ответ брякают весла, что-то щелкает, позвякивает, шуршит. Слышны крадущиеся шаги, они удаляются...

Я подхожу к окну. Две смутные тени, большая и маленькая, покачиваясь, растворяются в темноте. Снова вспыхивает молния — черные силуэты проступают у ворот и пропадают снова... И вдруг откуда-то из тьмы-тьмушей голос:

— Доброго вам вечера, Иван Савельич! Ишь, дождь-то какой собирается, гроза, видать, будет...

Ну ясно, это баба Польшка, кто ж еще! Все пропало!

Отец вваливается в хату вместе с громом, что-то круглое и золотистое слетает с головы его, мягко катится по полу.

— Чтоб тебе ноги повырывало, старая ведьма! А чтоб тебя лихоманка побрала!

Мама включает свет. Я вижу оттопыренные отцовы уши свекольного цвета, по-детски надутые губы вижу, опускаю голову: меня вот-вот разберет смех.

На полу среди хаты лежит соломенный брыль, боже мой, еще и этот брыль! Армейский брыль африканского происхождения, который выменяли за складной ножик! Его привез из плавannya мой муж, привез вместе с обломком черного коралла и гигантским засушенным кальмаром. Рассказывал, будто в одной африканской стране

все офицеры ходят в соломенных брылях, форма, значит, такая. А с виду брыль точь-в-точь как у пасечников наших и рыболовов, но папочка — мастер по украинским брылям — доглядел: сплетен брыль не так, не по-нашему. Неизвестно где раздобыв рисовой соломы, отец долго мучился над секретами африканского плетеха. Даже растеребил было краешек военного брыля, но так и не сумел заплести снова, приторочил по-своему, по-сельски, и в том месте вышло чуть толще. С того времени отец, сам в прошлом человек военный, проникся уважением к этому брылю, не выдавшему своей, очевидно военной, тайны, считал почему-то, что брыль должен принести ему удачу в таком таинственном деле, как рыбалка.

— Шастает по ночам, вынюхивает, чтоб тебя ворота прибили, сатана!

Вдруг я замечаю, что кто-то смотрит на нас сквозь марлевый полог. Мгновенный страх сжимает сердце и отпускает — это же Андрей!

Такой же страх переживала я в детстве при каждой встрече с бабой Полькой. С утра до ночи она маячила в своем огороде, казалось, она и со двора никогда не выходит. Когда мы с сестрой затевали что-нибудь запретное, то прокрадывались мимо ее двора чуть ли не ползком и еще долго оглядывались на согнутую фигурку в белом платке, а потом что есть духу мчались в другую сторону. Но стоило нам сотворить что-нибудь хоть и на краю села, как наша бабуся уже устремлялась туда с лозиной — то баба Полька донесла ей, где мы и что делаем. И когда нас, ошпаренных лозиной, вели домой, диковинная баба Полька преспокойно на том же месте полола свой огород, словно ее сроду ничто другое не интересовало.

Потом, когда я вошла в пору томной мечтательности и первых пугливых объятий, мне за каждым кустом бузины мерещились глаза бабы Польки.

Она знала все: кто с кем дружит, кто с кем поругался, куда подевалась тетка Марфы сизая курочка, где ночевал дядька Петро и на ком в конце концов женится сорокалетний парубок Гриша. Тот Гриша был бабник — каких свет не видывал, проторял он свои пути по ночам и в подпитии, отчего, случалось, путался в этих путях, а бывало, и падал, разбив нос. Гриша запугивался и заблуждался, а баба Полька — никогда.

— Маричка, ну что ж это мне делать? — жалобно спрашивает отец.

Мы все с надеждой смотрим на маму.

— Раздевайся! — приказывает она решительно.

Отец послушно начинает стягивать сапоги, Андрей бросается помогать. А, догадываюсь я, сейчас мы попробуем провести нечистую силу. Нужно только притвориться, что уже никто никуда не собирается, что отец испугался недоброго знамения в виде бабы Польки и теперь покорно ляжет спать. Нечистому делается нудно, и он уходит прочь. Тогда отцу можно попробовать все сначала.

Тщательно стелю постель, долго взбиваю подушки. Отец стоит уже в одних носках, трусах и сорочке, вид у него растерянный.

— Сорочку тоже снимай! — тоном знатока советует мать. — И носки.

В очах у нее лукавый блеск.

Я наклоняюсь, поднимаю брыль, только б не видеть, как наш бравый рыболов останется в одних сатиновых трусах — умру от смеха!.. И вот он уже лежит, натянув одеяло до подбородка и не сводя с мамы страдальческого взгляда.

— Свет погасить? — спрашивает Андрей.

Никто не отвечает, и он щелкает выключателем.

Во всех окнах вспыхивают молнии, долго не гаснут.

— Ох и рыбка в такую погоду...— мечтательно бормочет отец, одобрительно вторит ему раскатистый гром.

И вдруг отец соскакивает с кровати, на ощупь хватает одежду, шурушит, притопывает сапогами, и они с Андреем исчезают.

— Брыль забыл! — испуганно говорю маме, но тут влетает Андрей, выхватывает из моих рук брыль и пропадает во тьме.

— О! Теперь беда, ей-богу, вернутся...— бурчит мама.

Но никто не возвращается. Еще какое-то время мы напряженно прислушиваемся. Еле слышно брякает форточка. Мы с мамой облегченно вздыхаем, она тянется к выключателю. И вдруг:

— Иван Савельич, а дождь, вижу, добрый будет! Как думаете?

Вспыхивает лампочка. Я вижу сведенные мамины брови, черные решительные глаза. Она ждет.

— Маричка! Маричка! Снова эта ведьма! — швыряет отец свой брыль, но мама ловит его на лету и протягивает рыбаку-горемыке.

— Ваня, кончай фокусы! Ты что хочешь, чтоб дети без юшки остались?

Мне слышится далекий звон сабель в ее голосе. Отец растерянно переступает, выражение его лица смягчается.

— Так это...— бормочет неуверенно.— Так сетка, наверное, запуталась...

— Чего это она запуталась? — удивляется мать.

— Так я ее того... в сердцах...

— Распутаем!

Мама шагает за дверь, отец с Андреем плетутся следом. Мне жаль отца — какая рыба ползет в сеть, почуяв женский дух?

— Все! — объявляет мама, заталкивая в хату Андрея.— И не просись и не молись, дождь собирается, видишь? Спать, всем спать, и чтоб я и писку не слышала!

Пока ошеломленный Андрей приходит в себя, я успеваю занять отцовскую кровать — наилучшую кровать в мире, нигде мне так не спится, как на этой расшатанной железке со стертymi никелированными шишечками и шарами, где все царапины знакомы, как линии собственных ладоней.

Когда-то на таких кроватях спало все наше село. Большие, маленькие, огромные, они все были похожи, как дети одного отца. Всех их клепал неутомимый дед Бэнь и развозил по хатам на просторном возу. Воз тянула черная, худая, неимоверно гривастая кобыла Цыганка.

На самом деле деда звали Игнатий Максимович Бараболя. Бэнем он стал, наверное, оттого, что целыми днями его молоток выстукивал на все село: бэнь, бэнь, бэнь! А потом в каждой хате — стоило лишь зацепить никелированную шишечку — звучало тихое «бэнь...».

Наш отец и дед Бэнь были большие друзья. В знак дружбы старик смастерил эту кровать, ложе! Он вложил в эту работу все свое воображение. Когда они с отцом водрузили это царь-ложе на воз, полсела шло следом и спорило, поместится оно в хате или нет. В ширину оно было такое же, как и в длину, а в длину поместилось бы три моих папы! Шариков и шишечек блестело на этой диковине необозримое множество, ложе так сверкало, что Цыганка нет-нет да и оглядывалась.

В разное время я то любила его, то боялась, потом снова любила, ненавидела, а теперь полюбила вновь. Наисчастливейшее воспоминание детства: проснуться воскресным утром раньше всех, на цыпочках прокрасться мимо сестры и бабуся и шмыгнуть в теплую темноту меж отцом и матерью.

Потом мама с папой купили модную деревянную кровать, а эту отдали нам с сестрой. На ней мог поместиться еще десяток таких, как мы, и долгое время все игрушки спали с нами, все наши куклы, кубики, медведи, даже книжки и настоящий кот Кузя.

Позже, когда наши Млыны слились с городом неразлично и появились у меня городские подруги, я возненавидела эту кровать лютой ненавистью, такая она была нелепая, громоздкая, смешная.

И вот я лежу в темноте и, закинув руку, вызваниваю ногтем по маленьким и большим шарам. «Бэнь, бэнь, бэнь...» — на разные голоса вспоминают они того, кого давно уже нет на этом свете. «Бэнь!» — и раскидистая белая молния высвечивает все шары и шишечки нездешним сиянием.

Вдруг марлевый полог бесшумно всплывает в хату, таинственно клубится под потолком, взбучивается пузырем, тихо оседает на увязанные в уголках камешки. Оглушительно трещит туча над самой хатой. Мне хочется затворить дверь, но встать страшно, как в детстве.

— Маричка-а-а...

С ног до головы покрываюсь холодным потом. Может, почувствовалось?

— Маричка! Это я, выйди,— скребется на пороге.

Баба Полька! Ей-богу, она!

Лежу не шевелясь.

— Мария, ты слышишь? Выйди, что скажу! — нетерпеливый голос за марлевым пологом.

Наконец мама сонно проплывает мимо моей кровати, исчезает за дверью. Голоса на пороге...

— ...и поплыли!

Замираю, напрягаю слух, но гром, кажется, никогда не смолкнет. Тоненько, по-осиному дребезжат стекла.

— Галя! — вскрикивает отчаянно мама.

Выскакиваю в одной сорочке, ветерок сразу вздувает ее.

Мама неподвижно стоит на пороге, черные волосы клубятся над ее головой.

— Твой отец уплыл с блондинкой!

— Что-что?

— Твой отец уплыл с блондинкой,— медленно повторяет мать и хватается за стену.

Я молчу, потом неуверенно хмыкаю.

— А ну цыть! — говорит мама.— Баба Полька своими глазами видела, какая-то белая чучела залезла в лодку, и они... уплыли...

— Баба Полька? Видела? В такой темноте?

— Она вон и номера записала,— протягивает мне бумажку мама.

— Какие еще номера?

— Какие, какие! Номера лодки с блондинкой... Боже мой, что же это такое... Я поеду и поймаю их! — Мама грозит кулаком в небо, и там сразу вспыхивает молния.

Мы вбегаем в хату. Под одеялом так мягко, тепло, на мгновение мне кажется, что разговор на крыльце — всего лишь сон. Но мама, включив свет, начинает одеваться.

— Вы ничего умнее не могли придумать с вашей бабой Полькой? — спрашиваю насмешливо.

— Ты его не знаешь! — Мама теребит кофточку на груди.— Он всю жизнь без меня по курортам ездил! А ты нашу докторшу видела? Видела, как он ей ручку целовал? А сам цветет! Смотреть противно! А она, она... блондинка! Господи, да сколько же мне еще мучиться?

Два воспоминания всплывают в моей памяти, два ничем не связанных досель сливаются в одно.

...По нашему двору, со всех сторон оплетенному виноградом, похаживает тетя Клава, звонко цокая тонкими каблучками... Золотые ее кудри то вспыхивают, то гаснут, из света в тень... Она останав-

ливается среди двора. Отец щурится и смеется, глядя на нее, и что-то такое в его смехе, от чего делается неловко...

И еще — глубокая ночь, что-то страшное выкрикивает мама, наступая на отца, взмахивая своими портняжными ножницами, а тот прячется за стол, сжавшийся и бледный, — «Маричка, ну что ты... Маричка...».

Когда это было? Кажется, я еще в школу ходила.

— Мама! — говорю. — Опомнись! Какая блондинка? У него же внуки! Андрея скоро женить будем!

Мама грохочет ящиками, находит фонарик, сосредоточенно включает и выключает его...

— Ну где ты найдешь его среди ночи? Он же на лодке!

— Я его и под водой найду! — обещает мама, щелкнув блестящими портняжными ножницами.

— Как, как ты найдешь его? Ночь на дворе, дождь...

Вскакиваю, становлюсь в дверях, но мама, решительно отстранив меня, выходит.

Накинув на голову отцовский пиджак, бегу следом.

— Мамочка, ну послушай, это же глупость, ну найдешь, а дальше что? Вернется, никуда не денется... Зачем тебе лишние хлопоты?

— Ты всегда была какая-то ненормальная! — говорит мама. И уже из темноты: — Я убью его!

Взрывается собачий лай.

Я спускаюсь к речке. Нигде никого, только черные плоскодонки тычутся носом в берег. Где же она?

Неожиданно впереди загорается и гаснет огонек. У понтонного причала.

Мокрая трава хлещет по ногам. И вот уже металлический трап тяжело бухает под ногами. Несколько смутных теней вырисовываются на причале, шурша дождевиками, они оборачиваются в мою сторону. Я стою молча, не решаясь подойти ближе. Знакомо звякает рыбацкий колокольчик, призраки в дождевиках оживают, мечутся, что-то мокро и звонко падает на причал. И тут рыбалка!

Снова берег, лодки, скользкая тропка... Все, с меня хватит! И вдруг из глубины дождевого шума нарастает тонкий звук мотора. Летящий луч света выхватывает из тьмы деревья, обшаривает поверхность реки, ближе, ближе... на миг слепит. И тут, перекрывая рев мотора, до меня доносится знакомый звук, похожий на пенье охотничьего рожка — так гудеть умеет только мама и больше никто в целом мире! Я и сквозь сплошную тьму вижу, как она, приставив кулак ко рту, прижав его открытой ладонью, напряженно дует в щель меж пальцами... Таинственный зов моего детства! Негромкий и мелодичный, он находил нас с сестрой, как далеко бы мы ни забрели от нашей хаты. Этим певучим гудом мать созывала семью обедать. Им же завершала перебранку с отцом, когда не хватало уже аргументов. Им же выманивала нас из горячих рук ухажеров, развеивала калиново-бузиновый дурман.

Сколько раз мы с сестрой пытались повторить этот победный трубный зов! Складывали руки у рта и так и сяк, дули что было сил... Темнело в глазах, но кроме гусяного шипения ничего не извлекали мы! Отец брался научить, смешно шевелил пальцами, его огромные заскорузлые руки долго прилаживались, глаза сосредоточенно округлялись, губы оттопыривались — и вдруг нас оглушал пронзительный разбойничий посвист. Мы визжали, закрыв уши, а отец недоверчиво рассматривал свои ладони потрясенно приподняв брови.

Потом подросли наши с сестрой дети и точно так же очаровались этой бабушкиной способностью. Целыми днями они с осоловелыми глазенками дули в заслонявленные кулаки. Под вечер мы вы-

лавливали их из лопухов охрипших, обессиленных, укладывали спать, но и во сне шевелили они пальчиками...

Катер, с которого мне посигналила мама, еле слышно звенит уже комариным голоском где-то далеко. Мокрая сорочка облепила ноги, отцов пиджак набух и потяжелел. Бегом возвращаюсь домой, переодеваюсь. Сладко согрившись, слабну в сухом шорохе простынь. Такое чувство, словно я в хате одна-одинешенька. Что за наваждение? Пытаюсь уговорить себя, что Андрей давно спит, но тревога нарастает. Вздохнув, иду посмотреть на сына.

Его нет. Дрожащей рукой нащупываю выключатели, мечусь по комнатам. Вдруг все лампы ослепительно вспыхивают и гаснут. В окнах пугающе помигивают молнии.

— Андре-ейка-а-а! — кричу из дверей в искромсанную молниями тьму.

Одеревенелыми руками шарю по стенам, тут где-то был отцов ватник, мамины запасные резиновые сапоги. Нет! Постепенно прихожу в себя, итак, дитя мое не украли...

Снова мокрая трава скользит под ногами, что есть силы тарабанит дождь в клеенку на голове. Нигде ни души. Даже собак не слышно. Только в окне у бабы Польки тлеет слабый трепетный огонек. Стучу в дверь.

— Бабусь, это я, Галя, вы не знаете, где мой хлопец?

Гремит замок, дверь чуть-чуть приотворяется, невидимая бабка быстро говорит:

— На причале он, где ж еще!

Снова тени в дождевиках оборачиваются ко мне, замирают.

— Хлопцы, вы моего Андрея не видели?

Дождь бьет в натянутую клеенку, разве услышишь? Срываю клеенку и вдруг слышу, словно с речного дна, глухой голос:

— Ма-а, я ту-у-у-ут!

«Ут-ут-у-у» — катится над рекой.

Перегибаюсь через поручень — никого, только исклеванная дождем волна бьется в круглый бок понтона.

— Ты где?

— Ту-ут-ут-у-уу...

— Да он в понтон залез, — объясняют хлопцы.

Перегибаюсь еще ниже и под самым причалом угадываю темное отверстие в понтоне.

— Ты что там делаешь?

— Сплю-у-у... — доносится изнутри.

Ну и семейка!

— Ма, тут так здорово! — гудит понтон. — Залезай сюда. Сама увидишь!

— Ты простудишься!

Нет, он не простудится, уверяют хлопцы хором, там тепло, полно тряпья, они сами натаскали, они покажут, как туда залезть; это совсем просто... Там как в раю...

— Немедленно домой! — кричу я сердито.

Но снизу ни звука.

Я накрываюсь клеенкой и иду. Ни видеть, ни слышать больше ничего не желаю!

...Могла ли я тогда знать, что через несколько лет наша речка превратится в слабый ручеек меж осклизлых камней, что козы будут разгуливать по ее руслу, тычась мордочками в мутную воду... Кто-то там, в верховье, кто-то незнакомый и недостижимый что-то долго будет строить, перестраивать...

Наша хата сияет навстречу всеми окнами! Мама вернулась! Бегу по лужам. Но в хате никого. Вспоминаю, что это от молнии погасло электричество, а теперь вновь зажглось. С чего бы это?

— Баба Полька, прекратите ваши штуки! — говорю я громко, щелкая выключателями.

Всю ночь вокруг хаты хлюпает, плещет, бурлит дождь... Мне снится вода, просвеченная солнцем, много воды, бескрайний простор, он мчится, взвихряется, играет, взлетает к солнцу сияющими снепами.

— Что это? — спрашиваю ослабевшим от счастья голосом.

— Это вода твоей молодости, — говорит рядом кто-то невидимый.

Я просыпаюсь. Шаги на веранде. Я лежу не шевелясь.

— Галя, молочка хочешь?

— Боже, какое молочко среди ночи?!

— Это была не наша лодка... Ты меня слышишь?

Но я слышу лишь тонкий колышущийся звон, он обволакивает меня...

На рассвете веранда вздыхает стеклянною своею душой, скрипит, подрагивает все в ней — отец вернулся!

— Ох и карпы! Ну и карпищи! — аж постанывает он и топает сапогами... кровать подо мною словно вскакивает на все четыре ноги.

В окнах сияет свет. Его так много, что лишь сощурясь можно различить среди слепящего мерцания фигуру отца. Вот отец отдаляется, становится невидимым и вдруг объявляется совсем близко темным четким силуэтом.

— Ну что, никто не хочет глянуть на карпов? — гремит он на всю хату. — Для кого ж я старался?

Крыльцо касается моих подошв мокрым шероховатым камнем. Сад играет, взвихряется на ветру, ветер гонит мокрую зеленую волну, спящий сполох... Продолжение сна...

— Святое леточко... — вздыхает мама. — Душа радуется!

Забредаем с ней в росу, погружаем в сплошное сияние руки и вылавливаем там яркие шершавые земляничины. Ягоды холодят язык, тают, и вдруг какая-то одна пронзает небо кислотой — судорога проходит по телу, я окончательно просыпаюсь и обнаруживаю почти рядом Андрея. Он все еще в ватнике, лицо перепачкано розовым соком. На босых коричневых ногах блестящие росы, такие же, как на листьях, на траве...

«Святое леточко...» — вспоминается мне.

Отец зовет в виноградную беседку. Тут косо дымятся солнечные лучи, узкие, острые, как копы, тонкие, как нити, кажется, отец запутался в светящихся сетях.

— Вот! — показывает он на оцинкованное корыто в траве.

Вода в корыте затенена, зеленовато бездонна. С виноградного листа капает роса, вода зябко вздрагивает. Вдруг широкий луч пробивает ее до самого дна, и я вижу бронзовых чешуйчатых карпов, они шевелятся, тараша свои бараньи очи, силясь развернуться в свободу...

— Андрей, весы, — приказывает отец.

Андрей выносит весы, стрелка на шкале весело скачет в такт его шагам.

Расставив руки, отец приступает к корыту. Карпы бьют хвостами, вода вскипает, брызги летят в отца.

— Пять с половиной!

И вдруг я понимаю, что счастлива!

Перевел с украинского АЛЕКСАНДР ЛИСНЯК.

ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ

★

ПИСЬМО ДРУГУ

Ну какая же это заслуга —
спрятать душу свою под замок
оттого, что ты выпал из круга,
изнывать от тоски и досуга,
слушать, как надывается выюга,
упиваясь, что ты одинок?

Ну какое же это подспорье,
что ты доступ друзьям перекрыл,
что ты пестуешь горюшко-горе,
проживаешь в обиде и вздоре?
Ты как крест на глухом косогоре,
под которым себя схоронил.

Ну какая же это отрада —
не дождавшись финала парада,
разломаться, сойти, уступить?
Годы — горе, а мысли — отрава...
Но на то и мужская отвага,
чтоб с улыбкой навек уходить.

* * *

Как много дней, что выброшены зря,
дней, что погибли как-то между прочим.
Их надо вычесть из календаря,
и жизнь становится еще короче.

Был занят бестолковой суетой,
день проскочил — я не увидел друга
и не пожал его руки живой...
Что ж! Этот день я должен сбросить с круга.

А если я за день не вспомнил мать,
не позвонил хоть раз сестре иль брату,
то в оправданье нечего сказать:
тот день пропал. Бесценная растрата!

Я поленился или же устал —
не посмотрел веселого спектакля,
стихов магических не почитал
и в чем-то обделил себя, — не так ли?

А если я кому-то не помог,
не сочинил ни кадра и ни строчки,
то обокрал сегодняшний итог
и сделал жизнь беднее и короче.

Сложить — так страшно, сколько промотал
на сборищах, где ни тепло ни жарко...
А главных слов любимой не сказал
и не купил цветов или подарка.

Как много дней, что выброшены зря,
дней, что погибли как-то между прочим.
Их надо вычесть из календаря
и мерить свою жизнь еще короче.

* * *

Осень начинается в горах,
а затем сползает вниз, в долины..
В нижний лес прокрался желтый страх,
белый снег покрасил все вершины.

Старость начинается в ногах,
даже в зной, укутанные, мерзнут...
И ползет наверх холодный страх
предисловием событий грозных.



ЮРИЙ МАКСИМОВ

★

ВИНОГРАД НА КРАСНОЙ СКАТЕРТИ

Рассказ

Иван Петрович вернулся из поездки на кладбище, где три года назад схоронил жену, и прилег отдохнуть в своей комнате на диване. За окном сгустились ранние зимние сумерки, в бледном свете неоновой вывески весело порхали снежинки, а Иван Петрович лежал и думал о том, что и его жизнь, по всей вероятности, подходит к концу. Постоянная, все возрастающая слабость подсказывала ему эти мысли, слабость, от которой он чувствовал себя униженно и беспомощно: «На леченой кобыле далеко не уедешь. Шестьдесят два оттопал — и за то спасибо. Катя ведь убралась еще раньше».

Как и обычно, к перемене погоды у него ломило все тело, кололо грудь. Сердце время от времени замирало, и тогда наступала короткая пронзительная тишина в груди. Когда она пришла, старость?

Иван Петрович сделал глубокий вдох, приподнялся, чтобы поправить подушку, и в этот момент услышал осторожный стук. Дверь открылась, и в образовавшуюся щель просунулась голова соседки Клавдии, особы еще молодой, энергичной, но уже набравшей такой вес, который женщины носят или с юмором, или со слезами.

— Дядь Вань, вы же опоздаете...

— Куда опоздаю?

— Как куда!

Соседка распахнула дверь и всплеснула руками. Взгляд ее беспокойных глаз выражал недоумение и обиду.

— Сегодня же в магазине продукты для ветеранов дают.

Иван Петрович немного подумал, пожал плечами.

— Мне, кажется, и не нужно ничего.

— Как это не нужно? А праздник? У вас в холодильнике одни щи стоят.— Она умоляюще сложила руки и неподдельно заволновалась.— Вам не нужно, мне бы помогли. У меня семья, сын растет... Праздники на носу.

Иван Петрович дотянулся до стула, подвинул его к себе и сунул руку во внутренний карман висящего на спинке пиджака.

— Слушай, Клавдия... Возьми мое удостоверение и талон. Тебе поверят.

— Меня там каждый знает,— заулыбалась Клавдия.

— И вот что еще...

Иван Петрович повертел в руках две десятки — все, что осталось у него до очередной пенсии, и одну из них протянул соседке:

— Возьми мне полкило колбасы и четвертинку.

— А если не будет чекушек? — Клавдия уже натягивала пальто прямо на халат.

— Тогда любую возьми.

Иван Петрович был человеком непьющим и уже давно не позволял себе ничего лишнего, но жену свою, Екатерину Семеновну, он поминал каждую годовщину. Прожили они вместе четверть века, работали, старились, и все у них было ладно и хорошо, хоть и горе было, но были и радости... Овдовев же, Иван Петрович в полной мере познал удушливую тяжесть одиночества, и только редкие наезды единственной дочери, жившей с мужем в Липецке, еще возрождали его, словно капли живой воды.

Сегодня, в третью Катину годовщину, еще с утра Иван Петрович сделал в комнате влажную уборку, вымыл посуду, протер тряпочкой старенькую горку с облупившимся лаком и фотографию Екатерины Семеновны, висевшую на стене в золотистой рамке. Ивану Петровичу казалось, что после смерти жены вся небогатая обстановка их тринадцатиметровой комнаты — и платяной шкаф, и горка, и круглый стол на толстых ножках — так же осиротела и постарела, как и он сам, и выглядела сейчас уныло и убого. Когда-то они всей семьей мечтали об однокомнатной отдельной квартирке, долго стояли на очереди, но дочка, имевшая характер прямой и своенравный и не ладившая ни с какими соседями, ждатель этого светлого дня не захотела, выскочила совсем еще молоденькой замуж и, выписавшись с жилплощади, лишила своих родителей реальных шансов на близкий и такой желанный блочно-панельный рай. А оставшись один, Иван Петрович и думать забыл об этой несбывшейся мечте.

После ухода соседки он открыл книгу воспоминаний маршала Василевского, подаренную ему в прошлый приезд дочерью, и стал читать. Лампа, сдвинутая на край стола, освещала его усталое лицо, покрытое густой сетью морщин.

Мемуары Иван Петрович читал обстоятельно, с пристрастием бывшего солдата, знавшего и беспощадную реальность окружения, и горопливое отступление, и тяжелые бои, и еще много такого, что дано знать рядовому пехотинцу, чудом уцелевшему в той страшной войне.

Вернулась Клавдия, торжественно вдрузила на стол четвертинку и батон финского сервелата и, рассыпаясь в благодарностях, удалилась.

Иван Петрович поднялся, застелил стол белой скатертью, достал две рюмки. Вся немудреная закуска, состоящая из колбасы и соленых грибов, уместилась на одной небольшой тарелке. Он сел за стол, налил доверху обе рюмки и замер, задумался. Только звонко и четко тикал будильник, словно напоминая, что придет конец и этому дню — почти незаметной, но узаконенной календарем частичке между былым и будущим...

После второй рюмки Иван Петрович слегка захмелел, включил телевизор и отсутствующе стал смотреть, как по серебристому экрану под волнующие звуки симфонической музыки поплыли красивые белые буквы: «Встреча с художником. В гостях у заслуженного деятеля искусств...»

Фамилия художника так и не дошла до сознания Ивана Петровича. В другое время он бы скорее всего даже переключил телевизор на другую программу, потому что ничего для себя интересного в подобных передачах не находил. Ему нравились «Клуб фронтовых друзей», «Сельский час», программа «Время», он любил смотреть старые фильмы по четвертой, а теперь второй программе. Зритель он был доброжелательный и отзывчивый и порой по ходу фильма не удерживался, чтобы не одобрить вслух:

— Жизненно!

На экране тем временем появилась большая светлая комната, где на диванчике с овальной спинкой и гнутыми ножками сидели седовласый человек с худощавым благородным лицом и молодая, очень привлекательная женщина в строгом черном костюме. За их спина-

ми виднелись белый рояль и окно, выходящее в сад с заснеженными деревьями. Стены комнаты были увешаны картинами настолько плотно, что Иван Петрович, обратив на это внимание, удивленно прищелкнул. «Сам небось рисовал»,— подумал он с уважением.

Камера приблизила пару, сидящую на диванчике, и Иван Петрович увидел, что седовласый мужчина уже старик, может быть даже старше его самого, и что девушка действительно по-настоящему хороша. «Надо же, какие бывают»,— добродушно подумал он, испытывая при этом нечаянную радость.

Девушка, то обращаясь с улыбкой к телезрителям, то глядя на старика с нескрываемым восхищением, сказала хорошо поставленным приятным голосом:

— Прежде всего, уважаемый Семен Георгиевич, позвольте от имени почитателей вашего таланта, от имени многотысячной армии любителей изобразительного искусства поздравить вас с восьмидесятилетием и пожелать вам всего самого-самого доброго...

— Спасибо, большое спасибо,— раздался в ответ густой, немного дрожащий баритон.

Иван Петрович даже привстал со своего стула: «Восемьдесят лет!»

Лицо художника показали крупным планом, и Иван Петрович убедился, что перед ним действительно старик, но такой, с какими ему никогда не приходилось сталкиваться. Ивану Петровичу никак не удавалось подобрать определение тому, какой это был старик. Его словарный запас истощился на слове «гладкий», но это слово не выражало полноты впечатления. «Грива-то какая— прямо львиная,— сдаваясь, подумал Иван Петрович.— И глядит бойко, смело».

— Самый первый вопрос к вам, Семен Георгиевич,— продолжала девушка,— как вы себя чувствуете?

Семен Георгиевич иронически улыбнулся и благосклонно поглядел на девушку:

— Да, да... Какой же еще самый первый вопрос можно задать такому старику, как я? Не правда ли?

Она протестующе взмахнула ручками, но Семен Георгиевич плавным, спокойным жестом утешил ее.

— Чувствую себя неплохо, насколько это возможно в моем возрасте. Должен заметить, что в здоровом теле не только здоровый дух, но и необходимая для творчества работоспособность. Поэтому уже с давних пор я руководствуюсь правилом не позволять себе ничего, мешающего работать. Необходимая доза физического труда и режим, строжайший режим.

«Молодец, старик.— Иван Петрович одобрительно кивнул головой.— Не то что некоторые нюни вроде меня».

Во время короткого ответа художника лицо девушки имело строгое и уважительное выражение, которое вновь сменилось очаровательной улыбкой.

— А теперь, Семен Георгиевич, расскажите, пожалуйста, о вашей жизни, о вашем творческом пути. Гёте говорил: тот, кто хочет понять поэта, должен идти в страну поэта. Перефразируя слова великого мыслителя, можно сказать: кто хочет лучше понять художника, должен как можно больше узнать о его жизни, проникнуть в его творческую лабораторию, ощутить источник вдохновения мастера.

Девушка сделала маленькую паузу и тут же в нее ворвался Семен Георгиевич:

— Да, Гёте! — Он красиво развел руками, демонстрируя одновременно и преклонение перед Гёте, и уважение к телезрителям, и покорность хорошенькой женщине.— Я родился в Москве в семье врача, так что из коренных москвичей я, пожалуй, один из самых древних. Уже с пяти лет родители стали учить меня музыке, и, надо сказать, я очень увлекся этим прекрасным искусством. К пятнадцати годам уже сносно играл на рояле и даже мечтал поступить в консер-

ваторию. Но тут случилась одна маленькая история, которая тем не менее перевернула всю мою жизнь. Дело в том, что как раз в это время родители подарили мне на день рождения масляные краски, и страсть к живописи овладела мной в такой степени, что я целыми днями с утра и до вечера стал пропадать с этюдником в окрестностях нашей дачи: у маленького сонного озера, на опушке березовой рощи, в жарком поле, пестреющем голубыми васильками...

Иван Петрович слушал уже с неподдельным интересом, кратко комментировал про себя рассказ художника и производил в уме несложные вычисления: «Он, выходит, второго года. Значит, пятнадцать лет ему как раз в семнадцатом исполнилось. Революция как раз...»

— Я решил бросить музыку,— продолжал Семен Георгиевич,— и посвятить свою жизнь живописи. В двадцатом году на базе Государственных свободных художественных мастерских был создан знаменитый впоследствии ВХУТЕМАС, и я поступил туда, горя желанием создавать новое искусство.

Тут художник стал говорить о совершенно непонятных для Ивана Петровича вещах: о светотени и поисках формы, о кубизме и конструктивизме, о колористическом решении композиции и о философских глубинах образного мышления.

Внимание Ивана Петровича постепенно ослабло, и он отвлекся к своим заботам: «Хорошо бы памятник поставить... Дочка-то, видно, зря наобещала. И с Клавдией посоветоваться надо, что-то она там про цену говорила. Не помню... Астрономия какая-то...»

Экранный Семен Георгиевич между тем взял с маленького круглого столика стакан с водой, сделал два неторопливых глотка и продолжил рассказ:

— В двадцать восьмом году я уехал в творческую командировку сначала в Рим, потом в Венецию. Уверю вас, тогда не так просто было добиться этого, но я проявил максимум настойчивости. Я просто бредил итальянским Возрождением, а увидев в Венеции фрески Веронезе, был буквально потрясен этим художником. Такая широта охвата, такая цветочная гамма, такая пластичность доступны только подлинному гению.— Художник провел рукой по волосам, задумался, склонил голову.— Вернулся я в Москву в тридцать четвертом году, а в тридцать пятом снова уехал в командировку, на этот раз в Париж, и пробыл там до тридцать девятого года...

«Одинадцать лет за границей... Ну и командировки!» Он встал, подошел к окну и, подняв лицо к приоткрытой форточке, втянул в себя морозный воздух. Ему было душно. Хотелось лечь, но он упрямился и только потирая рукой грудь. «А у нас-то... Годы-то какие были. Неужели он ничего не видел?»

Тем временем художник заговорил о Шагале и еще о ком-то, кого называл метром, а Иван Петрович, не зная ни того, ни другого, перестал слушать и принялся мечтать о том, что вот хорошо бы заняться обменом и съехаться с дочерью. Было бы и у него тогда дело: гуляли бы они с внучкой в парке, грелись на солнышке, рвали ромашки в траве. И не был бы он никому в тягость — ни себе, ни людям. Ведь ничто так не укрепляет человека, как забота о детях.

От этих мыслей он совсем загрустил, а когда вернулся к столу и снова взглянул на телекартинку, там было все по-прежнему. Художник говорил не торопясь, проникновенно, иногда помогая себе красивыми жестами рук, а журналистка внимательно слушала и с изумительной точностью в нужном месте рассказа то кивала аккуратной головкой, то улыбалась, то с удивлением выгибала брови.

— Через полтора года после моего возвращения в Москву,— говорил художник,— началась война, и я эвакуировался в Среднюю Азию. Трудное было время! Сразу по приезде я с головой окунулся в творческую работу и работал, работал, не щадя сил...

Услышав это, Иван Петрович помрачнел и из-под густых бровей посмотрел на художника уже далеко не с такой приязнью, как раньше: «Чего ж это он в Азию рванул? Хотя, может, с заводом послали? Да нет, заводы те за Волгой да на Урале были. Поработал бы он на заводе — не сидел бы сейчас таким... гладким».

— Кроме того, я занимался педагогической деятельностью, — продолжал художник, — и хотя не имел в ней особых навыков, быстро освоился с новым для меня делом...

Семен Георгиевич увлекся. Он рассказывал о желтых песках и величественных минаретах, о взаимопроникновении великих культур, о творческой исповеди мастера и о сложности оценки произведений искусства. В самом эмоциональном месте своего рассказа он неожиданно запнулся, что-то в волнении вспоминая, и, видимо, так и не вспомнив, бросил загадочную и несколько непоследовательную фразу:

— Нельзя требовать от одного инструмента звучания целого оркестра.

После этого старый художник посмотрел на девушку, как бы прося о помощи, и эта помощь пришла, ненавязчивая и вежливая, сопровождаемая заботливым интересом.

— Семен Георгиевич, в начале сорок третьего года в Ташкенте открылась персональная выставка ваших акварелей. На выставке зритель впервые увидел ваши произведения, созданные в Средней Азии, и среди них такие известные теперь работы, как «Виноград на красной скатерти», «В сумерках», «Солнечный базар». Пожалуй-ста, несколько слов об этой выставке.

Трудно сказать, что произошло вдруг с Иваном Петровичем, — он и сам не мог до конца в этом разобраться. Что-то подступило под сердце, глаза застлала мутная пелена, и лицо как будто обдало жаром.

— Виноград на красной скатерти, — повторял он, — виноград на красной скатерти. Да, ведь в то время...

Что-то перевернулось в сознании Ивана Петровича. Как ни старался он настроить себя на свой всегдашний лад старого, много повидавшего и умудренного жизнью добродушного и покладистого человека, у него ничего не получалось. Суровый лозунг военных лет «Все для фронта — все для победы!» он привык понимать буквально и не желал понимать никак иначе. Печь хлеб, делать гвозди, штопать рваную одежду, писать книги, рисовать, наконец. Но что? Дистанция между акварельным натюрмортом и этим лозунгом оказалась для Ивана Петровича непосильной. Он вдруг почувствовал себя тем самым деревенским увальнем, каким впервые приехал в Москву из глухой смоленской деревни.

«Виноград на красной скатерти! В войну, в сорок третьем!»

Война ассоциировалась у Ивана Петровича с чем угодно, только не с виноградом на красной скатерти. Он помнил измятые фронтовые газеты, помнил незатейливые, но близкие любому солдату рисунки и особенно карикатуры на проткнутого красноармейским штыком отвратительного и смешного человечка с кривой челкой и узкими усиками под носом, дрыгающего в воздухе паучьими ножками. Встречал он на фронте и живого художника, который рисовал солдат, танки, кухни, пушки, дважды ходил в атаку, рассказывал о своей мечте написать большую картину о войне. После скоротечного боя с прорвавшимися фашистами Иван Петрович отнес его этюдник и папку с рисунками в штаб, а сам художник был похоронен в братской могиле. Но, оказывается, было и что-то другое даже тогда, далекое и непохожее, была другая жизнь, какая — Иван Петрович не знал, но он знал теперь, что в той жизни был виноград, который не только можно было есть, но и, насытившись, положить на красную скатерть и срисовать для грядущих поколений.

«Почему виноград, почему красная скатерть? Зачем?» — спрашивал он себя.

— В искусстве нет легких путей... — услышал он голос художника.

Иван Петрович тяжело поднялся, сдернул с кровати верхнее покрывало и стал расстегивать рубашку. Усталость давала о себе знать, хотелось прилечь. Он снял брюки, потом долго возился с широкими черными ремнями, охватывающими его бедро и живот. Наконец он положил протез рядом с кроватью и осторожно лег на спину.

Теперь Иван Петрович не видел телеэкрана. Он смотрел в потолок, но ясно представлял себе и увешанные картинами стены, и белый рояль посреди комнаты, и заснеженные деревья за окном. Встречи с людьми, что дарила ему жизнь, включая и те подарки, от которых он с удовольствием бы отказался, обогащали его каждая по-своему и никогда не выходили за пределы естественного, хотя порой и трудного хода вещей. Он знал, что люди бывают добрые и злые, честные и лживые, богатые и бедные, знаменитые и безвестные, но теперь ему неожиданно показалось, что, даже продолжая этот перечень до бесконечности, он ни на йоту не приблизится к пониманию того, что лишь мельком блеснуло в его сознании. Он скорее почувствовал, чем осознал, что есть нечто другое, не имеющее к нему и к таким, как он, никакого отношения, живущее по своим законам и не соприкасающееся с ним никакими гранями. Нечто в себе и для себя, нечто вроде бы близкое и одновременно бесконечно далекое, бессловесное до тех пор, пока не найдет нужным заявить о себе в полный голос. Он вспомнил, что в одной из телепередач рассказывалось о каких-то таинственных частичках, которые пронизывают пространство и саму землю, о существовании которых человечество долгие века даже не подозревало. Выступающий перед телезрителями художник и показался Ивану Петровичу такой частичкой, какую он лишь случайно обнаружил на седьмом десятке лет своей жизни.

— После войны, — слышал Иван Петрович голос художника, — я много путешествовал. Был в Индии и в Китае, в Америке и на Ближнем Востоке, в Африке и в Австралии. Отовсюду я привозил новые впечатления, замыслы, зарисовки. Но главной и непреходящей любовью для меня была и остается Италия и мекка искусства — Венеция. Признаюсь, Венеция мне иногда даже снится...

Опять раздалась звуки музыки. Иван Петрович приподнялся и увидел сменяющие одна другую картины художника, которые не производили на него никакого впечатления, может быть, потому, что художник слыл большим колористом и телевизор не в состоянии был передать даже приблизительный уровень его мастерства. Он с трудом узнавал изображенные на картинах овощи и фрукты, силуэты изогнутых зданий и мостов, стволы огромных экзотических деревьев и далекие маленькие фигурки людей. Голос журналистки за кадром методично объяснял зрителям достоинства каждой картины, приемы живописи, использованные художником, смелое новаторство в передаче цвета и света. Потом музыка стихла, и журналистка с сожалением сказала:

— Время нашей передачи подходит к концу, Семен Георгиевич. В заключение скажите, пожалуйста, о вашем понимании смысла творчества. Иначе говоря, ваше творческое кредо?

Семен Георгиевич понимающе улыбнулся, закинул ногу на ногу.

— Меня много упрекали в разные годы, — ответил он, — и в формализме, и в субъективизме, и в неумении реалистично изображать натуру, и еще бог знает в каких грехах. Но я всегда твердо знал, что нет ничего выше, чем служение красоте, которая всегда была

для меня не просто эстетической категорией, но, если хотите, образом моей жизни... Да... Поэтому я всегда оставлял за собой право на собственную песню.

Передача закончилась, Иван Петрович лежал на спине, скрестив на груди руки, стараясь обдумать последнюю фразу художника.

— Право на собственную песню,— повторил он.— А у меня было такое право? Или я пел по обязанности, что велели?

Он лежал и мучился этим вопросом, словно не было для него сейчас ничего важнее.

Право, обязанность...

Он вспомнил деревню, низкий дом у крутого спуска, детство свое, умерших от тифа родителей. Вспомнил московскую заводскую окраину и подвал, где висели на веревках одеяла, разделяя поселившиеся там семьи. Вспомнил завод и молодость и войну вспомнил, погибших товарищей и слова командира перед последним своим боем: «Надо, Ваня, надо! Или грудь в крестах, или голова в кустах. Иди, больше некому». И многое еще припомнилось Ивану Петровичу. И постепенно на смену раздражению и боли к нему пришло теплое сознание того, что память его живет не сама по себе, она не только его собственная, но что еще у многих тысяч людей есть одна, общая с ним память.



Я — раненный — грудью вперед Прощай, моя умница. Этот привет
 упаду, Я с ветром тебе посылаю,
 Дорогу врагу преграждая. Я сердце тебе посылаю свое,
 Спокоен и радостен будет мой сон, Где пламя не меркнет, пылая.
 Коль жизнь подарю я отчизне,
 А сердце бессмертное в сердце
 твоём
 Забьется, как билось при жизни. 1941.

Перевела ВЕРОНИКА ТУШНОВА.

Двуличному

Я в девяноста девяти заплатах,
 Но нет в душе прорех и нет заплат.
 А ты в одеждах щеголя богатых —
 Душа твоя с заплатами подряд!

28 ноября 1943.

Перевел ВИЛЬ ГАНИЕВ.

Один совет

(О человечности)

Людей-слонов нередко я встречал, В твоих делах проявится сама
 Дивился их чудовищным телам, И справедливость твоего ума,
 Но я за человека признавал И то, что сильным сердцем
 Лишь человека по его делам. наделен,
 Что ты любовью к родине силен.
 Вот, говорят, силач — железо гнет,
 Вода проступит там, где он Жить бесполезно — лучше уж
 пройдет. не жить,
 Но будь ты слон, а я не признаю, На ровном месте кочкою служить.
 Коль дел твоих — по горло Свети потомкам нашим, как маяк,
 воробью. Свети как человек, а не светляк.
 Пускай на всем, что Железо не ржавеет от труда,
 совершаешь ты, И глина обожженная тверда,
 Проступит след душевной чистоты: Оценит мужа по делам народ,
 Ведь сила не во внешности твоей, Героя не забудет никогда.
 А только в человечности твоей.

9 декабря 1943.

Перевел ИЛЬЯ ФРЕНКЕЛЬ.



РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЬНИЦ ГДР



Недавно на вопрос о том, каковы приобретения литературы ГДР последних лет, президент Союза писателей ГДР Герман Кант ответил, что это «литература женщин, пишущих о женщинах...». «Это по-настоящему энергичская, критическая и нетерпеливая литература», — добавил Герман Кант.

В самом деле, среди новых имен, появившихся в литературе ГДР за последнее десятилетие, много женских. Такой приток женщин в литературу несомненно связан с социальными и структурными изменениями в обществе: роль женщины выросла почти во всех сферах общественной жизни. Отсюда и стремление к осознанию в литературе своей новой роли, к постановке почас весьма сложных нравственных и социальных проблем, которые рождает действительность.

Большинство писательниц — в частности, те, чьи рассказы публикуются в этом номере, — не только принадлежат к одному поколению, их объединяет и во многом сходный путь в литературу. Первые гетские впечатления связаны с войной, бомбежками, отсюда в их прозе нередко возникает тема войны. Важен и еще один общий момент в их биографиях — многие из этих писательниц пришли в литературу, уже накопив определенный жизненный опыт, имея не связанную с литературой профессию. Объединяет писательниц и жанр, которому они больше всего привержены: новелла, рассказ, небольшая повесть.

Рассказы войдут в антологию рассказов писательниц ГДР, которую готовит к публикации издательство «Радуга».

МАРИЯ ЗАЙДЕМАНН*

Изгнание из рая

Хутор стоит в неглубокой ложбине, так что с дороги его не сразу и заметишь. Тропинка, свернув с шоссе, бежит сначала мимо луга, который давно уже никто не косит, огибает полуразрушенную крестьянскую усадьбу и выводит к начинающемуся сразу за ложбиной лесу.

Прекрасный фруктовый сад, окруженный изгородью, запущен. Деревья одичали, переплелись ветвями, и тропинка здесь совсем теряется в траве. Плоды осенью снимают, но только те, до которых можно дотянуться рукой, остальные просто падают в траву. Какие получше, тоже подбирают, а потом до октября в кухне стоят корзины и сильно пахнут яблоками.

Сам дом небольшой, перед фасадом цветник, отделенный от сада заборчиком. Цветы там цветут круглый год и почти не требуют ухода.

Фронтон до самой крыши увит виноградом. Прямоугольный двор вымощен каменными плитами, между ними пробивается трава.

Двор весь окружен постройками. Если войти в него со стороны фруктового сада, там, где стоят массивные воротные столбы, вытесанные из песчаника, который медленно разрушается под действием ветра и дождя, по правую руку — дом в один этаж, слева в углу — каменный сарай. Напротив дома конюшня с каретным сараем и амба-

* Родилась в 1944 году. По профессии историк. Первый сборник рассказов «День, когда умер сэр Генри» выпустила в 1982 году. Удостоена премии СП ГДР «За лучший дебют». В последние годы выпустила еще два новых сборника рассказов.

ром. Это компактное двухэтажное фахверковое строение, балки которого кажутся совсем черными на фоне светлой штукатурки стен. Низкий, далеко выдвинутый вперед козырек крыши — под ним свободно может поместиться целая упряжка — придает всей усадьбе основательный вид. В конюшне стоит шотландский пони, в каретном сарае — машина и четыре велосипеда. Амбар перестроен — он превращен в светлую комнату с окном почти во всю стену. Мебели мало, только самое необходимое. Легом здесь иногда справляют семейные праздники и ночуют гости.

Рядом с конюшней деревянные ворота, выкрашенные в те же цвета, что и дом. Днем они всегда открыты — пройдя через них, попадаешь на полевую дорогу. Она огибает хутор, ведет через лес, пересекает шоссе. По ней приезжает на велосипеде почтальонша. Рано утром с дороги слышен шум выезжающих на поля тракторов. Поля тянутся до самого ольшаника, за которым песчаный карьер, где можно купаться.

Если подряд несколько дней идет дождь, дорога раскисает так, что по ней не пройти.

Четырехугольник двора замыкает большой каменный сарай. В левой его половине кладовая, где хранятся съестные припасы, в правой — мастерская. Между домом и сараем — старый колодец, которым давно не пользуются. Он закрыт двумя полукруглыми каменными плитами.

Крыша у дома двускатная, и потому он кажется приземистым. Небольшие окна — по три с каждой стороны от входной двери — закрываются ставнями. К дверям ведут две стертые каменные ступени. В прихожей — кафельный пол, выложенный звездочками. Навверх можно подняться по широкой лестнице из светлого дуба, под ней дверь в подвал, где установлен котел отопления и электрический насос. Слева по коридору кухня, ванная и маленькая комната для гостей, справа спальня и детская.

Окна спальни выходят прямо в цветник. Это довольно большая, хотя и узкая комната с глубокой нишей в стене, закрытой полированными дверцами встроенного шкафа. Лампа темной меди висит над широким диваном, обтянутым синей льняной материей, перед ним на полкомнаты светлый ковер. В углу корзина для постельного белья. Висят две литографии на сюжеты Вальпургиевой ночи. На окнах светло-голубые шторы из тонкого муслина. Занавес того же цвета, что и диванная обивка, отделяет от комнаты небольшое пространство, где стоят только секретер и бидермайеровский стул; на стене висят книжные полки, а над дверью в рамке фотография Халдора Лакснесса.

В детской, как и во всех других комнатах, белые стены и желтые полы. Эта комната самая просторная. К потолку приделаны качели, на шнуре висит ярко раскрашенный дракон, родители сместили его сами. В углу у двери стоит стеллаж, на нем куклы, звери, машинки — все это привезено из разных стран еще до того, как дети появились на свет. Под каждым окном небольшие книжные шкафчики, там сказки, Жюль Верн, путешествия, «Робинзон». Окнами дети пользуются как дверьми — это разрешается. Вечером мама задергивает оранжевые занавески. За ними остается погруженный в темноту двор и конюшня, где спит пони.

В кухне хозяйничать одно удовольствие. Оборудована она так, что лучше не придумаешь. По стенам расставлена и развешана разная старинная посуда, кухонная утварь, оставшаяся от прежних хозяев и собранная новыми. Кафельный пол выложен, как и в прихожей, звездочками. Каждое утро вся семья, родители и дети, собирается здесь за круглым, выскобленным добела столом, а после завтрака все расходится по своим делам. Дети на автобусе отправляются в школу в ближайшей деревне. Отец на машине уезжает в издательство. Мать идет в сарай, где у нее мастерская. И так шесть дней в неделю.

Вечера они проводят вместе в просторной комнате под самой крышей дома. Здесь очень уютно: темное дерево чердачных балок хорошо гармонирует с подчеркнута функциональными предметами обстановки. На полу большой восточный ковер, стены в книгах и, конечно, везде картины. Жена приносит сюда свои самые удачные работы.

По воскресеньям, а иногда и в субботу, приезжают гости из города, сослуживцы отца, друзья с детьми. Хутор и близлежащий лес наполняет веселый гомон, здесь он никому не может помешать. Гости привозят корзинки с вкусной едой, хорошее вино и, конечно, новые книги, иностранные журналы, пленки с последними записями, городские сплетни. Мужу и жене в эти два дня цена, которую они заплатили за сельскую идиллию, кажется ничтожной. А гости, покидая хутор, увозят в город частицу царящего здесь покоя и счастья. В сутолке будней они вспоминают дни, проведенные в этом доме, где все дышит любовью и радушием. В комнате для гостей висит картина.

Ее подарил жене на день рождения один из друзей-художников. Картина написана в манере старых мастеров, лессировками, на фоне поля и леса изображен их хутор, каким он виден с полевой дороги. Картина называется «Рай».

В марте умерла тетя Софи из Гrefенхайнихена. Она оставила своей внучатой племяннице горку с фарфором, столовое серебро, две сберкнижки и волнистого попугайчика.

Мелани решила ничего пока не говорить Йохену. Она поместила объявление в газете и стала ждать.

В Берлине они жили в районе Пренцлауэрберг. Их дом стоял на улице, которая заканчивалась глухой стеной. Внизу была винная лавка фрау Мелихар. На втором этаже — квартира Йохена и Мелани: две комнаты, кухня и уборная на лестнице. Окна выходили в каменное ущелье, прямо на линию городской электрички. В так называемом кабинете стоял мольберт Мелани, большой письменный стол и шкаф со множеством ящиков вроде тех, что можно увидеть в библиотеке. Днем тут еще расставляли манеж. Другая комната служила одновременно спальней и гостиной. Здесь всю стену занимала полка, заваленная книгами и игрушками, которые Йохен и Мелани привозили из своих путешествий еще тогда, когда думали, что у них будет много детей.

К ним часто приходили гости: люди чувствовали себя уютно у них в доме. Йохену и Мелани было хорошо друг с другом, и царившая в семье атмосфера мира и согласия сообщалась друзьям.

Нельзя сказать, что все в их жизни шло как по маслу. Мелани исполнилось уже двадцать девять, а первая выставка в маленькой галерее на Ладенштрассе у нее состоялась только этой весной. Одна газета напечатала отрицательный отзыв, ее примеру последовали другие. Мелани громко, каким-то неестественным голосом читала Йохену эти рецензии. Деланная наивность, слабая техника и все в таком роде. Кто-то написал, что художница близорука и пишет левой рукой,— это хоть была чистая правда. Потом выставку из-за ремонта галереи до срока закрыли.

Теперь картины были сложены в комнате прямо на полу: кошка у трамвайных путей, старуха в винной лавке, ребенок, играющий в луже, старинные часы — всего восемнадцать работ. Между ними ползал одиннадцатимесячный Даниель, а Мелани рисовала кукол и мишек для витрины детского универмага.

Йохен работал в издательстве редактором. Он уже лет пятнадцать все собирался написать роман, который должен был называться «Сторонний наблюдатель». Когда тебе за тридцать, пора садиться за собственную книгу, а он все редактировал чужие. Йохен мечтал о домике за городом, где Мелани могла бы заниматься своей живописью, а он спокойно писать книги, где их ребенок, а может, двое или трое детей росли бы крепкими и здоровыми.

И вот теперь, после смерти тети Софи, Мелани получила возможность осуществить его мечту. Если в ответ на ее объявление предложат что-нибудь подходящее, они с Йохеном поедут и купят крестьянский хутор. Нет, Мелани делала это не потому, что считала себя в долгу перед мужем, просто она была благодарна ему за то, что он дал ей возможность доучиться, за то, что ему нравились ее картины (ей даже казалось, что он каким-то странным образом причастен к их созданию), за то, что он был так терпелив, когда казалось, что у нее вообще не будет детей, что помог ей решиться на операцию. Она и сама не прочь была вместе с Йохеном и сыном уехать из шумного города, из этой маленькой неудобной квартиры и поселиться в тиши, на природе, вдали от столичной суеты. Там, казалось ей, они могли бы быть по-настоящему счастливы.

В одно майское воскресенье Мелани и Йохен выехали из города в северном направлении. Даниель, который еще никогда не ездил в машине, попискивал на заднем сиденье. Машину купили недавно и ехали медленно. Наконец остановились перед домом, адрес которого был указан в письме. Вся семья Грюнкелле сидела за столом: муж, жена и румяные девочки-подростки, похожие друг на друга как две капли воды, пили кофе с пирогом. Йохена и Мелани тоже усадили за стол. Грюнкелле был немолод, очень толст и передвигался на костылях. Его жена, тоже довольно толстая, но крепкая и кудрявая, как дочка, выглядела не старше сорока.

— Хутор наш стоит на отшибе, места там глухие,— сказал Грюнкелле,— но если вы художники, вам понравится.

Йохен помог Грюнкелле влезть в машину, дочери уселись на свои мопеды и поехали вперед, Фрау Грюнкелле стояла у дверей и плакала.

Они ехали по шоссе около четверти часа, наконец Грюнкелле велел остановиться. Йохен и Мелани посмотрели, куда он показывал, и увидели лежащий в ложбине хутор. За ним сразу начинался лес. Все это напоминало иллюстрацию из книжки сказок. Проехали еще сто метров, и Грюнкелле сказал:

— Машину придется оставить здесь. Иначе обратно нам снизу не подняться. Дорога раскисла, да и тракторы ее всю разбили.

Грюнкелле очень ловко передвигался на костылях, они едва за ним поспевают. Йохен нес спящего ребенка. Тропинка давно уже заросла травой, ее различал только Грюнкелле.

— Мы поселились здесь после свадьбы,— рассказывал он,— я держал трактир — вечером посетители, днем хозяйство. У нас все было свое. Каждый год по тележку и по свинье. Кур было полно, кроликов. К рождеству мы откармливали на продажу дюжину гусей. Сад, огород, дрова в лесу, а в карьере, вон там, отсюда не видать, рыбы полно. Но я заболел, и нам пришлось перебраться в деревню. Про наш хутор мы говорили: это рай. И все в округе его так называли. Увидите, это чистая правда.

Они прошли через небольшой лесок и остановились на лужайке. Здесь росли фруктовые деревья, некоторые еще не отцвели. Девочки уже были на хуторе, они гостеприимно распахнули покосившиеся ворота.

— Тут все в таком виде,— протянула Карин.

Другая, которую звали Рита, только молча кивнула.

Грюнкелле не обманул их, Мелани и Йохен увидели это сразу. Конечно, труда надо было вложить много, но хутор стоил того. Вымощенный каменными плитами двор со всех сторон окружали постройки: жилой дом, сарай, конюшня. У всякого, кто сюда попадал, возникало чувство надежности, защищенности, да и природа вокруг: сад, лес, поля, луга — все дышало покоем. Но сами здания имели жалкий вид. В полуразрушенном сарае гулял ветер, у конюшни провалилась крыша, и одна балка торчала прямо над двором.

— Мы с тех пор тут ни разу не были,— сказала Карин.

Дом под двускатной крышей выглядел совсем приземистым. Рита открыла дверь, они вошли в коридор, выложенный кафельной плиткой с узором в форме звезд. Пахло плесенью.

— Печи совсем развалились,— заметил Грюнкелле.

— Сделаем центральное отопление,— бодро сказал Йохен.

— Насос мы продали,— вздохнул Грюнкелле.— Электричество сюда подается из Нейкица с подстанции. Однажды буря повредила провода, и мы тут жили, как древние германцы.

Направо по коридору были две комнаты, налево еще одна, дальше кухня и кладовая.

— Уборная во дворе, рядом с баней,— сказала Карин.

Рита открыла ставни. Рамы, двери — все было изъедено древоточцем, пол покрыт плесенью и мышиным пометом.

— Дом, в котором не живут, погибает,— заметил Грюнкелле.— Как человек, который никому не нужен. Все восемь моих дочерей здесь выросли. Мы даже хлеб сами пекли.

— Сарай восстановим, там можно сделать тебе прекрасную мастерскую,— сказал Йохен.

Мелани вздохнула:

— Кто это будет делать? Посмотри на конюшню.

— Да, тут все не починишь,— подхватила Карин,— проще снести и этим материалом отремонтировать дом.

Но Йохен и Мелани в один голос стали говорить, что без сарая и конюшни усадьба уже не усадьба, а всего-навсего маленький домик, окруженный лесом. Грюнкелле с ними согласился.

Поднялись на чердак.

— Мы здесь играли в плохую погоду,— сказала Карин,— на дворе ветер, дождь, а у печной трубы совсем тепло. А как тут пахло! Мы здесь травы сушили — укроп, ромашку, бессмертник. У нас их много росло. Но труба развалилась, сами видите.

— И балки сгнили,— сказала Мелани. Она поковыряла пальцем дерево, оно легко крошилось и пахло прелым листом.

— Да, балки придется менять,— согласился Йохен.— Я люблю плотничать,— сказал он, обращаясь к Грюнкелле.— При моей работе это замечательный отдых.

Ребенок заплакал, и они спустились вниз. Во дворе все уселись на колодец, закрытый каменной плитой, и принялись за бутерброды, которые достала из сумки Мелани. Ребенку дали молока, а потом Рита затеяла с ним игру.

Пока Йохен договаривался с Грюнкелле о цене, Мелани молчала, но потом, когда у них уже все было решено, вдруг сказала:

— Нет, это невозможно.

Грюнкелле кивнул, словно ждал этой фразы.

Они закрыли ставни, заперли двери, и жутор снова погрузился в тишину. По собственным следам в траве они двинулись к шоссе.

Потом, уже в машине, Йохен сказал:

— Такого случая нам больше не представится. Мы понемногу тут все восстановим, вот увидишь.

Мелани возразила неожиданно резко:

— Тебе отсюда до работы семьдесят километров. Вечером будешь возвращаться совершенно вымотанный. По субботам-воскресеньям ты пишешь, к тебе не подойти. Деревня далеко, нет яслей, нет детского сада. Как я буду здесь работать? Нет водопровода, электричество может отключить, а до ближайшего магазина, как до Китая.

— Ребенок вырастет,— возразил Йохен.— Кушим велосипед.

— А зимой? А если весь день льет дождь? А если кто-нибудь из нас заболеет?

— Ты видишь только плохое. Это так на тебя не похоже.— В голосе Йохена слышалось раздражение.

— Да просто здесь я не смогу работать, ты видел, какие тут крошечные окна. И не смогу здесь выдержать целый день одна, в этой глуши не с кем словом перекинуться. Наконец, я должна смотреть работы других художников, показывать им свои...

— Мы устроим тебе мастерскую, потерпи немного. Мы ведь с тобой еще молодые! Через пару лет все наладится. В городе у тебя никогда не будет таких идеальных условий для работы. Утром просыпаешься — за окном лес.

— А ребенка, как жена фермера, привяжу себе на спину и так и буду стоять за мольбертом. Книжка какая-нибудь понадобится — где ее возьмешь, и малыш будет расти в одиночестве.

— Да что с тобой происходит?— вспыхнул Йохен.— Все я, я, я!

— Это ты только о себе и думаешь!— крикнула Мелани.— Ты ведь ничем не жертвуешь, наоборот, еще и рай получаешь в придачу!

— Лучшего места нам не найти,— убеждал он ее,— будем жить и радоваться, что наш дом с каждым годом становится все краше, родим еще ребенка или двух; днем работа, вечером усадьба, в воскресенье будут приезжать гости, на машине можно и в театр поехать, и на любую выставку, и из города все что нужно привезти.

— Нет, ничего этого не будет,— сказала Мелани.

— Знаешь, давай дома все спокойно обсудим,— предложил Йохен.

— А тут и обсуждать нечего,— отрезала Мелани.

Дальше они ехали молча.

В два часа Даниель возвращается из школы. Сумка летит в угол, радио включается на полную мощность, чтобы слышно было на кухне.

Он пускает горячую воду и ставит в раковину грязную посуду. Вода течет тонкой струйкой. Даниель стоит у открытого окна и считает электрички. Пока раковина наполнится, их пройдет штук семь. Наконец он принимается за посуду и, чтобы не было скучно, насвистывает в такт мелодии, свистит художественно, с трелями, это не каждый умеет.

В рюмках, которые стоят невымытые еще со вчерашнего вечера, остатки вина, и он представляет себе Антека и маму, как они вместе качаются в кресле-качалке. Вообще-то Антек ему нравится. Правда, он курит, и мамина кровать пропахла табаком. Даниель вытряхивает пепельницу, ставит вытертую посуду в шкаф и бежит вниз, в бывшую винную лавку. По дороге он обычно играет в одну и ту же игру: пытается угадать, какую музыку слушает Мелани.

Даниель становится позади матери и смотрит, как она работает. Кисть Мелани держит в левой руке. А он может рисовать и вообще все делать одинаково правой и левой. На мольберте та же картина, что стояла вчера, позавчера, на прошлой неделе.

— Все никак не кончишь,— говорит Даниель.— Что это они у тебя над крышами летают? Ты бы лучше нарисовала их в кресле-качалке.

— Опять подглядывал в замочную скважину, шпион!— возмущается Мелани.

Но Даниель уже сидит за столом. Там лежит большой картон, над которым он трудится целую неделю. Дело в том, что ему в голову приходят все новые и новые идеи. Мелани, не отрываясь от мольберта, спрашивает про контрольную по математике. Даниель отвечает, но мысли его далеко, сейчас его занимает только вокзал. На картоне он нарисовал собак, багажные автоматы, двух пьяных, духовой оркестр, красный маневренный локомотив, Мелани с мольбертом, рисующую вокзал. Даже себя самого изобразил: в одной руке у него круг для плавания, в другой — гитара Антека. Мелани считает, что картина получается слишком пестрой. Но Даниель любит рисовать всеми красками какие у него есть.

— Опять глазекот,— говорит он.

Не оборачиваясь, Мелани отвечает:

— В следующем году непременно вставим шлифованное стекло. Тогда с улицы ничего не будет видно.

У витрины стоят две женщины и смотрят на них. Мелани никак не может выкинуть к любопытным взглядам, а Даниелю даже нравится — пусть глазекот. Над их дверями все еще висит вывеска «Вино — табак», хотя фрау Мелихар уже давно переехала в Гамбург. Надо повесить другую, думает Даниель: «Мелани и сын. Мастерская живописи. Открыта ежедневно с 15 часов. Выходной — воскресенье. Заказов не принимаем, только если что-нибудь интересное». Нет, это слишком длинно для вывески. Лучше совсем просто: «Даниель и Мелани. Живопись». Дверь не будем запирают, повесим колокольчик, и если кто-нибудь придет посмотреть картины, он зазвонит.

Дверь бывшей лавки сейчас вообще заперта, а на окнах жалюзи, которые Мелани вечером спускает. После работы часто приходит Антек, но сегодня, наверно, уже не придет, поздно.

Около пяти начинает темнеть, и Мелани говорит:

— Ничего не видно, надо кончать.

Они моют кисти, сначала скипидаром, потом водой с мылом. Даниель еще должен выучить Средне-Германские горы.

После ужина Даниель и Мелани снова спускаются в лавку. Вчера они начали клеить из газет дракона. Получился какой-то крылатый крокодил. Осталось подправить ему голову и раскрасить. Даниель собирает еще и цветочками его разрисовать. Они сушат дракона вентилятором и повторяют географию. Даниель никак не может вспомнить Вестервальд, приходится сочинить про этот Вестервальд стишок.

Антек все-таки появляется.

— Как красиво,— говорит он, глядя на картину Мелани.

Мелани злится, но Антек уверяет, что ему действительно очень нравятся эти летящие влюбленные, он, мол, понимает, что Мелани хочет сказать своей картиной. Мелани посылает его ко всем чертям и кистью, которой они только что раскрашивали дракона, через весь холст размашисто пишет: «Уроды».

Даниель и Антек переглядываются, это не первый раз с ней такое. Потом они вдвоем несут дракона вверх, в комнату Даниеля. Антек сверлит дырку в потолке, ввинчивает крюк, и Даниель вешает на него свое чудище. Дракон какое-то время медленно поворачивается на веревке, качая огромными крыльями, потом повисает неподвижно. Антек задерживает оранжевые занавески, и они садятся рассматривать польский автомобильный журнал. Оба увлечены, но появляется Мелани. Это значит, что Даниелю пора спать. Свет погашен, дверь закрыта. Мальчик встает и бесшумно придвигает к двери стул. Наверху есть щель, и через нее ему все хорошо видно.

Мелани и Антек сидят за столом и пьют кофе. Антек протягивает матери какую-то книгу. Книга совсем новая, страницы хрустят, когда Мелани их листает. Она глядится в фотографию на обложке. Даниель, как ни старается, ничего разглядеть не может.

— Интересно, каким он стал,— говорит Мелани.

— Ты все еще к нему привязана, а ведь десять лет прошло,— вздыхает Антек. Мелани раздраженно отмахивается.

— Почему ты не хочешь, чтобы мы жили вместе?— спрашивает Антек.

Даниель слушает затаив дыхание.

— Оставь меня в покое,— говорит Мелани.

Теперь они сидят молча. Мы с мамой никогда так не молчим, думает Даниель, и она не сердится, даже когда мне совсем не нравится ее картина. Почему, что бы Антек ни сказал, она так злится? С ним можно в шахматы играть. Он все чинит. Вот только курит. Но ей ведь это не мешает.

Через пару минут Мелани встает и выключает верхний свет. Даниель тихонько слезает со стула, он знает, что будет дальше.

Ровно в пять Йохен отдает ключ от своего кабинета привратнику и, прощаясь, пожимает ему руку.

— Всего хорошего, господин доктор.

Йохен садится в свой «вартбург» и едет в торговый центр, чтобы забрать продукты, заказанные женой по телефону. До дому ему добираться целый час, и весь этот час он на чем свет стоит ругает чертовы пробки и клянется в какой уже раз с завтрашнего дня начать ездить электричкой.

Рядом с поселком, где живет Йохен, есть небольшой лес, который принадлежит соседней базе отдыха. Йохен строил свой дом восемь с половиной лет. Он всячески пытался уйти от типового проекта, упорно боролся за каждую придуманную им мелочь. В результате дом вышел почти таким, как ему хотелось, даже удалось оборудовать мастерскую в подвале. Фронтон увит виноградом, на задней стороне козырек крыши сильно выдвинут. Это придает дому уютный вид. Летом на этой открытой террасе ужинают. Двор выложен каменными плитами, между которыми жена Йохена посадила цветы: маргаритки, камнеломку. Это идеальное место для гриля, и они любят принимать гостей прямо здесь, на воздухе. Приезжают сослуживцы из издательства с семьями, коллеги жены Йохена.

Она экономист и дома тоже распоряжается финансами. Живут они неплохо, Йохен уже девять лет заместитель директора издательства. Жена у него приятной внешности, неглупа, родила ему двух дочек, похожих друг на друга, как два яблока.

Йохен за последние несколько лет написал больше десятка очерков о передовых рабочих, и его собственное издательство выпустило их отдельной, мило оформленной книжечкой. Теперь Йохен твердо решил засесть наконец за свой роман. Жена Йохена честолюбива и одобряет его планы, она согласна освободить мужа по субботам и воскресеньям от всех домашних дел, целиком взять на себя и девочек и сад.

Каждый раз, возвращаясь с работы домой, Йохен испытывает приятное чувство. Он любит свою жену, и дочек, и этот дом, который часть его самого. Любит свой кабинет со множеством книг, с фотографией Халдора Лакснесса и окнами, выходящими в лесок. Здесь он будет писать свой роман. Ему уже сорок восемь, самый подходящий для этого возраст.

Над его письменным столом висит картина, по мнению жены, немного аляповатая. Но девочкам она нравится. Прошлым летом приятель Йохена купил ее по его просьбе на выставке-продаже. На картине в манере старых мастеров, лессировками, изображен крестьянский хутор, лежащий в долине, и одичавший сад.

Эту картину написала Мелани, и называется она «Рай». Почему «Рай»?— удивляются гости, но, в общем, милый пейзаж, все мы когда-то мечтали жить в таком уголке.

Дружеский визит

Пани Лещинска отперла дверь и пропустила гостей вперед. Прихожая была совсем крошечной, не повернуться. Бригитта быстро скинула куртку и повесила ее на крючок. Майер первым долгом помог директрисе снять шубу, потом принялся стаскивать с себя длинное, до пят, пальто. Есть ведь хорошая кожаная куртка, с досадой подумала Бригитта, зачем-то надел это старье. Откуда он взял, что мужчины в Польше носят длинные пальто, по телевизору, что ли, увидел? Жена, будь она жива, никогда бы его в таком виде не выпустила.

— Здислав.— Пани Лещинска представила гостям высокого молодого человека с длинными волосами.

Он склонился и поцеловал Бригитте руку. Старший, она говорила, уже офицер, это, должно быть, младший, подумала девушка. Майер тем временем соображал, правильно ли будет ему как гостю первому подать сыну хозяйки руку, наконец все-таки подал, но вышла дурацкая заминка. Вслед за хозяйкой они вошли в комнату, отделенную от прихожей только занавеской. Майер, как человек вежливый, виду, конечно, не показал, но все-таки он не ожидал увидеть в квартире директора гимназии такую обстановку. Единственная приличная вещь — горка в углу. Книжные полки, закрывавшие все стены из простых досок. Везде фотографии, но большей частью без рамок. Посреди комнаты полукруглый диван, покрытый куском какого-то меха, рядом круглый столик и плетеные стулья с большими подушками.

Довольно безвкусно, думал Майер, поудобней устраиваясь на диване. Но Польша всегда была бедной страной.

— Пойду приготовлю чай,— поднялась директриса.

— Можно я помогу?— Бригитта тоже встала.

— Здислав поможет.— Пани Лещинска улыбнулась и усадила ее на место.

На низком диване сидеть было неудобно, каблучки казались слишком высокими, юбка задралась почти до бедер. Сзади из юбки вылезла синяя блузка с эмблемой ССМ¹. И почему их шьют такими короткими, хорошо хоть причеса в порядке. Бригитта с завистью посмотрела вслед пани Лещинской, со спины они с сыном казались парой. А как легко эта женщина поднялась с дивана, и на юбке ни единой складки.

— Я совсем иначе представлял себе ее квартиру,— сказал Майер,— более солидной, что ли. Все-таки директор. У нее наверняка приличный оклад, если перевести в марки, получится, думаю, не меньше, чем у меня. Да у них, похоже, и телевизора нет,— добавил он после небольшой паузы.

— А мне тут нравится.— Бригитта погладила рукой мех, лежащий на диване. Вернулись хозяева и принялись расставлять на столе рюмки и закуски.

— Совершенно напрасно вы беспокоитесь,— заметил Майер.

Галстук, который повязала ей Бригитта во время праздника, пани Лещинска сняла в прихожей, и Майер, глядя на нее, снова подумал, что эта женщина одевается довольно смело. Если старший сын — офицер, ей должно быть примерно столько же, сколько мне. Н-да, многовато для такого декольте. Правда, сейчас, за столом, ее лиловое платье с глубоким вырезом не казалось столь вызывающим. Зато днем на официальной церемонии он был просто шокирован. Вот Бригитта молодец, ведет себя безупречно, как и должна вести себя вожатая. Надо обязательно написать об этом в отчете. Пожалуй, зря она сейчас сняла пионерский галстук и верхние пуговицы на блузке расстегнула.

Здислав наполнил рюмки.

— Мне нельзя,— произнес извиняющимся тоном Майер,— я за рулем.

Он поднял стакан с чаем, и они выпили за дружбу двух школ, за учителей, которым есть чему поучиться друг у друга.

— В следующий раз мы надеемся увидеть вашего директора, господин магистр,— сказала пани Лещинска,— и других коллег, конечно.

— Так неудачно получилось,— Майер отхлебнул из своего стакана,— сегодня наш директор должен обязательно присутствовать на совещании. Решается вопрос о новой мебели для актового зала и кабинета рисования.

Наоборот, удачно, подумала Бригитта, а то бы сидеть мне дома. От школы только двое должны были ехать.

— Это, наверное, ваш муж?— спросила она, показывая на фотографию бородатого мужчины в военной форме.

— Это мой отец,— ответил Здислав,— он с нами не живет.

— Мне с мужьями не везло.— Пани Лещинска произнесла эту фразу почти весело.— Первый муж погиб в сорок восьмом, он был аковцем. А отец Здислава несколько лет назад уехал в Эйлат. Он там тоже офицер.

Боже мой, с испугом подумал Майер, эмигрант, можно сказать, враг, а она так легко об этом говорит. Тут политических тем лучше не касаться, да и семейных тоже. Он незаметно покосился на фото, но издали нельзя было разобрать, похож этот бородач на еврея или нет. Сын вроде не похож.

¹ ССМ — Союз свободной немецкой молодежи.

— Вам как преподавателю общественных наук, вероятно, не хуже меня известна тогдашняя обстановка у нас, — с улыбкой сказала пани Лещинска.

Майер поискал подходящий ответ, не нашел, налил себе водки, выпил и объявил:

— Моя область — история Германии после освобождения от фашизма.

— Немецкая история вся очень интересная, — вмешался Здислав, — а личности какие — тот же Август Сильный. Говорят, у него было чуть не триста детей?

Пани Лещинска улыбалась, слушая сына.

— Когда я был в Песчаных горах, я видел замок, в котором он заточил свою любовницу, графиню Коссель. Не помню, как он называется.

Майер запыхтел и еще раз отхлебнул из рюмки.

— Польская водка замечательная, — сообщил он и сидя изобразил нечто вроде поклона.

— По-моему, Штольпен, — тихо встала Бригитта.

— Я считаю, что главное — это исторические закономерности и тенденции развития, — заявил Майер. — Мы должны воспитывать учащихся на положительных примерах. Все эти монархи и их любовницы только отвлекают от главного.

— Не могу с вами согласиться. Для меня история оживает в исторических анекдотах. — Здислав подлил Майеру водки.

— Вы так хорошо говорите по-немецки. В университете его изучали? — спросила Бригитта.

— Нет, — покачал головой Здислав. — На технических факультетах изучают английский и русский. Немецкому нас учила мама.

— Да, просто удивительно, как госпожа Лещинска владеет нашим языком, — сказал Майер и выпил за здоровье хозяйки. — Вас можно за немку принять. И внешность у вас нетипичная для польки, какими они мне когда-то в молодости запомнились.

Черт, спохватился Майер, похоже, я лишнего наговорил. Собственно, он хотел сделать ей комплимент.

— В войну вся наша семья оказалась в Германии, там я и выучила язык. — Пани Лещинска говорила совершенно спокойным голосом. — Сначала я попала в Равенсбрюк, мне было тогда семнадцать, потом... в общем, лучше не вспоминать. — Она отвернула рукав и показала гостям номер, вытатуированный на руке.

— Какой ужас, — прошептала Бригитта.

— Это было давно, — сказала директриса и поднесла рюмку к губам.

Мне, слава богу, не в чем себя упрекнуть, подумал Майер, а то сейчас было бы неловко. Правда, войну он начал как раз в Польше, но пробыл там несколько недель, а то во вспомогательных частях. А дальше, пока его не ранило на том мосту, только Западный фронт. После госпиталя он попал в фольксштурм — обошлось тремя годами лагеря в Красногорске.

— Да, с такой биографией вам, наверное, легко было прийти к марксизму, — заметил он.

Пани Лещинска улыбнулась.

— Я не марксистка. В нашей семье все католики. Кроме моего второго мужа.

Невероятно. Майер был в полной растерянности. Католичка — и директор гимназии! Как такое могли допустить? Наверное, учили, что была в лагере. Интересно, как она туда попала, если не была коммунисткой? Спрашивать неудобно. Да и незачем ворошить прошлое. Сейчас мы два братских народа, это самое главное. Моя жена, кстати, никогда так не мазалась.

— В Польше столько людей ходит в церковь и молодежь тоже, — сказала Бригитта. На секунду воцарилось молчание.

— Давайте музыку послушаем. — Сын вопросительно взглянул на мать.

— Да, конечно, можете пойти в комнату Здислава. — кивнула Лещинска.

Бригитта заправила выбившуюся блузку и встала.

Лучше бы не оставлять Бригитту наедине с этим длинноволосым, у нее совсем нет опыта зарубежных поездок, мелькнуло у Майера. Хотя пока она ведет себя безусловно. Он придвинулся к Лещинской и стал объяснять ей, как в Германии пьют на брундшафт.

— Я бы тоже хотела жить в такой красивой комнате, — сказала Бригитта, разглядывая картины и фотографии, висевшие на стенах.

— А у тебя какая? — спросил Здислав.

— Я живу с двумя младшими сестрами. Две старшие уже вышли замуж, а раньше было совсем тесно.

— Вас так много, и ты смогла в институт пойти?— удивился Здислав.

— На дневной не смогла, мы ведь без отца росли, мать одна всех тянула.

— И мы без отца. Может, так и лучше. Мать у меня...— Он запнулся, подбирая подходящее немецкое слово.

— Свой парень,— подсказала Бригитта.

Здислав обрадовался новой идиоме и даже записал ее. Потом достал с полки стопку пластинок и включил проигрыватель. Слушая музыку, Бригитта перебирала пластинки. Почти на всех были фотографии негров.

— Больше всего я люблю блюз.

Здислав медленно двигался по комнате в такт музыке.

Глядя на него, Бригитта невольно позавидовала свободе и раскованности его движений.

— Это что,— она старалась не обращаться к Здиславу по имени, потому что боялась неправильно его произнести,— тоже музыканты?— Бригитта показала на фотографии, висевшие на стене.

— Нет, это люди из «Black Power»². Это Джексон, интересная фигура, правда?

— Я о нем почти ничего не знаю,— призналась Бригитта.

Здислав удивился:

— А если школьники спросят?

— Я ведь еще не учитель,— смутилась Бригитта,— мне до окончания целых три года.

— Будешь учительницей немецкого?— спросил Здислав.

Она кивнула. Молодой человек оживился и стал с увлечением говорить о немецких книгах, прочитанных им за последнее время.

— Немецкий — мой второй предмет,— прервала его Бригитта,— главный — обществоведение.

В дверях показалась голова Майера. Он был красный как рак.

— Вы тут хорошо себя ведете?— Он скорчил плутовскую рожу, подмигнул и исчез.

Бригитта растерянно уставилась на дверь.

— А что это за предмет — обществоведение?— поинтересовался Здислав.

Девушка объяснила.

— Иначе говоря, философия?

— В общем, да,— ответила Бригитта не очень уверенно.

— Вот здорово! Слушай, а как у вас относятся к Хайдеггеру³? Замечательный философ, правда?— И он с восторгом процитировал:—«Существование науки никогда не было необходимым».

— Я думала, ты инженер,— сказала Бригитта.

— Инженер, просто я увлекаюсь философией. Это мой второй предмет, как ты выражаешься. Я даже перевожу немецкие статьи для нашего философского журнала.

— Здислав, Здислав!— громко позвала пани Лещинска.

Здислав вскочил и выбежал из комнаты. Слышно было, как директриса что-то взволнованно говорила сыну по-польски.

Бригитта вышла в прихожую. Майер стоял, прислонясь к стене, и бормотал:

— Это недоразумение, меня не так поняли.

Когда он успел напиться? Бригитта не знала, куда девать глаза.

Вдруг Майер очнулся и громко, как на собрании, объявил:

— Эта женщина сама меня соблазняла. Лично мне от нее ничего не нужно.

— Товарищ Майер!— в ужасе прошептала Бригитта.

Но тот ничего не желал слушать.

— Говорить по-польски в присутствии гостей,— заявил он,— вопиющая бестактность.

Еще секунда — и Здислав бросился бы на Майера, но мать, строго посмотрев на него, что-то сказала по-польски, сын помедлил, потом все же сделал шаг к Майеру и протянул руку.

² «Black Power» — «Власть черным», националистическое движение негров в США, возникшее в 60-е годы.

³ Хайдеггер Мартин (1889—1976) — немецкий философ (ФРГ), один из основоположников экзистенциализма.

— Дайте ключи. Он отвезет вас в гостиницу,— бросила пани Лещинска.
 — С какой стати!— возмутился Майер.— Что я, пьяный, что ли?
 Бригитта вынула ключи у него из кармана и протянула их Здиславу.
 — Извините нас, пожалуйста, госпожа Лещинска,— сказала она.
 Директриса не ответила.

— Мне не в чем себя упрекнуть,— разглагольствовал Майер в машине,— я был с ней совершенно корректен. Сама нас пригласила. Сама выслала сына из комнаты, пить меня заставляла, а я совсем не хотел. На диване сидела нога на ногу...

Не проронив ни единого слова, Здислав довел машину до гостиницы, отдал Бригитте ключи и, не прощаясь, зашагал прочь.

Когда Бригитта вместе с Майером, путающимся в длинном, до пят, пальто, проходила мимо администратора, она низко наклонила голову от стыда.

У дверей номера Майер схватил ее за руку.

— Бригитта, вы показали себя молодцом.— Он поцеловал ей руку и попытался обнять ее.

На секунду Бригитта остоленела. Очнувшись, она изо всех сил оттолкнула Майера и бросилась обратно к лестнице.

Майер отлетел к противоположной двери. От удара в голове у него немного прояснилось: еще вздумает жаловаться, а ему до пенсии всего четыре года, знал бы — ни за что в эту Польшу не поехал; хотя ему не в чем себя упрекнуть, надо, чтобы Бригитта вынула цветы из машины, иначе они замерзнут.

Дверь, в которую стукнулся Майер, открылась — из нее высунулся заспанный человек в пижаме.

— Ох уж эти поляки,— проворчал он, глядя вслед качающейся фигуре в длинном пальто, зевнул и скрылся в номере.

БРИГИТТЕ МАРТИН*

Тридцатитрехлетие

Когда бывшие столяры и слесари, которые теперь управляли государством, решились вплотную заняться нашим образованием, я вместе с такими же папами и мамами села за парту. Наш классный руководитель доктор Эм не очень церемонился со своими великовозрастными учениками — он любил сразу ставить точки над «и».

«Господа,— обратился он однажды к мужской части аудитории,— мы с вами хорошо знаем друг друга: после восьмого класса мы пили пиво, после десятого будем пить вино, а после двенадцатого, наверное, шампанское! А дальше что? Меня интересует, в какие учебные заведения вы собираетесь направить свои стопы? Я намеренно задаю этот вопрос прежде всего мужчинам, потому что вам, милые дамы, лучше не мудрить и идти в педагогический — тут, думаю, осечек не будет».

«Ну что же, фрау Бем,— со вздохом сказал он мне спустя несколько месяцев, когда я сообщила ему, какой институт выбрала.— Может, нам и удастся получить для вас направление».

Рекомендация доктора Эма и экзамены, которые я сдала, сделали свое дело — я получила направление. Но двое детей — это двое детей, и со студенческой скамьи мне пришлось пересест на мой старый стул у пишущей машинки. Нет, он не показался мне более жестким, чем прежде, наше поколение приучено было серьезно относиться к своей работе, просто печатанье давало слишком мало денег, и я освоила другую профессию. О том, чтобы учиться в выбранном мною институте, нечего было и думать. Но все-таки я получила высшее образование и теперь зарабатываю столько же, сколько мои бывшие подруги, которые так и продолжают стучать на машинке.

Я знаю, что это явление временное. Но ведь семью-то кормить надо...

Если у тебя нет мужа и ты одна, что же, значит, ты сама так хотела. Твоя неукомплектованная семья приравнена к обычным, но когда дети долго болеют, а бабуш-

* Родилась в 1939 году. Сменила ряд профессий. В 1977 году выпустила сборник рассказов «Красный шар». Автор нескольких сборников рассказов.

ка и дедушка у них пенсионеры и получают всего двести сорок марок, тебе приходится совсем туго.

К тому времени как дети вырастут, все изменится. Но тогда будет уже поздно, я должна сейчас развивать их способности. Но как и когда? Ведь распределение в нашем обществе ориентировано на такую семью, где есть и отец и мать. Ты не запланирована и потому своих детей должна обеспечивать одна. И хотя ты человек трудолюбивый и старательный, все-таки лучше, когда стараются двое. Мы еще в школе учили, что целое — это нечто большее, чем просто сумма частей, а в моей семье даже и простой суммы нет.

Кордула сейчас как раз проходит дробь, приходится ей помогать — это трудная тема.

— Как у тебя времени хватает! — говорит моя соседка Улла, впрочем, она часто говорит это, когда застает нас сидящими над математикой. — Лично у меня нет времени помогать Сибилле. Вспомни, нам разве кто-нибудь помогал?

— Зато ты образцовая хозяйка, — отвечаю я ей, — а Сибилле и твой Петер может помочь.

Мы идем на кухню.

— Давай быстро перемоем посуду, я помогу.

— Нет, в кои веки ты зашла, посидим спокойно. Чем только угостить тебя, не знаю.

— Ерунда, ничего не надо. Слушай, Бригге, может, тебе деньги нужны?

— Да нет, сколько можно у тебя одалживать, Улла.

Она достает из сумки бутылку красного вина и командует:

— Кордула, хватит на сегодня математики. Сибилла, помоги ей все убрать. Берите Юлиану и отправляйтесь в детскую. Мы тут с вашей матерью спокойно поси-дим и, кстати, тоже в арифметике поупражняемся.

Дети без особых протестов отправляются в другую комнату. Я достаю бокалы, протираю их полотенцем и смотрю на свет, чистые ли.

— Давно я у тебя не была. Бригге.

— Зато я к тебе часто захожу.

— Откуда у тебя такая шикарная люстра с подвесками?

— Это мое демисезонное пальто.

Мы обе смеемся.

— Хочу тебе вернуть сто марок в счет долга. — Из ящика письменного стола я достаю конверт, на котором написано «Улла», и протягиваю ей. — Спасибо.

— Сколько? — спрашивает Улла, пряча конверт в сумку.

— Там сотня.

— Нет, я спрашиваю, сколько эта штука стоит.

— Двести пятьдесят.

— Вот откуда у тебя сотня — пальто мы с тобой за триста пятьдесят смотрели. Я киваю.

— Значит, из-за этой стекляшки ты еще год будешь ходить в старой куртке?

Я снова киваю.

— Бригге, ей-богу, ты для этого уже недостаточно молоденькая. Давай я тебе еще триста пятьдесят одолжу. Мы же на новую машину копим, Петер не заметит, если я ненадолго сниму с книжки три сотни.

— Нет смысла, Улла. Такие деньги мне в короткий срок не собрать. Я еле-еле укладываюсь. И то если никто в доме не болеет. На всем приходится экономить. Нет, Улла, спасибо.

— А на чем ты вообще можешь экономить?

— Вина не покупаю, кофе редко пью. Не хожу ни в кафе, ни в рестораны, в театре почти не бываю. Книг не покупаю, мебели...

— А люстру за двести пятьдесят?

— Двести пятьдесят за нее дешево, это же старинная, я много лет о такой мечтала.

— Мои лампы все вместе столько не стоят... Теперь я понимаю, почему ты не хотела брать нашу люстру из старой квартиры. Эта, конечно, совсем другое дело и подходит к твоему дому.

— Знаешь, я сижу здесь по вечерам после того, как уложу детей, смотрю на тени, они пляшут как живые на потолке, и думаю: вот пройдет сто лет, наверное, этой

люстре не меньше,— и что мы после себя оставим? Стенки за три тысячи? Какой-то ведь след хочется оставить, правда?

— Да ладно тебе, Бригге. Я вот сейчас подумала, что если обычная семья из трех человек тратит сто пятьдесят марок в неделю, ты не можешь позволить себе больше сотни. Значит, на одежду для тебя и для девочек, на отпуск, на всякие непредвиденные расходы остается пятьдесят. В месяц получается экономия в двести марок, а в год — две тысячи четыреста. Нам этой суммы только-только хватает на летнюю поездку в Тюрингию или на Балтику.

— Что поделаешь, Улла. Как-то выкручиваюсь. На внеочередные покупки уходит детское пособие, а ведь когда-то я собиралась эти деньги откладывать. Зарплата, шесть-сот пятьдесят марок, вся уходит на жизнь. В принципе в конце месяца у меня должно было бы оставаться хотя бы марок пятьдесят, но перед получкой на моем счету в сберкассе никогда ничего нет.

— Получается, что больше семидесяти пяти в неделю ты тратить не можешь.

— А как иначе, думаешь, я бы скопила на стиральную машину, кофемолку и прочее? Но из месяца в месяц так не проживешь. Пятнадцать лет назад я вполтину меньше получала — и вроде хватало, вот этот холодильник тогда купила. Но детей не было и жизнь была дешевле.

— А ты пореже своим девицам стирай. Наши пальто хорошо если раз в год чистили, а мы им куртки через неделю, а то и чаще, стираем. На стиральном порошке вполне можешь сэкономить, без всяких там освежителей воздуха тоже можно обойтись, у вас ведь мужчин нет. Косметикой ты так и так не пользуешься. Вот только еда... Мать у меня, помню, варила мясо с овощами, и мы сначала овощи ели, а на следующий день мясо с каким-нибудь соусом. И всегда вкусно было.

— Конечно, вечером обед доедать гораздо дешевле, чем покупать на ужин масло и колбасу. Но детям нужны фрукты. Да и готовить мне некогда. Я с работы только в полшестого прихожу.

— Пусть дочки помогают.

— Они в пять возвращаются, одна в школе девять часов сидит, другая в детском саду. Дома сначала сплошная возня и ор, а когда успокоятся, старшая садится что-нибудь к завтрашнему дню готовить. Знаешь, ведь не случайно есть закон, запрещающий детский труд.

— Брось! Сама же мучаешь Кордулу вечерами этой математикой. У меня, например, вообще все это из головы давно выветрилось. Но что мне надо, я прекрасно считаю.

— А когда мне с ней заниматься? В пять утра?

— Да нечего вообще с ней сидеть. Она у тебя и так способная.

— Способная-то способная, но вчера в классе объяснений не поняла.

— Тогда и другие дети ничего не поняли. Учительница должна еще раз объяснить.

— Должна, конечно...

— Ладно, Бригге, ну что я лезу к тебе с советами. Кстати, я тут на днях свежую рыбу приготовила, получилось дешево и вкусно. Петер с работы как раз мимо рыбного едет.

— Но я мимо рыбного не езжу, Улла.

— Если хочешь, Петер и для тебя купит, а вечером прилешь к нам Кордулу.

— Спасибо, Улла.

— Да что спасибо! Нет обеда, так приходи к нам с Кордулой и Юлианой, поняла?

Это Улла говорила мне, когда я училась на первом курсе, на втором, на третьем, на четвертом, говорит и по сей день, а я отвечаю «да, да, да» в точности так же, как отвечает Кордула, когда я спрашиваю: «Ты сложила портфель, пенал у тебя в порядке, что одеть в школу — приготовила?»

Сама не знаю, почему я чувствую себя виноватой за эту люстру. Я ведь купила ее к своему тридцатитрехлетию, это мой подарок себе. Улла на день рождения получила от Петера кольцо за триста марок, и это кажется ей нормальным. Но ведь кольцо — подарок только ей, а люстра всей семье.

Мне так хотелось сказать ей: подожди немного с сотней, у нас скоро выпускной вечер и как раз день моего рождения. Но я не стала этого делать.

До праздника оставалось четыре недели. Я очень надеялась, что к тому времени потеплеет — неохота было надевать старую куртку. Девочки недоумевали, почему их так редко теперь посылают за покупками. Но мои дети проявляют в магазине излишнюю распорядительность, а в тот момент мне это было ни к чему.

Я, как фокусник, жонглировала двумя своими счетами в сберкассе и сэкономила каждый пфенниг. Благодаря всем этим ухищрениям к выпускному вечеру у меня собралось целых сто марок. Конечно, я не должна была их тратить просто так, но то, что эта сотня лежала в сумочке, успокаивало, рождало иллюзию свободы, правда на одну ночь, но в эту ночь я твердо решила завоевать доктора Эма.

Праздновать мы собрались в казино «Беренс». Институтское начальство без восторга отнеслось к нашей затее, но когда в группе на двадцать восемь женщин только восемь мужчин, вечер лучше проводить вне институтских стен, и нам как выпускникам это было позволено. Я укладывала детей и потому запоздала. За столиком, где стояла карточка с моим именем, сидел доктор Эм. Меня это удивило, я не сомневалась — уж он-то будет нарасхват. Эльфи что-то говорила ему по поводу заключительной лекции, мы все еще никак не могли отрешиться от институтских проблем. Я подседа к ним и сразу же включилась в разговор, совсем позабыв о том, что пришла сюда веселиться, а не обсуждать серьезные вещи.

Мы уж давно сидели за столиком одни, все танцевали. Свет погас, только прожекторы освещали зеркальный шар в центре зала. Шар крутился, сверкал, на нас ложились фиолетовые блики, но я ничего не замечала.

— Пойдем! — сказал Эм и, взяв меня за руку, потянул за собой.

Мы танцевали. Полумрак, музыка, его близость — голова шла кругом, казалось, все теперь стало возможно, даже невозможное. Но при этом меня не покидала странная скованность, я с трудом поддерживала разговор. Он крепко прижимал меня к себе, что-то говорил смешное, перешел с «вы» на «ты». Это «ты» почему-то резало слух, такая близость ничего не обещала. Конечно, в мыслях он тоже был для меня «ты», но сейчас я называла его только на «вы». Изо всех сил старалась изобразить на лице оживленную улыбку, а он все шептал мне на ухо какие-то ничего не значащие фразы, щурил глаза, словом, целиком погрузился в бездумную атмосферу этого полутемного зала. Я так не могла. Танцевала, улыбалась, пыталась казаться веселой, поддерживать разговор, а вместо этого получалось «да, д-р Эм», «нет, д-р Эм», под конец я и вовсе замолчала. Вскоре стихла и музыка, перестал вращаться шар, зажегся свет, и все пропало. К столику мы возвращались как чужие. Он сухо поблагодарил меня, подсел к другой группе выпускников, принялся весело болтать с ними. Я вдруг почувствовала, что вот-вот заплачу, но, к счастью, свет опять потушили и меня пригласил на танец доктор Оме, маленький толстячок, преподававший у нас русский язык. Он на всех наших вечерах меня приглашал. Потом я одиноко сидела над своей рюмкой и с горечью думала о том, что люди боятся отойти от стереотипа, хотя бы как все. Кто-то им внушил, что надо сразу переходить на «ты», щурить глаза, прижимать к себе. А истинная близость нуждается в простых, естественных словах и ни в чем больше.

«Пойдем!» Как хорошо начался этот вечер и так же хорошо мог закончиться. Мы пошли бы, а когда остались вдвоем, я сказала бы ему «ты» — и все сразу стало бы просто.

Но музыка играла, веселье вокруг продолжалось, и ноги ничего не хотели знать о моих горестях. Я вдруг обнаружила себя в центре зала, наши стоят вокруг и хлопают, а я танцую, один танец, другой...

В двенадцать часов официант принес шампанское, а Кристль достала спрятанные под столом цветы. Двадцать семь женщин и восемь мужчин выстроились в очередь, все хотели меня поздравить. Последним был Эм. Он почему-то разыграл целый спектакль: присел на корточки, взял Розы за руку, как маленький мальчик, и тоненьким детским голоском пожелал мне счастья в новом жизненном году.

Я вдруг совершенно протрезвела и внимательно посмотрела на него. Эм выпрямился и, смущенно улыбаясь, пробормотал:

— Вокруг вас столько народу, я просто боялся затеряться в толпе поздравляющих.

Заиграла музыка, все пошло танцевать и Эм тоже. Я снова была одна, и мне казалось, что я одна в целом мире.

Как же трудно найти дорогу друг к другу! Манеры, привычки, склонности, поступки — все это сложнейший шифр, ключ к которому искать бесполезно. Случается, что ключ этот сам оказывается в твоих руках. Что же, значит, ваши шифры сходны, только и всего. Но это так редко бывает.

Милейший доктор Эм снова пригласил меня. Эм и Элли танцевали рядом. Я болтала без умолку. Оме прижимал меня к себе, и мы оба весело смеялись. Наконец танец кончился, все вернулись за столики, и тут я услышала:

— А наш Эм ушел, и не один.

Раздались смешки, и я скривила рот в какое-то подобие ухмылки, даже губам стало больно.

Все, что было дальше, помню смутно. Уборщица в туалете, которой я сую чаевые, потом Эльфи, силой усаживающая меня в такси, ее голос: «Вилли Бределя, тридцать два».

Потом я на заднем сиденье, обиженная на весь мир, а шофер повернул зеркальце и смотрит на меня. Кажется, я произнесла перед ним целую речь, рассуждала о проблемах личности в нашем обществе, о факторах, влияющих на ее развитие, о коллективе и индивидууме, об этике — вообще о всем том, о чем мы говорили с Эмом в начале вечера.

Такси давно стояло у моего дома. Перед глазами все плыло, голова кружилась. Я, видно, уже успела расплатиться с шофером, но забыла об этом. Мелких денег в сумочке не оказалось, и я протянула шоферу бумажку в пятьдесят марок.

— Ты уже расплатилась.

Он помог мне выбраться из «Волги», открыл дверь парадного и спросил:

— Какой у тебя этаж?

— Второй.

Кое-как поднялась по лестнице. Повозившись с моими ключами, он отпер дверь, и вот этот совершенно чужой мне человек почему-то сидит за столом, который я накрывала для доктора Эма. Мне вдруг стало совсем плохо, я поднялась, он хотел помочь мне, но я отмахнулась: сама, я всегда все сама! Я заперлась в ванной. Хорошо хоть никто меня не видит. Теперь спать, спать, проспать весь день, свое тридцатитрехлетие.

Я открыла дверь и увидела, что он стоит в коридоре. Пусть уходит, сейчас я ему скажу.

— Наверное, мне лучше уйти.— И он исчез.

— Ма-а-ама!

Я вскочила, вихрем ворвалась в детскую. Со сна мне показалось, что с Кордулой что-то случилось.

— Мама, я тебя зову и зову. Ты не слышишь, а потом врываешься, как тигр.

— Прости, я очень крепко спала.

— Одетая? Почему ты спала одетая?

— Кордула, уже полвосьмого. Тебе надо в школу! Собирайся и скорее завтракать. Я побежала на кухню. Кордула поплелась за мной.

— Мамочка, а почему ты не разделась?

— Собирайся, не хватало еще в школу опоздать. Давай быстренько!

— Почему ты не разделась, мамочка?

— Ты же знаешь, у нас был выпускной вечер. Я очень поздно домой вернулась и просто забыла раздеться.

— Мам, ну как это можно забыть?

— Поди сюда, я тебе застегну ботинки. И молоко допей.

— Мам, ты совсем беспамятная, что ли?

— Ешь, не болтай!

— А что будет, если ты все начнешь забывать?

— Ну сколько можно копаться!

— Сейчас.

— Иди, будь умницей. Осторожно только через улицу! Лучше опоздать, слышишь? Ну пока!

— Пока, мамочка. Юлиане хорошо, она сегодня может дольше спать, правда?

— Тебе тоже хорошо, ты чему-нибудь научишься.

Кордула ушла, а я снова легла спать, на сей раз раздевшись. Около десяти явилась Юлиана, затеяла подле меня игру, но я даже глаз не открыла, так и спала под ее щебет. В половине двенадцатого из школы вернулась Кордула, и только тогда мы наконец поднялись. В тот день она у нас одна трудилась. Мы с Юлианой встретили ее с должным почтением и все вместе отправились на кухню есть картофельный суп, который я сварила накануне.

В дверь позвонили. Я открыла и увидела букет роз, а над ним смущенное лицо. Я не сразу поняла, кто это.

— У вас сегодня день рождения.

Я совершенно забыла, что сегодня мне исполнилось тридцать три. Дети переглянулись.

— Мама, почему ты нам ничего не сказала?— воскликнула Кордула.

— Девочки, этот симпатичный дядя — шофер, который привез меня вчера вечером домой.

Он представился, начал что-то им весело рассказывать, но девочки строго на него смотрели. Чтобы как-то разрядить обстановку, я сказала:

— Хотите поиграть с нами в лото?

Я прошла в комнату, чтобы убрать постель.

— Мы только что встали.

— Понимаю, понимаю,— кивнул он.

Хорошо хоть со стола успела убрать, подумала я.

Мы сыграли один кон, другой, и наш гость поднялся.

— Я должен идти.

Уже спускаясь по лестнице, он обернулся.

— Мне можно как-нибудь еще зайти к вам?

Я улынулась. Он быстро сбежал вниз.

— Мама, почему ты ему не ответила?

— Мама, скажи, почему?

— Мама!

Кажется, я на них прикрикнула. Дети с недовольными физиономиями скрылись в своей комнате. Я принялась за дела. Нужно было починить кое-что из детских вещей, посмотреть у Кордулы тетради, написать заметку в стенгазету нашего отдела. В дневнике у Кордулы была запись: «Принести деньги на завтраки!» Я проверила свое финансовое положение. Пятидесяти марок не хватало. Нет, это невозможно! Но их и в самом деле не было.

Память лихорадочно заработала: такси, у меня пятьдесят марок в руке... Положила ли я их назад? Когда? В такси? В прихожей? Пока я была в ванной, там оставался шофер. Сумка валялась на столике, и с тех пор я в нее не заглядывала. Нет, не может быть! Лучше вообще не думать об этой бумажке.

Я махнула рукой на все дела, сложила тетради Кордулы в папку и позвала девочек:

— Пошли, я куплю вам мороженое.

В прошлое воскресенье мы были в зоопарке. Я опять сидела на мели. Восемьдесят пфеннигов — проезд, три марки за входные билеты, с собой картофельный салат и бутылка с чаем. На такой обед мои девочки согласны только ради зоопарка. Все вместе получается дешевле, чем, например, банка ананасного компота за семь тридцать к воскресному обеду.

Около террариума я вдруг увидела в толпе знакомое лицо, и сразу в памяти всплыло мое злосчастное тридцатитрехлетие. Мы обменялись взглядами и прошли мимо, демонстративно не поздоровавшись. Я чувствовала себя очень уверенно в наконец-то купленном новом демисезонном пальто.

Выше голову. Оглянуться на детей. Подойти к ним, встать под их защиту. Твои дочери, маленькие девочки, какие они уже большие. Я хочу хоть немного пожить своей жизнью, пожить для себя — нет, никогда ты им этого не скажешь, потому что они и есть твоя жизнь, ключ к твоему шифру, который так никто и не отыскал.

КРИСТИНЕ ВОЛЬТЕР *

«Partizánska cesta»¹

Она поднималась к отелю.

Лыжи давили плечо, ботинки сделались пудовыми, скользили. Воздух был влажен, падал снег в долине уже стемнело.

За пеленой снега она увидела ярко освещенный вход. У стеклянных дверей стоял Пьер и смотрел на горы. Он все-таки приехал!

* Родилась в 1939 году в Кенигсберге. Изучала романистику в Берлинском университете. С 1962 по 1976 год работала редактором в издательстве «Ауфбау». В настоящее время профессиональная писательница, автор нескольких сборников рассказов, повестей.

¹ «Партизанская тропа» (словацк.).

Ей показалось, что Пьер с кем-то разговаривает. Это было так на него похоже, он не мог не обменяться хоть парой слов, пусть просто о погоде, если кто-то стоял рядом. Но, может, это не Пьер, кто здесь в отеле знает французский? Нет, все-таки Пьер, наконец-то он приехал. Она убыстрила шаг, потом швырнула лыжи в снег и побежала к отелю. Она не заметила, как Пьер одет, как выглядит, поседел ли, постарел, она просто бросилась ему на шею и долго стояла, уткнувшись лицом ему в плечо. Она чувствовала его напряжение, усталость после долгого пути. «Понимаешь, я не мог раньше выбраться,— услышала она. Это был голос Пьера.— Как ты здесь жила?»

«Хорошо, очень хорошо»,— она еще крепче обняла его.

Пьер приехал, и от радости ей вдруг стало невероятно легко.

Сквозь занавеску пробивался серый снег. Марта проснулась в поту, с пересохшим горлом. В отеле слишком сильно топили. Она босиком подошла к балкону и попыталась открыть дверь. Но дверь не поддавалась. Наконец ее удалось распахнуть, и в комнату хлынула струя свежего воздуха. Над окружающими долину вершинами гор висел бледный серп месяца. Сосны, которые вчера еще чернели на холмах, теперь стали белыми. Значит, все это было наяву: снегопад, начавшийся вечером, возвращение в отель, усталость после целого дня катанья. Только Пьер не приехал.

Долина внизу, покрытая снегом, стала неузнаваемой. Окрестные деревни словно отодвинулись к горам, со всех сторон обступавшим наполненную туманом чашу.

Марта пошла в ванную и налила себе стакан воды. Она здесь одна, без Пьера, он не смог приехать из-за болезни Мишеля. Значит, только лыжи, снег... А почему бы и нет? Телеграмма пришла вечером накануне отъезда. Она долго смотрела на залитые дождем окна, на дом напротив. Ехать в горы без Пьера не хотелось. Но ей необходимо было вырваться из тисков институтской жизни, из города, да просто из квартиры. Что же, значит, она поедет одна.

С Мишелем что-то серьезное, если Пьеру пришлось остаться. Он любил сына больше, чем обеих девочек. Но отношения были сложными. Марта представляла себе, как Пьер сидит с Мишелем где-нибудь в студенческой забегаловке. Да, папа, нет, папа,— Мишель отвечает на все вопросы односложно, разговор вянет, а Пьер на глазах стареет и в самом деле начинает превращаться в того замшелого догматика, каким считает его Мишель... Чувствуя свое бессилие, Пьер того и гляди начнет поучать: ты должен регулярно питаться; не связывайся с ультралевыми, неужели ты не видишь, куда это ведет; только консолидация левых сил... А Мишель смотрит на него так, словно наперед знал, что ему придется выслушивать от отца нечто подобное.

Марта улыбнулась. Она хорошо представляла себе эту сцену, хотя никогда не видела Мишеля. Но у нее была фотография Пьера, на оборотной стороне которой его мать своим твердым учительским почерком черными чернилами вывела: «Mon fils Pierre dans l'année de la Libération»². На фото — высокий худой паренек в полувоенной форме, с автоматом. Тонкое серьезное лицо, но глаза улыбаются. Тогда он вскоре женился на Адриенне. Таким она Пьера не знала. Наверное, Мишель похож на него. А может, и нет. Пьер никогда ей его не описывал.

По потолку в такт движению занавески, которую шевелил ветер, пробегали светло-серые тени. Каким был Пьер, когда они встретились? Ее Пьер, ее,— где уж там!

Снег сыпал весь день. Марта решила не возвращаться на обед в отель, кататься до вечера. В лицо мела снежная крупа, она съезжала вслед за какими-то туристами, ориентиром ей служило лиловое пятно, оказавшееся пожилой дамой в ярком комбинезоне и защитных очках. На лыжах та чувствовала себя тоже не слишком уверенно. «Нет, такого мы не ожидали,— с возмущением сказала она Марте, когда они очутились рядом на в который раз застрявшем подъемнике.— Просто безобразие. Неккерман³ во всех проспектах пишет, что тут прекрасные условия, а они даже трассу не приводят регулярно в порядок. Нет, в Австрии все по-другому!»

«Быть может, у них еще мало опыта»,— сказала Марта почему-то оправдывающимся тоном.

Пьер, наверное, смеялся бы, глядя, как она падает в мягкий пушистый снег на неровной трассе. «Je veux te voir tomber»,— сказал он ей по телефону.— Я эту поездку

² Мой сын Пьер в год освобождения (франц.).

³ Неккерман — владелец крупного концерна в ФРГ, в частности и туристических компаний.

затеваю из мести, хочу посмотреть, как ты будешь падать». Да, здесь бы Пьер над ней подсмеивался, взял бы маленький реванш за те случаи, когда она вела себя слишком самоуверенно. Например, на конгрессе в Варшаве. Она там на заседании рабочей группы вдруг высказала свои сомнения по поводу экспериментов профессора Пьера Дюрана. Пьер тогда удивился, но не обиделся. Он уже знал ее.

Марта каталась почти до самого вечера. Очень уж хорошо шли лыжи по свежему снегу. Она вернулась в отель, когда стало темно. Проходя мимо, она все же посмотрела на стоянку, потом заглянула в ящик для почты, но ни одной новой машины не появилось и для нее не было ни письма, ни телеграммы. Марта почувствовала себя усталой и одинокой. Она приняла душ, оделась и спустилась в ресторан. Там было приятно сидеть и одной, ее обслуживали вежливые, улыбающиеся официанты, которые знали на ее языке только несколько слов из меню, а она на их только «спасибо» и «пожалуйста». Марта заказала красное вино, которое любил Пьер. Нет, ей все равно хорошо здесь, вдали от института, от старика, который звал ее на «ты», а относился к ней требовательно и придирчиво, хоть и сделал начальником группы; вдали от ребят, с которыми не все шло гладко, может быть, потому, что у Марты не всегда хватало терпения внимательно их выслушивать. Наверное, она и в самом деле была слишком нетерпеливой, слишком высокомерной. Правда, старик очень присматривался к ней, прежде чем доверил ей группу. Как бы там ни было, сейчас Марта радовалась, что она от них далеко. Она просто будет отдыхать, кататься на лыжах и перестанет ждать Пьера.

Поздно вечером Марта вышла на балкон. Сосны стояли под снежными шапками. Стоянку у отеля совсем замело.

Тогда, перед поездкой, она уже почти полгода руководила группой, но все еще чувствовала себя неуверенно. Марта вдруг оказалась одна, в изоляции от ребят. Многие из них были старше Марты и восприняли ее назначение как нарушение существующего порядка, даже как несправедливость. Конечно, вслух ничего не говорилось, но относиться к ней стали иначе. А тут еще эта поездка в Париж! Марту послали на конгресс, одну из всего института. Она летела на несколько дней и к открытию успевала, только если рейс не задержат из-за погоды. Марта сидела в самолете растерянная, в новом костюме, все еще зажав в руке документы. На контроле от волнения она предъявляла не то, что от нее требовали.

Все вроде было в порядке: деньги обменены, свое выступление она обсудила со стариком, но теперь, среди молчаливых пассажиров в ровно гудящем самолете, ее сковала неуверенность, даже страх. Париж казался невероятно далеким, дальше Владивостока. Но она радовалась, что увидит этот город, что встретит Пьера Дюрана из Гренобля — она познакомилась с ним год назад в своем институте.

Вечером в отеле рано утихала жизнь. В полупустом ресторане даже не играл оркестр, лишь несколько туристов пили вино и тихо беседовали. Ночной бар, путь к которому указывала яркая стрелка в холле, тоже был закрыт. Марта подбьалась из-за стола и направилась к выходу.

У себя в номере она вышла на балкон и долго смотрела на падающий снег. Как хорошо тут было бы с Пьером.

В первый парижский вечер он попросил шофера такси отвезти их куда-нибудь в тихое место поужинать. Вскоре они очутились в подвальчике, все стены которого были увешены какими-то рисунками, акварелями, картинами.

«Я покажу тебе Лувр, Нотр-Дам, Монмартр. Правда, я сам плохо знаю Париж, я ведь убежденный провинциал».

«Пожалуйста, не делай из меня туристку, Пьер!»

В тихом подвальчике, где она в полумраке различала только лицо Пьера, скованность и напряжение, не покидавшие ее с того момента, как она села в самолет, исчезли. Марта пила вино и пробовала разные сорта сыра, которые заказал для нее Пьер.

Когда они наконец поднялись по ступенькам и вышли на улицу, у нее немного кружилась голова.

«Все хорошо, все хорошо», — повторяла Марта.

«Что хорошо?»

«Хорошо, что разлука кончилась, что можно преодолеть расстояние в целый год. Я не думала, что мы это сумеем. Посидели рядом, поговорили — и словно не расставались».

«Марта...— Пьер остановился, он всегда так делал, когда собирался сказать что-то важное.— Марта, я никогда не оставляю Адриенну и детей».

«Да, Пьер, я знаю. Я это знала и раньше».

Как и большинство участников конгресса, они жили в старом отеле, неподалеку от зала, где проходили заседания. В баре Пьер заказал два виски, и кубики льда звенели в стаканчиках, пока они молча поднимались в лифте. У дверей ее номера Пьер каким-то странным тоном, почти церемонно спросил, разрешит ли она ему войти.

Она поставила стакан и подошла к окну. Париж внизу был словно соткан из огней и тумана.

«Не люблю этот город,— произнес за ее спиной Пьер,— тут все такое ненастоящее, исковерканное».

«Но такое прекрасное»,— сказала Марта.

Она пошла в ванную, быстро разделась и направила на себя холодную струю. Она посмотрела на свое отражение в зеркале, и ей показалось, что откуда на нее смотрит чужое лицо.

Во всех подробностях Марте запомнился только этот первый вечер: все, что было потом, смешалось. Вот она сидит на конгрессе и, подперев голову руками, старается внимательно вслушиваться, ведь придется отчитываться перед стариком, перед всем институтом. Вот она в залах Лувра, в метро, в Латинском квартале, где они с Пьером гуляют под газовыми фонарями. Она идет по улицам в пестрой толпе, пьет вино в каком-то бистро, улыбается на банкете коллегам, выслушивает комплименты.

«Ты красивая, хоть и некрасива»,— сказал ей тогда Пьер. Всю неделю они были заняты только друг другом. Но близился день расставания и все должно было кончиться.

«Ты думала когда-нибудь о том, чтобы остаться здесь?»

«Нет, Пьер, я бы не смогла».

Пьер не поехал провожать ее на аэродром. Только потом она поняла, что ему это было слишком тяжело.

В тот первый вечер, когда она вышла из ванной, Пьер все еще стоял у окна и курил.

«Марта»,— сказал он.

Она пошла к нему как к чужому, ничего не чувствуя.

Долгое время воспоминания об этом были для нее столь же мучительны, как мысли о той фразе Пьера, которую он произнес в их последнем разговоре. Марта старалась все забыть, забыть даже лицо Пьера, его глаза, в которых светились любовь и отчаяние, когда они расставались. Все кончено.

Вернувшись домой, она с удивлением обнаружила, что записи, сделанные ею на конгрессе, оказались удачными. Во всяком случае, старик остался доволен. Он пригласил Марту в русский ресторан и за ужином без всякой задней мысли спросил, как поживает Пьер Дюран. Отвечая ему, она даже не покраснела.

А потом появился Пауль. Вначале Марта лишь с любопытством присматривалась к нему. Пауль пришел в их институт недавно и считался подающим надежды ученым. Он много и упорно работал и продвигался успешнее многих. Пожалуй, Пауль первым из коллег увидел в Марте женщину, проявил к ней интерес. Другие мужчины в их институте, за исключением разве что старика, явно в этом сомневались. «Про тебя говорят, что ты безнадежный случай»,— рассказывал ей потом Пауль.

Ироничный и вместе с тем внимательный, он сумел разрушить стену одиночества, которой она окружила себя в институте. Он играл в то, что завоевывает ее, а она ему подыгрывала. Она сравнивала его с Пьером. Но надо ли сравнивать доброту с веселостью, опыт со способностями? Пьер был человеком другого поколения, он был далеко. Был недостижим.

Пауль переехал в ее двухкомнатную квартиру, и каждый занял по комнате, чтобы и впредь спокойно работать. Они даже сходили в загс, не делая из этого никакого шума. Марта в письме к Пьеру упомянула об этом факте лишь мимоходом.

Но Пьер тотчас отреагировал:

«Марта, приписка в конце твоего декабрьского письма, как ни глупо в этом сознаваться, удивила и огорчила меня. Что ж, могу лишь от всей души пожелать тебе счастья. Обнимаю тебя...»

Марта сожгла это письмо вместе с другими письмами Пьера, сохранив лишь фотографию паренька в полувоенной форме.

Отель «Partizánska cesta», выстроенный лишь несколько лет тому назад, был уже слегка обшарпан, но почему-то казался от этого даже более уютным.

Балконная дверь осела, на полированном столике были пятна от воды, на паркете царапины от лыжных ботинок. Но Марте нравилось смотреть на следы, оставленные другими людьми. Ей нравился этот номер, похожий на все гостиничные номера, и все же принадлежавший сейчас только ей.

Зазвонил телефон.

«Говорите, говорите!»

Какие-то голоса, шум. Пьер.

«Как Мишель?»

«Все в порядке,— спокойный голос Пьера звучал совсем близко,— он уже дома, его не стали оперировать. Как ты? Почему ты молчишь, Марта?»

«Я просто рада, что слышу твой голос».

«Как ты там?»

«Здесь хорошо, снег, ели и больше ничего. Только снег и ели. Ты приедешь?»

«Если не будет сильного снегопада и дороги не занесет, может быть, еще приеду».

«Пьер, здесь так хорошо!»

«Если до послезавтра не появлюсь, не жди меня».

«Приезжай, Пьер,— попросила она, уже положив трубку,— приезжай!»

Марта переоделась, провела щеткой по волосам и, стоя перед зеркалом, внимательно посмотрела на свое отражение. «Как же ты глупо ухмыляешься, Марта,— строго сказала она себе и мазнула по губам помадой.— ну да ладно, сегодня я тебя прощаю».

В ресторане она села за маленький столик у камина. Официанты здесь обслуживали без той угодливости, которая отличает персонал в гостиницах высшего разряда. Они приветливо улыбались, один подал меню, другой накрыл стол, налил вина. Несмотря на обуюдную скудость словарного запаса, они ухитрялись объясняться. Суп? Мясо? Спасибо. Вина? Много снегу. Да, много снегу. Марта заметила, что, сама того не желая, села лицом к двери, в которую мог войти Пьер.

Но снег валил по-прежнему. Мело всю ночь и весь следующий день. С неба сыпалась уже не крупа, а мокрые, тяжелые хлопья.

Лыжи шли плохо, и Марта решила просто пойти погулять, спуститься в долину и, может быть, добраться до какой-нибудь деревушки.

Уже смеркалось. Было совсем тихо, только снег скрипел под ногами да журчал ручей, который бежал вдоль дороги. Все следы замело, и никто не попадался ей навстречу. Внезапно, без всякой причины Мартой снова овладело пьянящее чувство счастья, как во сне, когда ей приснилось, что приехал Пьер.

До деревни она не добралась. Дорога сворачивала в горы, и Марта пошла назад. Наверху за деревьями светились окна отеля. Она медленно поднималась и вдруг в стороне от дороги заметила что-то темное. Она свернула на тропинку, протоптанную в свежем снегу, и остановилась перед небольшим обелиском, сложенным из нетесаного камня. Перчаткой смахнула снег с надписи и прочла:

СССР Василий Иванович Бабкин	1944
ЧССР Артур Миковини	1915—1944
Йозеф Враздяк	1923—1944
Бернард Мистрик	1924—1944
Стефан Збирка	1926—1944
Юлиус Перихта	1924—1944
Ладислав Маковник	1926—1944
Антон Кучера	1926—1944
Йозеф Гаврила	1902—1944

Под снегом лежали полузасыпанные цветы. Должно быть, к партизанам приходили из ближайших деревень. Брат, мать, невеста...

1944—1944—1944.. Марте казалось, она слышит выстрелы.

Она вернулась на дорогу. Пьеру во время войны было столько же, сколько самым молодым из них. Нет, если бы они остались живы, самые младшие были бы сейчас ровесниками Пьера.

Пьер, то есть тот паренек с улыбающимися глазами и автоматом на плече, в срок четвертом был партизанским связным, прятал в отцовском сарае винтовки, добывал одежду и продукты, а потом ушел в маки.

Сам он почти никогда не говорил об этом.

Марта вспомнила, как во время официальной встречи в их институте Пьер вдруг отделился от остальной делегации и направился к старику. Он не был с ним знаком, но знал, что тот сидел в концлагере. Они обнялись.

Марта повторила имена: Василий, Артур, Йозеф, Бернард...

Вечером, когда она вышла на балкон, небо прояснилось, лишь на востоке над вер-хушками гор еще висели тяжелые облака. Луна казалась совсем белой.

Приедет. Не приедет.

А может, это не столь важно? Она не хотела ни у кого ничего отнимать.

Пьер приехал к ним на симпозиум в составе маленькой делегации. Потом всех участников привезли в их институт. Пьер вместе со всеми терпеливо осматривал новое здание. Он был выше большинства своих собеседников, поэтому слушал их, слегка наклонив голову. Вежливо улыбался, грыз свою потухшую трубку. Старик помалкивал, предоставив говорить другим: для чего ж они тогда языки учили? И Марте, которой тоже пришлось сопровождать гостей, велел: «Если разговор застопорится, включайся, у тебя язык хорошо подвешен».

Пьер задавал самые обычные вопросы, спрашивал сотрудников института, сколько им лет, где они учились, кто их родители, и, кажется, разочаровал многих. Марта считала, что она неплохо выкручивается со своим французским, и обиделась, когда Пьер спросил, откуда у нее скандинавский акцент.

Потом они стояли на террасе, и Пьер раскуривал трубку.

«Как вам понравилась наша обитель науки?» — спросила Марта.

«Мы можем говорить друг другу „ты“», — сказал Пьер.

Весь следующий день Марта чувствовала на себе его спокойный и приветливый взгляд. Она тоже за ним наблюдала. Как, с трудом подбирая слова на ее языке, который он когда-то ненавидел, Пьер пытался объяснить в шофером, с какими-то мальчишками на улице, как осматривался в магазинах.

И во время прощального ужина в институте она постоянно ощущала на себе его взгляд. Произносились тосты, играла музыка.

«Жаль, что мы не сидели рядом», — сказала ей потом Пьер, когда они встали из-за стола. Он вытащил что-то из кармана пиджака. — Вот, возьми на память». Пьер вложил ей в руку свою авторучку.

Никто не заметил, что Марта ушла вместе с ним.

Они пролежали рядом до самого рассвета. Пьер много говорил в ту ночь. Нет, он ничего не старался объяснить Марте, скорее, хотел успокоиться, разобраться в самом себе. Он рассказывал ей о детях, об Адриенне, о друзьях и учениках.

«Какие мы оба сильные и разумные. Разве могут два таких человека причинить друг другу боль?» — думала тогда Марта.

Но потом, проходя мимо этой гостиницы, возвышавшейся над пустырем, который давно уже расчистили от развалин, она всегда отворачивалась. Когда старую гостиницу наконец снесли, она почувствовала настоящее облегчение. Теперь Марте казалось, что только с Пьером она может быть самой собой, а во время их встречи в Париже она еще больше в этом уверилась... Думая так, она, наверное, была несправедлива к себе, к своей жизни, к будням без Пьера.

Понимая, как это несбыточно, она все же иногда мечтала, что они встретятся, она останется с Пьером и будет вместе с ним работать. Все будет хорошо, убеждала она себя в такие минуты, все будет хорошо, ведь фильмы и книги столько раз ей это обещали. После отъезда Пьера она не заметила, как промчалось лето. В институте началась реорганизация, старик вызвал ее к себе и предложил возглавить группу. Марта сначала отказывалась, ей хотелось спокойно продолжать работу над своей темой, но потом согласилась.

Выглянувшее наконец солнце преобразило ландшафт. Солнечный свет слепил глаза, все краски после долгого снегопада казались необыкновенно яркими, даже белизна снега. Марта стояла на горе и смотрела, как тренируются школьники. Мальчишки ловко объезжали палки, с торжествующими возгласами лихо закладывали поворо-

ты, а девочки спускались неуверенно и уже внизу, проехав все опасные места, вдруг садились на лыжи. За ними наблюдала молодая учительница. Она стояла, опершись на палки, и громко смеялась.

Марта подумала, что Пьеру тоже было бы приятно посмотреть на этих ребятшек, приехавших сюда на неделю покататься. Они жили в деревянных домиках, куда летом селили иностранных туристов. Дети Пьера тоже катались на горных лыжах, они ездили на лучшие зимние курорты Франции, Швейцарии, Италии. Пьер зарабатывал достаточно. Известный ученый, профессор. Ему прощали его политические пристрастия. К тому же мало кто знал, сколько средств этот красный профессор тратит на подготовку к выборам, на различные комитеты и организации. Марта, может быть, только теперь поняла, чего стоила ему каждая неудача. Вначале он произвел на нее впечатление человека, которому во всем сопутствует успех.

«Dobrý deň!» — поздоровалась Марта, подъезжая поближе к симпатичной учительнице.

«Dobrý deň! Krásne počasie!»⁴

«Ne rozprávam po slovensky⁵, — попыталась объяснить Марта. — Do you speak English? Français?»⁶

«Français! — радостно воскликнула учительница, произнеся раскатистое «р». — Да, я учу французский и летом хочу поехать во Францию».

«Вы преподаете физкультуру?»

«Нет, — учительница улыбнулась из-под светло-серой кроличьей шапки, — я как-тоюсь не лучше ребят. У нас все учителя едут на каникулы со своими классами. Я преподаю химию и словацкий».

На склоне появилась еще одна группа школьников с учителем.

«А как у вас отношения с коллегами?» — вдруг спросила Марта.

«Вполне дружеские, — ответила учительница. — В нашей школе весь коллектив молодой, я сама только два года назад получила диплом. Увидимся в отеле? Детей кормят раньше остальных гостей, но мы вас подождем».

«Буду рада», — сказала Марта.

Проходя мимо стоянки, она увидела, что машины Пьера там нет. Значит, он уже не приедет.

Вечером в ресторане Марта подсадила к учителям. Они пили пиво. Без шапки, с распущенными волосами София выглядела еще моложе, чем на горе. За столом шла оживленная беседа, и София как могла переводила Марте содержание разговора.

«Они слишком много пьют», — недовольно шепнула она.

Один из учителей, как оказалось, знал немецкий. Он очень медленно выговаривал слова и улыбался, показывая ряд ровных белых зубов. Это был учитель математики — он строил фразы так, словно решал трудные задачи, и выговаривал слова с невероятной отчетливостью.

«Нам всем немного грустно, — сказал он, — сегодня последний день наших каникул».

В девять они поднялись, чтобы отвести детей в деревянные домики за елями. Школьники сидели в полутемном кафе и тихо разговаривали, поджидая своих учителей. София записала адрес Марты. На прощанье они обнялись.

Среди ночи Марта проснулась. Она подошла к балконной двери: снег, покрывавший долину, в свете луны казался голубым. Почему на душе у нее такая тяжесть? Должно быть, виноват сон, в котором фантастические видения перемешались с обрывками реальных воспоминаний. Марта точно наяву увидела узкий коридор старого институтского здания. Внезапно из-за какой-то двери появился Пауль. Молча, с каменным лицом он преградил ей путь и, взяв за руку, втащил в какую-то темную лабораторию. Марта не различала его лица, но отчетливо слышала голос, в котором звучала ярость: «Ты не должна была бросать меня». Он сжал ее как в тисках. Марта вырывалась до тех пор, пока не проснулась.

Конечно, в жизни такой сцены произойти не могло, и все же она казалась почти реальной. Были и жестокие слова, и ярость, и заранее обреченная на неудачу попытка что-то склеить.

⁴ Добрый день! Хорошая погода! (Словацк.)

⁵ Не понимаю по-словацки (Словацк.).

⁶ Говорите по-английски? (Англ.) По-французски? (Франц.)

Думать над тем, как возникла вдруг эта ненависть, не имело никакого смысла. Но Марта все равно бесконечно ломала себе над этим голову. Они с Паулем были так похожи друг на друга. Оба любили науку и ставили ее в своей жизни на первое место, каждый считал, что должен быть свободен, и не собирался подавлять другого. Все должно было быть разумно, никаких чрезмерностей, но сами не заметили, как чересчур сблизились. Стена между двумя маленькими комнатками их не разделяла больше, один постоянно ощущал присутствие другого, каждый был все время на виду. Она привыкла к запаху его сигарет, он слушал пластинки, которые она ставила. Но однажды вечером Пауль не пришел домой ночевать. Не пришел и на следующий вечер.

Марта собрала вещи Пауля, погрузила в такси и отвезла его матери.

Он явился для объяснений. Посыпались взаимные упреки, каждый обвинял другого.

Оказывается, дело было в том, что у нее слишком маленькая квартира.

Нет, в том, что у нее не было ребенка.

И так далее.

Близость стала невыносимой, но еще невыносимее было одиночество, когда они с Паулем расстались окончательно. Он выехал не только из квартиры, но со свойственной ему последовательностью ушел из института, а потом и вовсе переехал в другой город.

Она не могла работать, как потерянная бродила по улицам и повторяла про себя слова, сказанные Паулем в пылу ссоры: ты высокомерна, ты просто ужасна. Она отвечала ему в том же духе, и эти несправедливые, обидные слова, брошенные им ли, ею ли, неотступно преследовали ее. Она просыпалась ночами оттого, что они звенели у нее в ушах, она смотрелась в зеркало и видела искаженное злобой лицо. В институте она молчала, словно боясь нарушить наложенное на нее кем-то заклятие, все делала механически, как автомат. Но, как ни странно, ее хвалили, работа шла успешно.

Постепенно к Марте вернулось желание работать, она начала серию новых опытов, дома допоздна сидела за письменным столом.

Утро было тихим, как каждое утро здесь, в горах. В семь часов у отеля остановился рейсовый автобус, на котором приезжали на работу женщины, живущие в соседних селах. Чуть позже Марта увидела в окно длинную цепочку школьников, поднимающихся из долины в гостиницу к завтраку. Они несли с собой рюкзаки, лыжи и складывали их у автобусной остановки. Тронутый ночным морозом снег розовел под лучами солнца. Гул детских голосов доносился до Марты, не нарушая общей тишины, он был как щебет птиц под бледным небом. Она в последний раз натянула толстый свитер: завтра утром упакует все лыжные вещи. После этого она еще успеет прогуляться до невысокого склона, на котором новые группы школьников сегодня начнут гренировки. Марта решила уехать послеобеденным автобусом, чтобы попасть на ночной поезд. В воскресенье она уже будет дома и сразу позвонит в интернат. Она возьмет к себе черноглазую девочку Мануэлу, после обеда они пойдут гулять, Марта купит Мануэле мороженое и лимонад, и вечером та не захочет возвращаться в интернат.

Марта попыталась день за днем припомнить прошедшую неделю. Она приехала, а потом? Поднялась на подъемнике на гору. Пошел снег. Телефонный звонок. Молоденькая учительница София. Обелиск в лесу, выглянувшее в последние дни солнце — все за недолгие семь дней. И каждый новый день был для нее важнее предыдущего.

Но как вместить в одну эту неделю еще и все то, что здесь на нее нахлынуло: мучительные воспоминания, недовольство собой, смятение..

Дул резкий ветер, подъемник качало. Но на холме, где росли ели, было тепло. Марта скинула куртку, шапку, перчатки. Лыжи легко шли по мягкому снегу.

Конечно, ей было бы хорошо здесь с Пьером. Хорошо и в снег, и в метель, и в эти последние солнечные дни. По вечерам они сидели бы в ресторане, пили вино, и Пьер рассказывал бы ей о своих экспериментах, о тех студентах, в которых он узнавал себя, — деревенских пареньках, терявшихся вначале в суматохе университетской жизни. И о других, которые называют его старым догматиком. Он рассказывал бы ей о своем винограднике, ставшем для него главным прибежищем, о сборе винограда, о том, как делают вино. «Ну и неряха же ты», — весело говорил бы он, заходя в ее номер.

«Знаешь, Пьер, на нашем прошлом семинаре я говорила о том, что и в науке надо назначать на должности лишь на ограниченный срок, скажем на четыре года, как депутатов. Ты не можешь себе представить негодования моих слушателей».

Пьер посмеялся бы над ней.

Снег был удивительный. Хотелось играть в снежки, лепить снежную бабу. Девочке с недоверчивыми глазами, которой ее родители не дали ничего, кроме имени Мануэла, тут бы понравилось. Может, в следующем году она сумеет взять ее сюда.

Хорошо, что в эти дни ей удалось размотать клубок, который бесконечно наматывался, клубок из собраний, статей, выступлений на конгрессах, командировок, отчетов о них...

После того как Марта рассталась с Паулем, ее посылали в Софию и в Мюнхен. Но Пьера она там не встретила. За все время Марта получила от него только одну открытку с Ривьеры и очень удивилась. Она знала, что Пьер никогда не ездит на курорты.

Уже потом, в Варшаве, Пьер рассказал ей об этом отдыхе. Коротко, в нескольких словах. Был нервный срыв, потеря памяти, пришлось лечь в клинику, поехать в санаторий, гулять вдоль моря. Марта испугалась. Ей стало стыдно, что свою собственную историю, свой разрыв с Паулем, она восприняла как настоящую трагедию.

Марте показалось, что Пьер почти не изменился. Только немного прибавилось седины и в голосе звучала какая-то усталость.

Холодные весенние дни в Варшаве гораздо лучше сохранились в ее памяти, чем промелькнувшая, как в тумане, парижская неделя. Она запомнила их с Пьером прогулки по старому городу — он высокий, с чуть опущенными плечами, а она все время смотрит на него и как бы заново учится его понимать. По улицам и площадям гулял ветер, и Марта туже завязывала платок. Пьер много говорил и время от времени замедлял шаг, чтобы внимательно посмотреть ей в глаза... По политическим соображениям ему нужно было, используя свой авторитет известного ученого и университетского профессора, стать депутатом парламента, но из-за болезни ему пришлось снять свою кандидатуру. Он уставал теперь и от руководства институтом. «Мне достаточно моей науки и студентов», — говорил он Марте. Никогда прежде Пьер не ездил в отпуск. Но не из скупости и, конечно, не из честолюбия. Только теперь Марта поняла, что Пьер просто не мог сбросить напряжение, снять ту ношу, которую взвалил на плечи и нес с не меньшим мужеством, чем мальчишкой автомат в партизанском отряде. Он подчинил себя определенному ритму, и его организм не выдержал бы перерыва, внезапного покоя. Но подкралась болезнь, которая не отпускала его целых шесть месяцев. Электрошок, прогулки, бильярд. Вместе с Адриенной и дочками он поехал на Ривьеру.

«Больше всех мне помогла младшая, Мартина. Она не понимала, что я болен, просто играла со мной. Каждый вечер я пытался вспомнить твое лицо. Мартина немного похожа на тебя, особенно когда улыбается. Но я забыл, какие у тебя густые брови, как ты закаливаешь волосы. И какой у тебя рот».

Они шли по Нову Святу. «Новый мир», — сказал Пьер. Приближался вечер, толпа на улицах стала гуще. — А ты знаешь, что самое сильное чувство, которое я испытываю к тебе, это благодарность?»

Марта вглядывалась в лица прохожих, идущих навстречу. К чему эти объяснения? Разве между ними не все уже было сказано?

«Благодарность за то, что ты ничего не разрушила». Пьер остановился и, еще крепче сжав ее локоть, заглянул в лицо.

«Нет, — сказала Марта, — у тебя у самого было достаточно сил».

«Это очень трудно, — Пьер не слушал ее, — уважать чужую жизнь, а ты сумела».

«Не знаю. Так вышло». Ей хотелось рассказать о Пауле, о том, почему у них ничего не получилось, но она не смогла.

Когда я вернусь домой, думала Марта, шагая рядом с Пьером, тут станет еще красивее, зазеленеют деревья. потом наступит лето. И по-прежнему здесь будут гулять пары. Только нас разнесет в разные стороны.

Марта старалась как можно реже появляться в своей гостинице: коллеги все время тянули ее куда-то, в какие-то подвальные ресторанчики, кабачки, на стриптиз. Отель Пьера находился напротив. Они заглянули в ресторан. В нем сидели участники

конгресса, серьезные люди, которые деловито поглощали пищу и во время ужина, вероятно, думали о своих завтрашних выступлениях. На эстраде играла одетая в яркие костюмы группа.

«Только не сюда,— прошептала Марта,— давай попробуем заказать что-нибудь в номер». Пьер позвонил, но они прождали напрасно, никто к ним не явился, и он снова вышел на освещенную фонарями улицу, по которой двигались навстречу друг другу людские потоки. Марта стояла у окна и смотрела, как Пьер зашел в магазин, затем, нагруженный пакетами, направился к какому-то киоску, потом повернул обратно к гостинице.

Пьер выложил покупки на диван посреди просторного номера: хлеб, колбасу, яблоки, бутылку водки, шоколад, сигареты. На телевизоре, который не работал, стояла бутылка минеральной воды. Марта открыла ее, но она показалась ей слишком теплой. Марта пошла в ванную и набрала воды из-под крана.

«Попробуй,— сказала она Пьеру,— какая вкусная вода в Висле».

Она давно не пила алкоголя, и от водки у нее закружилась голова. Пьер обнял ее. Она заплакала, ей казалось, что она плачет о Пауле.

Поздним утром Марта побежала через улицу в свою гостиницу, чтобы взять из номера папку с материалами конгресса.

Они были свободны до вечера и поехали в какой-то загородный замок. Было солнечно и прохладно, ветер раскачивал в парке голые деревья и гнал сухие листья. Извилистая дорожка привела их к озеру, и они долго стояли, глядя на воду. Потом бродили по замку, полному старинной мебели, фарфора, оружия, гобеленов. В залах, кроме них, были только служители. Марта и Пьер шли медленно, прижавшись друг к другу, и звук их шагов глухо отдавался в пустых залах.

В комнате, где стены и потолок были сплошь покрыты фресками, Марта задержалась. На стенах были нарисованы окна, а за ними какой-то южный пейзаж — зеленые поля, леса, деревья под синим небом, по которому плыли белые облака. Художник, написавший все это, не был большим мастером, он был интересен лишь тем, что умело приукрашивал действительность.

Я всегда жила в такой комнате, думала Марта, она словно для меня создана. Нет, скорее я сама ее создала. Выдуманная глубина и мнимая значительность чувств — вот моя жизнь.

Она не могла сейчас вспомнить, когда ей впервые пришли в голову эти мысли: в той комнате замка, где она стояла рядом с Пьером? или в парке, по которому гулял ветер, разносивший сухие листья? а может, она задумалась об этом гораздо позже, глядя в реальное окно своей лаборатории?

Обрывки воспоминаний мелькали, сменяя друг друга, путались, мешались, изменяли окраску, как горы в переменчивом освещении.

Но что-то останется навсегда, вмерзнет в память какой-то картинкой, эпизодом. Взгляд, с которого все началось... Оживленная улица и он в толпе, нагруженный пакетами, возвращается в номер, где они так недолго были вместе.

«Разве мы не можем остаться просто друзьями, Пьер?»

«Нет»,— сказал Пьер.

На тонком коврикe снега, покрывавшем балкон, Марта обнаружила птичьи следы. Изящные черточки вели прямо к тем крошкам, которые она рассыпала, а оттуда на соседний балкон.

Чемодан был уже сложен. Солнце стояло высоко, когда Марта еще раз посмотрела на долину, обрамленную темными елями, за которыми прятались деревянные домики, на горы, покрытые лесом. Одевшись для поездки, она решила еще раз спуститься вниз, в долину, но ботинки мгновенно отсырели, стали скользкими. Снизу гостиница казалась огромной горной хижинкой на партизанской тропе. Мысленно Марта была уже в дороге. Автобус, электричка, ночной поезд. В воскресенье она будет дома, быстро разберет вещи и позвонит в интернат, где ждет Мануэла.

В понедельник в институте отметят ее загар. Она сразу же соберет свою группу и постарается, чтобы все дела они обсудили быстро и четко. А свое выступление начнет прямо так: «,Не сидел я с людьми лживыми и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных и с нечестивыми не сяду». Двадцать пятый псалом. А теперь послушаем ваши сообщения. Может, вы начнете, доктор Ломан?» Все

ребята, включая бородатого Ломана, переглянутся, а после собрания станут с жаром обсуждать ее странное поведение.

От Пьера будут приходиться письма. Не слишком часто. Марта наткнется на какую-нибудь его статью в научном журнале, а Пьер обнаружит ссылку на ее работу. В день рождения он позвонит, а видаться они будут раз в год или даже реже. Это не много по сравнению с тем, что есть у других. Но теперь Марта знала, что нельзя мерить свою жизнь чужими мерками. Что ж, возможно, ее ждали одинокие вечера. Но разве по-настоящему глубокие отношения не подчиняются только своим собственным законам?

Послышался шум приближающегося автобуса. Марта стояла на остановке среди поварих и подавальниц, которые после обеда разъезжались по домам. Она попыталась втащить свой чемодан на высокие ступеньки, две женщины в черных платочках хотели ей помочь, и они втроем застряли в дверях. Водитель со своего сиденья посмотрел на них через плечо и улыбнулся. Наконец Марта яростно толкнула чемодан, и он поехал по проходу до переднего сиденья.

ХЕЛЬГА ШУБЕРТ*

Отец

5 декабря. В этот день я всегда думаю о нем. Когда-то мать и бабушка напомнили мне: «Сегодня пятое декабря».

В последние годы память сама уже за несколько дней до этой даты возвращается к нему.

Конец ноября, с утра моросит, мостовые весь день мокрые. Ужин при электрическом свете, теплый воздух натопленной квартиры, нагретая кафельная печь в ванной. Начинается зима.

Уже несколько раз шел снег.

Вот и декабрь. Дни все короче. Ему было тогда двадцать восемь. Он прожил двадцать восемь лет и три месяца.

Весь день я словно в тумане. Крутится фильм кадр за кадром. Вижу, как это было, хотя ничего на самом деле не знаю. Никто не знает, даже те, кто мне об этом рассказывал. Раньше я почему-то думала, что они знают, и расспрашивала.

Очки в роговой оправе, он стоит в строю и вместе с другими слушает приказ — очистить лес от партизан.

А если ему никто не приказывал? Он ведь хотел стать офицером, я знаю это из его писем. Он мог и сам вызваться. Нет, нет, это слишком страшно.. Смерть, плен.

Сколько товарищей он уже похоронил. У них еще были могилы — у каждого своя. У живых еще было время копать мерзлую землю.

Я вижу: вот он вместе с другими бежит по снегу. Мороз, он в сапогах, в серо-зеленой шинели — на белом фоне прекрасная мишень.

Люди в лесу ждут, перед ними враг, захватчик, вторгшийся на их землю. Летит граната... Он, наверное, и заметить не успел, кто ее бросил. Эти люди были у себя дома, они знали каждую тропинку, каждое дерево, и от них-то он должен был очистить лес.

Граната разорвалась прямо у его ног. Он умер сразу. Этот день — 5 декабря 1941 года — совпал с началом советского контрнаступления.

Что я вообще знаю об отце?

Он зачал меня, когда война еще не началась. При Гитлере, но в мирное время. Январь 1940-го минус девять месяцев — получается апрель тридцать девятого. До войны оставалось пять месяцев.

В июне мать уже знала, что ждет ребенка: первого и, как оказалось, единственного.

Они были три года тайно обручены, за год до свадьбы объявили о своей помолвке, весной поженились. Их супружеская жизнь длилась целых восемь недель. И своя квартира была у моих родителей в Берлине, с тяжелыми занавесями, кожаными крес-

* Родилась в 1940 году в Берлине. Окончила Берлинский университет. По профессии врач-психотерапевт. С 1975 года целиком посвятила себя литературному творчеству, автор ряда сборников рассказов.

лами, коврами, столовым серебром, фарфором. И представления о будущей жизни самые современные: оба работают, обедают только в ресторане.

Восемь недель настоящей семейной жизни, разговоры о работе, о доме, о будущем отпуске.

4 сентября 1939 года моему отцу исполнилось двадцать шесть. Он уже был на фронте, стрелял в поляков, «вероломно» напавших на Германию. Я родилась в январе 1940-го, а он погиб в декабре 1941-го. Правда, за это время отец успел три раза побывать дома, на несколько дней приезжал в отпуск.

На снимке, сделанном в день моего крещения, лицо у него смуглое от загара, а лоб совсем белый. Это от каски. Вот осенняя фотография, родители в парке: он в элегантном костюме, она в шелковом платье, с маленьким ребенком на руках. И в зимний приезд — опять отец с матерью, а я в коляске. Тот же парк, только кругом снег.

На следующей странице альбома я, уже почти двухлетняя, и мама. Она изо всех сил улыбается, но в глазах тоска. Эта фотография вернулась назад вместе с посылкой: рождественское печенье, вязаные перчатки, жилетка. В посылку были вложены его кольца — обручальное и перстень с печаткой из топаза. Посылку он уже не получил.

Пал за родину в борьбе с большевиками. В их стране.

Дома отец сразу же снимал форму. Мне рассказывали, что он и мухи не мог обидеть, но я знаю, что он отнял у старой русской крестьянки единственную корову. Он писал в письме, что попал в команду, занимавшуюся реквизицией продовольствия.

Отец был высокий, широкоплечий, студентом фехтовал, занимался греблей, бегом. На фотографиях он выглядит невероятным щеголем. Не выносил запаха табака — брат, когда возвращался с танцев, должен был вешать свой пропахший сигаретным дымом костюм в прихожей.

Воспитывали мальчиков строго. В шесть часов они обязаны были являться домой, за опоздание оставляли без ужина. Бабушка рассказывала, что когда отец был маленьким, он мог даже при гостях часами спокойно играть, не привлекая к себе внимания. Второго такого воспитанного мальчика не было во всем Шведе.

В Грейсвальде, где в конце концов обосновались родители отца, их семья занимала видное положение. Бабушка давала уроки сыновьям богатых крестьян из близлежащих деревень. Дед после защиты диссертации много лет занимал должность конфектора гимназии, о чем гласит надпись на его могильной плите. Ровно в двенадцать, с началом большой перемены, он являлся домой обедать. При первых звуках колокола бабушка снимала с плиты картошку.

Брат отца был на два года его моложе и погиб на два года позже. Тоже на войне. Бабушка пережила его на двадцать семь лет, дедушка на четыре года.

Отца я, конечно, не помню. Но выросла я с ним, с рассказами о его любимых словечках, его детских проказах. Среди фотографий, на которых он всегда близоруко щурится. Я знала, что у него на щеке был шрам от рапиры, а ладони в мозолях от гребли, мне без конца рассказывали о том, какой он был добрый, о его юморе, спокойном характере, о его размашистой походке, увлечениях в юности, о том, какие у него были локоны в три года. Перстень с топазом сузили для меня, и я его никогда не снимала. Изюм в день мне повторяли, что я вылитый отец — та же походка, тот же спокойный нрав, при этом его порывистость и восторженность. И руки у меня большие, как у него, и веки тяжелые.

Мать и бабушка любили меня за то, что я была его ребенком: подумать только, даже интонации те же, а ведь она не видела его в сознательном возрасте!

Девочка лицом в отца, значит, будет счастье без конца, напевали они каждый вечер, склонившись над моей кроватью.

В семье так много говорили об отце, что его жизнь была для меня как раскрытая книга.

Вот мне уже двадцать. А когда ему исполнилось двадцать?

В тридцать третьем. Он учился на юридическом. Девушки за ним бегали. Отец возглавлял студенческий союз, и к нему пришла студентка из Берлина, которая хотела перевестись в их университет. Когда она вошла к нему, он и не подумал убрать ноги со стола. Девушка резко его отчитала. Так встретились мои будущие родители.

Мне двадцать пять. А он что делал в это время? Семейный альбом хранит три фотографии, сделанные в тридцать восьмом: на одной отец, на другой дед, на третьей

дядя. Все в новенькой, с иголки формы СА. В двадцать пять отец обручился с моей матерью. А я в этом возрасте первый раз развелась.

Моя жизнь текла параллельно с его жизнью: двадцать семь, двадцать восемь, и вот наступил день 8 апреля 1968 года, мне исполнилось двадцать восемь лет три месяца и один день. Я стала старше его, словно вышла из тени отца. Началась моя собственная жизнь, нельзя было вечно оставаться только его дочерью.

Мелькали годы. Десять лет прошло. Двенадцать. Как он похож на тебя, твердят мне теперь про моего сына. Особенно глаза.

Я тут на него посмотрела, сказала недавно моя мать, и поразилась, как он похож на твоего отца — походкой, жестами, а ведь он никогда его не видел. И такой же добрый, покладистый. Вылитый дед. Хотя тебе трудно судить, ты помнишь отца не можешь, продолжала она немного обиженным тоном, но поверь мне, вылитый дед.

ХЕЛЬГА КЕНИГСДОРФ *

Вечером в пятницу

Вечер, пятница, и вдруг появляется Бритт. Как снег на голову. Без звонка. Не-кстати. «Надеюсь, не помешала?» — спрашивает она.

Я не из тех, к кому можно прийти без звонка. Во всяком случае, никто, кроме Бритт, этого себе не позволяет. Даже Густав. А пятница — его день.

Бритт скидывает туфли в прихожей, проходит в комнату, усаживается, перекинув ноги через подлокотник, в мое вертящееся кресло и начинает в нем крутиться.

Чтобы ни о чем не спрашивать — сколько раз я начинала с расспросов и этим все портила, — занимаюсь всякой ерундой: зажигаю свечи, поправляю подушки, задерживаю занавески, наливаю в рюмки вишневый ликер. Бутерброды пока не делаю, жду, когда она скажет: «Я голодна, как волк».

Бритт тянется к полке, где лежат сигареты Густава, и закуривает: по всему видно, что сегодня она настроена миролюбиво. Последнее время Бритт стала относиться ко мне даже с некоторым сочувствием, ведь я вынуждена жить в мире взрослых. Она уже понимает, сама столкнулась с тем, что в этом мире трудно жить по собственной воле. В общем, сегодня Бритт мирится с моими недостатками, снисходительно, чуть насмешливо она смотрит, как я снимаю трубку, набираю номер и говорю: «Биргитт Эллен у меня. Не беспокойтесь». Я намеренно называю ее полным именем, мой тон, абсолютно официальный, не допускает никаких возражений. Бритт довольна, у меня появляется слабая надежда, что потом она согласится взять деньги на обратную дорогу. Втайне я ей завидую. Сама я никогда ни от кого не убежала. Хотела, чтобы все были мною довольны.

Теперь надо позвонить Густаву, сказать, что сегодня я занята. Говорю с ним решительно, даже чересчур решительно. Изю всех сил демонстрирую свою самостоятельность и независимость, словно сама себе не доверяю. Ведь как недавно это было: страх перед одиночеством, стремление найти опору, потребность в защите, бесконечные обиды, а главное — жалость к себе. Она не изжита и до сих пор, хоть я давно знаю за собой эту слабость.

Мы пьем понемножку вишневый ликер, грызем анисовое печенье и смотрим друг на друга. Давно не стриженные, взлохмаченные волосы, застиранный свитер и не очень-то чистые джинсы. Что же, это ее способ самоутвердиться. В сущности, он мало чем отличается от моего: умело наложенная косметика, маникюр, хорошие духи. Так мы сидим, смотрим и завидуем друг другу.

«И зачем вся эта суета? — вдруг спрашивает Бритт. — Я имею в виду вообще жизнь».

Разумеется, на такой вопрос ответить я не могу. И сама им давным-давно не задаюсь. Во всяком случае, в такой глобальной форме. Он, наверное, распался на множество мелких вопросов. Оказался неразрешимым, неисчерпаемым, каждый вкладывает в него свой смысл. Нет, я ничего не объясняю Бритт, пусть сама ломает голову.

* Родилась в 1938 году. Училась в Берлинском и Йенском университетах. Математик. В 1974 году получила звание профессора. В последнее время приобрела в ГДР популярность как автор рассказов. Выпустила несколько сборников.

Она и без того часто жалуется, что ей тошно от готовых ответов на вопросы, которых она не задавала.

Бритт учится в спецшколе. Последнее полугодие она закончила круглой отличницей. Только от физкультуры освобождена. Бритт толстуха и маленького роста, она не хочет портить себе средний балл в аттестате.

Первый ее мальчик был худой и длинный, над ними подсмеивались. Он этого не выдержал. Мужчины к таким вещам болезненно относятся.

Второго ее мальчика призвали в армию, и он нашел себе новую подружку поблизости от своей части. Бритт сообщила мне об этом спокойно, по-деловому. Драмы нынче не в моде. Но, наверное, было бы лучше, если бы она просто как следует заплакалась.

Я позволяла себе такую роскошь — устраивать трагедии. Страдала всю и упивалась своими переживаниями.

Бритт уже совершеннолетняя, теперь врач может выписывать ей таблетки без специального разрешения родителей, чему она очень рада. У них в школе одной девочке пришлось сделать второй аборт, а другая собирается рожать. Бритт пока не хочет ребенка, сначала она должна окончить университет. Таблетки она переносит хорошо.

Когда мне было столько, сколько сейчас Бритт, я иногда по вечерам садилась в поезд, уезжала из нашего городка в большой город и там долго без всякой цели бродила в темноте по пустынным улицам. Меня гнала боязнь одиночества, боязнь оказаться выключенной из той жизни, которой живут другие.

И Бритт тоже хочет какое-то беспокойство. Бывает, что ее охватывает беспричинная тоска, и тогда ей хочется от всех спрятаться. И вместе с тем я чувствую в ней огромный запас жизнерадостности, даже восторженности, но что-либо предпринимать, чтобы дать ему выход, она не хочет.

А я была убеждена, что это необходимо. Составила себе жизненный план и осуществляла его: подходящий муж, в подходящий момент запланированный ребенок, научные степени, повышение в должности, постоянно растущие потребности. Но когда наконец про меня можно было сказать: она добилась, чего хотела, — все вдруг показалось мне бессмысленным. У меня вновь возникло чувство, что другие иначе, лучше проживают свою жизнь, снова появился страх перед одиночеством. Только теперь он стал невыносимее, потому что я ни минуты не бывала одна. Возникла боязнь ответственности, срыва и оттого, что внешне все по-прежнему шло более чем успешно, боязнь эта только усиливалась.

Иногда Бритт словно какая-то сила гонит на улицу. Вместе с подружками она отправляется куда-нибудь в кафе или в бар, тем более что на дверях молодежного клуба уже три месяца висит плакат: «Танцы сегодня отменяются». Бритт порой даже не знает имен тех парней, с которыми они там знакомятся, — только клички. Часто все они сбиваются в большую компанию и гоняют на своих мотоциклах по городским окраинам. Кто знает, может, только в эти минуты Бритт бывает по-настоящему счастлива.

Я хотела счастья любой ценой, хотела отбросить все, что рождало во мне страх. Наконец я убежала, оставив позади себя груды обломков. Но очень скоро поняла простую истину — бежать мне некуда, источник всех моих бед во мне самой.

Родители Бритт разошлись. Она по собственному желанию осталась с отцом. Теперь ей все труднее с ним ладить, он не видит, как повзрослела Бритт. Бритт убеждена, что при ее отличных отметках никто не имеет права ввязаться к ней и вмешиваться в ее дела.

«Можно и одной прекрасно жить», — говорю я ей. В сентябре мне придется на полгода уехать в М. читать лекции. Надеюсь, все пройдет успешно. А до этого мне надо сделать аборт.

Мы смотрим друг на друга с удовольствием. В эту минуту и я и Бритт довольны собой. Во всяком случае, это тот редкий миг, когда во мне просыпается самодовольство. Ведь я до сих пор так и не научилась ладить сама с собой.

Осенью Бритт пойдет в последний класс и должна будет окончательно определиться. Ей хотелось бы попасть на юридический факультет, чтобы стать потом адвокатом, как ее отец. Но девочкам поступить туда трудно. Странно, что Бритт это не возмущает. Она с пониманием относится и к тому, что девочкам надо вообще учиться лучше мальчиков, иначе им не пробиться. «Женщины экономически невыгодны», — заявляет она.

Бритт пока еще не сделала окончательного выбора.

«Нас все время на что-нибудь ориентируют. В конце концов начинает казаться, будто все вокруг ответственны за то, что из тебя получится, кроме тебя самой», — с раздражением говорит она.

Со своим отцом она не может спокойно обсуждать эти проблемы. Он всякий раз заводится и начинает читать лекцию о том, как им сейчас хорошо живется, как они должны быть благодарны и каких добиваться успехов.

«Прямо как магнитофон», — сердится Бритт.

«А ты помнишь свою говорящую куклу?» — спрашиваю я.

«Да все взрослые похожи на таких кукол». Бритт не понимает, что сама уже почти взрослая.

Ее нельзя назвать неблагодарной. Но и постоянно испытывать чувство благодарности она не может. Бритт просто хочет найти свое место в жизни. Боюсь, что, отправившись на поиски, поймет — они никогда не кончатся.

В дверь звонят. Бритт в пижаме Густава с закатанными штанинами идет открывать. На пороге Густав. От него пахнет пивом и табаком. Он входит со словами:

«Правильно, так мне и надо! Кто я вообще такой? Никто, ничто. Меня можно вылить, как тарелку надоевшего супа».

Бритт с сочувствием выслушивает его тираду и предлагает сварить ему кофе. Она обращается с нами снисходительно, как с малыми детьми. Но сейчас это, пожалуй, именно то, что нам нужно. По-видимому, Бритт совершенно лишена по отношению к мужчинам каких-либо комплексов, а я их, вероятно, впитала с молоком матери. Она не демонстрирует им так истерически свою независимость, она может вести себя с ними совершенно спокойно.

Кофе готов, но Густав уже лежит на диване и спит. Щеки покрыты серой щетиной, подбородок отвис. Я стягиваю с него башмаки и укрываю пледом. Впервые я вижу, что и он тоже ранимый и что у него тоже свои комплексы. Вижу, как мучительна для него та роль, которую я ему постоянно навязываю. Я целую его в лоб и думаю о том, что у нас, может быть, еще есть шанс наладить жизнь.

Из матрацев и подушек мы устраиваем себе ложе в соседней комнате. Еще какое-то время лежим обнявшись и шепчемся. Потом Бритт засыпает, и я стараюсь лежать совсем тихо, чтобы не разбудить ее. Мою любимую, мою запланированную, мою блудную дочку Бритт, которая вернулась ко мне на этот вечер.

Перевела И. ЩЕРБАКОВА.



ПУБЛИЦИСТИКА

НИКОЛАЙ СМЕЛЯКОВ,
*заместитель министра внешней торговли СССР,
лауреат Ленинской премии*



НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ

1

Какими только эпитетами не увенчан приближающийся к исходу XX век! Но справедливее всего, по-моему, именовать его надо веком научно-технической революции.

Появились машины с новыми принципами действия, новые оригинальные технологические процессы. Стремительно развивается атомная энергетика, совершенствуются способы экономного использования топлива, разрабатываются и производятся материалы с новыми свойствами, снижающие вес машин и затраты на производство. Среди направлений современного научно-технического прогресса назовем «зеленую революцию»: в ряде стран получен заметный прирост урожайности, особенно зерна, выведены новые, с более ценными свойствами сорта пшеницы, риса, кукурузы, других злаков. В середине 80-х годов появилась автоматизированная система диагностики почв. Ее разработали советские ученые совместно с финской фирмой «Коне». Система позволяет выполнять в год более 250 тысяч анализов почв, определять более 8 химических показателей (содержание азота, фосфора, кальция, магния, натрия и др.) с точностью до 5 процентов.

Создана технология и оборудование для добычи нефти и газа с морского дна. Три десятка лет назад только США и Венесуэла вели морское бурение на нефть и газ. Сейчас, кроме СССР, этим занимаются Великобритания, Норвегия, Мексика, Бразилия, Индонезия, Канада, Индия, Греция, Турция, КНР, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Филиппины и другие — 120 стран мира. Созданы уникальные технические средства, которые позволяют организовать добычу нефти и газа в громадных объемах.

Современную буровую платформу по сложности и разнообразию оборудования, насыщенности всевозможными приборами можно сравнить с крупным океанским лайнером.

Созданы уникальные станки для атомного энергетического машиностроения, аэрокосмической промышленности, для обработки лазерных зеркал, металлизированных зеркал, магнитных дисков, видеодисков и т. д. Появились станки с точностью 0,02—0,05 миллиметра, они были показаны на международной выставке в Японии в ноябре 1984 года фирмами «Тоёта» и «Тошиба». Ожидается, что в ближайшем будущем основные усилия будут направлены на производство станков, имеющих точность до 0,005 миллиметра... В порту Йокогамы двое малышей играют, общаясь с помощью портативных видеокамер. На заводе полупроводников на острове Куйути одетые в белое операторы проходят через воздушные обезвреживающие камеры и только после этого занимают рабочие места у машин, которые подают микроскопические нити электронных связей на компьютерную схему величиной с ноготь большого пальца. В Осаке химики близки к завершению своего последнего изобретения — искусственной крови. В тщательно охраняемых лабораториях, расположенных по всей стране, японские инженеры упорно работают над новыми поколениями интеллектуальных роботов, которые будут видеть, чувствовать и даже понимать работу, которая им задана программой...

Научно-техническая революция не могла не изменить в значительной степени международный рынок.

Советский Союз активно участвует во внешнеэкономических связях и, следовательно, в международном разделении труда. Покажу это на некоторых цифрах. Физический объем внешней торговли СССР за 1951—1981 годы увеличился в 13,3 раза, в то время как валовой общественный продукт в сопоставимых ценах за тот же период возрос в 8,9 раза. Среднегодовой прирост оборота внешней торговли в ценах соответствующих лет за последнее десятилетие составил 15,6 процента. В 1985 году внешнеторговый оборот достиг более 140 миллиардов рублей.

Экспорт — первоисточник импорта, с пустым карманом на рынок не ходят. Поэтому любая страна стремится иметь экспортный потенциал соответствующего масштаба. Под этим понимается способность народного хозяйства производить необходимое количество конкурентоспособных товаров, совокупность освоенных природных богатств страны, экономических и производственных возможностей, наличие соответствующей инфраструктуры, хорошо подготовленные кадры, способность адаптировать не только отдельные товары, но и структуру производства к потребностям рынка.

В Советском Союзе создан немалый экспортный потенциал: сформированы значительные мощности добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспортных средств. Большое развитие получили наука и техника. Все это, вместе взятое, позволило экспортировать в значительных количествах нефть и нефтепродукты, природный газ, уголь, кокс, лес и лесоматериалы, чугун, руды черных металлов, асбест, алмазы, платину и многое другое. Например, удельный вес экспорта нефти и нефтепродуктов от всего объема экспорта достиг в 1982 году 40,4 процента, газа — 9,3 процента на сумму 25,3 и 5,9 миллиарда рублей соответственно. Постоянно увеличивается экспорт машин, оборудования и транспортных средств: за период с 1971 по 1975 год он составил 17,6 миллиарда рублей, а за 1981—1984 годы — 33,7 миллиарда рублей.

В 1981 году в Советском Союзе производство грузовых, легковых машин и автобусов составило 2,1 миллиона против 145,4 тысячи в 1940 году. Благодаря этому автомобильная промышленность стала экспортером номер один. В 1976—1980 годах за границу поставлено 1,8 миллиона только легковых автомобилей. Экспорт тракторов вырос со 168 тысяч в 1971—1975 годах до 253 тысяч в 1976—1980 годах. Возросло производство и экспорт большой гаммы предметов потребления: телевизоров, радиоприемников, часов, в том числе электронных, фото- и киноаппаратов, автоматизированных стиральных бытовых машин и т. д. В развитии нашей внешней торговли принимают участие все республики страны. Объем поставок на экспорт в целом по стране за последние 10 лет удвоился.

Яркий пример — создание магистральных трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. В 1960 году их протяженность составляла 17,3 тысячи километров, в 1983 году — 76,2 тысячи. Благодаря этому перекачка нефти и нефтепродуктов составила соответственно 129,9 и 648,7 миллиона тонн. Протяженность магистральных трубопроводов для транспортировки газа в 1950 году составляла 2,3 тысячи, а в 1983 году — 156 тысяч километров. В 1983 году сооружен газопровод Уренгой — Помары — западная граница СССР протяженностью более 4,6 тысячи километров. Работа в области сооружений нефте- и газопроводов будет активно продолжаться, как это вытекает из проекта Основных направлений экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года.

Развитие экспорта позволяет нам все большее количество необходимых товаров импортировать. За годы девятой и десятой пятилеток было закуплено за границей различных видов промышленного оборудования более чем на 90 миллиардов рублей. На импорт техники приходилось более трети всего импорта страны. Повысилась доля в импорте и товаров народного потребления и сырья для их производства.

2

Внешняя торговля СССР в целом осуществляется на сбалансированной основе, но это не значит, что в этом важнейшем деле уже преодолены все трудности.

На международном рынке наша продукция встречается с продукцией крупнейших капиталистических корпораций, хорошо подготовленных к действиям в условиях этого рынка. Здесь проверяется конкурентная способность товара, здесь никого не интересуют причины, по которым товар плох или велики затраты на его производство, другие

объективные затруднения, которые сложились у продавца-экспортера. Плохой товар просто не будет куплен.

На мировом рынке появились машины с новыми принципами действия, оригинальные высокоэффективные технологические процессы. быстро развивается атомная энергетика, расширяется выпуск энергосберегающего оборудования, совершенствуется техника, способная экономно использовать топливо и смазочные материалы. Ужесточается подход к оценке машин, оборудования, бытовых приборов и технологии производства с точки зрения безопасности, улучшения условий работы человека, с учетом законов эргономики, охраны окружающей среды.

В условиях НТР намного ускорилось моральное старение машин и оборудования, бытовых приборов, что вынуждает промышленность в короткие сроки организовывать их замену новыми моделями, отвечающими более высоким требованиям. НТР значительно обострила конкуренцию на мировом рынке, сделала ее бескомпромиссной. Конкурентная борьба подобно цепной реакции из сферы рынка перешла в сферу производства и обслуживания, в сферу научных исследований. Нынче неизбежна быстрая смена моделей машин. Любая заминка в развитии науки и техники, в реализации их достижений сказывается на нашем экспорте (он уменьшается) и импорте (он чрезмерно увеличивается).

В этих обстоятельствах странно видеть, как некоторые наши хозяйственные руководители все еще часто сравнивают нашу машиностроительную продукцию с моделями машин явно устаревшими, которые уже несколько лет находятся на производстве у конкурента. Так делается в ряде случаев при аттестации продукции на высшую категорию качества. К слову сказать, были неоднократные попытки со стороны отдельных руководителей министерств и ведомств изъять из положения об аттестации продукции на Знак качества (в основном машин и оборудования) пункт о том, что она должна быть конкурентоспособна, то есть соответствовать мировому уровню. Мне памятен телефонный разговор с одним из работников Государственного комитета по науке и технике.

— Почему вы так рьяно отстаиваете такое понятие, как конкурентная способность нашей продукции? — спросил он. — Ведь это категория капиталистическая, а мы живем в социалистической стране, где, как известно, конкуренции нет.

— Это необходимо для успешного экспорта отечественных товаров на международном рынке, без чего нам там делать нечего.

— А по-моему, требованиями конкурентоспособности вы отвлекаете нашу промышленность от главных задач по выполнению плана производства, повышению производительности труда, внедрению новой техники и тем наносите, если хотите, ущерб народному хозяйству.

— Не согласен. Если продукция для внутреннего рынка будет на уровне конкурентоспособной, я твердо убежден, что это приблизит ее к наиболее полному удовлетворению запросов и советских покупателей.

— С этим трудно согласиться, так как продукция для экспорта производится по другим техническим условиям, чем для внутреннего рынка.

— Тут лишь доля правды. Технические условия для экспорта отличаются только некоторыми требованиями адаптации товара. Например, если говорить о машинах и оборудовании, иногда требуется тропическое исполнение, электрооборудование с учетом частоты или напряжения тока и тому подобное. Что же касается качества исполнения, надежности — все это должно быть на одинаково хорошем уровне. Разве плохо иметь, например, более комфортабельную тракторную кабину как для внешнего, так и для внутреннего рынка? Наши механизаторы будут рады этому. Да разве только это? Можно привести немало подобных примеров, когда экспортные требования полностью совпадают с отечественными.

Иногда говорят, что экспорт — визитная карточка страны. Это в известной мере справедливо, но я бы сказал, что экспорт — это и зачетная книжка, в которой отметки ставит такой строгий экзаменатор, как мировой рынок.

Многое у нас уже сделано для постоянного роста экспортного потенциала, но, как заметил Р. Роллан, нельзя победить один раз навсегда, нужно побеждать каждый день. Предстоит еще многое осуществить для развития экспортных возможностей отдельных наших отраслей, предприятий, добываясь равнопрочных звеньев в общей цепи развития внешнеторгового экспорта страны.

Обратимся к рынку машин и оборудования, находящемуся под сильным воздействием научно-технической революции. Требования к этим изделиям на мировом рынке

непрерывно повышаются. Вносятся много нового в конструкции машин и технологию их изготовления, материалы, методы проектирования. Это в свою очередь требует от промышленного производства повышения гибкости, подвижности, мобильности.

В 1984 году в Токио проводилась выставка, на которой были показаны очень интересные станки. Фирма «Мицубиси сейки» демонстрировала вертикальный обрабатывающий центр со следующей характеристикой: частота вращения шпинделя — 20 тысяч оборотов в минуту, максимальные скорости рабочих подач — 10 метров в минуту и перемещения — 12 метров в минуту.

Скорость вращения шпинделя современных фрезерных станков и обрабатывающих центров доведена до 40 и даже 60 тысяч оборотов в минуту, тогда как еще совсем недавно вызвали восхищение станки, имевшие 10 тысяч оборотов в минуту. Особое место в мировом станкостроении занимают различные гибкие производственные системы, дающие значительный экономический эффект. По данным японской фирмы «Тошиба—Тангэлой», раньше у нее было 50 станков, теперь только 6. Обслуживающий персонал соответственно уменьшился на 77 процентов, а выход продукции увеличился на 4 процента, стоимость обработки за два-три года уменьшилась наполовину.

В крупных фирмах перестройки происходят довольно быстро. В 1973 году мне довелось быть на литейном заводе автомобильного концерна «Дженерал моторс» (Сагино, штат Иллинойс). Завод был полностью перестроен на новую технологию, оснащен новым оборудованием. Вместо вагранок индукционные печи, широко применялись автоматические формовочные станки и выбивные решетки. В цехах установлена хорошая вентиляция. После реконструкции на заводе значительно поднялась производительность труда и стало более стабильным высокое качество продукции. И сделано все это было, как мне сказал технический директор, за один год.

Еще более внушительный пример перехода на новую технологию я видел на самом новом для того времени (1981 год) автомобильном заводе французской фирмы «Рено» в Дуэ.

В 1985 году вместе с нашими станкостроителями в Ганновере (ФРГ) во время работы Международной выставки металлообрабатывающего оборудования мне довелось посетить автомобильный завод фирмы «Фольксваген» в Вольфсбурге, где производится автоматическая сборка легковых автомобилей. На этом заводе я был уже не раз. Заводские корпуса здесь в основном остались теми же, однако оборудование и технология, внутренняя планировка претерпели значительные изменения. Завод оказался коренным образом реконструированным, насыщенным самым современным оборудованием. Все технологические процессы были основаны на роботизации, гибких производственных линиях, программном управлении, более совершенных транспортных средствах. Старые линии были демонтированы и отправлены в другие страны, где есть филиалы фирмы, например в Бразилию. Уникален цех, где осуществляется автоматическая сборка автомобилей; она предельно насыщена оригинальными механизмами и роботами, из-за приборов, что называется, неба не видно. Автоматизация сборки потребовала изменить конструкцию кузова, крепежа, порядок сборки и многое другое. Возросли и требования к точности изготовления деталей.

Мне приходилось неоднократно бывать на многих автомобильных заводах, я имел возможность наблюдать работу, в частности, роботов. Когда остаешься один в кругу этих непрерывно движущихся шипящих машин, когда не видишь ни одного живого человека вокруг, признаться, становится не по себе. Кажется, что находишься на другой планете, что попал в общество неизвестных чудовищ. У роботов нет перерывов на перекур, они не отлучаются в туалет, не рассказывают друг другу анекдоты, не ходят в кладовую за инструментом и не стоят там в очереди. Они все время в строго установленном режиме выполняют заданную работу, обеспечивая нужное качество деталей, всегда трезвы. Благодаря мини-компьютерам роботы обладают завидной гибкостью, обеспечивая экономичность даже при коротких циклах производства и при частых изменениях моделей, вне зависимости от размеров предприятий. Роботы выполняют все более широкую гамму функций, включая сборку, окраску распылением, сварку, литье, отделку, погрузку и разгрузку, упаковку, контроль, изготовление стекла и многое другое.

Сегодня мы находимся накануне новой волны совершенствования роботов. В них начинают встраивать оптические системы — робот будет иметь «глаза», ведутся исследования, чтобы «заставить» робота выполнять команды, отдаваемые голосом... За всеми этими достижениями стоит мощная современная наука и техника.

Наше отечественное машиностроение пока еще недостаточно подготовлено к удво-

летворению всех требований современного мирового рынка. По машинам и оборудованию имеется пассивный баланс, то есть импорт машин и оборудования превышает экспорт. При этом замечу, что купленное не всегда используется лучшим образом. Об этом говорилось и в докладе на совещании в ЦК КПСС 11 июня прошлого года. Подчеркнув, что «в импортной политике нам следует эффективно использовать возможности взаимовыгодного международного разделения труда», М. С. Горбачев вместе с тем сказал: «В связи с тем, что мы и дальше будем углублять внешние экономические и научно-технические связи, хотелось бы выделить проблему, которая нас тревожит. Речь идет об использовании машин и оборудования, приобретаемых на мировом рынке. Проблема эта не новая, а существенного улучшения дела пока нет. Не все продумано при планировании закупок: порой они не увязываются с планами капитального строительства. Министерства и ведомства, рьяно отстаивающие свои запросы на приобретение техники по импорту, не уделяют должного внимания стройкам, где мощности создаются на импортном оборудовании».

Экспорт машин и оборудования в высокоразвитые капиталистические страны составляет всего лишь около 4 процентов, между тем как весь экспорт в эти страны достигает около 30 процентов от общего экспорта Советского Союза. Объем и структура, качество и технологический уровень нашего машиностроения не всегда в состоянии обеспечить рост экспорта в указанные страны. Даже в период десятой и одиннадцатой пятилеток развитие экспорта машин и оборудования наталкивалось на ограниченность экспортной базы. В докладе на совещании в ЦК КПСС в июне прошлого года прямо указывалось: «Экспорт машин и оборудования в последние годы у нас растет медленно. Тут сказываются и низкая конкурентоспособность, и недостаточная материальная заинтересованность промышленных предприятий».

Состояние дела проиллюстрирую примерами из ряда отраслей.

В течение двух десятилетий автомобилестроители говорят о дизелизации автомашин, но до последнего времени ничего существенного не сделали для того, чтобы перестроить огромное производство, выпускающее карбюраторные двигатели. Сегодня удельный вес грузовых машин, оснащенных дизельным двигателем, с учетом Камского автозавода не превышает 23 процентов, автобусов — одного процента, а микроавтобусы, легковые автомашины пока полностью лишены дизельных моторов. На современном же внешнем рынке грузовые и в значительных количествах легковые автомашины продаются с дизельными двигателями.

Как собирались автомобилестроители решить проблему? По традиции — с помощью строительства новых предприятий и, как водится, со значительной закупкой импортного оборудования. Конечно, с учетом перспектив новые заводы надо строить, но нельзя забывать и о реконструкции заводов, производящих бензиновые двигатели, о возможностях изготовлять свое, отечественное оборудование.

Дизельный двигатель расходует на 25—30 процентов меньше топлива по сравнению с бензиновым; как правило, дизельное топливо дешевле. У грузовой автомашины с дизельным мотором увеличивается пробег до капитального ремонта (данные 70-х годов): до 400—500 тысяч километров (у автомобилей с бензиновым мотором этот показатель — 250—300 тысяч километров). Ниже и токсичность дизельного топлива: в выхлопных газах дизелей меньше окиси углерода и углеводородов (3 процента), чем у бензиновых (20 процентов). Проектом Основных направлений экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года предусматривается довести удельный вес дизельных грузовых автомобилей до 40—50 процентов в общем выпуске и ускорить переход на производство легковых автомобилей с дизельными двигателями. Планируется значительно расширить производство автомобилей на сжатом и сжиженном газе.

Если перевести на дизельный двигатель до 65 процентов всех выпускаемых грузовых и до 20 процентов легковых автомобилей, можно экономить примерно 10 миллионов тонн топлива в год, по ценам на нефть 1984 года — 1,6 миллиарда долларов.

Заслуживает внимания и структура производства грузовых автомобилей. Мировое производство этих машин по грузоподъемности имеет совершенно четкую направленность: 75 процентов выпуска занимают автомобили грузоподъемностью до 2 тонн; 20 процентов — от 2 до 8 тонн; 5 процентов — более 8 тонн. Все грузовые автомобили имеют множество модификаций, специальных исполнений для различных целей, наборы прицепов. А у нас доля машин грузоподъемностью до 2 тонн незначительна: в 5—7 раз меньше по сравнению с высокоразвитыми капиталистическими странами.

Выпуск полной гаммы грузовых автомобилей даст возможность увеличить экспорт этой важной продукции и позволит в нашем народном хозяйстве избежать излишних затрат. Известно, например, что перевозка грузов весом 1,5 тонны автомобилями грузоподъемностью 2,5 тонны повышает стоимость транспортировки на 15 процентов. Автомобиль малой грузоподъемности позволит высвободить значительное количество шоферов, так как по оценке специалистов эти машины на 30—50 процентов должны быть заняты водителями, совмещающими свою профессию с обязанностями экспедиторов, кладовщиков, приемщиков, почталыонов и тому подобных. Именно так обстоит дело в ряде зарубежных стран.

Аналогична ситуация со строительно-дорожными машинами. Например, доля экскаваторов с емкостью ковша 0,15—0,65 кубометра согласно рекомендациям специалистов должна занимать около 35, а фактически занимает 96 процентов. Доля бульдозеров с мощностью мотора 260—630 лошадиных сил согласно тем же рекомендациям должна занимать 29 процентов, мощностью от 631 до 2500 лошадиных сил — 6 процентов. Фактически машин с мощностью мотора выше 300 лошадиных сил у нас совсем нет.

Еще пример. В течение многих лет в нашей стране систематически увеличивался выпуск металлорежущих станков. Но это не привело к существенному повышению производительности труда в машиностроении. Избыточное количество малопроизводительных станков только мешало внедрению современных высокопроизводительных и более точных станков, требующих, кстати подчеркнем, и меньшего числа рабочих.

Последнее обстоятельство в современных условиях имеет особое значение. В 1969 году в машиностроении и металлообработке на 100 станков имелось 75 станочников, в 1975-м — 61, в 1979-м — 53. Даже на самых крупных и хорошо организованных предприятиях машиностроения на 100 станков было всего лишь 80 станочников. А сейчас в целом в народном хозяйстве токарных станков на 26 процентов больше, чем токарей, фрезерных станков в 1,65 раза больше, чем фрезеровщиков.

Вывод ясен: количеством отсталой техники ничего не решишь. Нужно производить совершенно другие станки — с числовым программным управлением, автоматы, обрабатывающие центры, гибкие производственные системы и тому подобное.

В начале 80-х годов наша станкоинструментальная промышленность занялась производством станков, отвечающих современным требованиям. Были закуплены лицензии, созданы проекты, но выявились узкие места в области электрооборудования, электроники, математического обеспечения и т. д. В последние годы ЦК КПСС и Совет Министров СССР, говорилось на июньском совещании в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса, «приняли ряд крупных решений по таким ключевым направлениям развития машиностроения, как гибкие автоматизированные производства, роторные и роторно-конвейерные линии, разработка, выпуск и применение вычислительной техники в народном хозяйстве, систем автоматизированного проектирования. Они направлены на создание новых технологических процессов, в том числе заводов-автоматов, работающих по так называемой безлюдной технологии. Тем самым закладывается серьезная база мощного подъема советского машиностроения как основы технической реконструкции народного хозяйства. Это — магистральное направление нашего развития, и его надо твердо выдерживать сейчас и в будущем». Выполнение этой программы в значительной степени будет способствовать повышению конкурентоспособности изделий нашего машиностроения на мировом рынке. О приоритетном развитии станкостроения, вычислительной техники, приборостроения, электротехнической и электронной промышленности говорится и в проекте Основных направлений экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года.

В основе нашего экономического роста, а стало быть, и экспортного потенциала страны лежит работа важнейшей отрасли — черной металлургии. Все ли резервы роста приведены здесь в действие? К сожалению, нет. В металлургии все еще применяется устаревшая технология производства стали, основу которой составляют малопроизводительные мартеновские печи, тогда как уже давно известны прогрессивные способы плавки, базирующиеся главным образом на кислородных конвертерах и электропечах.

Некоторое время назад работники Министерства черной металлургии обратились во внешнеторговую организацию с просьбой подготовить материал, каким образом организован за рубежом ремонт мартеновских печей. Просьба была принята к исполнению. Интересующие наших металлургов материалы были получены — их прислали все

страны, кроме Японии. Японские металлурги ответили, что не могут прислать материалы по ремонту мартеновских печей по той простой причине, что мартенов у них уже давно нет, они заменены на кислородные конвертеры (80 процентов) и электропечи (20 процентов).

В 1984 году примерно 60 процентов стали в капиталистических странах выплавлялось в кислородных конвертерах. Основным направлением развития технологии конвертерного производства в последние годы было применение комбинированного дутья — в верхней и нижней части конвертера. Методы подачи в конвертеры комбинированного дутья разработаны в различных странах и успешно применяются в течение уже нескольких лет. Между тем наши металлурги продолжали возводить мартеновские печи, последнюю из них пустили в 1970 году. И это вместо того, чтобы сосредоточить все усилия и средства на создании современного оборудования. При этом подчеркну, что наши металлурги отлично владеют технологией выплавки стали в конвертерах.

То же самое произошло и с непрерывной разливкой стали (НРС) с помощью машины, которая в промышленном масштабе впервые в мире была создана в нашей стране. Эффективность такого процесса дает увеличение выхода годного металла на 10 процентов, сокращается расход энергии, экономится рабочая сила, кардинально улучшаются условия труда. В 1984 году удельный вес НРС в общем объеме выплавки стали в капиталистических странах в среднем составил примерно 40—45 процентов. В 1982 году этот показатель равнялся в Японии — 80, в странах Западной Европы — 50 (в том числе во Франции — 59,5, в Великобритании — 34) и в США — 30 процентов из общего количества выплавляемой стали. Японская компания «Кавасаки стил» в 1982—1983 годах довела этот показатель до 93,4, а на ее сталеплавильном заводе в Мидзсимае — до 96 процентов. В ближайшее время на этом заводе предполагается разливать на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) 100 процентов стали. В Финляндии, где установлены советские МНЛЗ, удельный вес разливаемой из них стали составляет примерно 96 процентов. По словам одного из руководителей американской фирмы «Юнайтед Стейтс стил корпорейшен», к 1990 году 75 процентов всей американской стали будет выпускаться путем непрерывной разливки.

Бурное развитие технологии непрерывной разливки стали продолжается благодаря ее исключительно высокой экономической эффективности. С помощью различных усовершенствований удалось повысить скорость разливки стали на этих машинах и добиться выхода годного металла до 96—97 процентов. И это еще не предел. Дальнейшее развитие происходит за счет совмещения МНЛЗ с прокатными станами — так называемая прямая прокатка: комбинирование в одной машине агрегатов, позволяющих получать заготовки различных размеров, установка двойных и тройных кристаллизаторов, применение горизонтальной разливки, возможность разливки высоколегированных и нержавеющей сортов стали, многое другое.

При прямой прокатке происходит загрузка слябов, полученных путем непрерывной разливки заготовок, пока они еще горячие, то есть горячая загрузка. При этом сокращается период времени от выпуска стали до ее прокатки со 140 часов (при холодной загрузке) до 6 часов, а сама прямая прокатка до 1,5 часа, то есть почти в 100 раз. Прямая прокатка обеспечивает снижение расхода энергии на нагрев слябов по сравнению с обычной прокаткой на 85—90 процентов.

Вот это и есть настоящая революция в технологии. Именно так и оценивалась прямая прокатка на третьей международной конференции в Австрии (апрель 1984 год), посвященной проблемам непрерывной разливки стали.

В черной металлургии США начиная с 1983 года наблюдалось сокращение производственных мощностей. Тем не менее ряд крупнейших фирм осуществляет модернизацию и замену оборудования. Это коснулось и непрерывной разливки стали. Фирма «Армко» завершила строительство на заводе в городе Эшленде шестиручьевого машины непрерывного литья заготовок по получению в год 660 тысяч тонн блюмсов и слябов, которые раньше прокатывались на мощных прокатных станах.

К сожалению, у нас в 1983 году непрерывным способом разливали лишь 12,1 процента стали, хотя установленные мощности позволяли значительно увеличить этот показатель. Вызывает одобрение то обстоятельство, что в 1983 году в СССР мощности машин непрерывной разливки стали выросли более чем в 3 раза по сравнению с 1972 годом, намечено дальнейшее применение этого способа в более широком масштабе.

Во многих развитых в промышленном отношении государствах накопились огромные залежи металлолома. По английским данным, на территории только ведущих ка-

питалистических стран его насчитывается 5—6 миллионов тонн. Как все это переработать? В 60-е годы появились так называемые мини-предприятия по выплавке и прокату стали, работающие только на стальном скрапе и показавшие блестящие результаты, — они позволяли избегать громадных капитальных вложений, связанных с добычей руды, производством чугуна и кокса.

Долгое время наши металлурги считали ненужным строить мини-металлургические заводы. В начале 80-х годов все же было решено возвести 3 таких предприятия. Одно из них — в Белоруссии — уже успешно работает (построенное за два года, оно сразу вышло на проектную мощность).

На современном рынке значительно повысился спрос на мини-экскаваторы, мини-тракторы, мини-электростанции, мини-электровычислительные машины, мини-компоненты, мини-схемы и тому подобные мини. В конце 70-х годов, например, к нам стали поступать предложения на покупку мини-гидростанций из Австрии, Греции, Франции, Бразилии, Финляндии, Аргентины, Индии, Новой Зеландии и других стран. Однако наша промышленность в нужное время не смогла откликнуться на эти запросы международного рынка. В проекте Основных направлений экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года отмечена целесообразность сочетания заводов различного масштаба, крупных и небольших.

3

В условиях НТР при обострении экономического соперничества между капиталистическими государствами приобрели особое значение научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в качестве эффективного средства повышения конкурентной способности промышленной продукции и как следствие расширения экспортных возможностей, укрепления основ экспортного потенциала. На эти цели во многих странах с каждым годом расходуется все больше средств. Наибольшие суммы выделяются на наукоемкие виды продукции, доля которой в экспорте непрерывно растет. Этим НИОКР ориентируются на потребности рынка. Новым моментом в НИОКР, по оценке специалистов, являются разработки целевых комплексных программ содействия производству и экспорту определенных, как правило, наукоемких видов промышленной продукции. В соответствии с такими программами государственное субсидирование частных фирм не ограничивается стадией научных исследований. Средства выделяются также на исследование рынка, доработку, испытания и внедрение товара в производство и на его реализацию.

В Советском Союзе разрабатывается более 170 научно-технических комплексных программ, охватывающих главные направления социалистического строительства на длительный период. Однако с точки зрения внешней торговли эти программы имеют одну нежелательную особенность: они составляются без достаточного внимания к вопросам сбыта и технического сервиса.

Технический сервис — наиважнейший элемент экспортного потенциала, он требует к себе постоянного внимания, особенно производителей машин и бытовых организаций. Техническое обслуживание машинотехнических изделий необходимо повсюду, в любой стране, при любом социальном строе. Оно охватывает время всей жизни машины, это самая сложная проблема для народного хозяйства и экспорта машин.

По данным Минвнешторга, на 1 января 1984 года за границу из Советского Союза поставлено: автомобилей (легковых, грузовых и автобусов, вместе взятых) — 4,6 миллиона, самолетов и вертолетов — 2570, тракторов — 550 тысяч, зерноуборочных комбайнов — 80 тысяч, металлообрабатывающего оборудования — 274 тысячи единиц, экскаваторов — около 41 тысячи, тепловозов магистральных — более 4,3 тысячи, электродвигателей — 1,9 миллиона, судов и плавсредств — 2 тысячи, ЭВМ — более 1,7 тысячи единиц, фото- и киноаппаратуры — 7,7 миллиона штук, часов — 140 миллионов, телевизоров — свыше 9 миллионов, радиоприемников — 13 миллионов. Такая армада машин и приборов, находящихся у покупателя, требует огромного числа запасных частей и совершенных форм обслуживания.

Советские внешнеторговые организации вместе с промышленностью создали за границей широкую сеть сервисных служб. В капиталистических странах эта сеть функционирует с помощью торговых агентов, а также путем создания смешанных акционерных обществ, занятых продажей машин и оборудования, поставленных из Советского Союза. В настоящее время за рубежом работает 30 таких акционерных обществ,

охватывающих главные товары экспорта: автомобили, тракторы и сельскохозяйственные машины, металлообрабатывающее и электротехническое оборудование, потребительские товары (часы, телевизоры, фото- и киноаппаратура, радиоприемники и тому подобное). Эти советские фирмы, находящиеся в Англии, Швеции, Финляндии, Бельгии, Франции, Норвегии, Италии, Канаде, ФРГ, США, Австралии, Дании, неплохо знают рынок машин и квалифицированно ведут дело.

В странах СЭВ организованы советские технические центры, призванные содействовать организации технического обслуживания. Для работы во внешнеэкономических объединениях и Минвнешторге привлечены хорошие специалисты, в основном инженеры, прошедшие обучение в Академии внешней торговли или на специальных курсах.

При всем этом состояние технического обслуживания экспортируемых машин и оборудования оставляет желать лучшего.

Многие наши руководители на машиностроительных предприятиях по-прежнему отдают приоритет готовой машине и мало внимания уделяют запасным частям, как этого требует дело. Отсутствие своевременных поставок запасных частей для автомобилей, холодильников, радиоприемников и тому подобного нередко порождает негативные эмоции у наших торговых партнеров, дает повод для выступлений политического характера против сотрудничества с нашей страной.

Следует шире использовать международный опыт технического сервиса, главные принципы его организации. Исходя из мирового опыта эти принципы выглядят следующим образом: кто производит, тот и обслуживает; запчасти поставляются до тех пор, пока жива хотя бы одна машина; полное удовлетворение заявок покупателя по номенклатуре, количеству и срокам поставок за счет любых источников вплоть до снятия с главного конвейера недостающих запасных деталей и узлов; первым и главным ответчиком перед покупателем должен быть тот, кто производит машинотехнические изделия, он же отвечает и за весь комплекс технического сервиса.

Такая система позволяет наладить обратную связь — связь покупателя с заводом. В результате предприятие получает полную информацию о качестве машины, имеет возможность своевременно принять меры к совершенствованию конструкции, технологии. Если иметь в виду экспорт машин и оборудования, то продажа запасных частей является самой доходной его статьей. Эффективность здесь в среднем в 1,6 раза выше, чем при поставке самих машин и оборудования. Сфера технического сервиса является добавочным сектором машиностроительного рынка, способным стать источником дополнительного дохода. Однако, к сожалению, для многих наших хозяйственников запасные части к машинам остаются пока «вещью в себе».

4

В условиях НТР огромное значение приобрела международная торговля научно-техническим опытом. Деловые круги капиталистических стран первыми поняли, что свой опыт, даже если он очень велик, неизбежно в какой-то степени односторонен. Значит, его надо обогащать, если угодно, оплодотворять опытом других. Так много лет назад было положено начало формированию мирового рынка торговли научно-техническим и производственным опытом.

В 1982 году объем платежей за лицензии превысил в мире 15 миллиардов долларов. Объем выпускаемой продукции с использованием лицензий оценивается в сумму около 300 миллиардов долларов, ныне 115 стран закупают чужой опыт (лицензии). Закупка лицензий превратилась в важное средство для решения крупных технологических проблем, ускорения научно-технического прогресса, налаживания научно-технических связей между государствами — в том числе и с различными социальными системами.

Широкий размах заимствования и передачи опыта, существующий между странами, свидетельствует об ошибочности той точки зрения, согласно которой импорт лицензий якобы говорит о технической отсталости страны-покупателя и ущемляет его престиж, а экспорт лицензий воздвигает на почетный пьедестал. Статистика мировой торговли лицензиями говорит о том, что платежи за покупку их значительно превышают поступления от продажи в таких странах, как ФРГ, Италия, Франция, Япония, Голландия, Швеция и других, имеющих высокоразвитую промышленность. Только у США и **Великобритании** поступления от продажи лицензий выше платежей.

Торговля научно-техническим опытом — одно из самых перспективных явлений в век НТР.

Импорт зарубежного научно-технического опыта на базе лицензионной формы дает возможность промышленности экономить время и средства при решении актуальных проблем, решать эти проблемы на высоком техническом уровне, служит хорошей основой для дальнейшей творческой работы. Важным является сокращение сроков внедрения приобретенной технологии. По данным американских экономистов, полученным на основе исследования 44 крупнейших корпораций США, время, которое проходит с момента внедрения новой технологии на американских предприятиях до начала ее использования в других странах, постоянно сокращается. В 1971—1976 годах по сравнению с периодом 1945—1950 годов оно уменьшилось в 3 раза.

Успешно заимствует опыт других стран Япония. Это обстоятельство повышает конкурентную способность японских товаров нередко в ущерб фирмам, у которых покупались лицензии.

Является неоспоримым фактом японское превосходство в таких отраслях промышленности, как автомобилестроение, производство стали, радио- и телевизионных приемников. Причина этого в значительной степени заключена в использовании передовой зарубежной технологии. Из печати известно, что некоторые японские фирмы обращались и к незаконным закупкам секретов. Например, была выявлена группа бизнесменов, пытавшихся по поручению фирмы «Хитачи» и «Мицубиси электрик» купить секреты, украденные у американской фирмы «ИБМ». Американские фирмы с ненавистью относятся к любому японскому экспорту в США, начиная с автомобилей и кончая полупроводниками. Ряд капиталистических стран также питает антагонистические чувства к японцам. В западноевропейских капиталистических странах говорят, что, если японцы не научатся жить по правилам справедливой торговли, их попытки завоевания рынка будут работать на холостом ходу. Однако это предупреждение не имеет реальной силы. Японцы уже завоевали рынок по многим видам наукоемкой продукции и технологий.

Как известно, некоторые формы технического шпионажа в капиталистическом мире имеют место и сегодня. По мнению некоторых зарубежных специалистов, Япония — наиболее яркий пример в этом отношении.

Против бесплатного и незаконного использования научно-технического опыта принимается немало мер, например при испытании автомобилей, особенно новых моделей, автополигоны строго охраняются. То же самое делается при испытании самолетов, морских кораблей и тому подобного. На ряде зарубежных заводов, где приходится бывать, при входе в цех на дверях нередко видишь плакаты с изображением фотоаппарата, перечеркнутого жирными ярко-красными линиями. Это означает категорический запрет фотографировать.

Я спросил хозяина одного из предприятий:

— Почему вывешено такое предупреждение?

Он улыбнулся и сказал:

— Завтра у нас будут японские специалисты.

В последнее время стало известно о стремлении японцев проникать в лаборатории американских университетов. Используя то обстоятельство, что многие университеты США нуждаются в финансировании научных исследований, японские фирмы передают им значительные средства в обмен на получение разработок.

По сведениям журнала «Бизнес уик», крупнейший японский конкурент американских компаний корпорация «Тосиба» вложила 5 миллионов долларов в программу исследований в области электроники Аризонского университета и за это получила преимущественное право на приобретение лицензий на любую технологию, которая будет разработана в рамках этой программы. Аналогичным образом действуют японские фирмы «Мицуй», «Тоёта», «Сони», «Ниппон телеграф энд телефон» и другие, каждая из которых финансирует программу исследований по меньшей мере в одном из американских университетов. Эти японские компании принимают непосредственное участие в исследованиях практически во всех областях техники, начиная от создания современных ЭВМ в Станфордском университете и кончая конструированием дизельного двигателя в Принстонском университете.

— Японцам недостает возможностей для проведения фундаментальных исследований. Путем международного сотрудничества они могут восполнять этот недоста-

ток,— говорит руководитель отдела науки и техники японской Федерации экономических организаций Хироси Морикава.

Японские фирмы проявляют особый интерес к керамике, электронике, лазерной технике, биотехнологии и медикаментам.

Массачусетский технологический институт получает сейчас от Японии такие крупные суммы, что в нем создана должность помощника директора, ведающего безвозмездными ссудами японцев. Этот институт открыл в Токио свое представительство. Из 297 компаний, участвующих в программе этого института, 45 — японские. Среди них такие известные корпорации, как «Канон», «Мицуи», «Хитачи» и «Ниппон-электрик». Японские компании предоставили по миллиону долларов каждой из 9 кафедр, которые ведут исследования в области керамики, связи и управления производством. В 1983 году в США обучалось свыше 14 тысяч японцев, почти 30 процентов из них в аспирантуре.

Твердый курс Страны восходящего солнца на импорт иностранного опыта уже во многом изменил лицо японской экономики. Успех на мировом рынке, который оказался заполненным японскими товарами, говорит, в частности, об удачном применении этого опыта.

Советский Союз сравнительно недавно стал заниматься покупкой и продажей лицензий, и дело это расширяется, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Еще не везде преодолен барьер недопонимания значения лицензионной торговли, сохранились пока и некоторые другие недостатки в этом важном деле.

Решения партии и правительства ориентируют нас на использование зарубежной науки и техники. В настоящее время решены основные вопросы финансирования на закупку лицензий и их внедрение. Определен порядок подготовки к продаже и покупке лицензий.

Эта работа стала носить более или менее плановый характер. Часть лицензий на технологию приобретает вместе с комплектом оборудования. В управлениях предприятий созданы ячейки, которые занимаются вопросами патентования и лицензионными делами. Заметны изменения и в нашем мышлении — возросло понимание значения торговли научно-техническим опытом и ее роли в хозяйственном механизме страны.

Создано специализированное внешнеторговое объединение Лицензинторг, в обязанности которого входит ведение коммерческой работы по импорту и экспорту лицензий и «ноу-хау»¹ в контакте с промышленностью, плановыми органами, Государственным комитетом по науке и технике, Комитетом по изобретениям и другими организациями.

Не обошлось при этом и без курьезов. Расскажу об одном из них.

После того как коллегия Минвнешторга обсудила эту проблему и согласовала свои предложения с заинтересованными организациями, мы сочли целесообразным обратиться в правительство. Были подготовлены доклад и соответствующий проект постановления. Как и полагается, оставалось получить визы имеющих к этому делу отношение организаций. Наконец собраны все визы, кроме Министерства финансов СССР, а без него посылать проект в правительство никакого смысла, естественно, не было. Пришлось не раз посетить это уважаемое учреждение, работникам которого кажется, что именно они и только они глубоко знают все стороны торговли научно-техническим опытом. Мне хорошо запомнились беседы с заместителем министра финансов СССР в его небольшом кабинете. Это было еще в середине 60-х годов.

Первая встреча носила характер разведки боем.

— У вас находятся,— сказал я,— проекты письма в Совет Министров СССР и постановление по вопросу организации специализированного всесоюзного объединения, которое должно заниматься покупкой и продажей лицензий, изучать рынок и так далее,— Лицензинторга. Прошу вас дать согласие и завизировать проект постановления. Обоснования даны в нашем докладе. Все визы заинтересованных организаций получены. Если есть вопросы — готов ответить.

¹ Технология (разг.).

Хозяин кабинета извлек папку с бумагами, почитал, еще раз посмотрел на меня и наконец ответил:

— По нашему мнению, ваши доводы по организации объединения неубедительны. Лицензии на научно-технический опыт — тот же товар, как и другие. Коммерсантов у вас вполне достаточно, даже с излишком, у вас есть кому поручить эту работу.

— Вы правильно говорите, что лицензии являются товаром, они могут продаваться и покупаться. Тем не менее этот товар обладает определенной спецификой. Коммерсант должен знать его особенности. Нельзя одному и тому же работнику продавать и покупать нефть и радиоприемники, лес и гидротурбины, алмазы и экскаваторы, тракторы и часы, приборы и прокатные станы, удобрения и дирижерские палочки...

— Обойдемся без дирижерских палочек.

— Согласен. Без палочек обойдемся. Однако нельзя обойтись без специализированной организации, так как лицензия как товар имеет свою характеристику, свои особенности, имеет свой мировой рынок, методы рекламы, порядок патентования и так далее. Речь идет не только о покупке, но и о продаже лицензий на валюту. Поступления могут достигнуть ощутимых размеров, не говоря уж о пользе приобретения зарубежного научно-технического опыта в народном хозяйстве.

— Откуда у нас возможности продавать лицензии? Где взять ресурсы для продажи? Вряд ли отечественная промышленность в настоящее время в состоянии дать подобный товар для экспорта. Для покупки же нужны деньги и умение быстро внедрять купленную технологию. Полагаю, что ваше предложение преждевременно.

— Но у нас уже есть известный опыт закупки и продажи лицензий. Например, была приобретена лицензия на производство судовых дизелей большой мощности в Дании у фирмы «Бурмайстер от Вайн», и они быстро внедрены в производство на Брянском машиностроительном заводе. Теперь эти машины не только обеспечивают отечественное судостроение, но уже продаются на валюту. Все расходы по приобретению лицензии компенсированы. Продали лицензию на технологию непрерывной разливки стали, технологию электрошлакового переплава... Опыт показал, что каждый завод, фабрика, научно-исследовательский институт имеют потенциальные возможности заинтересовать своим производственным, научно-техническим опытом деловых людей других стран...

— С нашими возможностями по продаже вы вряд ли быстро сможете иметь доход, чтобы обеспечить хотя бы расходы на зарплату самого объединения. Дело это, похоже, не стоит и ломаного гроша. Своего согласия Минфин дать не может.

После этого состоялось еще несколько встреч. С нашей стороны давались дополнительные справки, в них приводились примеры деятельности других стран, в том числе социалистических. Потом состоялась последняя, заключительная встреча.

Как обычно, после предварительного телефонного звонка иду по коридору в знакомый кабинет заместителя министра финансов. Вежливые, без особой теплоты приветствия. Папка с надписью «Дело по Лицензинторгу» несколько пополнила от вложенных в нее старательно подготовленных справок. Хозяин кабинета, улыбаясь, говорит:

— Мы, кажется, уже надоели друг другу, обсуждая один и тот же вопрос. Дополнительные справки особенно убедительных доказательств не принесли.

— С этим трудно согласиться. Материал, представленный вам, вполне достаточно, чтобы поддержать наши предложения. На первое время объединение будет небольшое по численности работников. Дело покажет, стоит ли игра свеч. Что еще нужно от нас?

— От вас нужно обязательство, что вы лично как заместитель министра внешней торговли гарантируете получить от экспорта лицензий и, как его еще там... «ноухау» деньги на зарплату этому объединению. И говорю это не в шутку, а всерьез.

Будучи уверенным в том, что Лицензинторг обеспечит продажу лицензий, мне пришлось дать такое обязательство. Конечно, всем хорошо известен принцип, что делать что-то более рискованно, чем вообще ничего не делать.

Прошло с тех пор более 20 лет. Теперь все могут убедиться, что Лицензинторг не терял времени зря, работал, из года в год увеличивая поступления валюты от экспорта, зарабатывал не только на зарплату своим работникам. Увеличились закупки лицензий для самых различных отраслей народного хозяйства. Их уже не единицы,

а многие сотни. Имеются все основания оценить работу объединения как серьезное начало.

Не будем преувеличивать значение Лицензинторга, главное по-прежнему и во всех случаях остается за творцами научно-технического прогресса, за промышленностью и научными учреждениями, а не за коммерческой организацией, которой отведена роль подсобная. Но не следует и принижать эту роль, особенно в вопросах изучения рынка, сбора информации, ценообразования и координации действий между участниками закупки и продажи лицензий. Кстати, за рубежом специалист по маркетингу ценится фирмой не ниже изобретателя.

Интерес наших кадров к опыту других стран необходим для ускорения развития народного хозяйства. Естественно, что перенос чужого опыта никоим образом не должен носить роль копировщика, а должен обладать творческим характером.

Развитие научно-технического обмена нельзя замыкать в узкие рамки только ведущих направлений — наукоемкой продукции, сложной технологии, гибких производственных систем, роботизации, электроники, атомной энергетики и так далее. Обмен может быть расширен за счет легкой и пищевой промышленности, медицины и других областей нашей экономики.

Можно согласиться с утверждением зарубежных деловых людей, что импорт современной западной технологии является существенным стимулирующим фактором для форсирования Советским Союзом своих собственных научных разработок, что в области торговли лицензиями и «ноу-хау» основное направление — с Запада на Восток. Однако верно и то, что это не оказывает сколько-нибудь существенного влияния на экономическое развитие страны, ибо в валовом объеме промышленного производства доля изготавливаемой на западном оборудовании продукции в целом составляет менее одного процента. Главной и решающей для развития народного хозяйства является наша отечественная промышленность. Взаимный обмен лицензиями с капиталистическими странами, открывающий возможности широкого экономического сотрудничества, во многом зависит от того, насколько конкурентоспособны наши товары и технологии. Международный лицензионный рынок действует по обычным законам торговли.

Сейчас уже десятки стран покупают советские технологии, изобретения, усовершенствования. Наиболее активная работа по обмену лицензиями идет у нас с социалистическими странами. Если внимательно посмотреть на промышленность ряда стран, можно отчетливо заметить компоненты советского научно-технического опыта, вкрапленные в громадный промышленный организм. Лицензии, купленные у нас, применяются в металлургической промышленности Японии — используются технология непрерывной разливки стали, испарительное охлаждение доменных печей, сухое тушение кокса, технология и оборудование электрошлакового переплава, автоматической сварки. Советские лицензии куплены ведущими металлургическими фирмами «Ниппон стил», «Кобе стил», «Ульвак» и другими.

За последние полтора десятка лет Советский Союз продал наиболее значимые лицензии в Соединенные Штаты. Среди них хирургический швигачный инструмент, технология подземной газификации угля, разливки алюминия в электростатическом поле для знаменитых фирм «Кайзер алюминий энд кемикал», «Рейнолдс алюминий», «Алкоа»; технология разливки меди в электростатическом поле для фирмы «Олин брасо»; продан метод обработки инструмента нитридом титана, магнитно-импульсного прессования, испарительное охлаждение доменных печей, дуговая электросварка рельсовых стыков и другое.

Известный американский эксперт в области передачи технологии Дж. У. Кайзер в одной из своих статей задает вопрос: как могло случиться, что другие страны имеют нечто лучшее, чем США? И отвечает: «Америка не обладает монопольным правом на человеческие умы, и поскольку 30 процентов их находится в странах СЭВ, эти страны и являются хранителями изобретений по наиболее важным направлениям: Поэтому было бы целесообразным следить за ходом их развития, как это делают многие фирмы США, особенно в области оптики, черной и цветной металлургии, химии полимеров, фармацевтики и др.»

В январе 1984 года в Бразилии по советской лицензии был пущен первый в Западном полушарии завод по производству метанола из эвкалиптовой древесины. Технология разработана Рижским научно-исследовательским институтом. Церемонию пуска завода возглавила президент Бразилии. Журналисты поинтересовались, почему

была выбрана именно советская, а не американская технология. Президент государственной компании «Коалбра» кратко ответил: «В мире сейчас две страны владеют этой технологией: только Советский Союз и только Бразилия».

Но масштабы экспорта наших лицензий еще не полностью соответствуют нашим возможностям. И главная причина этого заключается в том, что некоторые руководители промышленности, научно-исследовательских организаций недостаточно знают собственный опыт — не представляют, какую великую роль он играет. Опыт примелькался, его нередко не замечают...

Даже самый маленький завод имеет потенциальные возможности в области интересных оригинальных технических решений, и они могут пополнить товарные ресурсы на экспорт. К сожалению, эти небольшие заводы не избалованы вниманием ни со стороны промышленных министерств, ни со стороны Государственного комитета по изобретениям, ни Государственным комитетом по науке и технике, ни Лицензизторгом. Да и многие крупные предприятия слабо пока пополняют товарные ресурсы для экспорта. Некоторые из них все еще продолжают стоять в стороне от этого дела.

Научно-исследовательские институты, лаборатории, Академии наук республик и СССР располагают громадными потенциальными возможностями. Но среди них наберется чуть больше десятка, которые выдают продукцию, годную для экспорта. Жемчужиной среди них является Институт электросварки имени Е. О. Патона в Киеве. Он, пожалуй, первый начал экспорт своих достижений и продолжает успешно работать в этом направлении и сейчас. Особо следует сказать доброе слово о разработке электрошлаковой технологии, успешно решившей проблему получения металла сверхвысокого качества. По существу, родилась новая отрасль специальной электрометаллургии. Она приобрела громадную популярность во всем мире, неизменно получает высокую оценку и признание, в том числе со стороны развитых в промышленном отношении капиталистических стран. Некоторые из них купили эту технологию.

Популярность на внешнем рынке завоевали технологии сварки толстостенных литых и кованных стальных изделий, труб, рельсов и другие достижения института. Фирма США «Мак дермонт» купила лицензию на сварку толстостенных труб и при участии киевских специалистов внедрила ее в производство. Для пресса мощностью 65 тысяч тонно-сил, который поставлен во Францию, на Краматорском заводе с помощью указанной технологии сваривались крупные толстостенные детали весом в несколько десятков тонн.

Чем объяснить успешную работу украинской Академии наук? Может быть, ей отпускается больше средств, чем другим, или даются какие-то особые льготы? Нет, конечно. Главное заключается, на мой взгляд, в понимании значения науки и техники, в умении организовать работу ученых, хорошо налаженном сотрудничестве с промышленностью.

Расходы на внедрение научно-исследовательских разработок достигают сейчас во многих странах значительных размеров. С давнего времени американцы, например, придерживаются следующей пропорции: 1 : 10 : 100, где первая цифра — это расходы на фундаментальные исследования, вторая — на прикладные науки и третья — на внедрение. Это соотношение расходов недавно подтвердила английская газета «Файнэншл таймс»: «Каждый фунт, потраченный на научно-исследовательские нужды, требует вложений в размере 10 фунтов на опытно-конструкторские работы и 100 фунтов для организации производства и сбыта, чтобы можно было рассчитывать на успех на мировых рынках».

Собственная опытно-конструкторская и экспериментально-производственная база создана и в системе Академии наук УССР. Это 10 опытных заводов, 27 опытных и экспериментальных производств, 32 конструкторских бюро, 5 вычислительных центров, инженерные центры. Функционирует 6 научно-технических комплексов, в состав которых входят конструкторские бюро, опытные производства и опытные заводы.

Такие научные коллективы, как Институт электросварки имени Е. О. Патона, двигают науку вперед, завоевывают все новые и новые вершины, приносят славу советской науке и технике. К сожалению, существует значительное количество научных учреждений, которые бесплодны в отношении экспорта. Одни дают микроскопические дозы, другие — совсем ничего, что можно продать. Как тут не вспомнить восточную мудрость, которая гласит: «Ученый, ничего не производящий, подобен туче, не дающей дождя». По этой причине в ряде научных учреждений царит жестокая «засуха».

Иногда из-за недостаточно строгих испытаний дело не доводится до получения хороших конечных результатов, поэтому приходится дорабатывать технологию или конструкцию чуть ли не на глазах у покупателя. При этом часто проявляется медлительность, упускается момент для продажи, не учитывается, что старение новых процессов идет весьма быстро. Не доводить дело до промышленного образца и серийного производства значит лишать себя возможности продать лицензию и принести доход государству.

Создание экспортных ресурсов по лицензионной тематике будет и впредь одним из главных и трудных объектов заботы промышленности и науки. В начале 80-х годов проводилось совещание в ГКНТ по вопросу развития экспорта научно-технического опыта. Минвнешторг внес предложение, чтобы в оценку деятельности научно-исследовательских институтов непременно входил показатель, чем пополнили они портфель лицензионных ресурсов, что заработала та или иная организация на внешнем рынке. Это входило бы в «аттестацию зрелости» многочисленных ученых, которые числятся по списку личного состава и состоят, так сказать, на полном довольствии у государства. Руководство ГКНТ обещало подумать над этим вопросом, стимулировать работу в этом направлении. Мы терпеливо ждем решений.

5

Импорт зарубежных технологий, адаптация их к нашему народному хозяйству, быстрое внедрение и получение ожидаемой эффективности требует особого подхода к этому делу.

Опыт показывает, что большинство закупленных и своевременно внедренных лицензий и «ноу-хау» приносит ощутимую пользу, с лихвой перекрывающую все понесенные расходы.

Ярким примером этого может служить Волжский автомобильный завод, создание которого базировалось на международном опыте, на закупке значительного количества лицензий и «ноу-хау». Его машины пользуются спросом не только у нас, но и во многих социалистических и капиталистических странах. «Лады» продаются в Англии, Бельгии, Канаде, ФРГ, Франции, Финляндии, Дании, Голландии, Швеции, Норвегии, Новой Зеландии, в некоторых странах Южной Америки. Сооружение за короткий срок завода-гиганта — крупнейший вклад в машиностроение и укрепление экспортного потенциала Советского Союза.

В 1976 году совместно с Минлегпромом была за рубежом закуплена лицензия на технологию пошива женских плащей. За 6 лет после закупки было реализовано плащей на сумму, превосходящую сумму расходов в 54 раза, получена соответствующая прибыль, поскольку спрос на плащи превзошел все ожидания.

В том же году Минлегпищемашем была закуплена в Швейцарии лицензия на бытовые холодильники. Продажа их превзошла затраты на закупку лицензии в 45 раз и дала значительную прибыль.

По купленной во Франции лицензии Минский завод бытовых холодильников организовал первоклассное производство. Значительная часть валютных расходов уже компенсирована продажей холодильников на экспорт. Продукция пользуется хорошим спросом во многих странах и на внутреннем рынке. Общая сумма денег, полученных от реализации холодильников на экспорт в капиталистические и социалистические страны, достигла 450 миллионов рублей, затраты же на приобретение лицензии составили 18,6 миллиона рублей.

Технические идеи в наше время быстро стареют. Поэтому время на выбор и переговоры, заключение контракта и внедрение купленного должно быть минимальным. Примером оперативности может служить внедрение в автомобильной отрасли сварочных роботов — лицензия на их производство закуплена в ФРГ — или внедрение Минрадиопромом автоматической станочной техники, закупленной в Японии.

Игнорирование же закупок некоторых лицензий приводит к значительной потере времени, лишним расходам средств, к затягиванию решения научно-технических проблем, особенно в части сложных технологий. К сожалению, некоторые руководители промышленности, научных учреждений до сих пор считают приобретение чуждого опыта принижением престижа не только какой-либо отдельной организации, но и в целом отечественной науки и техники.

Естественно, отдавая должное приобретению иностранного опыта, закупая лицензии, надо вести и свои разработки по созданию новых конструкций машин, оборудования, технологии, новых материалов на базе фундаментальных и прикладных исследований в расчете не только на обеспечение народного хозяйства, но и для продажи советских лицензий за рубеж. Необходим размах, достойный могущества нашего государства, его научно-технического потенциала, собственного опыта наших кадровых рабочих, инженеров, ученых во всех областях народного хозяйства. Вместе с тем закупка и внедрение чужого опыта, независимо от социальной структуры государства и уровня развития собственной науки и техники, является признаком мудрости. Аристофан справедливо утверждал, что люди умные умеют учиться и у врагов.

Примером нашей недалекости является горькая история создания мощного промышленного трактора (330—500 лошадиных сил) и на его базе дорожно-строительных машин на Чебоксарском заводе Минсельхозмаша. Руководство министерства в 70-е годы отказалось от закупки лицензии, хотя никакого опыта в проектировании и производстве подобных машин у нас не было. Прошло полтора десятка лет бесплодной деятельности указанного предприятия, но годной машины страна так и не получила, хотя построен новый завод, куплено за границей и получено оборудование на сумму 200 миллионов рублей. Сделанные образцы не отвечают требованиям, предъявляемым к этой машине.

Кажется, давно ушло в прошлое время, когда изучение и заимствование капиталистической науки и техники считалось проявлением мелкобуржуазной психологии, когда мы считали себя чуть ли не умнее всех. Но и сегодня попадаются отдельные деятели, которые в этом глубоко убеждены. Не перевелись еще среди хозяйственников и ученых люди, преувеличивающие свои знания и умение производить материальные ценности, не считающие нужным учиться у других. Некоторые из них взахлеб произносят хвалебные гимны своим успехам, закрывая при этом глаза и не замечая новых условий жизни, событий научно-технической революции, не видя своего отставания. Самое печальное, пожалуй, заключается в том, что некоторые из таких деятелей убеждены: наш общественный строй автоматически компенсирует все недостатки знаний и опыта. Когда болельщик футбола искренне верит, что его любимая команда сильнейшая в мире, то это безобидное заблуждение есть его частное дело и государству оно никакого ущерба не приносит. Но когда большой или малый хозяйственник начинает верить, что подведомственный ему завод, комбинат, отрасль работают по самой передовой в мире технологии, когда руководитель научного учреждения считает, что он успешно разработал всю заданную тематику и по ее уровню заткнет за пояс любого конкурента, то здесь уже не до шуток. Подобные рассуждения наносят вред развитию нашей экономики, тормозят научно-технический прогресс, рождают пассивность в работе, ведут к чванству.

Возвратимся к примеру с промышленным трактором. Конструкция его оказалась неудачной, не отвечающей самым элементарным требованиям. Удивления достойно заключение временной экспертной комиссии ГКНТ 1973 года, которая утверждала, что тот трактор соответствует современным образцам промышленных машин. Тут к стремлению принять желаемое за действительное примешалось еще и отсутствие нужных знаний, нежелание слушать специалистов, изучивших проблему.

Задолго до того, как началось проектирование этого трактора, подобные машины уже выпускались ведущими фирмами крупными сериями и поставлялись в другие страны. Тракторы были оборудованы всевозможными приспособлениями, отвечающими требованиям того времени. Некоторые из них Советский Союз вынужден был покупать у фирм «Катерпилер» (США), «Фиат аллис» (Италия), «Комацу» (Япония), расходуя значительные суммы валюты.

Пока Чебоксарский завод много лет возился с отработкой промышленного трактора мощностью 330 лошадиных сил, зарубежные фирмы стали производить современные машины мощностью 380, 450, 520 и 600 лошадиных сил. Фирмой «Катерпилер» были выпущены образцы мощностью 700 лошадиных сил в одномоторном исполнении, а фирма «Комацу» выпустила образец в 1000 лошадиных сил.

Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что лучшие современные зарубежные дорожно-строительные машины на базе промышленных тракторов оснащаются гидромеханической трансмиссией, позволяют изменять скорости без остановки машин, оборудованы надежными дизельными двигателями, имеют запуск от стартера. Ходовая часть, трансмиссия, рама, рыхлители и другие узлы рассчитаны на самые тяжелые

условия работы — каменистые грунты, районы вечной мерзлоты, тропики и так далее. Машины оборудованы герметичными кабинами с избыточным давлением, что исключает попадание пыли, они шумо- и виброизолированы, в целях безопасности на них установлены специальные каркасы. В ряде узлов ходовой части применена так называемая вечная смазка. Все это говорит о громадном опыте, накопленном зарубежными фирмами в области производства мощных промышленных тракторов.

Почему же такой ценный опыт при отсутствии собственного работника нашего машиностроения рискнули проигнорировать? Печально, что болезненная гордость некоторых лиц и даже организаций слишком дорого обходится государству. Известный принцип «мы сами с усами» не так уж редко побеждает в серьезных делах. Чего здесь больше — бюрократизма или незнания дела, низкой культуры или зазнайства?

Если кто-то уже изобрел колесо, зачем его изобретать вновь? Именно по этой причине американская компания «Тексас ютилитиз сервис» в 1975 году приобрела советскую технологию на подземную газификацию бурого угля, так как Советский Союз уже имел двадцатилетний опыт в этой области. Фирма «Бауги энд Ломб» закупила в ЧССР лицензию на производство мягких линз, которые были разработаны благодаря оригинальному открытию в области полимеров пражского ученого Отто Вихтерле.

Конечно, развитию торговли лицензиями мешают препятствия, чинимые нынешней администрацией США. Обратим внимание на действие так называемого КОКОМ (Координационный комитет по многостороннему контролю над экспортом), который создан под нажимом США в 1949 году. Главная цель этого комитета — контроль над экспортом «стратегических товаров» в страны социализма. В него входят 14 стран НАТО и Япония, а душой всего этого альянса являются Соединенные Штаты Америки. С каждым годом увеличивается список товаров, которые не должны поставляться в социалистические страны. Определение «стратегического товара» толкуется настолько вольно, что если теннисную ракетку или мяч можно использовать для поднятия спортивного духа солдат и офицеров армии, то это тоже «стратегический товар». Найти логику включения в этот список многих изделий часто невозможно.

Ясно, что это не способствует развитию торговли научно-техническим опытом.

Мы обладаем всем необходимым, чтобы противостоять любому давлению и дискриминационным мерам, любым попыткам помешать нашему развитию и участию в международном экономическом сотрудничестве. В проекте новой редакции Программы Коммунистической партии Советского Союза провозглашены главные цели международной политики КПСС. Они направлены на неуклонное расширение и углубление сотрудничества СССР с братскими социалистическими странами, всемерное содействие укреплению и прогрессу мировой системы социализма, развитие равноправных, дружественных отношений с освободившимися странами. СССР, сказано в этом документе, будет поддерживать и развивать отношения с капиталистическими государствами «на основе мирного сосуществования, делового, взаимовыгодного сотрудничества».

Именно в этом направлении внешнеторговым организациям предстоит развернуть активную работу на внешнем рынке. Партия, говорилось на совещании в ЦК КПСС в июне прошлого года, исходя из задач научно-технического прогресса, требует: «по-новому подойти к нашей внешнеэкономической стратегии»: темпы роста внешнеторгового оборота «можно и нужно ускорить, а главное — осуществить глубокие структурные сдвиги, придать и экспорту и импорту более прогрессивный характер». Преодоление негативных явлений, о которых шла речь в этой статье, и будет способствовать решению этой важнейшей проблемы.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ



КОМЕТА ГАЛЛЕЯ

В марте 1986 года земляне смогут увидеть комету Галлея, которая вновь приблизилась к нашей планете.

Из газет.

В записках о комете Галлея мне хочется рассказать не только о всей небесной механике, чересчур сложной для одних читателей и до скуки простой для других. Мне хочется рассказать о людях, причастных к этой многовековой трагикомедии, которая разыгрывалась на подмостках астрономии. Президент Академии наук СССР Сергей Иванович Вавилов говорил: «История науки не может ограничиться развитием идей — в равной мере она должна касаться живых людей, с их особенностями, талантами, зависимостью от социальных условий, страны и эпох. В развитии культуры отдельные люди имели и продолжают сохранять несравненно большее значение, чем в общей социально-экономической и политической истории человечества...»

Мне кажется, Вавилов прав.

Брайен Марсен — один из крупнейших в мире специалистов по кометной астрономии — сказал как-то с грустной улыбкой: «Для человека с улицы Солнечная система состоит из Марса, колец Сатурна и кометы Галлея». Ирония этой фразы объяснима: действительно, Вселенная переполнена необыкновенными чудесами — квазары, пульсары, белые карлики и черные дыры, рождающиеся и умирающие гигантские миры, — а землян интересует какая-то комета, астрономическое ничтожество. Ну так уж устроены «люди с улицы»: идет по этой улице мудрец, и никому до него дела нет, решительно никто им не интересуется. А следом идет просто франт со страусовыми перьями на шляпе, и все на него оборачиваются, шепчутся и обсуждают, что бы это значило.

Кометы — шляпы с перьями на улице Астрономии, нельзя не оглянуться!

1

Ты нам грозишь последним часом
Из синей вечности, звезда!

Александр Блок.

Поэт и ученый француз Камиль Фламарион писал в русском журнале «Природа и люди» в 1910 году: «С тех пор, как на земле стали наблюдать небесные явления, кометы среди всех небесных тел всегда наиболее поражали воображение смертных, наиболее привлекали их внимание. Внезапное появление этих «небесных странниц», их таинственное исчезновение, белесоватый свет их лучезарного хвоста, часто достигающего положительно фантастических размеров, словом, весь их страшный вид искони действовал на воображение людей подобно какой-то таинственной силе. Отсюда и произошли сотни суеверий и легенд».

И суеверия тоже вполне объяснимы и оправданны. В самом деле, свод небесный, звездный купол — олицетворение вечной неизменности, стабильности, покоя. И вдруг появляется ни с того ни с сего нечто из ряда вон выходящее, яркое, хвостатое, ни

на что не похожее. Проносится, исчезает. Почему? Зачем? Ведь это явный сигнал, предупреждение, нечто, как писал Шекспир, «вещающее о переменах времен и состояний». Надо только правильно истолковать небесное знамение, угадать божий промысел. И гадали. Тысячелетия. Гадали на всех континентах, наделяя хвостатое чудо званием небесного гонца именно своего бога, не задумываясь над тем, что иные племена и народы рассуждают точно так же, и комета, получается, служит разным, иногда враждебным друг другу богам. Прекрасный тому пример — события XV века в Европе, когда в 1453 году турки захватили Константинополь, вырезали иноверцев и надругались над храмом святой Софии, превратив его в мечеть. Христианский мир клокогал от гнева и жажды мщения, когда три года спустя в небе появилась комета Галлея. Папа Каликст III разглядел в ней подобие креста, в то время как турки видели на небе ярчайший, занесенный над Европой ятаган. Объективно на ятаган хвост кометы похож был больше, чем на крест. Папа понял, что пропагандистский трюк с крестом не проходит, и, видя, что паника охватывает деревни, города и целые государства, попытался успокоить свою паству специальной «антикометной» молитвой «Ангелус»: «Господи всемогущий, от турок и кометы избави нас!..» Кстати сказать, молитва дожила до XX века и читалась в некоторых церквях в 1910 году, когда комета Галлея вновь явилась во всей своей красе.

Сама идея связи комет с земными делами не была данью лишь человеческого невежества. Как ни парадоксально, корни этой идеи уходят в античную науку, и мы обнаруживаем их в трудах такого непререкаемого авторитета, каким сотни лет был Аристотель. Один из величайших гениев в истории человечества, он ошибался, быть может, реже других гениев, но ошибки его принесли несравненно больше зла, чем ошибки других корифеев. На некоторых примерах заблуждений Аристотеля видно, что происходит с наукой, когда она становится «неприкасаемой», объявляется «единственно верной». Пробивая дорогу человеческого звания сквозь чащи невежества и суеверий, Аристотель оставлял на этой дороге огромные валуны роковых заблуждений, и потребовался небывалый по смелости и упорству труд ученых многих поколений, чтобы сбросить эти валуны на обочину истории. Достаточно вспомнить, что Аристотель отрицал вращение Земли, допускал самозарождение живых организмов, благословил алхимию своей убежденностью в том, что различные вещества могут превращаться друг в друга. Какая бездна сил ушла на сокрушение этих ложных истин, канонизированных церковью, которая, по словам В. И. Ленина, «убила в Аристотеле живое и увековечила мертвое».

Учение Стагирита (так звали Аристотеля при жизни, сообщая этим прозвищем место его рождения — греческую колонию Стагир во Фракии) о кометах было как раз одним из его мертвых учений, мертвых и тем не менее очень долго не погребенных. Аристотель считал, что кометы подобно радуге (природу которой он объяснял абсолютно верно) имеют сугубо земное происхождение: различные испарения, поднимающиеся с поверхности планеты, образуют сгустки, которые при определенных условиях самовозгораются, превращаясь в кометы. Во время своих полулექций-полубесед в афинском Ликее Стагирит неоднократно подчеркивал, что кометы принадлежат «подлунному миру», иными словами, находятся где-то недалеко от нас, где-то между Землей и Луной.

Церкви не составляло большого труда в течение многих веков канонизировать эти Аристотелевы откровения. Огромные размеры кометных хвостов в сравнении с крохотными точками звезд действительно создавали иллюзию чего-то близкого — глаза обманывали мозг. А молва людская окончательно его туманила; ведь каждой комете непременно находилось объяснение: то засуха в Германии, то холода во Франции, то наводнение в Нидерландах — значит, действительно пары земные всему виной, значит, связь человеческих деяний с хвостатыми чудовищами небес не только возможна, но весьма вероятна. А значит... И далее идет бесконечный список, вполне достаточный для целой книги о кометных суевериях. Говорят, на ошибках учатся. Кометные мифы не могли ничему научить, потому что каждое появление любой кометы действительно соответствовало какому-то земному событию, и убедить, что события этих в человеческой истории куда больше чем комет, что сплошь и рядом подобные же события происходят безо всяких небесных предзнаменований, было невозможно: люди прежде всего верят в то, во что они хотят поверить.

Еще задолго до Аристотеля древние китайские астрономы составляли кометные гороскопы. Надо сказать, что эти ученья находились тогда в положении весьма слож-

ном, очень напоминающем положение наших современников, которых мы называем людьми засекреченными. Императорский указ совершенно категорически требовал: «...астрономам возбраняется всякое общение с прочими чиновниками и с простым людом». Да и как же можно допустить какое-либо общение, если людям этим известны были не только все события, в данное время происходящие, но и дела будущие! Ведь в древнем Китае небо — некое отражение земного миропорядка. Созвездия — это провинции, в которых можно разглядеть особенно яркие светила, символизирующие высшую власть, и менее яркие — власть, так сказать, областного и районного масштаба. Провинции эти общаются между собой, как и на Земле, посредством курьеров, кои и есть кометы, и наблюдать их движение следует особенно внимательно, поскольку все, происходящее там, в небесах, непременно повторится на Земле. Теперь ясно, что тот астроном наиболее искусен и полезен власть предержащим, который точнее сумеет прочесть будущее, анонсированное на небесах.

Первая запись о кометах, обнаруженная в китайских хрониках, сделана 4282 года тому назад — это древняя Греция эпохи ранней бронзы и Египет эпохи великих пирамид. Что касается кометы Галлея, то установить, какая из хроник впервые ее описывает, довольно трудно: нынешняя периодичность появления кометы могла за прошедшие тысячелетия измениться (и наверняка изменилась! Об этом разговор впереди). Так что отождествить древние записи с конкретными, нам сегодня известными кометами нелегко. В 1978 году китайский астроном Чан, вооружившись компьютером, проделал колоссальные по трудоемкости расчеты и пришел к выводу, что император Ву видел комету Галлея в 1057 году до нашей эры и посчитал это добрым предзнаменованием накануне схватки с Чжоу — главным своим соперником. Не всех астрономов удовлетворили расчеты Чана, и до последнего времени считается, что первое достоверное описание кометы Галлея сделано китайцами в 240 году до нашей эры.

«Это было,— повествует летописец Ма Дуаньинь,— в седьмом году правления Жэн-Вана — властителя царства Цинь. На востоке появилась комета, которая потом была видна на севере. В пятом лунном месяце (май. — Я. Г.) она блистала в течение шестнадцати суток на западе».

Седьмой год царствования Жэн-Вана — это время, когда шла первая из Пунических войн. Рим воевал с Карфагеном, в Спарте казнили царя Агиса IV, в горах Северной Африки шла гражданская война,— опять, как видите, одни несчастья...

Итак, 240 год до нашей эры чаще всего и является той печкой, от которой пляшут, описывая историю Галлеевой кометы. А история действительно под стать детективу. Ведь, по сути, большой разницы между хвостатыми курьерами древних китайцев и Аристотелевыми самовозгорающимися сгустками земных испарений нет: и там и тут в основе лежит взаимная связь небесного и земного. Только в Азии она была облечена в довольно разнообразные формы псевдонаучного предсказания будущего, а в Европе (впрочем, в Египте тоже) получила зловещую окраску символического предупреждения о неминуемой каре. А кого, за что и как карать — это уже детали, определяемые текущей политикой, насущными потребностями сегодняшнего дня, выражаясь современным языком

Плиний Старший, один из столпов античной истории, признается откровенно: «Комета есть, в общем говоря, звезда ужасная; она предвещает немалое кровопролитие, чему мы видели примеры в событиях, которые были во время консульства Октавия...» И снова: «Мы видели в войне Цезаря с Помпеем примеры страшных последствий появления кометы...»

Великий врач эпохи Возрождения Парацельс, один из образованнейших людей своего времени, считал, что кометы посылаются к Земле ангелами, чтобы предупредить людей о близкой смерти.

Через века Плинию и Парацельсу вторит человек мудрый, много на своем веку повидавший, казалось бы, к суевериям не расположенный,— Даниель Дефо. Автор бессмертного «Робинзона Крузо» был убежден, что появление кометы предвещало «...тяжкую кару, медленную, но суровую, ужасную и жуткую».

Коли уж такие люди, как Плиний, Парацельс, Дефо, так считали, что же с других-то требовать?! И что бы ни говорили всякие реалисты-материалисты, год от года в серых мозгах человеческого укреплялась вера: летит комета — жди беды. Ведь комета предсказала смерть императору Нерону. Историк Тацит пишет в связи с появлением кометы в 66 году нашей эры: «Начали говорить о том, кого избрать в преемники Не-

рону, как будто его уже свергли!» Другое дело, что Нерон сообразил: если комета требует именной жертвы, то вовсе не обязательно погибать самому! Можно ведь в честь такого события пожертвовать кое-кем из своих подданных, тем более что и придворный астролог Бальбилл считает вполне правомочной подобную замену, коли уж без жертв так и сжак не обойтись. А как Бальбилл мог по-другому считать? Как мог не поддакнуть? Ведь астролог — опаснейшая профессия! Скольких их приказал утопить в Тибре император Тиберий за печальные вести с неба, а ведь он в сравнении с Нероном просто добродушный либерал и деликатный вегетарианец.

Однако звезда горит, хвост сияет и требует действия. Нерон, убивший свою мать, двух жен и большинство ближайших родственников, то есть в вопросах кардинальных мероприятий по укреплению собственного благополучия человек опытный, принялся за дело с надлежащим размахом. Другой историк — Светоний — считал, что страх перед кометой избавил Нерона от всяких мук раскаяния, благо и раньше они ему не очень докучали. Светоний свидетельствует: «Нерон решил полностью истребить знать... Все дети осужденных были сосланы, а затем уморены голодом или отравлены». И Нерон спасся! Комета не сожгла его! А он Рим сжег, но это уже к астрономии отношения не имеет...

И другой пример: император Веспасиан, когда через 10 лет после самоубийства Нерона снова появилась комета, опытом предшественника пренебрег, отшучивался: «Эта волосатая звезда угрожает скорее не мне, а царю Парфянскому, так как он волосатый, а я совсем облысел». И дошутился: умер. Как считает греческий историк Дион Кассий, скончался исключительно от кометы. И император Константин — тоже. Да кто же как не кометы предсказали смерть и бича господнего Атиллы, и великого Магомета, и князя Олега, того самого, который мстил неразумным хозарам и для которого змея была лишь инструментом рокового приговора небес, и русского царя Ивана IV, и короля польского Болеслава I, и королей французских Людовика Благочестивого и Генриха II. И вовсе не удар в спину виконта Гидомара Лиможского, а именно комета погубила отважного Ричарда Львиное Сердце. Комета прервала жизнь просвещенного Фридриха II, а заодно и его главного врага — папы Иннокентия IV, который не мог простить ему, внуку великого Барбароссы, доверчивости к ересям ученых евреев и арабов, которыми окружил себя германский император.

Как было не встревожиться королю Гарольду II в 1066 году, когда в английском небе появилась комета, а все его шпионы в Нормандии слали депеши, что огромный флот Вильгельма Завоевателя готовится к походу. Комета предсказала: вторжение неминуемо. Хвостатую звезду везде считали покровительницей норманнов, и не зря ведь считали: Гарольд II пал в битве при Гастингсе, положившей начало новой эпохе английской истории. Через несколько лет жена победителя Матильда Фландрская в честь этого эпохального события выткала эпохальный 70-метровый холщовый гобелен, реликвию английского двора, который сумел не рассыпаться за почти тысячу лет, дожил до наших дней и известен всем любителям средневекового искусства как «гобелен из Байё». Есть на нем и ликующий Вильгельм, и вконец подавленный, бесильно сползающий с трона Гарольд, и толпа народа, указующего перстами в небо, по которому летит похожая на растрепанный веник комета. Историки астрономии считают, что это — первое известное нам изображение кометы Галлея

Замечена она была тогда повсеместно, запечатлена и на гобелене, и во многих хрониках. Тревоги английского короля разделял и киевский летописец Нестор, который так описывает божий бич 1066 года: «...было знамение на западе, звезда превеликая лучи имела как будто кровавые, восходила с вечера после солнцезаката и была 7 дней; потом были междоусобные войны и нашествия половцев на Русскую землю; когда бывает кровавая звезда, она всегда предвещает кровопролитие». Комета Галлея описана и в Лаврентьевской летописи за 1222 год, правда, без ссылок на кровопролития и с довольно дельными указаниями, где и как долго наблюдалась «звезда с лучом».

А вот как «Золотая легенда» повествует нам о событиях 1274 года: «За три дня до смерти Фомы Аквинского звезда с огромным хвостом появилась над доминиканским монастырем в Кельне В то время, когда Альберт Великий, окруженный монахами, ужинал, комета мгновенно побледнела и затмилась. Это быстрое ее исчезновение поразило Альберта. Он предчувствовал грядущую потерю и вскричал со слезами: «Мой брат Фома Аквинский, мой сын о Христе, отозван на лоно вечности!»

Как видите, и горит комета — плохо, и гаснет — тоже нехорошо...

Разумеется, во времена более милосердные и просвещенные в сравнении с годами Неронова разгула и Альбертова мистицизма монархи пытались отыскать иные ответные действия при появлении божьих гонцов с дурными вестями. В 1664 году большая комета очень испугала Париж. Заговорили о всемирном потопе. Монахи рекомендовали не медлить с передачей имущества монастырям, дабы столь богоугодное деяние зачлось на том свете. Казалось очевидным, что для Людовика XIV сочтены, но насмерть перепуганный король нашел в себе силы призвать ученых мужей из разных стран, чтобы выяснить, что же конкретно грозит французскому престолу, чего ждать и как обороняться. Ведь не поносить же эту комету отборной бранью, не грозить же ей пистолетом, как это делает его венценосный собрат Альфонс VI Португальский. Людовика несколько успокаивали слова мудрейшего из ученых мужей Пьера Гассенди, который писал: «Кометы действительно страшны, но только вследствие нашей глупости. Мы самым бескорыстным образом выдумываем предметы безотчетного страха и, не довольствуясь действительными своими бедствиями, прибавляем к ним еще воображаемые». Но Гассенди хорошо — он умер 9 лет назад, и еще неизвестно, что бы теперь сказал сей философ, когда огромный светящийся хвост завис над Лувром...

Астрономы съехались со всей Европы и как могли успокаивали короля. Комета вроде бы действительно пригласла, отлетала к немцам, и его величество обретал душевное равновесие, приличествующее монарху. Но надо ведь случиться: кометы словно преследовали Людовика XIV — в 1680 году снова явилась хвостатая предвестница несчастий, а с нею новая волна слухов и кривотолков. «...Двор сильно занят вопросом о том, не предвещает ли это блуждающее светило смерти какой-нибудь великой личности, — читаем мы в придворной хронике, — подобно тому как, по словам историков, была возведена таким образом смерть римского диктатора (Юлий Цезарь был заколот, разумеется, в связи с появлением кометы. — Я. Г.). Некоторые из храбрых придворных смеялись вчера над этим мнением. брат Людовика XIV, видимо, боявшийся, как бы не сделаться вдруг Цезарем, довольно холодно возразил на это: „Хорошо вам, господа, шутить: вы не принцы!“»

Но если теперь, вдоволь натешившись над коронованным невежеством, мы обратимся к нашему времени. озаренному светом атомных электростанций и озвученному громами космических ракет, то обнаружим, что скромная комета Перейры в 1963 году, по мнению некоторых наших современников, возвестила, что Джону Кеннеди не уйти от далласской пули, а маленькая комета Когоутека через 10 лет обратила взоры всего мира к скандалу в отеле «Уотергейт».

2

Продвигаясь вперед, наука непрестанно перечеркивает сама себя. Плодотворные зачеркивания...

Виктор Гюго.

Истина о кометах напоминает какую-то пещерную речку, которая то течет где-то в глубинах веков, то вдруг куда-то вовсе исчезает, то снова выныривает из небытия, пока наконец не выходит на поверхность и не разливается спокойно, принимая в себя новые притоки и ручьи.

Я говорил о заблуждениях Аристотеля, но справедливость требует сказать о прозрениях если не современников его, то мыслителей, исторически ему близких. Многие из них не принимали Аристотелеву гипотезу о самовозгорающихся в «подлунном мире» испарениях. Анаксагор и Демокрит считали, что кометы возникают при сближении планет и происходит это в мире «залунном». Пифагор тоже причислял кометы к семейству планет, как и Гиппократ, который полагал, что их не всегда можно разглядеть только потому, что они вращаются очень близко от Солнца. Ближе всех к истине подошел Сенека. Авторитет великого Стагирита, лишь укрепившийся за прошедшие после его смерти почти 400 лет, не испугал его. «Я не могу согласиться, что комета — это только зажженный огонь, это скорее одно из вечных творений природы, — писал Сенека. — Комета имеет собственное место между небесными телами... **сва**

описывает свой путь и не гаснет, а **только** удаляется. Не будем удивляться, что законы движения комет еще не разгаданы... придет время, когда упорный труд откроет нам скрытую сейчас правду... **Только** после долгого ряда поколений постигнут то, что мы не знаем. Придет время, когда потомки будут удивляться нашему незнанию простых, ясных и естественных истин».

Как хорошо сказано! И как верно написал Сенека о кометах! Вот вам прекрасный пример прозорливости древней науки! И сколько таких примеров! Левкипп и Демокрит писали об атомах. Но потом люди забыли о них, чтобы вновь открыть через многие века. Платон призывал искать в частных явлениях общие математические законы — этот совет тоже был потерян. Аль-Бируни говорил о системе мира с Солнцем в центре и планетами, обращающимися вокруг него. Коперник пришел к этому через 500 лет. То же и с кометами: поняли, знали, а потом забыли. Поняли, очевидно, очень давно, задолго до Сенеки. И знали, очевидно, больше, чем он знал. Есть убедительные доказательства того, что древние евреи понимали, что кометы периодически возвращаются к Земле. В Талмуде есть такие слова о комете Галлея: «Раз в 70 лет комета появляется и сбивает с толку корабельщиков». И арабы тоже что-то знали. Во всяком случае, они утверждали, что «кометы принадлежат не воздуху, а небесам». Эти знания пришли, очевидно, из Вавилона. И кто теперь скажет, откуда они пришли в Вавилон...

Знали и забыли. Словно проспали полтора тысячелетия. Проснулись и снова задумались: откуда же все-таки берутся эти самые кометы?

Талантливый немецкий астроном Иоганн Мюллер первый описал траекторию большой кометы 1472 года. Больше известно другое его имя, переключенное на латинский лад, — Региомонтан, так он значится в энциклопедиях. Отличный был наблюдатель и прилежный математик, но свои астрономические таблицы составлял он, исходя из системы мира Птолемея, где в центре была Земля, а не Солнце. Это были первые печатные астрономические таблицы, они лежали на столах в каютах Васко да Гамы, Христофора Колумба, Америго Веспуччи — Региомонтан помог людям открыть свою планету.

День за днем наблюдал он комету, рисовал положение хвоста, соотносил яркую бегущую звездочку с положением неподвижных звезд, пробовал вычислить траекторию ее движения, но не успел: папа Сикст IV оторвал его от работы, вызвал из Нюрнберга в Рим, хотел посоветоваться о реформе календаря. Едва поселившись в вечном городе, Региомонтан заболел и умер. Было ему 40 лет. Вычисления траектории кометы остались незаконченными.

Но дух сомнений в правоте Аристотеля уже витал в воздухе. Через сто один год после смерти Региомонтана, когда над Европой появилась новая яркая комета, вычислить ее путь в небе решил Тихо Браге — самый известный тогда астроном...

Колоритнейшая была личность. Сын влиятельного датского судьи, он по воле отца должен был стать юристом, но в 14 лет, когда учился в Копенгагене, в судьбу его вмешались силы небесные — затмение Солнца. Юноша был потрясен не столько самим явлением, сколько той точностью, с которой предсказали его астрономы. Среди войн и бунтов, мелкого дорожного разбоя и крупного придворного воровства, среди коварств союзов и измен, среди дипломатических предательств и супружеских обманов, среди всей зыбкости и непрочности жизни, временности, неточности, условности бытия существовало нечто вечное, незыблемое, прочное, не подвластное ничьим земным приказам и даже монаршей воле. В астрономии его пленила надежность. И он стал астрономом.

Жизнь Тихо Браге сначала была трудной. Богатые родственники от него отвернулись: дворянину не пристало снисходить до плебейских занятий звездочетов. Со всеми он переругался, да и то сказать, характер был не сахар, вздорный, вспыльчивый. Однажды в Росток за трактирным столом карточная колода выбила искры ссоры из подогретой вином компании, и первым вспыхнул Тихо: дуэль! В тот вечер ему отрубили саблей нос. Всю жизнь носил он металлический протез, в одних книгах пишут — золотой, в других — серебряный, но наверняка уродующий, придающий лицу дурацкий клоунский вид, и нос этот сделал Тихо еще более нервным и нелюдимым. Он путешествовал по Германии с маленькой походной обсерваторией, пока не прибило его ко двору датского короля Фредерика II, которого убедили, что способствовать чтению божьего промысла, начертанного звездами на своде небесном, есть дея-

ние, украшающее монарха. На маленьком острове Вен в проливе Эресунн король построил для Тихо Браге по современной терминологии целый научный городок — Ураниборг, город Урании, музы астрономии, с блестяще оборудованной обсерваторией, наблюдательными площадками, лабораториями, библиотекой, залами для приемов, садом для прогулок. Здесь, осыпанный королевскими милостями, и обосновался он на долгие годы. Женившись на простой крестьянке (новый вопль родственников!), он был плохим мужем, поскольку целиком поглощен был своими наблюдениями, отвлекаясь лишь на составление гороскопов, за которыми приезжали сюда со всей Европы люди, чье богатство было соизмеримо лишь с их невежеством. Здесь, в Ураниборге, и решил он заняться кометами.

Мысль Тихо Браге была проста: если Аристотель прав и комета находится действительно в «подлунном мире», ее положение среди звезд, наблюдаемое из разных точек, разнесенных на сотни километров, будет отличаться, как отличается положение Луны среди других небесных светил, наблюдаемой в одно и то же время в разных европейских обсерваториях. Но если разница эта будет малой или ее вообще не будет, значит, комета летит где-то очень далеко от Земли, наверняка дальше, чем Луна. Тихо проинструктировал своих учеников и оставил их в Ураниборге, а сам со своей походной обсерваторией отправился в Гельсинбург. Когда сравнили результаты наблюдений, оказалось, что Тихо Браге сокрушил Аристотеля. Эти данные, подкрепленные сведениями других европейских астрономов, убедительно доказывали: кометы не могут быть порождением Земли или других планет, это самостоятельные небесные тела, движущиеся независимо от них.

Независимо, но как? Подобно подоженным ракетам с огненным хвостом они летят по прямым линиям, пересекая орбиты планет. Летят и улетают навсегда. Так утверждал Иоганн Кеплер.

Кеплер читал лекции по математике и астрономии в Граце, пока новая волна католической нетерпимости не заставила его уехать в Прагу к Тихо Браге.

Дело в том, что после смерти своего доброго гения и покровителя Фредерика II в 1588 году хозяину Ураниборга пришлось туго. Придворные, окружавшие малолетнего наследника датского престола, измученные своеобразием и дерзостями человека с металлическим носом, потихоньку настраивали всемогущего мальчика против Тихо. Несколько лет он пытался расположить к себе молодого короля Кристиана IV, преподнес ему красивый глобус из позолоченной меди, но глобус не помог: специальная комиссия запретила наблюдения Тихо как «полные опасной любознательности». Теперь ему уже не до комет Браге уезжает сначала в Германию, а к 1600 году обосновывается в Праге Пути Кеплера и Браге пересеклись ненадолго: вместе они работали около года. Осенью 1601 года на многолюдном приеме у своего нового покровителя императора Рудольфа II Тихо, который больше всего боялся насмешливых взглядов и шепотков в спину, терпел за праздничным столом из последних сил и поплатился разрывом мочевого пузыря. Его могила в Праге в Тыньском соборе.

Да, Кеплер и Браге были вместе только год, но этот год видится сегодня необыкновенным узлом, в котором накрепко переплелись истина и заблуждения. Этот год стоит не просто на границе нового века, но на границе мрачных средневековых астрономических фантазий и радостных реалий мира Коперника.

Коперник умер за три года до рождения Браге. Вся научная работа датчанина шла, таким образом, под влиянием идей великого поляка, не мог он о них ничего не знать! Знал, конечно, но знал и другое: как встретила церковь гелиоцентрическую систему мира Коперника. Ведь сначала на эту работу особого внимания не обратили. Так, критиковали, возражали, высмеивали в балаганных комедиях. Лютер мрачно ворчал: «Этот дурак хочет перевернуть все астрономическое искусство...» Коперника проглядели, не заметили, как его великая «ересь» распозалась по всему миру. Книгу Коперника «Об обращении небесных сфер» внесли в список запрещенных книг «впредь до исправления» уже после смерти Тихо Браге. Но Тихо Браге чувствовал, что эта книга неудобная, слишком круто все меняющая, ломающая весь замечательно спокойный, умиротворенно-созерцательный мир его Ураниборга. Он наверняка понимал, что неподвижная Земля в центре мира — лишь красивая выдумка Птолемея, но признать Коперника, признать, что наша планета — рядовое небесное тело, а не избранный богом мир, значит поссорить Ватикан с Фредериком, лишиться королевских милостей. Он не сможет работать. Да, да, он не сможет закончить свои наблюдения,

а следовательно, учение Коперника — прав он или не прав — тормозит развитие науки! Надо спасать... Нет, не себя, конечно. Науку надо спасать.

Так легко было уговорить себя в роскошном замке на острове Вен...

Он создал свою ущербную модель мира — давно заросший, никуда не ведущий научный тупичок.

Коперник хотел, чтобы планеты вращались вокруг Солнца? Пусть вращаются. Но само Солнце со всем хором других планет будет у него вращаться вокруг Земли. Вот так лучше, так спокойнее...

Кеплер, когда они встретились в Праге (ему было двадцать девять, Браге — пятьдесят четыре), знал, что система датчанина уязвима, ибо она противоречит его собственным многолетним наблюдениям.

Кеплер прожил тяжчайшую жизнь, полную нищеты, болезней, никчемных обвинений, разрушающего душу убогого быта. Браге всю жизнь находил себе богатых покровителей. Кеплер всю жизнь не видел поддержки в своих начинаниях. О системе мира Коперника он узнал юношей, когда учился в Тюбингенской академии, от своего учителя Местлина. Не с кафедры, разумеется. Из личных доверительных бесед. И в первом своем большом сочинении «Тайны Вселенной» двадцатипятилетний Кеплер смотрит уже на мир глазами Коперника.

Как же прожили они этот год: желчный капризный метр и его замороженный, нищий коллега, изгнанный католикама, как говорят, сын колдуньи? Один создал мифическую систему мира и хочет, чтобы ему поверили, ибо доверие это, пусть даже неискреннее, позволит ему оправдаться за содеянное им. Нет, не перед Ватиканом, не перед императором — перед самим собой! Второй — нищий и зависимый — принять эту игру не может, ибо принять — значит, перечеркнуть все, что он сам написал, о чем сам думает! Вот она, «драма идей», о которой говорил великий физик Нильс Бор, драма, воистину достойная пера Шекспира, — он жил как раз в те годы...

Браге умер. Кеплер занял его место придворного астронома, и через несколько лет открылись ему великие истины — законы движения планет вокруг Солнца; три закона Кеплера учат сегодня во всех школах мира. Он понимал значение того, что сделал. Он писал: «Жребий брошен. Я написал книгу, мне безразлично, прочитают ли ее современники или потомки, я подожду, ведь ожидала же природа тысячу лет созерцателя своих творений».

В прямолинейный бег комет Кеплер уверовал отчасти еще и потому, что ему казалось оскорбительным даже в законах движения приравнять величественные миры Марса, Венеры, Юпитера и эти хвостатые космические ничтожества, которых, по его выражению, «в небе столько же, сколько рыб в океане». Но презрение Кеплера к кометам не могло перечеркнуть того факта, что наблюдения за ними, сделанные в 1607 и 1618 годах, опровергали его утверждение об их прямолинейном движении. Казалось, уже прижатый к стенке фактами, Кеплер, однако, сумел придумать остроумное тому объяснение. Кометы летят, конечно же, по прямой, утверждал он, но поскольку Земля сама движется по кривой орбите вокруг Солнца, нам кажется, что кометы летят по кривой. Под своих оппонентов Кеплер подвел мину замедленного действия: если они начнут спорить с ним, они как бы будут отвергать идею движения Земли. Это уже спор не с ним, а с Коперником, проклятым Ватиканом, но уже властно владеющим умами астрономов. Получалось, что спорящий с Кеплером о кометах — заведомо ретроград и консерватор, ах, сколько примеров подобных ловушек можно найти в истории науки. и не только науки! А тут еще Пьер Гассенди, философ, человек светлого ума, тот самый, который уговаривал Людовика XIV не бояться хвостатых звезд, тоже с упорством стал утверждать, что кометы, конечно же, летят только по прямой и никогда не возвращаются.

Мы теперь знаем, что это не так, и нас невольно несколько раздражает примитивизм мышления людей, столь щедро наделенных природой гениальными способностями. Но ведь, строго говоря, ничего такого уж дикого в утверждениях Кеплера и Гассенди нет. Почему бы кометам и не лететь по прямой? Разве в небе обязательно должно происходить некое «коловоращение»? Тогда почему мы сегодня принимаем, что по прямой летят к нам космические лучи, что по прямой прошивает земной шар всепроникающее нейтрино, что, наконец, галактики по прямой разбегаются от нас во все стороны? В общем, ничего возмутительно неправдоподобного в идее прямолинейного движения комет не было. И сокрушить эту идею было нелегко. И все-таки

оппоненты у Кеплера были. Уже после его смерти («Он умер от истомления, печали и бедности 58 лет...» — писал один из биографов Кеплера) польский астроном Ян Гевелий издал книгу «Кометография», в которой выдвинул свою гипотезу движения комет. По его мнению, линии их движения «никогда не бывают столь безупречно прямыми, как настаивают Кеплер и другие». Гевелий считал, что кометы — куски планет, вырванные из их тел. Поэтому форму они имеют необычную. Скорее всего, это не шары, а диски (наподобие некоторых видов гипотетических «летающих тарелочек» наших дней), и в зависимости от положения этого диска в пространстве прямые линии, по которым летят кометы, могут несколько загибаться к Солнцу. Гевелий много считал и чертил, и чем больше считал и чертил, тем больше запутывал весь этот вопрос. Астроном Георг Дерфель утверждал, что не правы оба — и Кеплер и Гевелий, а на самом деле кометы летают по параболическим кривым, в фокусе которых находится Солнце, но доказать это не мог...

Вот в таком запутанном и запущенном состоянии оказалось кометное хозяйство в конце XVII века, когда в него пришел Эдмунд Галлей.

Тихо Браге показал, что Аристотель заблуждался. Иоганн Кеплер показал, что Тихо Браге заблуждался. Теперь потребовался Эдмунд Галлей, чтобы показать, что Кеплер заблуждался тоже.

3

Чудесное пророчество есть сказка. Но научное пророчество есть факт.

В. И. Ленин.

Галлея называют прежде всего астрономом, а был он, старомодно выражаясь, естествоиспытателем — тем счастливец, который мог себе позволить интересоваться тем, что его интересовало, и каких немало было в XVII и в XVIII веках, и даже в XIX веке они еще были, но в наше время — плодотворной узкой специализации — уже перевелись.

Эдмунд Галлей родился в семье лондонского мыловара, человека зажиточного и довольно образованного. Во всяком случае, английский мыловар был просвещеннее датского судьи и понимал, что заниматься наукой не зазорно. Он поощрял юношеское увлечение сына астрономией, а когда тот в 17 лет поступил в Оксфорд, подарил ему 7-метровую астрономическую трубу, доставившую Эдмунду много счастливых минут. В 19 лет студент уже публикует первую серьезную астрономическую работу. Он уже исправляет и дополняет звездный каталог самого Тихо Браге, о нем уже говорят как о зрелом исследователе. Северное небо к тому времени было изучено европейскими наблюдателями довольно хорошо, и молодой Галлей просит короля Карла II об организации экспедиции за экватор, чтобы наблюдать южные созвездия. И вот он уже морской офицер, он уже командует небольшим военным кораблем «Парамор» и новые, неизвестные звезды горят над его головой, когда высаживается он на острове Святой Елены, ничем еще не знаменитом острове, печальная слава которого впереди..

Научную биографию Галлея, наверное, было бы правильно разделить на две неравные части. Первая, меньшая, часть — время молодое, веселое, когда ищет он сам себя, и за то берется, и за это, и все как-то легко, словно играючи у него получается. И приливы в Ла-Манше изучает, и карту мировых ветров со всеми муссонами и пассатами составляет, и чертит таблицы продолжительности жизни, и всякий раз в любой работе проявляет не только любознательное рвение, но, что того дороже, выдумку, находчивость, остроумие. Надо измерить площадь английских графств. Как? Фигуры на карте донельзя причудливые. Измерил одно, самое простое. Потом подумал и решил пожертвовать картой: все графства аккуратно вырезал, узорные эти бумажки взвесил на точных весах и сравнил с измеренной...

Ни влиятельных врагов у него нет, ни тайных завистников. Никто излишне демонстративно ему не протезирует, но и палок в колеса тоже вроде бы никто не сует. За два его путешествия за экватор где он 18 месяцев изучал южное небо, Оксфорд присудил ему ученую степень магистра искусств (какое замечательное время: астрономия еще причислялась к искусству!) — достойнейшее начало научной карьеры, и вот в 24 года вся эта его удачливая жизнь приостанавливается: на ровном и благополучном пути своем Эдмунд Галлей споткнулся о комету.

В 1680 году молодой англичанин оказывается в Париже как раз в то время, когда над французской столицей горит большая комета, та самая, которая, как вы помните, заставила брата Людовика XIV пожалеть о том, что он принц крови. Столь эффектное явление природы не могло не заинтересовать Галлея. Много вечеров проводит он на улице Риволи, где не столько смотрит в телескоп, сколько спорит с синьором Джованни Доменико Кассини, директором Парижской обсерватории, ради которой покинул он родину, оставил кафедру в Болонье и лишился расположения щедрейшего мецената маркиза Мальвазия в Панцано. Кассини — авторитет. Изучение Солнца, а затем Марса, Юпитера и, наконец, Сатурна с его загадочным кольцом снискало ему заслуженное уважение коллег. К моменту встречи с Галлеем он уже выдвинул гипотезу о строении этого кольца и открыл два спутника Сатурна, а через несколько лет откроет два других. Кассини на 31 год старше Галлея, но дело не в возрасте — они представители не только разных поколений, но разных научных эпох. Зоркий и опытный наблюдатель, Кассини по всему своему складу был ученым эпохи Тихо Браге. Правда, он не очень верил в астрологию, но и Ньютоном он тоже не очень верил, и Коперника принимал с оговорками, и Кеплера пытался поправлять. Он сделал много, но и ошибался предостаточно...

Эдмунд понравился ему неумной своей энергией, он отдал ему все свои изменения хвостатой небесной гостьи, но убедить Галлея, что комета эта летит не по прямой, а по орбите, близкой к Солнцу, никак не мог: молодой англичанин стоял на своем.

Парадокс этого спора заключается в том, что ошибались оба. Убежденный в правоте Кеплера, Галлей отстаивал идею прямолинейного движения комет, старался подогнать в своих расчетах цифры Кассини, у него ничего не получалось, он окончательно запутывался, но неудачи только пуще разжигали его азарт, он решил не отступать, пока не разберется с этими дьявольскими хвостатыми звездами.

Галлей, как теперь говорят, заиклился. Кометы овладели его мозгом. Он непрерывно думает о них — и в Париже и дома, когда вернулся в Айлингтон. В сентябре 1682 года над Англией снова видна яркая комета. Эдмунд только что женился, так не хочется ранним зябким утром вылезать из-под пуховика, подниматься в стылую обсерваторию, все инструменты такие холодные, что надо заставлять себя прикасаться к ним, но он встает, и идет, и день за днем измеряет путь кометы. Он еще не знает, что это — его комета, та самая, которую назовут его именем, которая обесмертит его...

Став в 1685 году помощником секретаря Лондонского королевского общества, Галлей знакомится со многими известными учеными, в том числе с самым замечательным членом этого общества Исааком Ньютоном и его заклятым врагом Робертом Гуком. Истинные причины их предельной неприязни понять Галлею было нелегко. Ньютон по своему обыкновению считал, что Гук его «обкрадывает». У Гука было много оригинальных работ. Он, например, открыл, что живые организмы состоят из клеток. Ему принадлежит и знаменитый закон Гука — закон упругости твердых тел, зерно, из которого проклюнулся сопромат. Все это вроде бы к Ньютоном никакого отношения не имеет, но именно в то время, когда молодой Галлей спорил на улице Риволи с Джованни Кассини, Роберт Гук пришел к выводу, что сила тяжести убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, — можно сказать, что он наполовину открыл закон всемирного тяготения Ньютона. Этого Ньютона Гуку простить уж никак не мог, допекал где только мог, используя подчас приемы недозволённые: злословил относительно роста Гука. Кстати, хрестоматийная фраза Ньютона о том, что он видел так далеко, потому что стоял на плечах гигантов, — это тоже, мне кажется, камешек в огороде Гука.

Галлей обсуждал с Гуком вопрос о кометных траекториях. И в беседе этой промелькнула мысль о том, что именно силы тяготения определяют в небесах пути комет. Знаменитый архитектор Кристофер Рен пообещал даже премию тому, кто докажет, что это действительно так. А как доказать? Галлей решил поговорить с Ньютоном. Вы представляете: поговорить с Ньютоном, который, конечно же, знал о его дружеских беседах с Гуком!

Человек угрюмый, замкнутый, как теперь говорят, некоммуникабельный, Ньютон был до предела издерган спорами по отстаиванию своего приоритета, в которых более всего повинен был сам, поскольку испытывал какую-то непонятную неприязнь к пуб-

ликациям, тянул время, стремился, чтобы открытия его «отлежались». Невольно создается впечатление, что Ньютон, очень высоко (и справедливо!) ставивший свою репутацию ученого, боялся конфуза. «Гипотез не измышляю» — таков был девиз Ньютона, который подчеркивал неоспоримость всех открывшихся ему истин мироздания. Неприязнь к гипотезам, ко всему, в чем можно хоть на миг усомниться, приводила к тому, что он словно ждал, чтобы кто-то другой пришел к тем же выводам, подтверждая его правоту. Но одновременно он требовал признания своего первенства. Совместить уединенное молчание с неоспоримым приоритетом было трудно — в этом корень всех его конфликтов и пререканий и с Гуком, и с Лейбницем, и с Гюйгенсом, и с Флемстидом — с кем он только не конфликтовал! Сам Ньютон от всей этой околонаучной возни мучился, писал с горечью: «Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо придется тратить все силы на защиту своего открытия...»

Вот к такому трудному человеку и пришел измученный кометами Галлей. Судя по всему, Эдмунд понравился Ньютону, как в свое время он понравился Кассини. Наверное, сын мыловара был при всех своих талантах еще и просто обаятельным, располагающим к себе молодым человеком. Во всяком случае, когда он робко задал вопрос о том, что, возможно, существует некий закон, определяющий взаимодействие тел за счет тяготения, ответ был ошеломительный. Кисло улыбаясь, Ньютон сказал, что закон такой действительно существует, он его открыл и уже сделал все необходимые расчеты, да вот не помнит, куда эту бумажку засунул...

Галлей вцепился в Ньютона мертвой хваткой: он понял, что этот странный угрюмый человек уже решил все мучившие его вопросы. И он был прав. Действительно, размышляя над своим великим универсальным законом, Ньютон, вновь являя миру прозорливость гения, записал о кометах: «Я склонен заключить, что они могут быть своего рода планетами, обращающимися по орбитам, которые в непрерывном движении повторяются вновь и вновь». Но об этом он не сразу сказал Галлею. Они встречались вновь и вновь, и раз за разом туман в голове Галлея рассеивался. Оказывается, в 1680 году Ньютон в Кембридже тоже наблюдал ту парижскую комету и тогда уже понял, что та комета, которая в ноябре приближалась к Солнцу, и та, которая в декабре удалялась от него, — одно и то же небесное тело.

С трепетным восторгом слушал Галлей признания знаменитого ученого. Он понимал, что в этой скромной комнате Тринити-колледжа рождаются великие, всемирные истины. Он оглядывал беспорядочные нагромождения книг, бумаг, каких-то приборов, инструментов, линз и понимал, что это, быть может, самые большие сокровища, существующие сегодня на земле. Сокровища хрупкие, почти бестелесные, которые может погубить проголодавшаяся мышь, опрокинутая чернильница, промокший потолок, пламя канделябра. И случилось, они погибали! В 1692 году любимый песик Ньютона Алмаз опрокинул свечу на кипу рукописей, и все сгорело дотла. Ньютон тогда был на грани психического расстройства, не мог работать...

Галлей умолял Ньютона привести в порядок и систематизировать свои записи по закону всемирного тяготения. Тот нехотя соглашался. Активность Ньютона несколько возросла, когда Галлей сказал ему, что «Математические начала натуральной философии» — так назвал Ньютон свой классический труд — он, Галлей, собирается издать на собственные деньги. Доходы Ньютона тогда значительно превосходили доходы Галлея, но что делать? Ко многим качествам, не украшающим гения, приходится, увы, добавить еще и некоторую скарденность...

Участие Галлея в делах Ньютона еще больше их сближает. Сегодня в некоторых книгах Галлея называют даже учеником Ньютона, но если верить тому, что мы знаем о характере великого ученого, вряд ли допустимо предположить, что у него могли быть ученики. Так или иначе, воодушевленный долгожданнами откровениями Ньютона Галлей решает проверить идею метра. Ведь если кометы летают по неким очень вытянутым орбитам, то они время от времени должны приближаться к Солнцу и к Земле, орбита которой в сравнении с кометной не столь уж далека от нашего дневного светила. А раз так, надо посмотреть, нет ли какой-нибудь временной закономерности в появлении комет

И Галлей приступает к титаническому труду — начинает вычислять орбиты комет, согласуясь с данными астрономических летописей. Астроном превращается в историка. Он анализирует хроники начиная с 1337 года и, затратив уйму времени, отбирает достоверные, по его мнению, сведения о кометах. «Следуя по стопам великого ума, я приступил к приспособлению его геометрического метода к арифметиче-

ским вычислениям орбит комет,— писал Галлей,— и труды мои были не напрасны. Собрав отовсюду наблюдения комет, я составил таблицу, плод обширного и утомительного труда, небольшую, но небесполезную для астрономов».

Для того чтобы вычислить хотя бы одну орбиту, необходимо знать не менее трех положений кометы среди звезд и точное время этих положений. В его «небольшой, но небесполезной» таблице 24 кометы. Сначала показалось, что он нашел ту самую, парижскую, которую они с Ньютоном наблюдали на разных берегах Ла-Манша. Галлей почти уверен, что она была в небе в 44 году до нашей эры — сразу после убийства Цезаря, потом в 531, в 1106 и вот, наконец, в 1680 году. Ньютон рассеянно просмотрел его расчеты и согласился. Галлею очень нужен был сейчас трезвый, критичный, ничего не принимающий на веру мозг Ньютона. Но гениальный ученый именно в это время — в конце XVII века — впадает в тяжелую депрессию. Он как-то туго соображает, отключается от мысли, слушает, думая о другом, и не поймешь, слышит ли вообще. Существует предположение, что Ньютон в это время отравился парами ртути. Он увлекся алхимией и с упорством, достойным гения, дни и ночи проводит в лаборатории, пытаясь святезировать золото. Эксперименты с ртутью, а также с другими ядовитыми веществами — свинцом, мышьяком, сурьмой, — которыми он постоянно пользовался, действительно могли вызвать отравление, медицинские симптомы которого близки с описаниями его состояния современниками. Ньютон был плохим помощником в это время. И с расчетами парижской кометы зря он согласился — там была ошибка...

Потом Галлею показалось, что он нашел еще один период: комета 1532 и 1661 годов — не одна ли и та же? Но и эта версия оказалась ложной. И наконец еще одна, та самая, что вытаскивала его из-под пуховика в Айлингтоне. «Довольно многое заставляет меня думать, — пишет Галлей, — что комета 1531 года, которую наблюдал Апиан, была тождественна с кометой 1607 года, описанной Кеплером и Лонгомонтаном, а также с той, которую я сам наблюдал в 1682 году. Все элементы сходятся почти в точности, и только неравенство периодов, из которых первый равен 76 годам 2 месяцам, а второй 74 годам 10,5 месяцам, по-видимому, противоречит предположению о тождестве, но разность между ними не столь велика, чтобы ее нельзя было приписать каким-либо физическим причинам. Мы знаем, что движение Сатурна так сильно возмущается другими планетами, особенно Юпитером, что время его обращения известно лишь с точностью до нескольких дней. Насколько же больше должна подвергнуться таким влияниям комета, уходящая от Солнца почти в четыре раза далее Сатурна! Поэтому я с уверенностью решаюсь предсказать ее возвращение на 1758 год».

Так он поставил на карту — на звездную карту — свое доброе имя. Нужна особая интеллектуальная отвага, чтобы делать предсказания в науке. Для этого надо хорошо знать и крепко верить. Великими пророками в астрономии были Джордано Бруно и Галилео Галилей, Николай Коперник и Иоганн Кеплер. Трудно предсказать ход небесных светил, но еще труднее предвидеть прогресс в тех областях знаний, которые зависят не только от объективных законов природы, но и от субъективной человеческой воли. Вот почему так ценны замечательные пророчества великих русских ученых Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Константина Циолковского, Владимира Вернадского — замечательных ученых и замечательных патриотов.

Эдмунд Галлей тоже был патриотом. После его смерти нашли страничку, написанную его рукой, и были там такие слова: «...если в согласии с тем, о чем мы говорили, она вновь вернется около 1758 года, честное и беспристрастное потомство не откажется признать, что первым это открыл англичанин». Он хотел, чтобы будущая слава его досталась родине. И хорошо, что мы сегодня помним о его словах, что мы не забыли: Галлей — англичанин...

Он понимал: маловероятно, чтобы судьба позволила ему прожить 102 года и пережить... Что? Триумф или разочарование? Он верил в триумф! Если период обращения этой кометы действительно 76 лет, то не так уж много людей, которые видят ее два раза в жизни. Увы, он не окажется среди этих счастливых. Спасибо уже за то, что он видел свою комету тогда осенью в Айлингтоне, когда было ему 26 лет, и была молодость, и любовь была, и вся жизнь, казалось, еще впереди...

Королевский астроном Эдмунд Галлей, директор Гринвичской обсерватории, умер 14 января 1742 года на 86-м году жизни. Галлей умер, а предсказание осталось жить...

Если мы расположим науки по предмету их занятий, то первое место отведем той, которую одни называют астрономией, другие астрологией, а многие из древних — завершением математики. Эта парца наук, наиболее достойная свободного человека, опирается на все отрасли математики. И если все науки возвышают дух человеческий, то больше всего это свойственно астрономии, не говоря уже о величайшем духовном наслаждении, связанном с ее изучением...

Николай Коперник.

Придет или не придет? Придет — значит, подчинится человеческому разуму, значит, сделан новый шаг, утверждающий познаваемость окружающего мира.

Ученые очень хотели, чтобы комета пришла. Они не просто ждали ее, они стремились уточнить предсказание Галлея. Ведь разница в периодах, как он сам отмечал, составляет около 16 месяцев, и если комета не придет в 1758 году, тут же посылаются обвинения в неточности, условности, шуточки о гадалках, короче, будет скомпрометирован сам научный метод.

К середине XVIII века сильная астрономическая школа образовалась во Франции. Именно французы и взялись за нелегкую работу: вычислить возмущения, которые может претерпеть орбита кометы в результате влияния планет — главным образом планет-гигантов: Юпитера и Сатурна. Возглавил группу энтузиастов Алексис Клод Клеро.

Клеро был математиком-вундеркиндом. В 12 лет он уже написал исследование алгебраических кривых четвертого порядка, в 18 был избран адъюнктом Парижской Академии наук, а в 25 стал ее академиком. Человек необыкновенной энергии, он не был похож на классических кабинетных математиков. Накануне избрания в академию он уезжает в Лапландию: хочет измерить там дугу меридиана. В 30 лет он автор классического труда «Теория фигуры Земли, основанная на началах гидростатики». В 1751 году он получает премию Петербургской Академии наук за работу по движению Луны, где как раз учитывались возмущения, виновником которых было Солнце. Уточнить Галлея, решить новую, еще более сложную задачу представлялось Клеро очень заманчивым. Он начал работать, но быстро понял, что в сроки, ему отведенные Эдмундом Галлеем, решить эту задачу не успеет: слишком много надо было вычислять. Он увлек своими идеями двадцатипятилетнего Жозефа Лаланда, который, хоть и не был вундеркиндом, в 21 год был избран академиком за блестящие работы по изучению Луны и планет. Наконец, помощницей Клеро стала готпожа Лепот — жена парижского часовщика. Часовщики в то время были механиками экстра-класса и ценились выше нынешних докторов наук. И жену себе парижский часовщик нашел тоже незаурядную. Госпожа Лепот была широко известна своими математическими способностями, уже одно это сразу выделяло ее среди тогдашних представительниц слабого пола. О ней восторженно писал уже упомянутый в начале нашего рассказа Камиль Фламмарин, который, впрочем, напутал, назвав ее Гортензией и придумав красивую легенду, что именно в ее честь был назван экзотический цветок, привезенный французским астрономом Лежантием из Индии. Фламмарин фантазировал: госпожу Лепот звали не Гортензия, а Николь, цветок привез не астроном Лежантьиль, а ботаник Комерсон, и не из Индии, а из Японии.

Вот эта талантливая тройца и решила узнать точный путь кометы, которая, по словам Клеро, «сделалась предметом более живого интереса, чем обыкновенно обнародуется публикой к астрономическим вопросам».

На карту был поставлен не только престиж Галлея, но в какой-то степени и авторитет Ньютона. Несмотря на то, что прошло три десятилетия со дня смерти великого ученого, который и при жизни почитался как великий, закон всемирного тяготения еще не был безоговорочно признан ученым миром и нередко причислялся не к фундаментальным законам мироздания, а, скорее, к красивым, но весьма фантастическим гипотезам. Поэтому результаты трудов парижской тройцы выходили за рамки спора, прав или не прав Галлей, имели для своего времени принципиальное, мировоззренческое значение.

«Шесть месяцев, — вспоминал потом Лаланд, — мы вычисляли с утра до ночи, иногда даже не отрываясь для еды и следствием этого было то, что я расстроил свое здоровье на все остальные дни моей жизни. Помощь госпожи Лепот была такова, что

без нее мы никогда не осмелились бы предпринять этот громадный труд, состоявший из вычислений расстояния кометы от двух планет — Юпитера и Сатурна — для каждого градуса небесной сферы в течение 150 лет...»

Они почувствовали, что не успеют закончить свои вычисления к сроку. Если комета появится до того, как они получат свой результат, все будут подозревать их в подтасовке, да и вообще работа потеряет всякий смысл. Клеро настоял на упрощенном варианте расчетов, убеждая своих коллег, что лучше пожертвовать точностью, чем предсказать явление кометы, когда в ее существовании уже все смогут убедиться и безо всяких предсказаний. 15 ноября 1758 года Клеро представил Парижской Академии наук результаты многомесячных вычислений. (По другим данным — в октябре.) Расчеты трех математиков показывали, что Юпитер «притормозит» комету примерно на 518 суток, а Сатурн увеличит опоздание ее свидания с Солнцем (и Землей) еще на 100 суток. Таким образом, комета должна пройти точку перигелия, то есть приблизиться к Солнцу на минимальное расстояние, 13 апреля 1759 года, после чего начать обратный путь, от Солнца. Клеро предупредил, что некоторые упрощения в расчетах допускают ошибку в пределах месяца.

Теперь надо было ждать. Ждать и искать! Астрономов охватил какой-то спортивный азарт: кто же первый увидит летящую к Земле комету? Жажда славы лишила покоя честолюбивого ассистента директора Морской обсерватории Шарля Мессье. Два года с рвением необычайным буквально каждую ночь проводил он за телескопом. Его шеф директор обсерватории Жозеф Делиль был первым академиком-астрономом только что учрежденной Петербургской Академии наук. Человек авторитетный и осторожный, Делиль не рекомендовал Мессье торопиться с сообщением, что 21 января 1759 года ему удалось разглядеть, возвращающуюся комету Галлея. Мессье не мог послушаться директора. Слишком многим он был ему обязан. Человек без образования, Мессье начинал чертежником и переписчиком черновиков Делиля, благодаря поддержке директора освоил технику астрономических наблюдений, научился работать с инструментами. Пройдет несколько лет, и Мессье прославится как искусный «ловец комет», обнаружив 14 хвостатых звезд, сам станет директором обсерватории, академиком, но тогда, в 1759 году, с кометой Галлея ему не повезло. В отчаянии читал он сообщение из Дрездена: Иоганн Георг Палич, тридцатипятилетний крестьянин из окрестной деревушки, астроном-любитель, пренебрег усадями рождественского праздника и в ночь на 25 декабря 1758 года разглядел в созвездии Рыб летящую к Земле комету. Это открытие сделало безвестного крестьянина знаменитым. Его принимали особы самого высокого ранга, прельщали сытыми придворными должностями, но он остался простым крестьянином и после смерти был вознагражден памятником в родной деревне.

С каждым днем комета становилась все ярче и ярче, и уже не нужен был никакой телескоп, чтобы разглядеть ее. В середине февраля 1759 года она скрылась в вечерних сумерках, чтобы в апреле вновь явиться в предрассветные часы. Через перигелий комета прошла 13 марта 1759 года — это был триумф Клеро и его друзей: ошибка в их расчетах действительно почти не превышала месяца — 32 дня.

«Что значит 32 дня по сравнению с периодом в 75 лет!» — воскликнул ликующий Лаланд. Парижский астроном Жак Бламон назвал подтверждение природой расчетов математиков «самым важным событием в истории науки».

И действительно, это была большая победа астрономии, одна из тех побед, которые резко двигают вперед человеческое сознание, поскольку даже самый невежественный и предубежденный человек не может не задуматься в дни торжества таких побед над величайшей силой знания.

«Комета принесла первое безусловное подтверждение универсальности закона всемирного тяготения и могущества разработанных к тому времени методов небесной механики, — писал известный советский астроном и специалист по кометам профессор Сергей Константинович Всежвятский. — Эта знаменитая в истории человечества комета по праву получила имя Галлея».

Да, теперь эту комету окрестили: отныне она стала называться кометой Галлея. Теперь уже никто не сомневался, что еще через 76 лет она снова придет к Земле, и путь ее измерялся всеми астрономами весьма тщательно, чтобы возможно точнее предсказать ее новое появление.

И вот прошло 76 земных лет, равных одному году кометы Галлея, давно уже умерли и Клеро, и Лаланд, и госпожа Лепот, и астрономы снова объявили негласное

соревнование в точности своих расчетов. К этому времени великий астроном Вильям Гершель открыл еще более далекую, бегущую за Сатурном планету Уран, и влияние ее на путь кометы тоже надо было учитывать, что еще более усложняло вычисления.

Соревнование астрономов началось, конечно, не в 1835 году, а много раньше. Парижский астроном Дамуазо засел за расчеты уже в 1816 году и через несколько лет работы назвал дату прохождения перигелия — 4 ноября. Его коллеги получали другие, но тоже близкие числа: Розенбергер — 12 ноября, Леман — 24 ноября, Понтекулан — 7 ноября. Потом, уточнив массу Юпитера, Понтекулан пересчитал все снова и объявил новую дату — 15 ноября.

И снова все ждали и искали. На этот раз первым 5 августа 1835 года отыскал в небе комету Галлея директор Римской обсерватории Дюмушель. Однако другие астрономы ее не видели. 20 августа, когда, судя по расчетам, комету можно было разглядеть в северных широтах, ее увидел в Дерпте академик Петербургской Академии наук Василий Яковлевич Струве. За два года до этого он вошел в специальную комиссию по созданию знаменитой Пулковской обсерватории, директором которой он позднее был в течение 23 лет и которую оставил лишь за два года до смерти, находясь в весьма преклонном возрасте. Струве известен и как родоначальник целой династии знаменитых астрономов: Отто, Герман, Людвиг и еще один Отто Струве — правнук Василия Яковлевича.

Астрономическая техника 1835 года уже позволяла разглядеть некоторые детали строения хвостатой звезды. Наблюдая ее день за днем, Василий Яковлевич видел, что комета все время изменяется. Все яснее можно было разглядеть маленькое яркое ядро, окутанное туманным облаком, так называемой комой. Длинный хвост кометы тоже изо дня в день менял свое положение, но всякий раз был направлен точно в противоположную от Солнца сторону. Особенно повезло Василию Яковлевичу безоблачной ночью 17 сентября. Он увидел вдруг, что голова кометы неминуемо наползает на одну из звезд. Раз так, свет звезды, прикрытой кометой, должен ослабнуть, и по ослаблению блеска можно будет оценить плотность вещества в кометной голове.

Но никакого пригасания звезды он не обнаружил. Свет проходил через облако комы так, словно это прозрачайшее стекло. В течение двух часов, со всей тщательностью настроив свою аппаратуру, Струве пытался обнаружить хотя бы незначительное преломление света звезды при его прохождении через голову кометы. Но и преломления обнаружить тоже не удалось. Свет от звезды шел так, как будто на его пути и не было никакой кометы. Струве пришел к выводу, который и сегодня, 150 лет спустя, разделяется всеми астрономами: вещество в голове кометы находится в крайне разреженном состоянии, а ее твердое ядро ничтожно мало по своим размерам.

Комета прошла перигелий 16 ноября 1835 года. Понтекулан получил премию за то, что в своих вычислениях ошибся лишь на сутки. Впрочем, и Дамуазо, и Розенбергер тоже были премированы. Продолжая научную эстафету Клеро, еще через 75 лет англичане Ф. Коуэлл и А. Кроммелин, уже зная, что за Ураном есть еще Нептун, который тоже вносит свои поправки в движение Галлеевой кометы, сократили время ошибок в своих вычислениях до трех часов. Сегодня счет идет уже на минуты. Американский астроном Дональд Йоманс подсчитал, что на этот раз комета Галлея в результате «коррекции» Юпитера придет к Солнцу 9 февраля 1986 года на 8 часов 36 минут раньше, чем указывалось в предыдущих расчетах, а именно: в 14 часов 39 минут по московскому времени.

Но вернемся в год 1835-й. Вместе с В. Я. Струве комету наблюдали многие европейские астрономы. Среди них был и уже весьма маститый и авторитетный ученый из Кенигсберга Фридрих Вильгельм Бессель. Кометы давно его интересовали. Сын мелкого чиновника из маленького саксонского городка Миндена, он начинал как астроном-любитель и, совсем еще молодым человеком увлекшись кометами, в 1804 году сам вычислил орбиту кометы Галлея. Теперь, наблюдая ее воочию, Бессель приходит к выводу, что ядро кометы состоит, очевидно, из льда. Человек осторожный, немецки пунктуальный, Бессель, собственно, слово «лед» нигде не произносит, но оно читается между строк в его статье, опубликованной на следующий год после явления кометы. «...я не вижу никаких трудностей в предположении,— пишет он,— что кометы состоят из частей, которым не хватает лишь немного тепла... обладание которым необходимо им, чтобы стать летучими».

Итак, если визит кометы Галлея 1759 года стал триумфом вычислителей, побе-

дой Галлея и Ньютона, то следующий ее визит, в 1835 году, благодаря наблюдениям Струве, Бесселя и других ученых значительно увеличил наши знания о природе этой кометы и комет вообще. К 1910 году, следующему свиданию землян с кометой Галлея, узнали еще больше.

Еще в XVI веке профессор математики в немецком городке Ингольштадте на Дунае Петр Апиан, наблюдая за кометой Галлея в 1531 году, пришел к выводу, что направление кометного хвоста зависит от положения Солнца. Отмечали это и другие астрономы. Бессель видел, что из головы кометы вырываются струи вещества, и считал, что это происходит под влиянием солнечного тепла. Он построил теорию строения кометной головы, вполне объясняющую вид кометы Галлея, но не всегда пригодную для других комет.

Вряд ли маленький Федя Бредихин, которому было всего 4 года, когда прилетала комета Галлея, запомнил ее. Он родился и до 14 лет жил в Николаеве. Отец его был потомственным военным моряком, и Феде, как говорится, на роду были написаны земные океаны. Он выбрал пятый океан — небо. Окончив Ришельевский лицей в Одессе, юный Бредихин поступает в Московский университет, страстно увлекается астрономией, сдает экзамены на магистра, сам начинает читать лекции. В 34 года он защищает докторскую диссертацию «Возмущения комет, не зависящие от планетных притяжений» и становится профессором Московского университета, которому он оставался верен всю свою жизнь. Став директором университетской обсерватории, Федор Александрович Бредихин занялся совершенствованием теории Бесселя и создал собственную, для своего времени наиболее совершенную теорию процессов, происходящих в кометах — «механическую теорию кометных форм», — и классифицировал типы кометных хвостов — эта классификация дожила и до наших дней. По Бредихину, хвост кометы двигался от Солнца благодаря действию его отталкивающих сил. Через 5 лет после смерти Бредихина его университетский коллега профессор физики Петр Николаевич Лебедев в своих блестящих экспериментах обнаружил, что свет давит на газы, что сразу объясняло, почему хвосты комет направлены всегда в сторону, противоположную Солнцу. Не перечисляя всех астрономических побед в период между двумя визитами Галлеевой кометы — 1835 и 1910 годов, — назвав только две работы наших выдающихся соотечественников, можно представить себе, что за это время наука далеко шагнула вперед. И в нашем рассказе, и в жизни каждое возвращение кометы Галлея к Земле давало астрономам повод подвести какие-то итоги, сравнить сегодняшние возможности со вчерашними, реально оценить прирост астрономических знаний за три четверти века. При Клеро мир Солнца был ограничен Сатурном. Во время визита 1835 года уже знали о существовании Урана. В 1910-м при расчетах траектории уже учитывался Нептун. Наконец, точность сегодняшних предсказаний объясняется тем, что ЭВМ позволяют учитывать влияние всех планет Солнечной системы, включая невероятно далекий маленький Плутон, открытый только в 1930 году. Комета Галлея как бы говорит нам: посмотрите, как меняется мир за то, в общем-то, короткое время, которое мы не виделись...

Да, мир человеческих знаний меняется куда быстрее, чем мир человеческих предрассудков. Казалось бы, к моменту появления кометы в 1910 году весь ореол таинственности, вся леденящая душу мистика, все «знамения», мучившие римских императоров и французских королей, должны были бы отойти в прошлое. Но именно 1910 год породил небывалую волну кометных страхов. Тому, правда, есть некоторые объяснения.

Нам с вами крупно не повезло: по мнению астрономов, за все исторически обозримые времена комета Галлея еще не предстала перед Землей в столь неприглядном и маловыразительном виде, как в 1985 — 1986 годах. Внешний вид кометы на небе, ее яркость, длина хвоста зависят от взаимного положения Солнца, Земли и кометы и в первую очередь — от расстояния между Землей и кометой. Подсчитано, что самое эффектное зрелище кометы Галлея наблюдали наши далекие предки в 837 году, когда она подходила на минимальное расстояние к нашей планете — чуть более 3,8 миллиона километров. Нашим дедушкам и бабушкам, папам и мамам и даже редким счастливицам среди нас самих в 1910 году тоже повезло: комета прошла сравнительно близко от Земли — 22,5 миллиона километров. Гигантский ее хвост перечеркивал полнеба. Зрелище было весьма впечатляющим. Для сравнения: минимальные расстояния между Землей и кометой Галлея при подлете к Солнцу и при отлете от Солнца в 1985 —

1986 годах составят соответственно чуть меньше 93 и 63 миллионов километров. В годы великих противостояний даже далекий Марс и тот подходит к нам ближе.

Итак, в 1910 году комета действительно сияла в небе во всей своей красе, что уже настораживало обывателя. Его волнение возросло во сто крат, когда астрономы подсчитали, что 18 мая, уже на отлете, комета Галлея, словно помедом, пройдет своим хвостом по Земле. И напрасно те же астрономы уверяли, что ничего страшного не произойдет, — им никто не верил. К тому времени в астрономии уже применялись спектрографические методы исследования и было известно, что в хвосте кометы присутствуют молекулы циана, угарного газа и других малоприятных соединений. Этого было достаточно, чтобы предсказать конец света. Кто-то из весельчаков астрономов пустил слух, что опасен не циан, а закись азота — «веселящий газ», который тоже обнаружен в хвосте и который заставит всех землян плясать и прыгать до полного изнеможения. И этому поверили! «Погибнет ли Земля в текущем году?» — такой или подобные заголовки украшали газеты 1910 года. Но это еще, как говорится, цветочки. В одном из мартовских номеров газета «Голос Самары» опубликовала репортаж, в котором рассказывалось, как один монах торговал в городе листовками такого содержания:

«Заклятие против встречи с Галлеей.

Ты, черт, Сатана, Вельзевул преисподний! Не притворяйся звездой небесной! Не обмануть тебе православных, не спрятать хвостища Богомерзкого, ибо нет хвоста у звезд Господних! Провались ты в тартарары, в печь огненную, в каадезь губительную!..» И так далее. Ну, Самара — провинция. Однако в редакции «Русских ведомостей» подумали и решили этот репортаж перепечатать...

В мае, накануне «столкновения» Земли с хвостом кометы, всеобщее волнение достигло апогея. Газеты публиковали душераздирающие сообщения из различных уголков земного шара.

«Вена. Венские астрономы убеждены, что завтра хвост кометы заденет Землю. Среди населения, особенно в провинции, паника. Многие запасаются кислородом. Были случаи самоубийств от страха».

«Тегеран. Четверг персы ожидают с ужасом. Местные доморожденные астрономы объявили, что 19 мая наступит конец мира. Многими вырыты глубокие ямы».

«Мадрид. Население Испании ожидает появления кометы с большим беспокойством. По ночам на улицах городов и селений толпится народ. В церквях совершаются молебствия. Многие посещают церкви, исповедуются и каются в грехах. Печать отмечает чрезвычайное развитие самоубийств и объясняет это страхом перед кончиной мира. Суеверное население горных областей Испании ожидает комету в паническом страхе».

В Оклахоме, например, едва удалось спасти девушку, которую готовились принести в жертву хвостатой звезде члены секты «Святые последователи»

Всякое смятение умов непременно позволяет людям предприимчивым погреть руки. Копеечное заклинание самарского монаха — это, как говаривал Остап Бендер, низший класс. Повсюду началась бойкая торговля «патентованными» «противокометными таблетками», «космическими противогАЗами» и «болидными громоотводами». И покупали! Вот как пишет уже в наши дни о том времени известный американский научный журналист Томас О'Тул: «Тысячи людей прощались со своими близкими и друзьями. Люди обращались к врачам с просьбой дать им противоядие от отравляющих газов, которые, как думали, должны были окутать Землю. В церквях круглосуточно шла служба. Школьники оставались дома, а тысячи рабочих не выходили на работу. Фермеры снимали громоотводы, чтобы они не притянули электрических разрядов. Шахтеры в Пенсильвании и рабочие на серебряных рудниках в Колорадо отказались спускаться под землю из страха оказаться засыпанными. А в Виргинии, Западной Виргинии и Кентукки люди переселялись из домов в пещеры, чтобы избежать гнева кометы». С улыбкой взирая на панику, охватившую его соотечественников, Марк Твен сказал: «Я пришел в этот мир вместе с кометой Галлея. (Твен родился в год кометы, в 1835-м.— Я. Г.) Очень скоро она опять вернется, и я думаю уйти вместе с нею. Это было бы самым большим разочарованием в моей жизни, если бы мне не удалось исчезнуть вместе с кометой Галлея»... Все думали, что великий юморист шутит, как всегда, но Марк Твен умер на следующий день после того, как комета прошла перигелий...

Тревоги землян пробовали унять астрономы. В России с разоблачением гряду-

щих кометных ужасов выступали многие известные ученые: С. К. Костинский, К. Д. Покровский, известный библиофил Н. А. Рубакин, будущий почетный академик «шлиссельбуржец» Н. А. Морозов и другие. Уже упомянутый здесь Камиль Фламарион убеждал своих читателей, что «земной шар пролетит через хвост кометы, как пушечная бомба пробивает на лету тучу комаров». Если быть крючкомвором, то надо признать, что Фламарион не точен: комары оказали бы большее воздействие на пушечное ядро, чем оказал хвост кометы Галлея на земной шар, поскольку даже на высоте 150 километров плотность земной атмосферы в несколько миллиардов раз больше плотности кометного хвоста, а комары как-никак — это нечто вполне осязаемое.

Комета промчалась, хвостиком махнула и... ничего не случилось. Не было ни смертоносных газов, ни метеорных бомбардировок. В земной атмосфере не удалось обнаружить никаких следов кометного хвоста. Возможно, их удалось бы «отловить» в более высоких слоях с помощью высотных геофизических ракет, но, увы, ракеты тогда еще не умели летать в стратосферу.

Однако и без ракет в 1910 году удалось узнать о комете Галлея немало интересного. Отсутствие следов в атмосфере подтверждало крайнюю разреженность вещества кометного хвоста. В тот же день, когда хвост, который всегда направлен от Солнца, утратился в земную атмосферу, ядро кометы для земного наблюдателя, как легко себе представить, проецировалось на солнечный диск. Астрономы поспешили этим воспользоваться. Окруженное туманной дымкой испарений ядро нелегко было разглядеть на темном небе. Теперь, когда комета подсвечивалась Солнцем, надеялись, что в его мощных лучах удастся разглядеть черное пятнышко твердого, непрозрачного для солнечных лучей ядра. Но ничего разглядеть не удалось. Существует крылатая фраза о том, что в науке и отрицательный результат тоже результат. Поиск ядра кометы Галлея в 1910 году — прекрасный тому пример. Зная расстояние от Земли до кометы и разрешающую способность своих телескопов, московские астрономы В. К. Цераский и П. К. Штернберг (знаменитый революционер, именем которого назван Астрономический институт при МГУ) легко вычисляли, что по своим размерам ядро, коль скоро его не видно, не может превышать 20—30 километров в поперечнике. Те же результаты получили и их греческие и французские коллеги в Афинской и Медонской обсерваториях.

Основываясь на этих данных, уже в советское время член-корреспондент АН СССР Сергей Владимирович Орлов — известнейший специалист по кометам, глава московской кометной школы, которая вплоть до его смерти в 1958 году считалась одной из ведущих в мире, — пришел к выводу, что твердое ядро кометы Галлея не превышает в поперечнике пяти километров. Наблюдения, сделанные на подлете кометы в 1982—1983 годах, уменьшили эту величину до трех километров.

Тогда же — в 1910 году — выяснилось, что ядро, хоть его и не видно, совершает, как крохотная планетка, один оборот вокруг своей оси за 10 часов 18 минут. Был уточнен атомный, молекулярный, ионный и пылевой состав кометных хвостов и выполнены другие астрономические наблюдения. 16 июня 1911 года комету Галлея удалось сфотографировать в последний раз, перед тем как она исчезла в глубинах космоса, ушла, чтобы вернуться через 76 лет. Когда произошла Великая Октябрьская революция, она летела уже за орбитой Сатурна, в годы первой пятилетки — за орбитой Нептуна. Движение ее все более и более замедлялось, и тогда, когда праздновали мы великую победу над фашизмом, не в силах преодолеть притяжение безмерно далекого Солнца, Галлеева комета повернула вспять, и, теперь уже с постоянным разгоном, начался ее долгий путь обратно к Земле.

...16 октября 1982 года небо над Маунт-Паломарской обсерваторией было особенно чистым: ни облачка, и легкий ветерок с запада отгонял дым и пыль Сан-Диего. Эд Дэниелсон был рад, что так удачно зарезервировал себе время работы на большом телескопе, который был развернут в направлении созвездия Малого Пса. Уже два года Эд и восемь его помощников старались первыми увидеть комету Галлея. Знали, где ее искать, как сфотографировать, но ничего не получалось. В ту ночь 16 октября 1982 года им удалось обнаружить некий объект предельно малой светимости, который двигался туда, куда должна была двигаться комета Галлея, и с той скоростью, с которой ей полагалось двигаться. Через три ночи Эд окончательно убедился, что это она и есть. Когда журналисты поздравляли Дэниелсона с победой в негласном всемирном соревновании наблюдателей, он сказал со смущенной улыбкой: «Помимо всего прочего, такое событие случается только раз за человеческую жизнь...»

Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до совершенно реальной действительности сокращается с невероятной быстротой.

А. М. Горький.

Комета возвращается! Мы можем повторить сегодня слова, сказанные ей в прошлом веке великим английским астрономом Вильямом Гершелем: «Добро пожаловать, небесная гостья!» И теперь самое время хоть несколько слов сказать о том, что же это за чудо такое, кометы. Откуда они берутся, как устроены, что мы вообще знаем о них и о комете Галлея, в частности.

На все эти вопросы отвечать довольно трудно. Существует несколько теорий происхождения комет, несколько теорий строения их ядер, хвостов и так далее и тому подобное. Отдавать в нашем рассказе предпочтение одной из теорий — значит, наверняка навлечь на себя гнев приверженцев других гипотез. Но и рассказывать о всех теориях, да еще сравнивать сильные и слабые стороны каждой из них — грех еще менее простительный, поскольку это может вызвать гнев утомленных читателей, а читателей куда больше, чем астрономов-теоретиков. Поэтому я все-таки рискну рассказать лишь о тех фактах и предположениях, которые признаны сегодня большинством специалистов, хотя и понимаю, что истина вовсе не всегда исповедуется большинством.

Итак, наиболее вероятно, что известные нам кометы живут и путешествуют только в пределах нашей Солнечной системы. Во всяком случае, ни разу не наблюдалась комета, скорость которой и направление движения позволяли бы предположить, что она прилетела к нам из другой звездной системы. Что касается того, когда и как образовались кометы, то наиболее популярной надо признать гипотезу, которую выдвинул в 50-х годах нашего века выдающийся нидерландский астроном Ян Хендрик Оорт — многолетний директор Лейденской обсерватории. Согласно этой гипотезе, на очень далеких окраинах Солнечной системы, в 150 тысяч раз дальше от Солнца, чем Земля, и в тысячи раз дальше самой далекой планеты — Плутона, находится целый рой крошечных (в астрономических масштабах) кусочков вещества — кометного. Большинство астрономов считают, что вещество облака Оорта — это космический мусор, который остался после «строительства» планет из первичного газопылевого облака, главным образом планет-гигантов: Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Как установили вместе с Оортом его коллеги: эстонец Эрнст Эпик (он еще в 1932 году говорил об облаке), русский Василий Фесенков, латыш Карл Штейнс, англичанин Брайен Марсден и другие, — незначительные возмущения, возникающие под действием других звезд, могут медленно накапливаться в кометном облаке, что приводит в конце концов к тому, что отдельные глыбы вещества начинают перемещаться ближе к Солнцу. Некоторые из них под действием переменных гравитационных сил могут быть выброшены оттуда даже за пределы Солнечной системы. Очевидно, так случится с кометой Веста: судя по ее энергии, она собирается покинуть солнечную семью. Другие кометы под действием тех же сил упорядочивают свое движение и начинают вращаться по очень длинным, вытянутым, как парниковый огурец, орбитам вокруг Солнца, периодически навещая свою прародину — окрестности Нептуна, как это делает, в частности, комета Галлея. Кстати, когда ученые отыскивают в старинных хрониках упоминания о кометах и стараются отождествить то или иное описание с кометой Галлея, они помнят, что в те давние годы путь ее в Солнечной системе мог быть совсем другим и чисто арифметическое отсчитывание отрезков древней истории по 76 лет может привести к заблуждениям. Известно, что планеты-гиганты и после того, как орбиты уже сформировались, продолжают играть очень важную роль в жизни комет, им ничего не стоит эту жизнь поломать, до неузнаваемости искалив кометную траекторию. Например, в 1886 году комета Брукса-2, на свою беду, прошла в 150 тысячах километров от Юпитера — по астрономическим масштабам очень близко. В результате период обращения этой кометы вокруг Солнца изменился с 29 до 7 лет.

Много ли комет кружит около Солнца? Довольно много. Во всяком случае, за всю историю человечества кометы наблюдались около двух тысяч раз. Большая половина этих наблюдений отмечена была лишь восторгами и страхами, траектории не из-

мерялись, и сказать что-либо определенное об орбитах этих комет нельзя. Большая часть комет, зафиксированных, «обмеренных», имеющих астрономический «паспорт» с пропиской в Солнечной системе, относится к так называемым короткопериодическим кометам, то есть к кометам, которые приближаются к Солнцу не реже чем один раз в 12 лет. Однако есть кометы, период обращения которых намного превышает период обращения кометы Галлея. Комета Икея — Секи, которую открыли японские астрономы-любители в 1965 году, вновь посетит окрестности Земли лишь в 2839 году. Есть кометы, период обращения которых измеряется тысячами и даже миллионами лет. Если говорить о частоте своего появления, Галлеева комета представляется мне идеальной: она появляется настолько часто, чтобы о ней не забыли, и настолько редко, чтобы появление ее всякий раз превращалось в событие.

При всех расхождениях в вопросе, где же находится кометная прародина, астрономы довольно дружно соглашались с тем, что само вещество комет — древнейший материал Солнечной системы, близкий по составу к тому материалу, из которого некогда образовывались ее планеты. Поэтому, как уже не раз отмечалось во многих популярных статьях, изучение комет — это всегда путешествие в далекое прошлое.

Что же представляет собой это правещество — сырье для того материала, из которого миллиарды лет назад были «построены» планеты, в том числе и наша Земля? Тут тоже, как говорится, возможны варианты — разные кометы, очевидно, отличаются по своему составу, так что будем говорить о комете Галлея.

Как вы помните, Фридрих Бессель намекал на ледяное ядро. Сам Бессель отмечал, что до него о ледяной (если называть вещи своими именами) природе кометного ядра говорил Пьер Симон Лаплас — выдающийся французский астроном, научные способности которого были соизмеримы лишь с его уникальным даром сохранять прочную общественно-политическую стабильность, занимать высокие посты и пользоваться всеми материальными благами вне зависимости от резких поворотов бурной истории Франции в конце XVIII — начале XIX века. Американец Фред Уипл развил гипотезу Лапласа и Бесселя о ледяном составе кометных ядер и, можно сказать, сделал ее сегодня общепринятой. Разумеется, ядро не примитивная ледышка. Это замороженная смесь газов довольно сложного химического состава (куда, впрочем, входит и тривиальный водяной лед), которая, в свою очередь, перемешана с пылью и мелкими каменными частицами. Когда комета летит где-то на окраине Солнечной системы, у нее нет ни раздутой головы, ни ослепительного хвоста, просто летит большой «грязный снежок» — это не мое сравнение, его придумал Уипл. Но по мере приближения к Солнцу, где-то за 600 — 700 миллионов километров от него, то есть где-то между Марсом и Юпитером, солнечные лучи начинают припекать, «снежок» нагревается, замерзшие газы вырываются наружу вместе с пылевидными частицами и окутывают ядро комой — огромным туманным облаком ничтожной плотности, которое, как легко понять, становится тем больше, чем ближе к Солнцу подлетает комета. Во время визита к Солнцу в 1910 году кома кометы Галлея раздулась до чудовищных размеров — около 400 тысяч километров, это столько, сколько от Земли до Луны! А хвост простирался на 60 миллионов километров!

Во время полета в окрестностях Солнца на любую комету действуют две главные силы. С одной стороны, Солнце притягивает комету к себе, с другой — солнечный ветер «дует» ей навстречу, деформируя кому и образуя огромный газовый хвост, тоже, как вы уже знаете, очень разреженный. Если в хвосте, кроме газа, содержатся и твердые пылинки, хвост под действием притяжения Солнца и давления его лучей может изгибаться, чем и объясняется разнообразие хвостов, первую классификацию которых провел еще Федор Александрович Бредихин.

Надеюсь, астрономы простят мне упрощение всех этих на самом деле гораздо более сложных и не во всем еще ясных процессов. Важно понять одно: при всей своей великолепной красочности комета по сути — пустота, практически, подобно поручику Кижэ, «ничто, фигуры не имеющее». Занимая пространство, в сотни раз превышающее объем Солнца, эти бледные, бестелесные призраки Вселенной не оказывают ни на Солнце, ни даже на планеты никакого влияния, поскольку их массы не превышают и миллионной доли массы даже такой скромненькой планеты, как наша Земля.

А может ли вдруг оказать? Может ли комета столкнуться с Землей? Этот вопрос волновал людей в XI веке и будет волновать в XXI. В принципе может. Расчеты показывают, что Земля может столкнуться с кометой средних размеров (ядро которой име-

ет диаметр около километра) один раз в 50 миллионов лет. Может произойти и столкновение с осколками самопроизвольно разрушающегося ядра. Очень похоже, что именно таким осколком был знаменитый Тунгусский метеорит 1908 года. Возможны и более грандиозные катастрофы. Сегодня разрабатывается, например, гипотеза о том, что именно столкновение Земли с неким небесным телом 65 миллионов лет назад вызвало мировую катастрофу, погубившую динозавров. Но это уже другая тема, достойная отдельного разговора...

Итак, кометы — воистину астрономические ничтожества. Известный ученый и пропагандист астрономии профессор Борис Александрович Воронцов-Вельяминов долго искал сравнение для того, чтобы с максимальной наглядностью показать, что же такое плотность кометы. И, в общем, не нашел его; поскольку в нашей земной жизни ничего подобного нет. Он писал, что если взять одну миллионную долю зернышка пшеницы, истолочь ее в пыль и рассеять эту пыль в зале Большого театра, то мы получим представление о плотности кометы. Все точно, но кто в состоянии представить себе миллионную долю зернышка?!

Так же буксует наше воображение, когда мы пытаемся вообразить себе соотношение величин ядра кометы, ее головы и хвоста. Я тоже искал наглядный пример. Вот что получается: если ядро — это копейка, лежащая на Красной площади в Москве, то весь Кремль окажется внутри кометной головы, а ее хвост вылезет за пределы кольцевой автомобильной дороги, — все это тоже представить себе трудновато...

Но, пожалуй, всего труднее представить себе наш мир в 2062 году, когда комета Галлея прилетит к нам в следующий раз...

Нынешний ее визит может, как и в средние века, стать для землян предзнаменованием новых перемен, основанным уже не на суевериях, а на ясном сознании необходимости единства человечества перед лицом природы, необходимости консолидации усилий в постижении тайн мироздания. Принимая в ноябре 1985 года в Кремле делегацию конгресса лауреатов Нобелевской премии, М. С. Горбачев сказал: «А разве сам космос не представляет собой исключительно перспективную арену международного сотрудничества? Сегодня мы только-только начали осваивать его в интересах науки и практической деятельности человека. Но как много достигнуто в короткий срок!» Генеральный секретарь ЦК КПСС напомнил лауреатам, что и сегодня советские ученые проводят совместные работы с учеными США, в том числе и в исследованиях кометы Галлея.

Реализуется обширная программа наземных исследований. Для уточнения траектории астрономы заложили в ЭВМ практически все сведения об орбите кометы Галлея начиная с 1759 года. Теперь абсолютно точно известно, где она пролетит, и 200 лучших в мире телескопов неусыпно будут следить за кометой многие месяцы. К работе подключается и огромная армия астрономов-любителей разных стран, которые, как показывает история, именно в изучении комет обогатили астрономию многими замечательными открытиями. Выполнением этой программы руководит специальная группа Международного астрономического союза, в которую входят 22 астронома из 10 стран мира, в том числе два советских специалиста. Советская национальная программа изучения кометы Галлея, являющаяся частью международной программы, предусматривает участие в наблюдениях за кометой всех ведущих астрономических центров нашей страны и двух специализированных станций: в северном полушарии — на горе Майданак в Узбекистане, в южном — в городе Ториха в Бolivии.

Как уже говорилось, условия наблюдения кометы во время ее нынешнего визита будут максимально неблагоприятны для земных наблюдателей. Но так уж устроен человек, что если он захочет что-нибудь разглядеть, то разглядит непременно. Если очень маленькое — изобретет микроскоп, если очень далекое — телескоп, если темное — фотоумножитель, если яркое — светофильтр, если вообще глаз ничего не видит — все равно что-то придумает. И это тридцатое из зафиксированных человеком посещений земного небосвода кометой Галлея тоже потребовало от него немалой находчивости и выдумки. Впервые в человеческой истории люди приступили к непосредственному изучению комет с помощью автоматических космических аппаратов.

О проекте полета к комете Галлея заговорили в США. «Только полеты к кометам могут дать нам «квантовый скачок» в знаниях, необходимых для решения основных фундаментальных проблем комет», — писал Ф. Уипл еще в 70-х годах. Американские ученые обратились к конгрессу с просьбой субсидировать проект «Миссия перехвата Галлея», который был тогда единственным проектом НАСА, не преследовавшим

никаких военных целей. И именно этот проект конгресс финансировать отказался. Некоторые американские ученые, например Т. Голд из Корнеллского университета, по свидетельству журнала «Сайентифик Америкэн», утверждает, что в отмене предполагавшегося полета к комете Галлея повинны разработка и запуски космического челнока «Спейс шаттл», в которые были вложены основные финансовые средства. Через журнал «Астрономи» американские ученые обратились к читателям с просьбой оказать финансовую поддержку кометному проекту, подобно тому как несколько лет назад удалось собрать дополнительно около 100 тысяч долларов на осуществление марсианского проекта «Викинг». Но одни только добровольные пожертвования не могли спасти «Миссию перехвата Галлея», и проект остался неосуществленным.

Японцы оказались более последовательными. Они разработали сравнительно простой космический автомат, названный ими «Планета-А». Модель этого автомата, предназначенную для наземных экспериментов, запускать в космос сначала не собирались, но потом решили, что страховка в таком деле не помешает, и запустили оба аппарата. Довольно легкие — оба по 150 килограммов, — они не снабжены защитными противометеорными экранами и не рассчитаны на пролет вблизи ядра кометы. Японские космические автоматы проведут телесъемки, спектрографирование комы и хвоста и зарегистрируют магнитные поля. «Планета-А» приблизится к комете примерно на 100—200 тысяч километров, а ее дублер — на 15 миллионов километров.

Третий космический разведчик настроен более решительно: он собирается войти в кому и пролететь всего в нескольких сотнях километров от ядра кометы, что позволило предсказывать ему печальную участь — многие специалисты считают, что он непременно будет «побит» каким-нибудь кусочком кометного вещества.

Знаменитый флорентийский художник Джотто ди Бондоне, очевидно, видел комету Галлея в 1301 году. Во всяком случае, он был первым живописцем, изобразившим комету на своей фреске «Поклонение волхвов», которую и сегодня можно увидеть в Падуе. Джотто и его комету уже в наши дни прославил в стихах знаменитый испанский поэт Рафаэль Альберти. Поэтому когда Европейское космическое агентство, объединяющее 11 стран, решало, как окрестить свой «неустршимый» космический зонд, всем понравилось название «Джотто». Сделанный на заводах Англии и ФРГ, этот аппарат стартовал с французского космодрома Куру и должен пройти вблизи ядра кометы 13 марта 1986 года. Но за несколько дней до этого в окрестностях кометы Галлея побывают две советские автоматические станции.

Первоначально Советский Союз не предполагал запускать специальный аппарат к комете Галлея. Инициативу в этом деле проявил Рояльд Зиннурович Сагдеев — директор Института космических исследований Академии наук СССР. Физик по образованию, специалист по плазме, в 36 лет ставший академиком, Сагдеев не мог оставаться равнодушным к такому плазменному феномену, каким является комета Галлея. Проанализировав траекторию кометы и взаимное расположение планет, директор ИКИ и его сотрудники пришли к выводу, что им представляется такой редкий в научной работе случай, когда одним выстрелом удастся убить двух зайцев. Запустив в конце декабря 1984 года автоматическую станцию к Венере, можно, отделив спускаемый аппарат, часть ее аппаратуры использовать для исследования атмосферы этой планеты. Оставшуюся на орбите часть станции Венера сама развернет своим гравитационным полем и направит ее на перехват кометы. Так родился советский проект ВЕГА (Венера — Галлей). Стартовав с космодрома Байконур, две советских «Веги» успешно провели первую часть своей работы, достигнув в июне 1985 года окрестностей Венеры, и полетели к комете. «Вега-1» должна пройти 6 марта 1986 года на расстоянии около 10 тысяч километров от ядра кометы, «Вега-2» — 9 марта — в трех тысячах километров. Интересно, что, обогнав на многомесячном космическом пути «Джотто», советские станции успевают передать ему сведения, необходимые для окончательной коррекции его траектории, для того чтобы этот автомат смог пролететь на минимальном расстоянии от ядра. Это будет первым примером плодотворного сотрудничества в космосе автоматических аппаратов разных стран. Вряд ли надо говорить, что сведения, полученные всеми космическими аппаратами, будут дополнять, а возможно, и объяснять друг друга, умножая общий результат, делая его более надежным и достоверным.

Главная сложность работы всех этих космических зондов заключается в том, что комета и Земля, упрощенно говоря, летят навстречу друг другу. Характер движения кометы Галлея и Земли не позволяет запустить космические корабли так, чтобы они

могли догнать комету и лететь с ней рядом, позволяя аппаратуре не торопясь вести свои исследования. Сближение автоматов с кометой происходит как бы на встречных курсах, когда они проносятся мимо друг друга с невероятной скоростью — 78 километров в секунду. Ядро кометы пролетает, например, мимо окуляров телекамер «Веги» за одну шестнадцатую долю секунды! Обычно во время исследований, проводящихся с так называемой пролетной траектории, полученная информация накапливалась в блоках памяти автомата, а затем уже без спешки передавалась на Землю. Так было при полетах у Луны, у Венеры, у Марса. Так было при полете мимо планет-гигантов. Около кометы так сделать нельзя. Вернее, сделать-то можно, но опасно; вероятность встречи космического разведчика даже с микрометеором не сулит ему ничего хорошего: на таких огромных скоростях взаимного сближения камушек весом в одну десятую грамма обладает энергией автомобиля, идущего со скоростью 100 километров в час, и пробивает алюминиевый лист толщиной восемь сантиметров. Можно просто не успеть накопить информацию. Поэтому ее требуется не только молниеносно получить, но так же молниеносно и передать на Землю. Первый сеанс включения аппаратуры «Веги» произойдет за двое суток до сближения с кометой, когда станция будет находиться за 14 миллионов километров от кометы, второй — за семь миллионов километров, третий — во время минимального сближения.

Все эти предельно напряженные условия работы предъявляют чрезвычайно высокие требования к аппаратуре двух советских аппаратов, которые, по словам академика В. А. Котельникова, являются самыми сложными космическими роботами, когда-либо запущенными по программе «Интеркосмос».

Отдельную статью можно было бы написать об устройстве «Веги», о тех уникальных, впервые в мире примененных инженерных решениях, которые помогут этим автоматам получить максимальное количество самой разнообразной информации в те считанные минуты, когда они должны будут работать в условиях космического холода, сверхглубокого вакуума, жесткой солнечной радиации, постоянной метеорной опасности, рядом со всей этой гигантской электромагнитной плазменной машиной, которая называется кометой Галлея, рядом с ее невидимым ядром, непонятными лучами, необъясненными галосами, оборванными кусками хвоста и еще чем-то, о чем мы сегодня и не догадываемся, но что наверняка вдруг появится. Не может не появиться.

Я думаю о стремительном полете этих совершеннейших машин и вспоминаю квадрант Тихо Браге и подзорную трубу Иоганна Кеплера. Романтика астрономии не исчезает. Она перерождается в другие, новые формы. Как всё во Вселенной...

Нынче комету видно плохо, но я хочу вам пожелать, чтобы вы увидели ее. Если вы увидите ее, вспомните, что ее видели маленькие мальчики: Леонардо да Винчи, Христофор Колумб, Лев Толстой. И еще множество людей, молодых и старых, видели ее, и, вероятно, миллиарды наших потомков увидят ее в будущем. И если она действительно пугала когда-то людей, то пугаться стоило только того, что мы так редко задумывались над исторической общностью поколений, с космической неотвратимостью и периодичностью сменяющих друг друга в постоянном стремлении к новым трудам, знаниям и совершенствам. Далекая от наших горестей и радостей, равнодушная к нашим проблемам и заботам, комета Галлея заканчивает еще одну петлю своей орбиты, не подозревая, что петли эти невольно соединяются как звенья единой цепочки человеческих судеб на маленькой планете под названием Земля.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСАНДР БЕЛОРУСЕЦ



ИНТЕРЕС К БЕСКОНЕЧНОСТИ

*Категории времени и пространства в современной
художественной прозе*

1

В последние годы поток «сложной» художественной прозы, включающей в свой контекст фундаментальные физико-философские категории, заметно расширился. Прозу эту называют также философской, интеллектуальной, мифологической, метафорически-ассоциативной, фантазмагорической, магическим реализмом и т. д. Все предлагаемые термины, конечно, условны, часто относятся к очень разным по идее и стилю произведениям и, однако же, примерные «границы сложности» очерчивают. Своего рода заявочные столбы, вбитые писателями и критиками на обширном участке современных литературных поисков.

Правда, понять, что именно застолбили, оказывается непросто. Для одних авторов фантазмагорическая проза — нечто качественно новое, для других это синоним фантастики. Одни искренне считают магический реализм направлением, другие столь же искренне недоумевают, как можно сочетать такое существительное с таким прилагательным... По одной версии, обращение к мифам всегда плодотворно, по другой: мифы да аллегории — опасное поветрие, беда, «тромбы в сосудах повествования».

О мифемах, мифологизированных романах и романизированных мифах спорят сейчас особенно много. И вот что крайне любопытно: выводы оппонентов нередко полярные, но исходный их тезис один и тот же — миф не вымысел, а ступок тысячелетнего человеческого опыта. Далее область всеобщего согласия не простирается. Далее — по пресловутой теперь в критике параболе, которую вслед за Л. Аннинским можно ныне трактовать да-

же геометрически: по параболе миф взлетает к высшим истинам и по ней же от них отлетает. У кого как — в зависимости от отношения к этой незамкнутой кривой и литературе, «замкнувшейся» на миф.

Споры не утихают.

В данный момент меня интересует, впрочем, не разногласия мнений, а их отправной пункт: «сложная» (примем пока такое ее название) проза активно вторглась в литературу, и значительная часть ее — проза мифологическая.

Почему же миф снова вошел в силу (или в моду) именно в XX веке, особенно в последние десятилетия, и что с этой силой (или модой) станет в будущем? Краеугольный, в сущности, вопрос всех «мифологических» дискуссий.

Над ним и задумаемся.

Подчеркну предварительно два важных обстоятельства.

Первое. Какую бы конкретную художественную цель ни преследовали отдельные писатели, обращаясь к мифу, сами они, без сомнения, уверены, что мифологическая проза перспективна.

Ч. Айтматов: «Миф — это фон. Однако на этом фоне пытаемся мы проследить всю свою жизнь. Это опора, а не прием».

Ч. Амирэджиби: «Привнесение элементов мифа в реалистическое произведение последовало по окончании основной работы над романом («Датой Туташиа». — А. Б.). У меня появилось опасение, что... в книге чего-то недостает... Я по мотивам имеющегося мифа сочинил миф о Туташиа... Этим я хотел направить читателя в желательное для меня русло восприятия».

Т. Пулатов: «Говоря о притче, мифе в художественной литературе, мы тем самым говорим о национальном в ней».

Г. Гарсиа Маркес: «Если литературная развязка мифа о деве Марии заключается в том, что она вознеслась на небо душой и телом, то почему не может быть такой же литературная развязка истории моей героини?»

Т. Манн: «По-видимому, существует какая-то закономерность в том, что в известном возрасте начинаешь постепенно терять вкус ко всему чисто индивидуальному и частному... Вместо этого на передний план выходит интерес к типичному, вечно человеческому, вечно повторяющемуся, вневременному, короче говоря — к области мифического... если в жизни человечества мифическое представляет собой раннюю и примитивную ступень, то в жизни отдельного индивида это ступень поздняя и зрелая».

Не станем сейчас анализировать эти суждения и выяснять, вступил ли, к примеру, Тимур Пулатов в «зрелый» манновский возраст или нет и имеет ли это вообще какое-либо значение. Но одно очевидно: многие писатели относятся к мифу и мифологической прозе очень серьезно.

Второе. В большинстве своем верят в жизнестойкость мифологизированного искусства и критики. Утвердить эту веру рационально, аргументами (без чего она, конечно, не факт литературоведения, а каприз вкуса) достаточно трудно. Обосновать-то ведь нужно необходимость союза современности с архаикой. С богами, чудесами, волшебством. Иными словами — требуется объяснить, что есть миф и зачем он понадобился искусству эпохи НТР.

Стоит, однако, кому-либо из критиков дать вполне, казалось бы, удачное определение роли мифа в современной прозе, как тот, подобно сказочному персонажу, ударившись об сыру землю формулы, оборачивается «уткой» и опять ускользает. Так, сделав «третий шаг» литературы в фольклор (первые два — его стилизация и психологическая интерпретация) в статье В. Кубилюса, модернизированный миф превращается в способ художественного доказательства у А. Бочарова. А сохранив для концепции В. Огнева уникальную ладью Харона, пересекающую границу жизни и смерти в обе стороны, у А. Эбаноидзе тот же миф воссоединяет нравственно-философские искания человечества начиная с Гильгамеша...

Критических попыток разгадать загадку устойчивости мифа в истории и культуре ничуть не меньше, чем писательских. Еще больше их в трудах исследователей, изучающих

собственно миф, а не его литературные реминисценции¹.

Бросается в глаза при этом, что многочисленные определения мифа часто содержат хотя и отличные друг от друга, но почти безусловные истины. Уже сама их множественность наводит на мысль, что каждая из этих истин — лишь следствие какого-то универсального, уходящего в глубь веков закона искусства, четко пока не сформулированного.

Поиск его заманчив...

Интересную точку зрения на назначение искусства в жизни человека предложил недавно член-корреспондент АН СССР, крупный советский физик-теоретик Е. Фейнберг в книге «Кибернетика, логика, искусство».

Автор считает искусство (в том числе литературу) одним из условий существования человечества (как познание или любовь), связывая неуничтожимость художественного творчества с его способностью к интуитивному суждению, а интуицию понимая как «прямое усмотрение «истины» (объективной связи вещей), не опирающееся на доказательство и не допускающее его». Так, эстетическое суждение «это красиво» не может быть доказано с помощью формальной логики и проверено опытом (например, опросом общественного мнения) хотя бы потому, что всегда найдутся люди, с подобным суждением не согласные, а простое большинство здесь ничего не решает. Убедить в том, что это красиво, можно только внелогически, средствами искусства.

Интуитивные, недоказуемые строго суждения, показывает автор, неизбежны в любой сфере нашей жизни (даже в науке!) точно так же, как и логические. Однако, чтобы внушить доверие к интуитивному знанию, нужны особые методы. Искусство и призвано, утверждает Е. Фейнберг, обеспечить авторитет интуиции, демонстрируя ее преимущества там, где логика бессильна. И где наряду с критерием практики обычным критерием является «удовлетворение, удовольствие, кантовское *Wohlgefallen*... убеждающее в правильности внелогического суждения всегда — в науке и в вопросах морали, в судебном решении и в повседневной жизни».

Если «всегда», значит, добавим, и в суждениях самых широких: космологических, именно и буквально миро-воззренческих, от-

¹ Интересующихся отсылаю к работам известных и у нас в стране и за рубежом советских ученых В. Я. Проппа, С. А. Токарева, Е. М. Мелетинского, М. И. Стеблин-Каменского, В. Н. Топорова, В. В. Иванова, С. С. Аверинцева, А. Ф. Лосева и других.

вечающих вечному стремлению человека постичь устройство мироздания и свое в нем место. То есть охватить взором Вселенную, уточнить необходимое в процессе познания понятие бесконечного. В первую очередь — пространства и времени.

Этой сложнейшей проблемой искусство, как и наука, занимается постоянно, но в некоторые периоды истории особенно активно.

В какие же? Очевидно, тогда, когда старые, отжившие пространственно-временные модели мира уже разрушены, а новые из-за недостатка точных знаний еще как бы ненаучны. Интуитивное суждение выдвигается на передний план. Оно может принадлежать и ученому, специалисту, но убедительность его «голой» гипотезы будет мала. В образном одеянии искусства новая космология несравненно авторитетнее.

Да, но искусство не ателье для физических идей. возразит читатель, и «у Шекспира», так сказать, спецодежду для пространства и времени не заказывают. Ведь жизнь наша, каждодневная наша жизнь от космологических абстракций далека, и разве не земные ее радости и боли — центр мира искусства? Даже если где-то в провинции, во Вселенной, куда хоть три световых года скачи — все равно не доскачешь, произошли какие-то «вселенские» беспорядки. Мифические к тому же, так как на самом деле беспорядок возникает лишь в наших представлениях о миропорядке. И волнует он немногих — философов физиков в основном да не чуждых физике философов. Ну а коли распалась у ученых мужей привычная им связь времен (и пространств), тут не Шекспира в помощь надо звать — Эйнштейна, пусть наука эту связь и восстанавливает, на то она, говорят, и «умеет много гикик». А раньше или позже — это уж как получится. Земная жизнь полна земным, полна до краев.

Однако что на краю, что «за» краем? Если так вопрос поставить, то окажется, что стремление к познанию бесконечного (и конечного) ни из каждодневности нашей, ни из искусства не исчезает. Потому что за холодной, как космос, заумью космологических схем — жгучая, как космос, тайна жизни и смерти, вечные проблемы добра и зла, любви, старости. Мечта о бессмертии, наконец, иными словами — все о той же бесконечности Мечта не врожденная, разумеется, и не всеобщая, как утверждают теологи. но и не бесплодная. сыравшая в истории познания отнюдь не эпизодическую роль. Ведь даже во времена безраздельного господства религии горний облик приобретали реалии дольные — экономические, социальные, пространственно-временные... До поры непонятые, отраженные фан-

тастически, но в глубинной своей основе — посю(а не поту)сторонние.

Так, наивные космологические представления древних, известные нам по наскальной живописи и мифам, по-видимому, содержали в основном лишь одну составляющую бесконечности пространства-времени: временную. Пространственно мир был ограничен: по горизонтали — пределами достижимой или воображаемой земли, по вертикали — небесным царством сверху и подземным снизу. Временная бесконечность выражалась в бессмертии богов и человеческой души, духа, тени (дело не в названии). Однако довольно спокойно относясь к пространственной конечности мира, человек, очевидно, не мог примириться с неясностью временной перспективы. Постулировав бессмертие для богов, не создал удовлетворительной теории бесконечного для себя. Это хорошо видно на примере древнегреческой мифологии, где даже подобный богу гомеровский Ахилл убежден в том, что лучше быть последним пахарем на земле, чем царем в царстве теней.

Совершенно иную картину подземного и надземного предложили пришедшие на смену языческим верованиям «монорелигии» (христианство, буддизм, ислам) с их идеями вечно рая для праведников или долгой череды перевоплощений, заканчивающихся вневременной нирваной. Постепенно изменялось и понимание пространства. Оно стало более открытым: небесное утратило четкие границы

Искусство в этот переходный период стремится к интуитивному постижению бесконечного с особым упорством. Не потому ли как раз тогда, когда у теряющих власть олимпийцев появились все основания для беспокойства за свою дальнейшую судьбу, античные натурфилософы писали свои сочинения в стихотворной форме? Именно в поэме «О природе вещей» римский философ-материалист Лукреций Кар рассуждал, в частности, о смертности души и бессмертных, но лишенных привычного могущества богах, живущих как бы в промежутках между мирами и не влияющих на человеческую жизнь.

Наконец, в утверждении новых религий, а с ними и новых схем мироздания (или наоборот?), существенно не менявшихся затем почти два тысячелетия, искусство участвовало непосредственно. Вначале новые религиозные представления христианства, буддизма, ислама передавались, как известно, в форме притч, легенд, мифов...

Около двух столетий назад немецкий философ Ф. Шлейермахер сказал, что религия есть вкус и интерес человека к бесконечности. Примечательное определение. Во многом вер-

ное. Но в принципе этот «вкус и интерес» вовсе не связан с религией, потому что и вне ее необходим человеку в познании макро- и микрокосма. Это особенно ясно сейчас, в XX веке (также совершившем переворот в наших представлениях о мире), когда освободившаяся от религиозных догм наука повела наступление на проблемы бесконечного широчайшим фронтом. Развитие неевклидовой геометрии, гипотезы о квантовании пространства и времени, органическая их связь, предположения о качественно новых свойствах времени в области таких астрономических объектов, как черные дыры, теория бесконечно расширяющейся или пульсирующей Вселенной, имеющей «начало» и «конец», — все это актуальные вопросы современной астрофизики и философии.

Многие из существующих ныне гипотез, теорий, идей о пространстве и времени нуждаются в дальнейшей проверке. Между тем точных знаний для такой ревизии еще явно не хватает. Кроме того, даже популярное их изложение, увы, крайне затруднено. В этой ситуации искусству XX века достается очень ответственная работа. И прежде всего литературе, поскольку она обладает наибольшим познавательным потенциалом среди всех видов художественного творчества. Но у литературы свои законы, в том числе жанровые.

Какой же именно жанр здесь лидирует?

Первый приходящий в голову ответ: научная фантастика. Покорение Вселенной, бесконечности, пространства-времени — это ее традиционная, излюбленная тема. И все же... Может быть, это прозвучит парадоксально, но в научной фантастике слишком мало художественной парадоксальности. Авторы выдвигают самые смелые идеи, но чтобы мы, читатели, в них поверили, текст густо насыщается элементами формальной логики. Получается нечто вроде беллетризованной научной догадки. Формула теснит образ.

Литература любит обратное.

Так, в отнюдь не фантастической повести «Голоса» Владимир Маканин проводит, в частности, мысль о том, что порой человек испытывает не осознанное им «давление» желаний, стремлений, сил своих предков, и в какие-то минуты его поступки и психологический настрой трудно объяснимы житейскими обстоятельствами. Есть ли в этой мысли рациональное научное зерно, судить специалистам. Поддерживает же видный советский исследователь мифологии В. Топоров в статье «Пространство и текст» гипотезу о дородовом (зародышевом) сознании и памяти, реализующихся в снах и мифотворчестве (?). Важно другое (да и для В. Маканина голоса — прежде всего литературная игра или изящ-

ная художественная иллюстрация подсознательного): важно, как писатель доказывает свою мысль.

Начинает он привычным сравнением этих тихо звучащих голосов с опавшими листьями. Но затем переворачивает, сдвигает листопад в пространстве и во времени! Проще говоря, предлагает вообразить, что какой-то режиссер, сняв листопад на кинолентку, прокручивает ее обратным ходом и что среди вороха жухлой листвы под деревом случайно сохранились листья не этого года, а прошлого или позапрошлого. И вот они взлетают с земли к массиву кроны, кружатся, пытаясь отыскать свой черенок, но там другие листья, другие ветки — нынешнего года, и, не признанные молодой родней, старые листья так и плавают в воздухе.

«Некоторые голоса в нас не исчезли, не сопрели, как претют листья, — заключает В. Маканин, — нет-нет и голоса напоминают нам о себе, заглядывают в нашу душу и с той стороны и с этой, но им не найти своего места, их время прошло».

Образ, а вместе с ним и заключенная в нем мысль, идея врезаются в память, убеждают...

Научно-фантастический подход к проблеме пространства-времени вовсе не обязателен и тогда, когда писатели вводят их непосредственно в основной конфликт художественного произведения. В «Братьях Карамазовых» мысли о непредставимой реальности двух пересекающихся, по Лобачевскому, параллельных буквально потрясут Ивана: для него если уж такое возможно, то и все возможно и дозволено. «Грандиозная шарада, притча, ключ к которой — время» (рассказ «Сад расходящихся тропок»), — многие философские новеллы Борхеса.

Поставить вопросы пространства-времени в эпицентр повествования пытаются (и не без успеха) и некоторые советские писатели. Однако о ряде, о тенденции говорить, пожалуй, рано. Но вполне допустимо, что такая тенденция, предсказанная еще Шеллингом, разовьется и даже займет значительное место в литературном процессе².

Встречаются, наконец, произведения, где проблемам бесконечного, пространства и времени, казалось бы, уделено самое пристальное внимание, и все же... И все же «решение» их зачастую — просто литературный прием, ли-

² Автор «Философии искусства» был убежден, что в научном знании самом по себе заложена возможность проявиться в художественном произведении. Но только если речь идет о Всем (das All), об универсуме, о природе вещей. Шеллинг писал: «...так как наука вышла из поэзии, то и ее прекраснейшее и последнее назначение — влиться обратно в этот океан».

тературная «штучка». В романе-хронике «Кладбище в Скулянах» Валентин Катаев поворачивает время вспять и, сменив направление его вектора на противоположное, дает семейную хронику. Можно, конечно, и так, но философский аспект подобного «поворота кругом» сводится к разработанной идее о неразрывной связи поколений. В «Ягодных местах» Евгений Евтушенко меняет местами пролог и эпилог и, слегка коснувшись категории бесконечного, вводит в ткань романа некие мыслящие вечные частицы «Й-Й» и «Ы-Ы» — результат прядущей эволюции Разума. Нечто похоее есть и в повести Анатолия Кима «Лотос» и романе-сказке «Белка», где в качестве своеобразного действующего лица участвует внеземное «Мы» — что-то вроде нашего нетленного, бессмертного сознания. Конечно, и у Е. Евтушенко и у А. Кима это метафора, художественный вымысел, однако трудно отделиться от ощущения, что для самих авторов их «Ы-Ы» и «Мы» — почти физическая реальность. В любом случае выглядит такая фантазия наивно, архаично, строгая наука и та «мечтает» куда как увлекательнее.

Меж тем если не научная фантастика, если не дидактическая поэма (по крайней мере сегодня), если не «Мы», то что же? Какое течение (жанр) художественной прозы успешнее прочих решает тему бесконечного на уровне века? То, что, давно являясь составной частью литературы, издревле стремится выразить бесконечное через образ, через символ. Именно этим и занимается мифологическая проза.

2

Всякое литературное направление имеет «розу ветров» — стилевых, идейных, тематических... Для мифологической прозы общая их схема, как правило, сложна, подчас запутанна: линия социальная, историческая, психологическая; национальная, планетарная, «космическая»; реалистическая, фантастическая, символическая... С другой стороны, легко заметить, что все эти «ветры» рождены одним художественным течением, как джинн, выпущены из одной бутылки. Бутылки изпод старого, выдержанного жанра «Миф», сила которого, оказывается, не исчерпана. Поэтому едва ли не обязательным для любого критического разбора мифологической прозы становится разговор о ее жанровых особенностях. В частности, о времени, об игре со временем, о его лабиринтах, кружении, странностях.

О его символике.

Это и неудивительно, ведь время само по себе вещь странная, даже таинственная, во

многом пока «вещь в себе», а символ в художественном творчестве — как зарубка в лесу понятий и идей, помогающая отыскать нужное направление.

Примеров тому несть числа. Сошлемся на несомненно характерные для мифологической прозы романы Отара Чиладзе «Шел по дороге человек», «И всякий, кто встретится со мной...».

Главным героем (проблемой, идеей, темой) этих романов называли одиночество, феномен независимости, веру в торжество добра и исследование «генеалогии» предательства, бесконечность развития рода человеческого и т. п. Но почти все критики, писавшие о творчестве Чиладзе, касались категории времени и почти все обращали внимание на «огромные, как шкаф, часы» в романе «И всякий, кто встретится со мной...» (фиксируя по ним, впрочем, свое, критическое время).

Собственно, сами по себе часы в литературе (вообще в искусстве, особенно нашего быстрого века) символ испытанный. Весь вопрос, что именно они символизируют: конечность жизни человека или бесконечность существования мира? Кто кого «заводит»: человек часы или часы человека? У Чиладзе «огромные, как шкаф, часы» — это какой-то кошмар, диктатор, «часы-оккупатор» (В. Огнев), часы-рок. С тех пор как майор Кайхосро оживил их поворотом ключа, «время в доме Макабели обрело новый смысл, значение и качество. Заведенное и пущенное рукой майора, оно овладело всем. Теперь все в доме делалось по воле этого времени... Бой часов был слышен и в хлеву, и в полусне Георге казалось, что по двору ходит кто-то чужой, пришедший с неким непонятным, но опасным и недобрый умыслом...».

Недобрый умысел чувствуют в «огромных, как шкаф, часах» все герои романа. Все, кроме... самого Кайхосро. На первый взгляд странно. Стремившийся в жизни лишь к одному — спасти эту свою жизнь, самым свирепым врагом своим считавший «старость, смерть, естественный и неизбежный конец человеческой жизни», Кайхосро почему-то устанавливает в собственном доме ее меру — часы. Идущие часы для майора — что-то вроде иглы из русской сказки о Коцее Бессмертном. Переломилась игла — и пришла коцеева смерть. Часы остановились — и Кайхосро умер, его время кончилось. Но игла, как мы помним, глубоко спрятана — в яйце, а яйцо в утке, а утка в зайце, а заяц в ящичке. Часы же — на виду.

В общем, это несколько неожиданно, поскольку, как правило, идущие часы — символ уходящего, убывающего времени жизни. «Не

смыкающиеся глаза вечности», провожающие своим зеркальным взглядом всех и все, — таковы часы, например, в философской новелле К. Гамсахурдиа, которая так и названа — «Часы». В фильме О. Иоселиани «Жил певчий дрозд» они как бы советуют герою фильма: не спеши, как бы предупреждают, словно плакат на дорожном переходе: «Сэкономь минуту — потеряешь жизнь!» Знак опасности, поражения — часы и для отчаянно защищающегося от неотразимой шахматной атаки и (подобно Кайхосро) от действительно шахматиста Лужина (В. Набоков, «Защита Лужина»), которому даже сон не в силах принести успокоение, только замершие часы. Вот подтверждение: «В эту ночь он особенно остро почувствовал свое бессилие перед этой медленной, изощренной атакой, и ему захотелось не спать вовсе, прождать как можно больше эту ночь, эту тихую комнату, остановить время на полночи. Жена спала совершенно безмолвно; вернее всего — ее не было вовсе. Только тиканье часов на ночном столике доказывало, что время продолжает жить. Лужин вслушивался в это мелкое сердцебиение и задумывался опять, и вдруг вздрогнул, заметив, что тиканье часов прекратилось. Ему показалось, что ночь застыла навсегда, теперь уже не было ни единого звука, который бы отмечал ее прохождение, время умерло, все было хорошо, бархатная тишь. Этим счастьем и успокоением незаметно воспользовался сон, и уже во сне понона не было, а простирались все те же шестьдесят четыре квадрата, великая доска, посреди которой, дрожащий и совершенно голый, стоял Лужин, ростом с пешку, и вглядывался в неясное расположение огромных фигур, горбатых, головастых, венценосных».

У Чиладзе привычный символ вывернут, причем не однажды: точно так же, как Кайхосро, относится к часам и его сын Петре. Только если душу отца он ощущает в часах огромных, как шкаф, его собственная вполне умещается в жилетном кармане, где тикают маленькие серебряные часики с монограммой. И Петре вовсе не стремится, подобно Лужину, не слышать их, наоборот — их стук для него словно стук второго сердца, символ силы, власти, существования.

Чтобы «спастись», Кайхосро вроде бы тоже пытается остановить время, сознательно «не замечая», к примеру, взросления своих внуков. И все же борьба майора со временем носит необычный характер. В символическом плане — Кайхосро живет, только пока идут, напоминая о себе громким боем, «огромные, как шкаф, часы». Так что, по крайней мере для Кайхосро, они символ жизни, даже «новой жизни», как он полагает. Но отсчитыв-

ая время, трудно его не заметить, остановить, «испортить», даже страстно надеясь обыграть смерть этим шулерским приемом. Отсчет уже не допускает остановки в «бархатной тиши», остановка означает конец. Поэтому безостановочно кричащий петух аробщиков (тоже, в сущности, символ времени), с которыми едет в Тбилиси Георга, — это как раз испорченные часы, так как «помешанный» петух путает порученный ему природой отсчет времени, и испуганные аробщики отрубая петуху голову — чинят природные часы. Поэтому и желание Кайхосро «спастись» в тикающем времени неизмеримо сложнее, если угодно — опаснее, чем в молчащем, то есть тоже испорченном. Подобно mine с часовым механизмом, оно может взорваться, как только стрелка приблизится к заданному делению. Думается, купив свой «шкаф», поразивший всю Уруки, майор сильно усложнил свою задачу; тем самым он, в частности, невольно приблизился (хотя по другим причинам и не достиг) к уровню героя трагического.

Может быть, это покажется слишком субъективным, но мне как читателю не хочется, чтобы Кайхосро покидал страницы романа Чиладзе. Хочется, чтобы майор все-таки «спасся», в смысле — победил время. Ведь в жизни, как и в сказке, мифе, человек не желает примириться с неизбежностью смерти. Или так: не вполне понимает ее необходимость. Об этом, кстати, сказано в стихах О. Чиладзе: «...грех понимаю, а гибели не понимаю».

Кайхосро тоже «не понимает». Неотвратимость своей гибели — на всех остальных ему наплевать. Но в общем идейном поле романа его отношение к смерти не аномалия. Не хочет и, пожалуй, «не понимает» смерти Кайхосро и священник отец Зосиме, которому его вера, казалось бы, должна помочь вполне философски отнестись к переходу любого человека из мира земного в мир потусторонний, ведь для отца Зосиме та сторона так же реальна, как эта. Между тем он даже рад, когда оказывается, что тело мертвого Кайхосро украдено, то есть продолжает какую-то пусть странную, но земную жизнь.

Религиозно-мистические представления о бесконечности жизни и времени для нас уже реликт, «столоверчение». Однако отказавшись от них, мы неизбежно должны выработать новое, материалистическое отношение к категории времени (материалистическое понимание его, конечно, существует, но новые данные физики требуют и нового философского осмысления, в том числе метафорического, символического). Не случайно в романе «И всякий, кто встретится со мной...» споры о

жизни и смерти, то есть, по сути, споры о времени, ведут именно «материальный» Кайхосро и «идеальный» Зосиме.

Показателен в этом смысле и один из ключевых диалогов в романе другого грузинского писателя, романе не мифологическом, написанном в традициях классического реализма. Это диалог между писателем Бачаной Рамишвили и отцом Иорамом (тоже, заметим, представителем культа) в «Законе вечности» Н. Думбадзе:

«— Время — бог! Поймите это! Вы, коммунисты, не веруете в бога, потому и не знаете цену времени! Вы транжирите время! Поклонитесь времени, уважайте время! И если вы решили создать новую веру и новую религию, начните со времени! Иначе ничего у вас не получится, ибо, повторяю, бог — это время!..

— А говорили, бог — это слово!

— Слово, дело и время есть неделимая, единая троица! — произнес отец Иорам с благоговением.

— Если это так, то мы — за, батюшка! Мы ценим и время, и дело, и слово. И между прочим, ничуть не меньше, чем ценит их церковь».

Каким же представляется время в мифологической прозе? Как правило, оно бесконечно вообще и для человека в частности (или, точнее, не исключает такую бесконечность). Последнее — либо в непрерывности бытия и человеческого рода, либо в цепи бесконечных повторов.

Повтор, кстати, один из основных жанровых элементов мифа, где время тоже склонно повториться, способно вернуться во вчера или в завтра, которые неразличимы. Маятник, круг, спираль — вот модели этого времени.

Таковы они и в современной мифологической прозе. Вся история семьи Буэндия в романе «Сто лет одиночества» — это «вращающееся колесо» неминуемых повторений. Неоднократно, правда с разной содержательной нагрузкой, возвращается к одному и тому же мифу, легенде, рефрену Айтматов. И почти все писатели, обращающиеся к мифу, очень любят кольцевую композицию, сквозные символы, детали (вроде печати одиночества в глазах каждого Буэндия), что придает ценам повторов особенную крепость и протяженность.

Широко использует повтор и Отар Чиладзе. Одна за другой накатываются на колхидскую землю волны греческих вторжений («Шел по дороге человек»): сначала один, казалось бы, неопасный Фрикс, затем корабль Ясона с его воинами и наконец огромный военный флот царя Миноса. Повторяет

свою жизнь парализованный копыносец Ухиро, вышивая на широком, точно парус, полотне историю битв, в которых участвовал. «Что с человеком? Что с ним стряслось?» — вновь и вновь вопрошает доктор Джандиери, думая о семье Макабели и людях вообще. И с постоянством полуденного выстрела-напоминания в портовом городе раздается в романе «И всякий, кто встретится со мной...» бой огромных, как шкаф, часов.

Если непрерывность жизни семьи, рода, человечества в целом — мысль довольно бесспорная и, чтобы утвердить ее, О. Чиладзе достаточно дать на мрачном фоне «нагнетания зла» (Ю. Болдырев) светлый финал с участием ребенка (Икар в «Шел по дороге человек», Марта в «И всякий, кто встретится со мной...»), то бесконечность времени, выраженную в повторяемости каких-либо событий или деталей, уяснить несколько сложнее. Смысл повтора здесь примерно тот же, сказочный, мифологический, — неприятие конца человеческой жизни, ведь и мы, люди сегодняшнего дня, можем выразить одно из своих тайных желаний строками стихов О. Чиладзе: «Но все надеется душа, зияя ящиком Пандоры, на повторенья и повторы». Обратимость времени с точки зрения физики вещь маловероятная, однако существуют и такие гипотезы, и почему бы не считать повтор в мифологической прозе их своеобразным отголоском? «Начало — это конец, а конец — это начало», — повторяют Дедал и Фарнаоз («Шел по дороге человек»).

Точности ради следует заметить, что повтор, в сущности, знак не бесконечности, но безграничности. Время, думает Урсула из «Ста лет одиночества», не проходит, «а снова и снова возвращается, словно движется по кругу». О мифе же чаще говорят, что он предполагает именно бесконечность жизни героев. В известном смысле это верно и для героев мифологической прозы, где немало смертей, но многие из них какие-то странные, неокончательные, что ли.

Гибнет или уходит в легенду мальчик из повести Айтматова «Белый пароход»? Умирает или превращается в птицу Доненбай, чей крик слышит Буранный Едигей в ночь операции «Обруч», легендарная Найман-Аны, мать манкурта? С героем повести Пулатова «Завсегда» и вовсе непонятно: а был ли такой человек среди людей? видел ли его хоть кто-нибудь? Еще более парадоксален Маркес, в чем романе может появиться и Франсиско Человек, которому около двухсот лет, и мудрец, волшебник Мелькиадес, который хотя и умирает, но дважды(!), и Ремедиос Прекрасная, вознесшаяся на небо на простынях.

А вот сцена из романа Чиладзе. Казнен, распят высоко на стене башни воинами диктатора Окаджадо каменотес Фарнаоз. «Умер», — говорит один из стражников и, чтобы проверить это свое предположение, бросает в Фарнаоза камень. А далее: «От боли к Фарнаозу вернулось сознание: «Что это я заснул на ногах, как лошадь», — подумал он и отделился от стены. Не успел он сделать два шага...» Так умер или жив вечно?

Сменяется поколение за поколением в приморском городе Вани. Рождаются и умирают дети колыбельного мастера Бочия и его жены Потолы, рождаются, стареют и умирают дети и внуки их детей, а сами Бочия и Потолы вечно молоды. «Все его (Бочия.— А. Б.) существо восставало против смерти, не могло освоиться, примириться со смертью... Всегда — это было единственное слово, которым определялось время для Потолы». (Сравните в «Иосифе и его братьях» Т. Манна: «Все еще, или снова, или вечно — кто скажет, какое слово тут верно?») И вот Бочия, не вынесший свиста плетей над детскими спинами и детского плача, умирает. Но до этого он жил всегда, и смерть его выглядит какой-то необязательной, случайной.

Исчезает и возрождается сад Дариачанги, мертвый Кайхосро путешествует на осле. Короче говоря, смерть у Чиладзе весьма условна.

Из этого, правда, не следует, что безусловно бессмертие. Кажалось бы, даже напротив: оно отрицается.

Например, символически — в судьбе могильщика Ягора («И всякий, кто встретится со мной...»). Хотя он-то, ставший затем мастером-надсмотрщиком на железной дороге, на беглый взгляд, ближе других к бессмертию. Ведь даже топор, опущенный на голову Ягора со всей силой ненависти измученного издевательствами рабочего, — даже этот топор не пробивает «защиту» Ягора, круговую оборону царящего в его душе зла. «Голова Ягора отразила ударивший по ней со всего размаха топор — от нее лишь искры посыпались, как от булыжника при ударе лошадиного копыта». Зло, сгущенное в Ягоре до предельной концентрации, упруго отражает другое зло — смерть, как электрический заряд отталкивает заряд того же знака. А рабочие боящиеся Ягора рабочие убивают восставшего против него мятежника, своего товарища. Но по глубинной логике вещей убийца — Ягор.

Почему же неуязвим для смерти именно антигерой? И почему только в эпизоде с покушением на Ягора автор использует в романе «И всякий, кто встретится со мной...» элементы фантастики? В контексте прозы Чилад-

зе, пронизанной мифологическими мотивами, фантастика не просто красочная реклама той или иной художественной идеи; это творческая реконструкция поэтики древнего мифа, где чудесное так же реально, как реальное, и наравне с ним утверждает важнейшие законы человеческого общежития. Не убий! — один из таких законов. Поправший его Ягор мифологически бессмертен, но он и не живет: он вынужден бежать, скрываться, отторгаться жизнью. И как бы повторяет судьбу Каина, библейская легенда о котором тревожит мысли главных героев Чиладзе на протяжении всего романа. «"Наказание мое больше, нежели снести можно... — говорит убийца брата Каин богу,— и всякий, кто встретится со мной, убьет меня". И сказал ему Господь: „За то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро"».

То есть смерть для Каина (для Ягора) практически невозможна, он обречен на жизнь в вечном изгнании.

Грешный, желавший чужой смерти (борчалинца, например); но не убивавший Кайхосро, как и Каин поначалу, страшится именно «всякого»: борчалинца, жены, сына, внука... И отец Зосиме не утешает Кайхосро:

«— И всякий, кто встретится со мной, убьет меня... — сказал отец Зосиме.

— А? — навострил уши Кайхосро.— А? — Ему смутно почудилось что-то знакомое, давным-давно забытое...

— И всякий, кто встретится со мной... — повторил священник.

— А за что? Я-то ведь никого не убивал! — растерялся, рассердился, испугался Кайхосро».

Убил или хотел убить — все равно, считает отец Зосиме. Так, да не так! Не так — для Кайхосро да и по логике романа. Кайхосро, мы знаем, все-таки умирает (пусть странно, с посмертным путешествием), а убийца Ягор остается жив — по крайней мере, в рамках романного времени. Но при всей трусости, коварстве, эгоцентризме, неспособности к любви и прочих явно отталкивающих чертах своего характера Кайхосро все же несет в себе некое созидательное начало, а Ягор — это тотальное разрушение. Оттого и несомненно, что «бессмертный» Ягор — по сути, отрицание бессмертия. Каинового бессмертия. Дурной бесконечности, как выразились бы физики или философы, полюболюбившие этот образный гегелевский термин.

Кстати, в канонической современной мифологии — в «Осени патриарха» — почти так и сказано: роман о кровавом диктаторе, ставшем в сознании его подданных мифическим существом, в брэнность которого никто не

верит, даже видя его труп,— роман этот все же завершается доброй вестью о смерти верховного властителя, о том, что «бессчетное время вечности наконец кончилось».

Отрицается бессмертие у О. Чиладзе вроде бы и непосредственно, без символики.

«Я убежден,— говорит врач-каторжанин в романе «И всякий, кто встретится со мной...»,— что когда-то человек действительно владел эликсиром бессмертия, но сам его уничтожил... испугавшись необходимости быть вечным свидетелем рабства — своего или чужого. Но совсем обойтись без бессмертия он все-таки не мог — вот и выдумал бога!.. Ибо бог — не что иное, как угрызение совести, созданное специально для наказания свидетелей; но именно оно-то и мешает человеку избавиться от склонности к рабству». А вот что отвечает на реплику отца Зосиме о воскрешении мертвых Эскулапом другой врач — Джандиери: «Нет, батюшка. Это миф... Он лишь мечтал воскрешать, но и мечты этой боги ему не простили!»

Непрощенный, человек тем не менее затевает яростный спор с богами еще в рамках собственно мифов. И конечно же, богоборческие традиции подхватывают герои современных мифологизированных произведений.

Буранный Едигей, казалось бы, верует: вспоминает о священной Каабе, хоронит друга по обряду, читает молитвы над усопшим. Но вера эта неортодоксальна, по сути — кощунственна, когда даже погребальная молитва дополняется мыслями Едигея о равенстве человека и бога! А опыты Хосе Аркадио Буэндиа с дагерротипами имеют целью получить изображение всевышнего или раз и навсегда покончить со всеми домислами о его существовании!

Все это естественно. Ведь придумав бессмертного бога, человек затем отказался от него; осознав рабство веры — начал последовательную, революционную с ней борьбу. И «победить» время — необязательно достичь буквального бессмертия, «победить» — значит, и «понять».

В этих новых (нынешних) условиях мечта о бессмертии выливается в иные формы. Во «вкус и интерес» к материалистическому познанию бесконечного, познанию жизни и смерти, пространства и времени. В том числе средствами литературы.

Причем в разных аспектах. Один из участников дискуссии о Чиладзе в «Литературной газете», А. Аванесов, считает, что время в романе «И всякий, кто встретится со мной...» «становится дробным, утрачивая свою однонаправленность». Любопытное наблюдение, хотя, думается, не безошибочное. Ведь дроб-

ность и однонаправленность времени — свойства различные. Однонаправленность — это необратимость, и о ней (а точнее, об обратимости, повторе) применительно к романам О. Чиладзе мы уже говорили. Дробность — статья особая. Есть ли «атомы» времени — неделимые, кратчайшие его отрезки? Непрерывно ли время, как линия, или прерывисто, как пунктир? У Чиладзе оно, пожалуй, двуедино — и прерывисто и непрерывно (и в любом случае не имеет границ).

Наиболее наглядный пример — непрерывность и прерывистость бытия человека, человеческого рода. Как ни косит смерть и ненависть друг к другу членов семьи Макабели, она неуничтожима, «линейна», и спасенная Александром Марта — ясное тому свидетельство. «Смерть,— сказано и в романе «Шел по дороге человек»,— имела право увести человека лишь после того, как Бочия и Потола родят его преемника». Сама же смена поколений — это «пунктир».

Более сложный пример прерывисто-непрерывного романного времени скрыт в интересном художественном приеме, которым пользуется О. Чиладзе. Он начинает рассказ о каком-либо эпизоде устами одного своего героя, а потом сразу, без всякого перехода, без деления на главы и тому подобное продолжает рассматривать ситуацию с точки зрения другого действующего лица. Разрывы повествования неприметны, но они есть. Просто их знаки наше сознание обычно не фиксирует. Так, слыша, не слушаем мы порой стук колес на рельсовых стыках...

Романное время авторов мифопрозы парадоксально. Но вспомним в этой связи хотя бы два факта из истории физики: существует идущее еще от атомистики Левкиппа—Демокрита предположение, что время может быть дробным, квантованным; сочетание волна и частица (скажем, для света), бывшее когда-то курьезом, забавой ума, давно стало аксиомой. Как станет, быть может, определение прерывисто-непрерывное время. Или — время искривленное, движущееся по дуге гигантской окружности или спирали. Таково ли оно на самом деле — вопрос особый. Хочу лишь подчеркнуть, что оц корректен. Следовательно, мы вправе говорить и о физико-философских элементах познания мира, в частности времени, в художественных произведениях, представляющих современную мифологическую прозу.

Показательно, что специфику исторического времени, охваченного этой прозой, тоже можно трактовать почти физически, с точки зрения космологии. Как и его жанровый прообраз — время мифическое. Последнее не метафора, а научный термин, принятый у ис-

следователей народного мифотворчества и означающий начальное время, правремя, время первотворения, имеющее в мифе особый, высший статус. Точка отсчета. Причем не только времени, но и связанного с ним пространства (середина мира), и появившегося затем в этом центре человеческого рода, и поисков им как бы изначально заданного «золотого» века, то ли уже ушедшего, то ли еще не наступившего...

Предположим теперь, что современный писатель, считающий, что миф в творчестве — это «опора, а не прием», пишет историю о самопожертвовании во имя бесконечности жизни. Он вполне может начать свою повесть «от сотворения». Чтобы понять бесконечное, его надо представить; чтобы представить — со-творить. Для мифологической прозы, как и для мифа, это в природе жанра.

Тогда история (или История) разворачивается с запредельной для человеческой памяти поры, когда «день зачался днем», а ночь — ночью, а кругом была только вода, возникшая «сама из себя... в черных безднах, в безмерных пучинах», а волны растеклись «во все стороны бесстороннего тогда света: из ниоткуда в никуда», а одинокая утка Лувр, чтобы снести яйцо, свила гнездо из своих перьев, а уже с гнезда того плавучего пошла земля, человек, люди.

Это нивхский миф о сотворении мира в обработке Айтматова (зачин повести «Пегий пес, бегущий краем моря»). Достаточно типичный для развитых мифологических систем, в которых мир постепенно развился из некоей бесформенности — воды, мрака, хаоса. Так называемый космогонический миф, входящий в центральную группу мифов почти всех народов.

И вопросы, могущие возникнуть у современного читателя, смущенного рядом нелогичностей этого мифа, тоже достаточно типичны: как это день зачался днем? откуда взялась утка Лувр и что было до безначальной воды? Что-то же было!

Авторов современной мифологической прозы подобные алогизмы не пугают. Под их пером возникают новые мифы творения. Так возникло Макондо! В юном мире, где никто еще не умирал и где «многие вещи не имели названия и на них приходилось показывать пальцем». В необъятном пространстве долины, расстилавшейся до другого края света и одновременно, точно проклятым, со всех сторон окруженной водой (по крайней мере, так считает основатель Макондо Хосе Аркадио Буэндиа)...

На примере книг Айтматова и Гарсиа Маркеса можно подметить и еще одно характерное для мифологической прозы свойство.

Создав мир, она как бы проверяет его на прочность, вернее на долговечность. Без конца (как и без начала) этот мир разрушается. Его подтачивает безумие одиночества.

Жизнь пораженной им семьи Буэндиа и всего Макондо обречена, иссыхает, превращается в «смерч из пыли и мусора, вращаемый яростью библейского урагана». И именно в эти минуты Аурелиано Бабилонья дочитывает пергамент с апокалиптическим пророчеством Мелькиадеса о судьбе рода Буэндиа.

Гибель Макондо — это, конечно же, самый настоящий миф, только уже эсхатологический, часто примыкающий к мифам космогоническим и содержащий рассказ-прорицание о «конце света».

К подобным формам обращается и Айтматов. Например, в блистательной финальной сцене из романа «И дольше века длится день...», когда Буранный Едигей, схоронив друга в сарозекской степи, внезапно видит кажущийся ему светопреставлением запуск боевых ракет-роботов, словно обваливающих небо на голову и отрезающих человечество от его братьев по разуму. А затем смыкается ночная тьма — то есть возвращаются (говоря условно) «черные бездны» и «безмерные пучины», бывшие до творения, до утки Лувр. Однако Айтматов в сравнении с Маркесом более оптимистичен. Мифологический хаос в романе не воцаряется: через несколько дней, коротко сообщает автор, к Едигею приезжают его дети со своими детьми (будущее), а сам он едет восстанавливать справедливость по отношению к памяти умерших (прошлое). Нить жизни не рвется. И все же само обращение к картине разрушенного, кипящего в пламени неба показательно. «Человек должен думать обо всем, — сказал однажды Айтматов, — даже о конце света». Имея в виду, понятно, космологию, а не религию.

За всеми этими «началами» и «концами» мира, как и в мифе, скрыта специфическая художественная трактовка категории пространства-времени и его, так сказать, краев.

Между ними время в современной мифологической прозе тоже более или менее неопределенно, исторические его приметы едва видны, спрятаны, разумеется сознательно. Скажем, в романе «Шел по дороге человек» действии происходит... неизвестно когда — давно, некогда, «когда Эани был еще приморским городом». В «И всякий, кто встретится со мной...» события относятся к последней трети XIX века, но исторические риски на ленте времени различимы лишь «вооруженным» глазом. Историческое время как бы

застывает, сгущается, поскольку вмещает в себя больше событий, чем позволяют обычные хронологические рамки. Иногда даже, как полагает критик Л. Осповат, движется вспять по свертывающейся спирали («Сто лет одиночества»), уплотняется до куска неподвижного времени, застрявшего в комнате Мелькиадеса, и, «достигнув предельной степени концентрации, взрываетс я. Этот взрыв... находит выражение в катастрофе, постигшей Макондо».

Зачем же нужна такая высокая концентрация, своего рода сверхплотность? Есть ли у нее какая-то реальная, физическая основа?

Согласно современной, ставшей уже общепризнанной (хотя и не единовластной) теории возникновения нашей Вселенной, она родилась примерно пятнадцать миллиардов лет назад из своеобразной «точки» материи с бесконечно высокой температурой и плотностью. По каким-то пока неясным причинам равновесное состояние этой системы нарушилось, и произошел так называемый Большой взрыв. Есть основания предполагать, что еще через несколько десятков миллиардов лет наша расширяющаяся, остывающая Вселенная «затормозится» и начнется процесс ее сжатия, который завершится образованием новой «точки». Далее опять возможен Большой взрыв и вообще пульсирующая Вселенная, пространственно как бы замкнутая сама на себя в любой момент времени, — что-то вроде нежесткой сферы.

Можно ли говорить о том, что было до Большого взрыва? По-видимому, время до момента-ноль, считает лауреат Нобелевской премии астрофизик Стивен Вайнберг, это своего рода фантом, как температура ниже абсолютного нуля по Кельвину. Их для нас просто нет, они не имеют смысла. Но уже ничтожно малое время после Большого взрыва смысл имеет «Застывшее» же, «недвижимое» время мифа, добавим мы, можно считать символом непонятой пока, но не противоречащей материалистическому мировоззрению картины мира «до его начала» или «после конца». До утки Лувр. После Макондо.

Созвучна современным космологическим теориям и проза Отара Чиладзе, избранная здесь в качестве сквозного примера. Правда, движение времени по свертывающейся спирали у Чиладзе искать рискованно, однако повышенная плотность и «странности» бесспорны. Что же касается взрыва, то он у этого писателя скорее пространственный, чем временной, но опять-таки больш ой.

Тут, впрочем, к романам Чиладзе необходим подход дифференцированный, потому что отношение к категории пространства в

них разное. В романе «Шел по дороге человек» оно замкнуто почти наглухо, в «И всякий, кто встретится со мной...» гораздо более открыто. Это естественно, поскольку первый роман построен на мифах языческих, второй же в основном использует христианские, библейские, а выше уже отмечалось, что отношение к пространственной ограниченности или безграничности мира в язычестве и «монорелигиях» было не одно и то же. «Вот таким будет мир», — говорит Фарнаоз Икару, указывая на возрожденный, сверкающий на солнце сад Дариачанги. «Но ведь он и теперь такой», — отвечает Икар. «Да, такой — и будет таким всегда», — заключает Фарнаоз. Мир неизменен, и новое пространство ему ни к чему. И Фарнаоз и Икар без него преспокойно обойдутся.

Но не Александр, не Нико, не Аннета — братья и сестра в романе «И всякий, кто встретится со мной...». Им нужно пространство открытое, разлетающееся, как осколки после взрыва, как Вселенная, если угодно И, стремясь что-то изменить, организовать жизнь по-новому, они закономерно начинают именно со взрыва, с посягательства на основы старого миропорядка.

Первую попытку предпринимают Александр и Нико. Это еще мальчишеский, но вполне осознанный бунт против дома-казармы с огромными, как шкаф, часами-повелителем. И вот однажды весь дом «был залит ярким, как в новогоднюю ночь, светом. Стены гудели и тряслись... Потолок над головой раскрылся, показались звезды, стекло лампы с оглушительным треском лопнуло, освободившееся пламя поднялось выше человеческого роста...». Собственно, взорван был лишь свинарник, и пережитые в ту ночь Нико и особенно Александром, раненным, потерявшим руку, «ужас, боль, сознание собственного бессилия, подобно невысказанной злобе, подобно невыпущенному гною, навсегда залегли в душах обоих — в душах, где мир еще не возник, где царили первозданный хаос и темнота». Подчеркнем: именно первозданный, праначальный.

Мир еще не возник — значит, следовало ждать новых потрясений.

Их жаждут Нико и Александр. Их ожидает, с надеждой прислушиваясь к звукам далеких взрывов со строительства железной дороги, влюбленная в инженера-путейца Аннета... Мир еще не возник.

Но во встревоженной приближением «железного чудища» Уруки уже «утверждали, что вот-вот начнется второе пришествие: мертвые воскреснут, богослужение в церквах прекратится, священников остригут, а колокола снимут и переплавят на паровозные

колеса». Привычная тишина и устоявшийся быт взорваны, понятия диковинно смещаются, и это значит, что человек неудержимо расширяет пространство и понимание осваиваемого им мира.

Борясь за его идейное перерождение, идет на теракт ставший революционером Нико. И снова звучит взрыв, но не террористический! Бросить бомбу в генерала, то есть убить, Нико не в силах. В последний момент он кидает ее в стену и, оглушенный взрывной волной, падает, теряя сознание. Однако из хаоса и темноты его юношеской души уже рождается новый мир, который позднее создаст для себя и Александр. Правда, до этого в поисках брата он еще будет вынужден одолеть кажущийся ему бесконечным сибирский тракт, где «время и пространство Александра измерялись другим аршином: не человеческим, а бесовским».

Все эти многочисленные взрывы как бы сливаются в один — Большой. Вырастают в его художественный образ. В его символ.

Любопытно тут и словцо «бесовский» (аршин). Бесовский — потому что какой-то нескончаемый. И потому что Александру, который уже потерял счет времени, кажется, что он блуждает, кружит, точно запутанный бесом. Александру чудится, что он уже видел и эту избу, к которой сейчас подходит, и эту женщину с красными от стирки руками, и этого хмурого мужчину в пестрой рубашке: «...и деревни, и города тоже походили друг на друга как две капли воды, словно за одним и тем же городом все время следовала одна и та же деревня, или наоборот». Конечно, Александр смертельно устал, может быть, болен, и прежде всего этим следует объяснить в романе его видения. Но таково еще и свойство пространства: по геометрии Римана и физике Эйнштейна, оно может обладать так называемой положительной кривизной, то есть, что уже было сказано, замкнуться само на себя, стать не бесконечным, но безграничным. Если, как Александр, забыть о времени и световым лучом двинуться по любому «тракту» Вселенной, то в конце концов мы, вероятно, снова увидим тот же город и ту же деревню...

Космологичный по своей природе, миф, таким образом, остается верен себе и в литературных вариациях. Более того: все чаще становится как бы подчеркнуто космологичным, все чаще образует стойкую пару с научной теорией. Метафора обогащается специальным термином, символ — логическим рассуждением. Принцип дополнительности в искусстве, в мифологической прозе...

И вот миф о манкуртах соединяется у Айтматова с космологической историей паритет-

космонавтов («И дольше века длится день...»). Школьный учитель Колдуэлл из мифоромана Апдайк «Кентавр», «пронзенный» астрономией, как Хирон отравленной стрелой, рассказывает ученикам о происхождении Вселенной, о Большом взрыве. Даже далекий, казалось бы, от космологических вопросов Достоевский приближается к ним вплотную именно тогда, когда в круг его реалистических персонажей врывается мифический черт с жалобами на бесконечные квадриллионы километров и миллиарды повторений и с мрачной шуточкой о тополе, который, уверяет черт, ежели его забросить повыше (вывести на орбиту), примется «летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника», а астрономы вычислят восхождение и захождение топора!

Заметим, однако, что мир с вечно движущейся гильотиной над головой — это воистину дьявольский мир. Или безумный. Галлюцинация, помрачение воспаленного карамазовского ума. Словом, «антимир». И все же многие, притом любимые автором, герои Достоевского, не принимающего вселенную на крови и даже самую мысль о такой вселенной, свой «антимир» создают! Для мифологической прозы он и вовсе данность, ведь мифологическая карта мира без сумеречного подземелья попросту немыслима, а подземелье, в частности ад, — это и есть мир наоборот, где правит бал, конечно же, сатана. Удивляться или пугаться, впрочем, решительно ни к чему. Потому что без «антимира» нет и мира. Нет искусства. Нет мифологии.

Объяснимся.

Когда — вот уже три десятка лет назад — французский этнограф и философ Клод Леви-Строс предложил структуралистское объяснение мифов, вряд ли кто мог подумать, что оно принесет автору мировую славу и вызовет острейшую полемику, не завершленную по сей день. Любой миф, по Леви-Стросу, состоит из набора бинарных оппозиций типа правое — левое, день — ночь, небо — земля, мужчина — женщина, жизнь — смерть; и любой миф призван преодолеть, примирить эти фундаментальные противоречия, последовательно заменяя их на менее резкие.

Так, известный миф об Эдипе содержит, по мнению Леви-Строса, весьма древнюю оппозицию, как бы заретушированную в позднейших литературных версиях, включая трагедии Софокла. Если же снять ретушь, то окажется, что миф об Эдипе — это попытка архаичного общества разрешить противоречие преданий и опыта: человек рождается от одного существа — человек рождается от двух. Миф позволяет перейти к более узкой оппозиции: человек появляется из земли (как

сфинкс, которого убивает Эдип) или рождается от людей (как сам Эдип). Эта последняя оппозиция заменяется еще одной, сходной по структуре и вполне реалистической: браки между близкими родственниками запрещены — и все же встречаются. А дальше так: раз компромисс возможен вообще, он возможен на любом уровне. Человек «происходит» от людей? Верно. Из земли? Тоже верно. Жизненный опыт и космология предков не враждуют.

Что тут сказать? В самом широком смысле первая часть формулы Леви-Строса (наличие бинарных оппозиций) вообще бесспорна. Не только миф, но и все искусство, не только искусство, но и весь мир бинарно оппозиционны, это естественное следствие закона о единстве и борьбе противоположностей. Однако зачем первобытному человеку непременно надо что-то с чем-то примирять? Логика мифа вполне может быть не леви-стросовской.

Не проще ли предположить, что в дописьменную эпоху миф был в первую очередь памятью человечества, средством передачи жизненно необходимой информации от поколения к поколению. Самой разной: о трудовых навыках, социальных и моральных нормах, о религиозных, космологических — словом, мировоззренческих — представлениях... Само собой, что без карандаша и бумаги, без новейших технических устройств эта информация «закладывалась» человеком в устный рассказ. Само собой также, что для лучшего запоминания нужен был рассказ яркий и компактный. Нужен был миф! Он и возник. Красочный, многоцветный, как лоскутное одеяло, и предельно простой структурно: передающий информацию только двоичным кодом, бинарными оппозициями. Тысячелетия спустя именно двоичным кодом как наиболее экономным люди воспользовались, создавая сверхпамять компьютера.

«Двоична» (как мир) и литература современная. Но она, естественно, гораздо свободней, нежели миф, и в выборе жанра, и в теме, и в сюжете, и в слове. Ведь ныне существует масса, так сказать, нелитературных способов хранения накопленного опыта, миф же был единственным, и потому структура в нем жестче, наглядней.

Построение мифа по железному принципу «да — нет» (принципу действия триггера — основного элемента любой ЭВМ) вело к своеобразной симметрии, к удвоению, вернее, раздвоению всего сущего (в том числе странства) на не похожие, но равнореальные области. Понятия не имея о каких-то там античастицах, обнаруженных лишь в XX веке, древний человек в мифе смело рисовал миры

и «антимирь». Одно без другого было бы — хаос, анархия, нарушение признанного порядка вещей. Следуют ему и авторы мифологизированных произведений позднейших времен. Но если, положим, Данте еще представлял ад некоей запретной для живых зоной, куда мог пробраться разве что герой наподобие гомеровского Одиссея или вергилиевского Энея, то у современных прозаиков «антимир» — составная часть обычного мира, открытая всем желающим.

Чтобы достичь ее, Доменико, герою фантазмагорического романа Г. Дочанашиви «Одарю тебя трижды» (М. 1984), необходимо лишь несколько часов. И он попадает в Камору — город бандитов, где властвует коварный маршал Бетанкур, где палач Кадима дважды обвивает шею жертвы «холодной, хлесткой, шелудиво-чешуйчатой рукой», где обман, грабёж, удар ножом — норма, а верность и бескорыстие даже не предполагаются. Стремясь постичь жизнь и самоутвердиться, Доменико на себе испытывает все виды зла, спрессованного в этом хищном городе, само название которого, считает критик А. Латынина, говорящее — с отзвуками библейской Гоморры и имени неаполитанской мафии («Литературная газета», № 23, 1985). В этом вывернутом наизнанку мире антигерои чувствуют себя прекрасно, а битым (наперекор примете) суждено быть, казалось бы, герою — Доменико — с его неуместными здесь идеалами. Так сначала и происходит: не выдержавший грубого давления силы, смятый страхом, Доменико превращается в покорную «живую игрушку» маршала Бетанкура.

Игрушкой морской стихии и темных человеческих страстей становится и экипаж барка «Нептун» в богатом мифологической символикой романе норвежского писателя Енса Бьёрнебу «Акуль» (М. 1985). Уже первые страницы романа предвещают резкое, катастрофическое падение барометра, сюжетную бурю. «Одним богам известно, какой смысл был вложен в то страшное и безумное плавание, — начинает рассказ второй штурман «Нептуна» Педед Енсен, от лица которого ведется повествование. — Казалось, весь корабль пропитан ненавистью, как будто она сама ковала, пилила, строгала, заклепывала и оснащала его. Как будто он был одержим сатаной».

Жестокий и алчный капитан, команда, собранная из портового сброда всех стран, рас и народов, ром, белая горячка, сифилис, звериные драки, самоубийство, убийство, бунт, беспощадная война всех со всеми — вот «Нептун». Надаром фанатично верующий первый штурман Кокс убежден, что господь

покарает этот корабль «духовных мертвецов», на борту которого «сошлись все грехи и пороки мира».

Может быть, впрочем, таков весь мир? Очень похоже, думает Енсен. Но тогда будь проклят творец, не ведающий справедливости. Лучше уж языческий Нептун, буйный и откровенно грешный, царящий в море и в крови, вызывающий «ураганы чувств» и «тайфуны безумия», — этот хоть не лицемерит!

Правда, на корабле есть юнга Пат, жена и маленькие дети капитана, есть верящий в доброе начало боцман и читающий труды Маркса кок Ти-Понг, есть, наконец, сам Енсен — одинокий скиталец, влюбленный в море и красоту. Но зло активней, мощней, и в целом первый штурман, пожалуй, прав: экипаж «Нептуна» — это компания для преисподней (если не сама преисподняя), плавающая Камора.

В таких условиях созерцатель Енсен и ему подобные выжить не должны бы, должны сломаться, как Доменико в Каморе. Тем не менее они спасаются. Доменико примыкает к восстанию пастухов, в борьбе обретая свободу и свое лицо, а моряки с гибнущего на рифах «Нептуна», забыв вражду, помогая друг другу, высаживаются на остров, где создают братскую коммуны без господ и слуг.

Не разделяя прекраснодушных авторских утопий — мягко говоря, несколько устаревших, — все же отдадим должное вечной мечте литературы о свободном и счастливом человеке. Мечте, которая в мифологизированном искусстве как родинка — с дня первого и по сейчас. В результате даже вывихнутый мир жизнеутверждающая мифологическая проза неизменно вправляет. Параметры мира могут меняться, общие законы — никогда.

Законы эти — человеческие, земные. И в аиде и в аду. И в Каморе и на «Нептуне». И в произведениях младописьменных литератур, от мифа отталкивающихся, и в высокоинтеллектуальных, «сложных» романах, часто к мифу возвращающихся. У нигерийского прозаика Амоса Тугуолы в его мире духов, в городах мертвецов, в церкви служит Дьявол, крестят огнем, радуются уродству и тому подобное, но... издают газеты, строят дома, играют свадьбы, рожают, короче говоря — живут («Заколдованные леса». М. 1984). А в имитирующем поток мифологического сознания романе Кэндзабуро Оэ «Игры современников» (готовится к печати издательством «Радуга» в переводе В. Гривнина) главный герой — филолог, историк и собиратель мифов — приходит к выводу, что картина ада на стене деревенского храма на самом деле отображает древнее строительство (!), тяже-

лые работы на заре освоения края. Земные нормы жизни сохраняют свою силу, даже когда персонажи Оэ путешествуют «вверх по дороге времени». Походы по дорогам времени в мифологической прозе вообще не редкость, хотя авторы берутся за их описание с большой осторожностью. Вспомним, к примеру, еще раз близкое по идее к мифу о Каине «чудо Ягора» из романа Чиладзе. Библейские причина и следствие в истории Ягора меняют места. Каин убил — и после этого обречен на бессмертие-страдание. Ягор являет чудо бессмертия — и после этого совершает убийство. Но моральный закон возмездия для Каина и для Ягора един. В любом случае они отверженные, проклятые...

Бинарные оппозиции, антиподы, антигерои, «антимир» с чисто мирской суетой — а не свойственная ли все это литературе условность, или игра, или, наконец, фантазия бросившего поводья логики сознания? Отчасти да. Но при этом и условность, и игра, и фантазия отнюдь не обязательно мираж реальности. Художественный образ «оборотного» мира может быть символом антимира материального. Большинство физиков склоняются сегодня к мысли, что антимир как целого в природе нет. Если же он все-таки есть, на чем настаивает меньшинство, то скорее всего известные нам законы физики в нем не нарушаются. А не нарушаются они (исходя из теоретических соображений) при соблюдении так называемой СРТ-инвариантности (или СРТ-симметрии), когда вместо частиц — античастицы, вместо левого — правое (как в зеркале), вместо прямого хода времени — обратный: время t заменяется на $-t$.

Нечто подобное образными средствами давно пытается доказать мифологическая проза. В ее «альтернативных» мирах телесное существо часто заменяется бестелесным, герои — антигероями, в Верхнюю Камору спускаются, а в Нижнюю — поднимаются, Ягор действует «по Каину», но в иной временной последовательности: в итоге же весь этот «ералаш» трансформируется в гармоничный космос, выстроенный по тщательно продуманной пространственно-временной схеме.

3

Итак, проблемы конечности и бесконечности мира, космоса, жизни, пространства и времени органично вплетены в художественную ткань мифологической прозы. А порой и более широкого ареала произведений, относящихся к классу «сложной» прозы.

В этом отношении существенного различия между началом нашего века, его

серединой и концом нет. Скажем, неоднократно писали, что Томас Манн изображал и трактовал мир в свете новых теорий времени. Например, в «Волшебной горе». «Время не просто объект, даже не только способ объяснить и упорядочить действительность; оно дух «Волшебной горы», ее демиург» (Д. Затонский). Но не подобным ли образом можем мы характеризовать и произведения Г. Маркеса, О. Чиладзе, Ч. Айтматова, К. Оэ, А. Кима, Т. Пулатова и многих других современных писателей? Хотя, конечно же, сейчас мы знаем о природе времени больше, чем в 20-е годы, когда была написана «Волшебная гора». Куда важнее общее, объединяющее начало, отмеченное, в частности, В. Огневим: принципиально другим, не подчиняющимся уже «жалкому, земному, евклидовскому» уму, как говорил Иван Карамазов, стал наш мир.

Ныне неподчинение все решительней.

Каков же наш мир, пытаются выяснить и писатели, используя в качестве надежного инструмента жанр мифа, реализуя в нем интуитивно-познавательную функцию литературы в той ее части, которая касается проблем мироздания и бесконечного. Не одну эту функцию, разумеется, но она, по моему, в мифологической прозе основополагающая.

Наши представления о мире неудержимо меняются, к тому же мы хотим их изменить. Эти изменения — прямо, метафорически или символически — отражает современная «сложная» проза, неся новое знание и подготавливая читателя к тому времени, когда такое интуитивное знание-догадку можно будет проверить научно. Освоенный нашим сознанием образ облегчит понимание самой сложной, самой «сумасшедшей» научной идеи, выражающей такую же сложную, «сумасшедшую», но объективную реальность. Не исключено также, что и наука, в свою очередь, что-либо почерпнет из литературы. И не только в смелости парадоксальных решений. Иногда в познании фундаментальных законов материального мира, связанных с категориями пространства и времени, искусство в чем-то даже опережает, предвосхищает достижения развитой современной науки. И отнюдь не случаен интерес физиков к некоторым мифологическим представлениям древности и средневековья. Известно, например, что В. Гайзенберг и Э. Шредингер знакомились с древнегреческими текстами и текстами Упаншад, а Нильс Бор — с «И-Цзин». Не случайно, конечно, и то, что нынешние исследователи все чаще говорят о сближении современного научного мышления с мифологическим, а также детским сознанием, которые

оказались неожиданно близки именно неевклидову, неньютоновскому восприятию мира (недаром архетипические патриархальные старики и дети так часто появляются на страницах современной мифологической прозы).

Чуда тут никакого нет. Что подтверждают исследования первобытных, детских, мифологических истоков представлений человека о пространстве и времени. Не углубляясь в этот специальный вопрос, замечу только, что для архаического (как и для детского) мышления, отраженного в фольклоре, характерно множество локальных пространств и времен с запутанной и нередко слабой взаимосвязью. Впоследствии в развитых мифологиях возникает уже картина единого мира, космоса, однако и она «по манере письма» ближе к Эйнштейну, чем к Ньютону. Из этого факта не следуют, конечно, шальные мысли о сверхъестественном или пришельцах. Следует другое. Мифологические представления пространства-времени перекликаются с релятивистской, квантовой физикой лишь постольку, поскольку такова спиральная история взросления отдельного человека и человечества в целом. «На различных этапах своей истории, — указывает советский философ, исследователь эволюции пространственно-временных концепций М. Ахундов, — человек смотрел на мир сквозь различные «очки» (миф, религия, натурфилософия, научная теория) и видел соответственно различные миры».

Историческая смена «оптики» делала человеческий взгляд более зорким, но некоторые объективно существующие реалии мироздания порой надолго выпадали из поля зрения. Так случилось и с рядом представлений о пространстве и времени.

Анализ фольклора, мифологии (и современной литературы) в свете новейших физико-философских теорий, в сущности, лишь начат. Результаты его могут быть чрезвычайно интересны, причем не только в историческом плане: вполне вероятно расширение круга идей, продуктивных и ныне. Жаль только, что это весьма перспективное соображение не учитывают или — выразимся резче — не понимают иные наши литературные критики и литературоведы. Вот пример.

В девятой книжке «Нового мира» за 1982 год К. Кедров опубликовал статью «Звездная книга». В ней автор утверждает, что мышление и искусство всех первобытных народов пронизаны звездной, небесной символикой, навеянной величественной картиной дневного и ночного неба. Этот единый, по мнению исследователя, символический язык древнего искусства К. Кедров назвал косми-

ческим метакодом и попытался дешифровать его на конкретных фольклорных примерах. Рассматривает автор и связи мифа (а также классической литературы) с рядом космологических понятий современности. Статья К. Кедрова оригинальна по исходному посылу и содержит развернутую систему доказательств. Бесспорных? Разумеется, нет. Статья как бы приглашает к полемике, но к полемике аргументированной!

Р. Мустафин дискуссию по существу дела, видимо, считает излишней. Свой отклик он озаглавил просто: «На стыке науки и... мистики» («Литературное обозрение», 1984, № 4). А «грандиозный перелом в мышлении, который внезапно сблизил современное научное мышление с древним космогонизмом» (К. Кедров), для Р. Мустафина не иначе как от лукавого, «лазейка для модных «сенсаций» о давних связях Земли с космосом, космическом происхождении землян и прочих псевдонаучных открытиях». Имеется между тем немало работ исследователей мифотворчества, представителей точных наук и популяризаторов науки, где и о переломе в мышлении, и о стыковке современной науки с мифом и классической литературой сказано достаточно определенно. Тут К. Кедров вовсе не первооткрыватель, тезисы эти потребовались ему лишь как трамплин для размышлений о мифологической неделимости человека и космоса, возможной, по мнению исследователя, и сегодня, уже на базе нынешних знаний. Р. Мустафин же, желая высмеять основные положения «Звездной книги», игнорирует обширную и серьезную литературу по вопросу.

Посоветуем Р. Мустафину заглянуть хотя бы в десятикратно переизданную книгу академика С. И. Вавилова «Глаз и Солнце», где автор пишет: «И в наше время рядом с наукой... продолжает бытовать мир представленный ребенка и первобытного человека и, намеренно или ненамеренно, подражающий им мир поэтов... один из возможных истоков научных гипотез. Он удивителен и сказочен: в этом мире между явлениями природы смело перекидываются мосты-связи, о которых иной раз наука еще не подозревает. В отдельных случаях эти связи угадываются верно, иногда они в корне ошибочны и просто нелепы. но всегда они заслуживают внимания, так как эти ошибки нередко помогают понять истину»³.

Опасаясь, впрочем, что и утверждение Вавилова покажется Р. Мустафину крамольным. Ведь, следуя логике его обвинений в адрес К. Кедрова, здесь тоже «явно сквозит вне-

исторический, внесоциальный подход к фольклору».

Еще пример. «Я боюсь как-то слишком напрямую связывать царство современных безумных идей в науке с появлением, допустим, «магического реализма», но, думаю, все-таки не случайно, что именно в эти десятилетия возникает латиноамериканский роман... где возможное и невозможное так свободно сочетаются, книги Булгакова, Льюиса и других...» Приведа это высказывание Даниила Гранина, В. Сахаров, автор статьи «Миф в современном романе» («Молодая гвардия», 1984, № 11), вроде бы целиком с ним солидаризируется: «Мысль понятная, лежащая, так сказать, на поверхности литературы...» Но тут же сюрприз: «...здесь с удивительной легкостью соединены вещи несоединимые. Ибо Булгаков идет от русской классической литературы, а «новаторство» нынешних латиноамериканских «мифотворцев» было запрограммировано еще в 20-е годы тогдашней авангардистской литературой...» Запрограммировали Маркеса с Кортасаром авангардисты — вот и весь сказ!

В общем, по В. Сахарову, «индейские и другие мифы народов Центральной и Латинской Америки у тамошних писателей, казахские и киргизские поэтические легенды у Чингиза Айтматова, фольклор чукчей у Ю. Рытхэу и Н. Шундика, северное предание в романе А. Ларионова «Лидина гарь» — весь этот пестрый материал плодотворно применяется именно потому, что он... часть жизни народного духа. Там же, где такого живого предания нет, начинается сложная и претенциозная игра с чужими мифами (характерный пример — «мифологический» роман американского писателя Дж. Апдайка «Кентавр»... тоскливый дзэн-буддизм позднего Дж. Сэлинджера и пр.)». Что же в этом случае выходит? Предпочел, положим, «тамошний» писатель Апдайк чужой греческий миф своему индейскому и тут же, по В. Сахарову, окосмополитился! Как, однако, быть с правом художника пользоваться достижениями всей мировой, а не только национальной культуры? И разве Булгаков, идущий от русской классики, не идет еще и от Гофмана, и от Гёте, а возможно, и от португальца Эсы де Кейроша?.. Есть ли, спрашивается, хоть какой-либо серьезный резон в рассуждениях В. Сахарова по поводу «удивительной легкости», с которой Даниил Гранин якобы соединил несоединимое? Ведь последний соединил Маркеса с Булгаковым именно по тому общему, что содержат их произведения. А общее — обращение к фантастике, к мифу. Для мифов же, какой бы «национальностью» они ни были, характерны, в

³ С. И. Вавилов. Глаз и Солнце. М. 1981, стр. 5.

частности, единые (или близкие) космологические схемы и переключки с современными научными идеями.

Что же до разного рода совпадений мифа (мифологизированного искусства) и науки — явных или «закодированных», символических, — то о них следует сказать несколько слов особо.

«Если бы... дело сводилось только к тому, чтобы символически выразить идеи философии или высшей физики с помощью мифологических образов, то все они уже имеются в греческой мифологии, так что я готов взять на себя обязательство представить всю философию природы в мифологических символах. Но это... было бы лишь использованием...»

Эта смелая мысль принадлежит Шеллингу, еще в начале прошлого века предсказывавшего связь «нового», авторского мифотворчества и науки. Связь двойную: прямую — когда высшую физику можно выразить через искусство, мифологию, и обратную — мифологию можно перевыразить через физику. «Боги» и той и другой, по Шеллингу, развиваются независимо и, в пределе, совпадают.

Вряд ли все же «представить всю философию природы в мифологических символах» — задача сама по себе настолько тривиальная, что ею не стоило бы и заниматься. Стоит! Не менее интересно и «перестроить» мифологию или мифологическую прозу в физико-философских терминах. Знаменательна уже сама возможность такого соответствия. Кроме того, как известно, аналогии, параллели, ассоциации нередко эвристичны, отчего и стали составной частью современных методик «мозгового штурма», применяемых при решении нестандартных проблем.

Но Шеллинг безусловно прав, подчеркивая невторичный, творческий характер мифотворчества и вообще искусства. Искусство в принципе независимо от науки и тем не менее часто с нею совпадает.

Здесь, правда, следует различать случайность и закономерность. Когда в одной из своих работ академик М. А. Марков уподобляет четыре фольклорных стихии, образующих мир: землю, воздух, воду и огонь, — четырем фундаментальным физическим взаимодействиям элементарных частиц: сильному (между адронами), слабому (среды адронов и лептонов), электромагнитному и гравитационному (других мы на сегодня не знаем), — корректно, думается, говорить именно о сравнении-совпадении.

Ознакомившись с одним любопытным чукотско-эскимосским мифом, так уже не ска-

жешь. Странник отправляется в путешествие по чужим землям (в иные «уровни»). Через несколько лет он возвращается домой и видит: дом одряхлел и разрушился, дети стали стариками; здесь прошли не годы, а десятилетия. Молодой странник падает и умирает (рассыпается в прах), почти как Дориан Грей, пронзивший кинжалом свой юношеский портрет. Вернувшись путешественником овладело земное время⁴.

А вот еще — на сей раз широкоизвестный — пример поразительного единодушия литературы, философии и физики. Стихи Брюсова:

Быть может, эти электроны —
Миры, где пять материков,
Искусства, знанья, войны, троны
И память сорока веков!

Еще, быть может, каждый атом —
Вселенная, где сто планет;
Там все, что здесь, в объеме сжатом,
Но также то, чего здесь нет.

Стихотворение написано в 1922 году. В тот год в среде ученых мысль о гипотетических, но не фантастических метagalactic, выглядящих для стороннего наблюдателя как элементарные частицы, тревожила, быть может, ум одного-единственного человека — молодого советского физика и математика Александра Фридмана, именем которого эти частицы нередко и называют. В двадцать пятом он умер в Ленинграде от брюшного тифа, двумя гениальными работами успев заложить основы всей современной космологии. Но даже Фридман еще не говорил о фридмонах! Их, развивая его теорию, предложили позже — это сделал академик Марков. Можно теперь, конечно, заключить, что Брюсов «совпал», можно — что «предвосхитил». Отчасти будет верно и то и другое, но еще вернее: это совпадение или интуиция исторически обусловлены. Ведь мысль брюсовского стихотворения, что подмечено и литературоведами и историками науки, корнями своими уходит в натурфилософию и мифологию, а пространство и время в мифе, повторю, неклассические (как в истории чукотско-эскимосского странника), ибо иными на том этапе человеческой эволюции они, по-видимому, быть не могли.

Анализируя категорию бесконечного в современной литературе, необходимо учесть и эффект осознанного привнесения в древнюю мифологическую традицию наших, так сказать, эйнштейновских представлений. Эффект этот особенно заметен в мифологизи-

⁴ Пересказ мифа даю по книге М. Д. Ахундова «Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы» (М. 1982, стр. 55).

рованном искусстве второй половины XX столетия, щедрой на новые физико-философские идеи.

И в заключение — еще об одном очень важном качестве мифологической прозы, связанном с ее «космической» ориентацией, без которого проза эта не была бы искусством. О ее моральном, категорическом императиве.

Не всякий символ есть миф, но всякий миф есть символ. Сказано А. Ф. Лосевым (среди его последних работ, касающихся символа и мифа, выделяются фундаментальные, очень содержательные книги «Проблема символа и реалистическое искусство» и «Знак, символ, миф»). В свою очередь мифологический символ всегда обобщение, модель, знак. Миф многозначен, более того — бесконечно многозначен, так как повествует о бесконечном и бессмертных героях. Однако мы-то смертны и пока способны реально представить лишь одно бессмертие — жизни

вообще, даже еще скромнее — земной жизни. Но вечна ли она (не во вселенском смысле, а в земном)? Видимо, да, если человек же ее и не уничтожит — экологическим невежеством, атомным безумием... Миф в целом деятельно, бескомпромиссно, принципиально против уничтожения, конечности. И мифологическая проза тоже. Это решительное против — одно из главных мифологических обобщений. Его можно выразить и без мифологии, что прекрасно сделал, к примеру, латвийский писатель и писавший летчик Экзюпери: «Чего ради нам ненавидеть друг друга? Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой, мы — команда одного корабля». Но имеет свои преимущества и «мифологическая» формулировка. Космические, космологические представления о мире и символика современной мифологической прозы активно помогают утверждению этой наиважнейшей для нашего настоящего и будущего мысли.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Валентин Катаев. Магистральные линии.— **Валерий Дементьев.** Ток времен. — **В. Этов.** Современность классики. — **Николай Скатов.** Много лет назад и всегда.— **Ю. Каграманов.** Читать Феллини.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Казаков. На весах публицистики.— **В. Бибихин.** Далекое и близкое.— **И. Куликова.** Боец ленинской гвардии.

Литература и искусство

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Вацлав Михальский. Тайные милости. Романы. М. «Советский писатель». 432 стр.

Вацлав Михальский. Все уносящий ветер... Роман, повести, рассказы. М. «Советский писатель». 463 стр.

Вацлав Михальский принадлежит к писателям послевоенным. Когда кончилась война, он еще не ходил в школу. Однако военная тема занимает в его творчестве заметное место.

Некоторые считают, что тема Великой Отечественной войны исчерпана, что о войне все сказано, все написано писателями — прямыми ее участниками или, во всяком случае, свидетелями. Но я думаю, что подобное мнение неверно. Тема Великой Отечественной войны далеко не исчерпана. Она только еще начала разрабатываться по-настоящему и не является достоянием лишь одного поколения. Она — достояние целой эпохи. Писатели послевоенного поколения приняли у своих старших братьев писателей-фронтовиков эстафету военной темы.

В свое время рекомендованные мною читателям «Роман-газеты» повести Вацлава Михальского «Печка», «Баллада о старом оружии», а также его роман «17 левых са-

пог» являются именно такой эстафетой. В творчестве Вацлава Михальского военная тема обогащается новыми красками. Рождаются новые сюжеты. Даже сугубо современный, остросоциальный роман «Тайные милости» и тот буквально наполнен отголосками войны. То же самое можно сказать о рассказах «Дед Лейбо», «Капитолийская волчица» и даже о повести «Холостная жизнь».

Там, где раньше преобладала фронтовая фактография, свидетельства художника-очевидца и прямого участника событий, теперь в силу вступает воображение. Силой своего художественного воображения Вацлав Михальский зримо воссоздает картины войны.

Не сомневаюсь, что в нашей советской литературе все чаще и чаще будут появляться произведения послевоенных писателей, которые по-новому осмыслят события Великой Отечественной войны, хотя и не

были ее участниками и даже свидетелями. К таким произведениям относится и «Баллада о старом оружии» Вацлава Михальского. Она названа автором повестью, но я воспринимаю ее как маленький роман, сплетенный из целого ряда самостоятельных новелл, рассказывающих как о событиях военных лет, так и о событиях сегодняшних, роман, где прошлое и настоящее находятся в постоянном взаимодействии. В центре этого маленького романа автор положил историю о старой дагестанской женщине Патимат, темной и неграмотной, которая на второй день войны ушла из родного аула искать своих двух сыновей на фронте, для того чтобы передать им оружие предков и свое материнское благословение. А уходя заняла место себе на аульском кладбище между дедом и мужем — отцом своих детей. Сказала аульчанам, что придет домой умирать. Но слова не сдержала. Она погибла героической смертью на фронте, так и не отыскав сыновей. Таков магистральный сюжет повести Вацлава Михальского. Однако писатель обогатил его еще многими отдельными новеллами, связанными с судьбой героической женщины Патимат, с ее пребыванием на фронтах Великой Отечественной войны. По ходу действия повести мы знакомимся с разными людьми, с их судьбами, с их духовным складом, с их внешним обликом, всегда написанными ярко и объемно, уверенной рукой художника.

Нет необходимости перечислять все эти новеллы. Читатель их прочтет и оценит по достоинству. Хочется все же обратить внимание на фигуру некоего лейтенанта Зворыкина, маленького военного бюрократа, чей портрет весьма точно схвачен писателем. Зворыкин требует, чтобы все было по уставу. Это, конечно, хорошо, но бывают же исключения! Все люди, с которыми сталкивалась Патимат, любили ее и уважали, как собственную мать. Она и сама считала их своими детьми. Один лишь лейтенант Зворыкин не то чтобы недолюбливал ее, а никак не мог согласиться, что при воинском подразделении и вдруг — старуха. «Не по уставу она тут была, и это коробило и смущало душу лейтенанта Зворыкина. Его учили в училище уставному порядку, учили блюсти дисциплину во всей строгости, и старуху он воспринимал как подрыв своего авторитета».

Вацлав Михальский делает в дальнейшем глубокий анализ характера лейтенанта Зворыкина, что хотя и несколько выпадает из общей архитектуры всей вещи, но зато дает читателю повод поразмышлять над тем,

каким образом и почему в нашем обществе рождаются такие характеры, как Зворыкин. «Баллада о старом оружии» посвящена событиям Великой Отечественной войны, но связана с сегодняшним днем, в ней ощущается единство прошлого и настоящего.

Несколько в другой манере, но все с той же изобразительной силой написана и другая повесть Вацлава Михальского, «Печка». Если «Балладу о старом оружии» я позволил себе назвать не повестью, а маленьким романом, то с таким же правом «Печку» можно назвать романом-очерком. Действительно, это не повесть в общепринятом смысле, а скорее очерк, очерк тоскующей детской души, но очерк настолько многоплановый и глубокий, что его также можно причислить к жанру романа.

Хотя и запоздало начал издаваться в Москве (через семнадцать лет после издания первой книги рассказов в Махачкале), Вацлав Михальский привлек внимание читателей и критики. У него верный глаз, острый, аналитический ум. Он прекрасно владеет словом и знает ему цену. Ведущая сила его творчества — воображение. Он как бы заново проходит путь писателей, своих предшественников, внося много нового в изображение традиционных событий.

Хочется сказать о некоторых особенностях писательской манеры Вацлава Михальского. У него слово не только обозначение предмета, но также и его душа, психея, то есть слово содержит в себе больше, чем на первый взгляд может показаться. Так, например, в повести «Печка» есть такое место:

«Даже само слово семья всегда имело для меня, если можно так сказать, тепловое значение. Семейей всегда было для меня нечто, пронизанное общим теплом. Сначала в нашей семье все-таки появился я, а потом печка, но как бы я жил без печки... Мне это так же трудно представить, как нелегко вдруг заговорить сейчас о себе в третьем лице и свою мать Татьяну Петровну называть Таней».

Каждая вещь, каждый человеческий характер в прозе Михальского созданы хотя и на старом, известном уже материале, но созданы заново и наделены новой душой. Впрочем, насчет известности материала, может, и не совсем верно. Дело в том, что Вацлав Михальский, как я сейчас знаю, напечатал многие из своих работ в Москве с интервалом в десять — пятнадцать лет после их создания.

Показателен в этом смысле остросюжетный, многоплановый роман «17 левых са-

пог», увидевший свет в Махачкале в 1967 году, не замеченный критикой и впервые явившийся широкому кругу читателей лишь в 1980 году. Та же самая участь постигла и повесть «Катенька» и «Балладу о старом оружии». Хотя такую ситуацию и не назовешь удачной для автора, но зато теперь ясно, что его произведения обладают большим запасом прочности.

Уверен, что долгая жизнь в сердцах читателей суждена многим героям Вацлава Михальского, и прежде всего таким, как непобежденный Алексей Зыков («17 левых сапог»), старая горянка Патимат, изумительная русская девушка Катенька. Неискушенному читателю проза Вацлава Михальского может показаться традиционной, но опытный глаз видит ее новизну, она еще раз подтверждает золотое правило: что талантливо, то и ново. В том числе и в поисках формы. Интересен в этом смысле и последний по времени написания роман «Тайные милости», как бы составленный из множества правдивых и острых осколков жизни.

Вацлав Михальский пишет в своих романах, повестях, рассказах о людях Юга России, а если точнее, о людях, живущих сегодня или живших еще недавно на узкой полоске прикаспийской земли, зажатой между горами и морем. Этот своеобразный уголок нашей великой России исключительно многонационален — здесь проживает свыше тридцати только коренных дагестанских народностей. Знание обычаев, нравов, устоев столь смешанной среды позволяет Вацлаву Михальскому создавать произведения, проникнутые духом настоящего, живого, а не парадного интернационализма. Писатель нигде не подчеркивает эту тему, она живет в его повестях, романах и рассказах так же естественно, как и в самой изображаемой им жизни. Читая произведения Вацлава Михальского, невольно задумываешься над тем, какое это великое достижение нашей страны — дружба ее больших и малых народов.

В прозе Вацлава Михальского хорошо уравновешены изобразительное и повествовательное, главные элементы художественного произведения, что делает его работы доступными широкому кругу читателей. Особенно четко прослеживается это качество в повести «Катенька». Хотя и это произведение, на мой взгляд, не повесть,

а тоже как бы маленький роман, насыщенный историческими событиями и людьми, связанными с первой мировой войной и началом Октябрьской революции. «Катенька», как и роман «17 левых сапог», как и все остальные повести-романы Вацлава Михальского, крепко привязана к сегодняшнему дню. Герои этой вещи за долгую свою жизнь претерпевают целый ряд психологических изменений. В исследовании этих изменений и заключен смысл всего произведения.

Исключение составляет центральный персонаж — сама Катенька. Она не дожила до наших дней, но ее душа как бы воплотилась в другой девочке, уже нашего времени, тоже Катеньке. Вацлав Михальский написал пленительный портрет девушки Катеньки, вобравшей в себя все то лучшее, что есть в чистой, хрустально-прозрачной, самоотверженной душе русской женщины-героини. К слову сказать, женские образы в прозе Михальского всегда достоверны. Но Михальский не был бы Михальским, если бы наряду с положительными героями, наряду с Катенькой не написал героя отрицательного — революционера-фразера, который на поверку оказывается трусливым обывателем. К сожалению, бывают и такие, и честный писатель не может пройти мимо этого явления.

В «Страничке из писательского блокнота», опубликованного в журнале «Вопросы литературы», Вацлав Михальский высказал, между прочим, такую — очень верную — мысль:

«Так уж устроен белый свет, что порой случай замыкает целые круги жизни, меняет судьбы или дает им новое дыхание. Не в меньшей степени это относится и к литературной работе, механизм ее пока не поддается логическому анализу, но все-таки здесь есть некоторые вполне очевидные магистральные линии, одна из них — движение от житейского случая к поэтической мысли, от факта жизни к художественному вымыслу».

Творчество Вацлава Михальского, в том числе и его новый роман «Тайные милости», в известной степени подтверждает это высказывание.

Валентин КАТАЕВ.



ТОК ВРЕМЕН

Арон Вергелис. *Волшебство. Стихи и поэмы. Авторизованный перевод с еврейского. М. «Советский писатель». 1985. 207 стр.*

Кажется, у В. Б. Шкловского есть суждение о том, что путь подлинного искусства по кругам анализа ведет не к себе, а ко всем.

Этот путь я ощутил особенно отчетливо в новой книге стихотворений известного еврейского поэта Арона Вергелиса «Волшебство».

На первый взгляд может показаться, что все здесь обстоит совсем наоборот: лирическое «я» поэта как бы уходит, удаляется от нас, его современников, в некие космические эмпирии, что на каждой странице поэт декларирует своеобразный эгоцентризм, не имеющий выхода «во вне».

Сотнями вопросов одержим,
жадного вниманья не таю
Всем в себе — и малым, и большим —
у истоков собственных стою.

(Перевела Р. Казакова)

Так сказано поэтом в стихотворении «У собственных истоков». И мысль о том, что поэт живет, волнуется, радуется, страдает «всем в себе», эта мысль как будто бы может найти свое подтверждение и в дальнейшем.

Однако постепенно выясняется, что главное переживание, которое объединяет все разделы книги и которое отнюдь нельзя свести ни к самодостаточности художественного мира поэта, ни к комплексу самоутверждения, это переживание лирическое. И его можно назвать: переживание хода времени.

Какой веселый карнавал на Площади
души моей!
И все бубенчики мои поют, звенят во
мне сейчас.
Я вам подносов золотых раздам улыбки
до ушей.
И я для каждого из вас медовых
пряников припас!

На Площади души моей я жду — скорее
же, друзья!
Вам — площадь и душа моя, душа и
площадь вам — моя,
А мне — ваш пестрый маскарад и ваш
веселый тарарам!
Я удовольствий миллион за это обещаю
вам.

О, если вовремя прийти, когда светает
в вышине,
Я покажу вам, как легко вдыхать
небесное тепло!

Я жаворонков разбуджу, которые поют
во мне,
Когда я излучаю свет — да так, что над
землей светло!

(Перевела Ю. Морיצ)

Помимо яркой, карнавальской праздничности этих строк, в них действительно можно почувствовать ход времен, точнее — ток времен, который словно бы протекает сквозь эти строки. Длительность лирического «я» сказывается в расширении временных границ — от наших дней до библейских мифов о сотворении мира.

При этом события, которые могли произойти в прошлом, происходят в настоящем, те, что могут произойти в будущем, как правило, все-таки сосредоточены на Площади души лирического поэта, они свободно им komponуются, перетекают друг в друга и в этом своем свободном перетекании (или скорее — перевоплощении) оказываются действенными, художественно и эстетически впечатляющими. С ними понимаешь истинный смысл названия книги — «Волшебство».

Таким образом, как бы ни были сложны, прихотливы ассоциативные завязи и связи в стихотворениях и поэмах А. Вергелиса, неизменно просматривается творческая задача — запечатлеть в слове многообразии мира, его многокрасочность и многослойность. Это касается и мира исторического, мира библейских сказаний и легенд (особенно часто встречающихся в разделе «Бытие»). Это касается и стихотворений, поэм, обращенных к нашей современности, к эпохе Великой Отечественной войны.

«Что в человеке важнее всего?» — спрашивает поэт в «Версии о двух сотворениях мира». И отвечает: «Быть человеком!..» После подобного зрело обдуманного ответа ясно, что это ответ, за которым раздумье о всем пережитом нашим поколением. Пережитое обострило социальное зрение поэта, оно проникает и в «диалектику души» и в события глобального масштаба. Библейские легенды и предания помогают поэту обрести большую стереометрию видения мира, почувствовать его объемность.

В недрах времени живущий,
Я торю тропу времен.
Пустоши твои и кущи
Вижу, мир, со всех сторон.

(Перевел А. Королев)

Арон Вергелис ни в одной своей книге, в том числе и в рецензируемой, не перестает быть поэтом остросоциальным, поэтом гражданского, скажу сильнее — политического пафоса.

Вновь и вновь из исторических далей автор сборника «Волшебство» возвращает нас в современность, говорит о самом важном, о том, чем живет сейчас каждый.

«Быть человеком!» — это ведь и живая горьковская традиция в нашей литературе, и пафос наших дней. А этот пафос поэт обретал опять-таки на кругах анализа, пройдя которые он и пришел к «горизонту многих», как сказал в свое время Поль Элюар. Об этих многих, вложивших свою долю в общее дело Победы над гитлеризмом, о людях «не на виду» емко и выразительно сказано на страницах сборника.

Чем дальше, тем отчетливее становится облик лирического героя, его душевный склад, его характер. Привлекательная черта этого характера — склонность к юмору, к самоиронии, к сатире — как в темах общественного звучания, так и в вольных пересказах, вариациях на темы библейских мифов. Например, «Колыбельная для Адама», в которой легенда о первой женщине, созданной из Адамова ребра, превращается в остроумную притчу об «острых углах» женской натуры. Везде можно почувствовать ироническую улыбку поэта. В этом ряду историческая баллада «Как создавалась статуя пророка Моисея», современное, грустное стихотворение о тетушках, или миниатюра, которая по традиции названа «К моему портрету»:

Я особой ошибки не вижу,
Что пчела промахнулась едва:
Выбирала подсолнечник рыжий,
А попалась — моя голова!

(Перевел Л. Темин)

Давно известно, что ничто так не располагает человека к человеку, ничто не является таким действенным средством в сближении людей, как добрая шутка. И если я говорю о лирическом герое Арона Вергелиса как о воплощении глубоко личностных и в то же время общечеловеческих качеств и свойств, то я не могу не сказать именно о его склонности к шутке.

Веселой шутке — ей хвала,
Ее уму и милосердию, —

многозначительно и вместе с тем глубоко справедливо сказано поэтом.

Проходя в своем творчестве не только круги анализа, лирического самоанализа, но и круги поэтического воодушевления, Арон Вергелис в конце концов всецело обращается к делам земным, к нашей современности, к нашему времени. И здесь оказывается, что все пережитое в годы войны живо в его душе и памятно до боли. «Путь к Победе», «Женщина на войне», «Новоселье», «Стена плача для Анны Франк» — каждое из этих стихотворений заслуживает подробного разбора. А ведь о многом поэт начинает писать, как говорится, со второго захода. И все-таки, все-таки... Значит, жизненные и творческие воззрения его были закалены огнем времени, значит, для него и в жизни, и в поэзии все подлинно прекрасное и все подлинно социальное — неразделимы.

Валерий ДЕМЕНТЬЕВ.



СОВРЕМЕННОСТЬ КЛАССИКИ

В мире отечественной классики. Сборник статей.
М. «Художественная литература». 1984. 463 стр.

Бытует мнение, что литературоведческое прочтение классического наследия — дело узкоспециальное, далекое от интересов широкого читателя. Видимо, поэтому составители книги «В мире отечественной классики» вынуждены были даже специально оговорить необходимость ее появления: «некоторые наиболее актуальные и значительные» из журнальных статей, посвященных классике, «заслуживают того, чтобы жизнь их была продлена». Думается, осторожность издателей относительно подобной литературы ни-

чем не оправдана. При нынешнем интересе к классике литературоведческие издания пользуются спросом, и спросом широким. Попробуйте достать книгу о Достоевском, Лескове, Л. Толстом, Чехове, а тем более о Пушкине.

Однако нужно сказать сразу, сборник «В мире отечественной классики» — это не популярное литературоведение и не книга специального, например школьного, назначения, какие выпускают «Просвещение» и «Детская литература». Нет, это литературоведение,

цель которого прежде всего в обслуживании текущих нужд самой литературной науки. И тем не менее книга несомненно вызовет интерес не одних специалистов-филологов. Часть статей, составивших сборник, писалась как раз для массовой аудитории — скажем, работы К. Ломунова о Л. Толстом, Ю. Мелентьева о Чернышевском, полемические заметки Ю. Суровцева, появившиеся в свое время в журнале «Знамя». Что же касается материалов, помещенных в последнем разделе сборника «Публикации. Воспоминания. Сообщения», то об их притягательности для самого широкого читателя можно судить уже по заголовкам: «Н. С. Лесков. Из неизданной переписки», «И. С. Тургенев в письмах Генри Джеймса», «Новые данные об обстоятельствах гибели Грибоедова» и т. д.

Читателя же специалиста издание привлечет богатством картины современного изучения классики. В книге нашлось место и для серьезного разговора о проблемах истории литературы, и для острой полемики, и для публикации воспоминаний и сообщений. Надо отдать должное составителям (Ф. Кузнецову и Д. Николаеву) — при всем тематическом разнообразии собранных здесь статей сборник методологически цельный.

Наиболее значительными представляются в книге статьи М. Храпченко «Историческая поэтика: основные направления исследования», Ю. Мелентьева «Алмаз истины и уголь измышлений», В. Щербины «Литература и действительность (Ленинские теоретические принципы анализа литературного процесса)», Г. Фридлендера, Г. Бердникова, К. Ломунова, Б. Мельгунова.

Авторов интересуют прежде всего «методологические проблемы истории литературы» — именно так назван первый раздел книги. Однако было бы справедливым утверждение: методология литературы — ключевая внутренняя тема вообще всех помещенных в сборнике работ. И в этом глубокое понимание автора сборника современных проблем науки, требований, предъявляемых к ней жизнью. Актуальным пафосом проникнуты даже такие, казалось бы, сугубо академического назначения статьи, как «Нерешенные вопросы изучения русской литературы рубежа XIX—XX веков» В. Кулешова и «О некоторых проблемах русского литературного процесса конца XIX — начала XX столетия» В. Келдыша. Эти «некоторые проблемы» таят в себе круг вопросов, способных вызвать интерес массового читателя. Скажем, ориентируясь на современное прочтение Бунина, Л. Андреева, Куприна, поэзии русских символистов, В. Кулешов предлагает не только поразмышлять вместе с ним, но взывает еще

и к читательскому опыту каждого из нас: «...возьмем Леонида Андреева; с какими предвкушениями мы садимся и сейчас за перечитывание его, например, «Жизни Василия Фивейского», в которой с такой пронизательностью обсуждаются трагические вопросы жизни! Сохраняют до сих пор все запахи родины «Антоновские яблоки» Бунина. Какая уж тут «травка забвенья»! Такова сила правды в искусстве — она все равно свое возьмет рано или поздно; такова счастливая участь таланта в искусстве, изобразительной мощи».

Сознаюсь, я с большим удовольствием написал эту цитату, потому что нечасто наши ученые пишут столь легко, непринужденно, не злоупотребляя терминологией, не впадая в сугубо научный стиль — стиль узковедомственных «Ученых записок».

Несомненно, читатель получит немало удовольствия от полемической статьи Ю. Суровцева; его «маргиналии» написаны остроумно, не без подвоха по отношению к простодушному читателю, с элементами пародирования того самого научного стиля литературоведения, который порой иссушает живое филологическое дело. «„Классификация“ литературоведов по стиливым рубрикам, — пишет Ю. Суровцев, — дело новое, терминология здесь еще не устоялась; может показаться, что предложенное мной определение («стиль экстаза») не вполне соответствует предмету анализа, научно неадекватно ему, как теперь говорят. И все же я настаиваю именно на нем, а не на определении «стиль транс», скажем, хотя, сколько-нибудь внимательно всмотревшись в текущее литературоведение, можно обнаружить и признаки последнего». И еще: «...не опровергать суждения В. Кожина я специально взялась, но изучить закономерность стиля, им представляемого, а конкретные опровержения и несогласия — это уже вынужденно, по ходу разговора...» Автор говорит это, конечно, не всерьез — именно опровержения составят значительную часть его статьи. Еще бы, спор идет о национальном своеобразии русской литературы, о методологических основах ее изучения. И в выводах своих Ю. Суровцев предельно серьезен, собран, как требует того значительность затронутой проблемы: без учета исторического своеобразия явления, вне марксистско-ленинского учения о двух культурах исследователь литературы обречен на односторонность и субъективизм в оценках культурного наследия.

Историзм — альфа и омега нашей литературной науки. Принцип историзма, напоминает в своей статье В. Щербина, формулиро-

вался и разъяснялся В. И. Лениным в различных аспектах. Общие его методологические основы выражены в требовании «не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь».

Какое простое и каждому хорошо знакомое требование диалектики! Но как трудно бывает ему следовать — не формально, а на практике, не прибегая к спасительной помощи цитат. Особенно когда возникает необходимость дать общую оценку такому явлению, каким является история русской классики того или иного периода, а тем более эпохи. Здесь исследователь призван, говоря ленинскими же словами, охватить «сумму разнообразных возможных явлений... как типичных, так и нетипичных, как больших, так и малых...». А для этого нужны и обширные знания, и немалый талант обществоведа, и, добавим, огромное чувство ответственности за свое слово. Только на основе осознанного и последовательно проведенного историзма можно избежать пагубной односторонности в подходе к русской классике, о чем речь шла у автора статьи «В стиле экстаза».

Приходится констатировать, что в последнее время нам не однажды приходилось сталкиваться с фактами отступления от принципов историзма при оценке литературного наследия революционных демократов. Материалы сборника дают в этом отношении богатую пищу для размышлений.

«Советское литературоведение, — пишет В. Щербина, — давно отвергло одностороннюю практику жесткого деления деятелей литературы лишь на основе их прямых политических высказываний. К сожалению, эта точка зрения последние годы гальванизируется рядом тенденциозных авторов. Белинский, Чернышевский, Добролюбов без оговорок противопоставляются ряду классиков реализма — Тургеневу, Гончарову, Островскому, Достоевскому, Л. Толстому». То, о чем говорит В. Щербина, — своеобразное проявление рецидивов вульгарного социологизма, хотя авторы подобных работ, игнорируя наследие революционных демократов, мнят себя чаще всего сторонниками широких воззрений на прошлое, противниками догматизма и т. д. Эта «широкость» нередко выражалась в том, что под сомнение ставились и критическая направленность реализма прошлого века, и наличие его связей с русским освободительным движением.

Понятно, какой принципиальный смысл име-

ет обращение авторов книги «В мире отечественной классики» к художественному и теоретическому наследию Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Вспомним, как, например, резко полемизировала русская революционно-демократическая мысль с воззрениями «Выбранных мест из переписки с друзьями». Тем не менее в статье «Забитые люди» Добролюбов писал о Достоевском и Салтыкове-Щедрине, о других писателях «истинно гуманического» направления, как о сформировавшихся «под свежим влиянием лучших сторон Гоголя и наиболее жизненных идей Белинского». Эту общность идей Белинского и Гоголя подчеркнет Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» («...Белинского и Гоголя с базара понесет»).

Достоевский, Гончаров, Тургенев, Толстой трактовали общественные проблемы своего времени иначе, чем революционеры-демократы. Но их творчество также развивалось под воздействием общих процессов освободительного движения. Об этом напоминает в статье «Литература и действительность (Ленинские теоретические принципы анализа литературного процесса)» В. Щербина. Здесь уместно вспомнить и о книгах минувших лет — монографиях Б. Бурсова «О национальном своеобразии русской литературы», Г. Фридлендера «Реализм Достоевского» и некоторых других. Исследования национального своеобразия русской литературы, проведенные в этих работах, обогатились конкретными наблюдениями в трудах многих советских ученых, посвященных творчеству Достоевского, Чехова, Тургенева, Островского, Салтыкова-Щедрина, Чернышевского. Не замечать уже накопленное наукой, нивелировать русский историко-литературный процесс, рассматривая его исключительно «под знаком Достоевского», — значит, оказывать нашей науке плохую услугу, тащить ее назад.

Давно прошли времена, когда слависты на Западе игнорировали революционных демократов, ограничиваясь общими негативными оценками их значения. Ныне в Америке и Западной Европе книги о Чернышевском или Белинском уже не редкость. Но чаще всего, к сожалению, цель подобных исследований — представить Чернышевского или Добролюбова инородным явлением в русской национальной жизни и художественной культуре, затушевать, исказить связь русской литературы с освободительным движением.

Глубокий и серьезный анализ этого явления сделан Ю. Мелентьевым, обратившимся к работам американских славистов 60—70-х годов. На его статье «Алмаз истины и уголь

измышлений (Наследие Н. Г. Чернышевского и некоторые вопросы современной идеологической борьбы)» стоит остановиться подробнее, ибо она примечательна во многих отношениях. Опубликованная первоначально в журнале «Вопросы философии», статья явила собой образец популяризации сложных философских проблем в специальном журнале, продемонстрировав читателю ту связь литературоведения с философией и общественным сознанием, настоятельная необходимость которой обозначилась в последнее время. Вместе с тем работа Ю. Мелентьева прямо отвечает тезису составителей книги: «Классические произведения литературы прошлого захватывают нас не только глубоким проникновением в человеческие характеры и художественным совершенством. Они активно вторгаются в наши сегодняшние споры, так или иначе влияя на нынешнее осмысление действительности». В первую очередь это относится к наследию революционных демократов, вокруг которых за рубежом не прекращаются острые идеологические споры. «Теоретическое, литературное наследие и жизненный подвиг Чернышевского, — пишет Ю. Мелентьев, — не принадлежат к разряду тех проявлений человеческого духа, которые спокойно созерцают историки в тиши научных кабинетов. Они и по сей день — арена острых столкновений, повышенного внимания и изучения, глубокого постижения и восхищения, с одной стороны, грубой или утонченной фальсификации — с другой. Н. Г. Чернышевский и сегодня вместе с нами в острейшей битве за умы и сердца, за гуманизм и само существование человечества. Именно поэтому так ожесточенно продолжают воевать с этим наследием защитники капитализма и реакции, его и наши идеологические противники».

Опираясь на обстоятельный разбор работ ряда американских исследователей о Чернышевском (Рэндалла, Биллингтона, Мэтьюсона и других), а также на личные впечатления от встреч с учеными, дискуссий и споров с ними во время поездки в США в 1978 году — в год столетия юбилея Н. Г. Чернышевского, автор статьи создает картину ожесточенной идеологической борьбы, которая долгие годы ведется вокруг наследия великого революционного демократа.

Длительное время американскому читателю внушались мысли о вторичности философии Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова. Изрядно потрудились над этим бывшие «веховцы»: Н. Бердяев, Н. Лосский, их последователи и ученики. Естественное, что от подобных специалистов невозможно было получить представление о масштабах и зна-

чении наследия революционных демократов в истории русской общественной мысли и культуры. Однако в последние годы ситуация стала меняться.

На рубеже 60—70-х годов в США стала ощущаться потребность в деловой и конструктивной информации о настоящем и прошлом России. Тому в немалой мере способствовали и мирные инициативы Советского Союза, и поворот к разрядке в международных делах. Возникла возможность более объективного подхода к изучению русской культуры. Как пример серьезной работы Ю. Мелентьев отмечает монографию Ф. Б. Рэндалла о Чернышевском, появившуюся в 1967 году. Американский ученый ставит перед собой задачу опровергнуть мифы, сложившиеся о русском писателе за рубежом как о примитивном утилитаристе в области эстетики и морали, популяризаторе грубых вульгарно-материалистических теорий, заимствованных на Западе. Подобные утверждения, по мнению американского ученого, — не что иное, как порождение невежества пишущих о Чернышевском, не потрудившихся прочитать даже роман «Что делать?». (Заметим в скобках, что обывательские представления о «скучности» и «примитивности» Чернышевского блестяще опровергали еще Ленин и Луначарский.) По мнению Рэндалла, Чернышевский «остроумный полемист, обладающий исключительными достоинствами стиля, цельностью единства формы и содержания как явного, так и завуалированного характера».

Конечно же, серьезные и объективные исследования русской литературы в США не единичны. Но, к сожалению, нередко вслед за правдивым словом следует буря опровержений, лавина тенденциозных обвинений и клеветы в адрес русских демократов. Нетрудно понять, как действует это на сознание недостаточно хорошо знающего нашу литературу американского читателя. Созданы даже специальные учреждения — Международный центр ученых имени Вудро Вильсона и Институт Кеннана (его подразделение), под эгидой которых идет исследование русской культуры и литературы.

Нельзя не подивиться вместе с Ю. Мелентьевым фразе из годового «Отчета» этого института: «Институт Кеннана, как и центр Вильсона, в целом не имеет ничего общего с миром политики». Здесь же автор приводит весьма выразительную выдержку из этого «Отчета»: «В 1976 году Центр выплатил краткосрочные денежные ссуды ученым за следующие работы: Гэри К. Берч. «Политические течения в Советском Союзе», Рольф Х. Тип. «Якобинская ориентация в русской

общественной мысли», Петер М. Е. Вольтен. «Советская Программа мира и ее выполнение по отношению к Западу». В ряду этих работ, якобы не имеющих «ничего общего с миром политики», и объемистый том самого директора Международного центра ученых имени Вудро Вильсона Дж. Биллингтона. Как бы в дополнение к своей сенсационной книге под броским названием «Икона и топор» (1966) в 1980 году он выпустил обширный тенденциозный труд «Огонь в умах. Истоки революционной веры». Но сенсации, иронизирует автор обзора, не будет. Книга Биллингтона — очередной контрреволюционный опус, а ее автор «предстает перед читателем как обскурант и активный защитник мира „желтого дьявола“».

Наследие Н. Г. Чернышевского по-прежнему живо, оно притягивает к себе умы, вызывает ненависть одних и восхищение других, оно активно участвует в современной идеологической борьбе. В «Антропологическом принципе в философии», напоминает Ю. Мелентьев, Чернышевский писал: «Мы

знаем, что алмаз и уголь — все один и тот же чистый углерод, но тем не менее алмаз есть алмаз, вещь чрезвычайно драгоценная, а уголь — все-таки уголь». Немало буржуазных славистов тщится доказать, что наследие Чернышевского именно уголь. «Но история неумолима, — утверждает Ю. Мелентьев, — она все расставляет на свои места, превращая в тлен и пепел, в ненужный хлам книги и статьи жалких оппонентов революционного прогресса».

Итак, перед нами сборник академических статей. В этих «академических» статьях — кипение страстей, дыхание эпохи, прямое переплетение сложных проблем современной жизни и науки. Нет, не чисто профессорские пристрастия движут пером наших литературоведов. проблемы, ими поставленные, диктуются современными заботами — и это лучшее свидетельство того, что классическое наследие — живая, неотъемлемая часть нашей духовной жизни.

В. ЭТОВ.



МНОГО ЛЕТ НАЗАД И ВСЕГДА

Физиология Петербурга. 304 стр. Шестидесятники. 439 стр.
М. «Советская Россия». 1984.

Издательство «Советская Россия» выпускает в свет книжную серию «Библиотека русской художественной публицистики». Предполагается издать сто томов. Вышло уже два десятка книжек, можно говорить о некоторых существенных процессах. Главные точки отсчета — Пушкин и Чехов — обозначены, соответствующие книги вышли. Также изданы В. Белинский («Современные заметки»), А. Герцен («Письма в будущее»), Ф. Достоевский («Искания и размышления»).

Впрочем, название «Библиотека русской художественной публицистики» следовало бы уточнить, скорректировать. Попробуем. Но сначала несколько слов о сути.

Русская публицистика — явление не менее выдающееся, чем русская собственно художественная литература. И мировая слава, уже завоеванная и, пожалуй, едва ли не в большей мере та, которая нашей литературе еще предстоит, определена и будет определяться, кроме всего прочего, и публицистикой. Ленин в знаменитой статье о Толстом сказал об этом точно: «Его мировое значение, как художника, его мировая известность, как мыслителя и проповедника, и то и другое отражает, по-своему, мировое значение русской революции».

И если русская литература действительно есть, по известному выражению Генриха Манна, русская революция до революции, то, конечно, слово художников в ней стоит рядом со словом мыслителей и проповедников.

Все у нас начинается с Пушкина. Не в том смысле, конечно, что Пушкин был первым публицистом: корни-то уходят в древность — именно там, прежде всего в Иларионовом «Слове о законе и благодати», обозначился уровень и накал, навсегда были заданы критерии. И в предпушкинскую эпоху появлялись подлинно великие публицистические произведения. В серии это книги Радищева и Капамзина, выразившие разные, даже противоположные, тенденции социальной жизни. Уже здесь намечилось стремление говорить о самом насущном в жизни средствами не искусства, а публицистики. Стремление это многократно проявится и позднее.

И все-таки издатели, не знаю, вольно или невольно, но верно начали серию с Пушкина. Ибо у Пушкина особенно наглядно выразились противодействие и взаимодействие двух начал — художественного и публицистического. И словами «русская художественная публицистика» коллизия не снимается, драма-

тизм ее этой формулой не отменяется. Какая же коллизия? Какой драматизм?

Публицистика — это «литература по общественно-политическим вопросам современности», скажет суммирующий и сводящий дело до сути словарь. А разве «Воскресение» — не «литература по общественно-политическим вопросам современности»? Или «Братья Карамазовы»? Не говоря уже про «Что делать?». С другой стороны, разве газетная статья — не публицистика? По-видимому, корень как раз и заключен в оппозиции: художественная — публицистика. Всякое творчество подвижно и прихотливо, рождает неожиданности, исключения из ряда и отступления от правил. Но все же ряд есть и правила существуют.

Публицистику от художественности отличают по крайней мере две вещи. Первое — установка на факт, на реально бывшее, на действительно существовавшее, на правду жизни, а не на правду искусства. Смешение двух этих правд — постоянный источник недоразумений в практике и в теории. Второе — установка на прямое слово, непосредственное обращение от автора и, как правило, не от условного автора, а опять-таки явного, ни за кем и ни за чем не прячущегося: Пушкина, Гоголя, Чехова. Здесь сила и авторитет личного свидетельства (или опасность лжесвидетельства, впрочем, обвинение это в искусстве, по его сути, немислимо). Пушкин — критик и публицист — уже не Иван Петрович Белкин, даже не автор «Евгения Онегина» (который, конечно же, является одним из героев романа, недаром именно он хранит письмо Татьяны и является приятелем Онегина). Он — Пушкин.

Еще понятно, когда писатель, художник сравнительно умеренного дарования ищет опоры в публицистике, стремится к канонам. А здесь? Однако именно Пушкин особенно значим для уяснения всей проблемы, ибо он у нас как бы норма и идеал художника. Еще Белинский писал: «Пушкин был призван быть первым поэтом-художником Руси...» и даже: «Пушкин должен был явиться исключительно художником». Исключительно ли? Сам же поэт энергично это опроверг. Характерно, что он довольно рано начал прорываться в публицистику, а позднего, самого зрелого и «художественного» Пушкина-художника уже постоянно сопровождает Пушкин-публицист.

Пушкин, который был главным козырем защитников «чистого искусства», продемонстрировал невозможность для русского художника замкнуться в искусстве, недостаточность для него только искусства, готовность и способность отказываться от искусства

во имя жизни и прямого в ней слова. Нужно было достичь абсолютного уровня в искусстве, чтобы понять его неабсолютный характер. «К концу литературной деятельности, — пронизательно заметил в свое время Ю. Н. Тынянов, — Пушкин вводил в круг литературы ряды внелитературные... ибо для него были узки функции замкнутого литературного ряда. Он перерастал их». Правда, требуются две оговорки. Первая. Конечно, и здесь Пушкин остается Пушкиным. Но его слово приобретает иную, нехудожественную силу. Вторая. Сказанное не означает, что во всех случаях эта сила сравнительно с искусством большая и высшая. Она — иная, диктуемая задачами, которые в искусстве трудно решаемы (я оставляю в стороне чисто прикладную публицистику).

В творчестве Пушкина обозначилась и общая тенденция, характерная для всего последующего развития русской литературы. У Гоголя возникает стремление преодолеть условность даже публицистического слова, совершенно снимая барьеры между словом и жизнью: писатели обнаружат свою переписку, да еще с друзьями. Поздний Достоевский представит публицистические опыты как «дневник», хотя все же выставит предупредительный знак — «писателя». Почти вся публицистика Льва Толстого противостоит его художественному творчеству. Такое противостояние, Толстым неоднократно провозглашенное, вряд ли способно отменить правду толстовского искусства, но обостряет наше внимание к правде публицистики.

Я не случайно называю Достоевского, Льва Толстого, так как характерная примета русской публицистики XIX века в том состоит, что она не только сопровождала художественную жизнь, но иногда и противостояла ей, вытесняла ее в качестве явления принципиально — именно у самых великих художников — внехудожественного и даже «антихудожественного» (Лев Толстой). Вот почему название серии звучало бы точнее, скажем, «Публицистика русских писателей»

Публицистика русских писателей-классиков не стареет. Создававшаяся десятки, даже сотни лет назад, она захватывает и сейчас. А ведь откликнулась на злобу дня. Да и вся наша классика разве писалась «для вечности»? Даже если она вроде бы уходила от современной ей действительности, то чаще всего именно в пику и назло этой действительности. Противоречия общего и частного, сегодняшнего и завтрашнего, вечного и временного постоянно имеют место в классической публицистике, постоянно в ней разрешаются. Материал «Путешествия из Петербурга в Москву» для нас история, но всегда

сопереживает душа человеческая, потрясенная страданиями других человеческих душ. И не потеряли цену для нашего века путешествий уроки Карамзина, первого русского путешественника, проехавшего по Европе без тени предвзятости, с полной готовностью и способностью приятия и вместе с тем сохранившего и укрепившего силу своей любви к родине: «Берег! Отечество! Благословляю вас! Я в России... Всех останавливаю, спрашиваю, единственно для того, чтобы говорить по-русски и слышать русских людей...»

Публицистическое и художественное сложно взаимодействуют. Есть публицистика как постоянная и необходимая спутница художественного. Дело привычное. Однако серия дает ему не совсем привычный оборот. Вышел сборник «Шестидесятники», подготовленный Ф. Ф. Кузнецовым, известным, так сказать, рыцарем шестидесятничества. Для широкого читателя шестидесятники — это прежде всего три-четыре великих имени: Чернышевский, Добролюбов, Писарев... Но есть лица второго, третьего плана, и когда их произведения точно отобраны издательством, умело прокомментированы, называть их второстепенными уже не хочется. Это потому, что они в когорте, которая в целом не второстепенна.

Бывает, однако, публицистика, в которой зреет новая художественность. В этом смысле примечателен впервые переизданный сборник «Физиология Петербурга». Очерки, вошедшие в книгу, были, как известно, посвящены северной столице России. Но это — тематически. По сути же здесь заявлены начала нового литературного направления, так называемой натуральной школы. Очерки вроде бы художественные — картины и типы Петербурга, но с явной установкой на документальность, на прямое статейное слово. Недаром они тесно связаны с собственно статьями Белинского.

В литературоведении основоположником и главой «натуральной школы» обычно считают Гоголя. Да, в той мере, в какой он вместе с Пушкиным был основоположником всей новой русской литературы. Но у писателей «натуральной школы» внешние сходства с Гоголем лишь обнажают существенные различия. Белинский тоже называл Гоголя главой «натуральной школы» — в подцензурных статьях. «Насчет Вашего несогласия со мною касательно Гоголя и натуральной школы,— напишет он уже в частном письме К. Д. Кавелину, очевидно, выразившему не-

доумение по этому поводу (письмо Кавелина не сохранилось),— я вполне с Вами согласен, да и прежде думал таким же образом... Например, все, что Вы говорите о различии натуральной школы от Гоголя, по-моему, совершенно справедливо: но сказать этого печатно я не решаюсь: это значило бы наводить волков на овчарню, вместо того, чтобы отводить их от нее. А они и так напали на след и только ждут, чтобы мы проговорились». Враги ждали недаром: в недрах публицистики (редкий случай!) в большей мере формировалось новое литературное направление, отмеченное тягой к социальному анализу. Аналитический элемент резко отделяет его от творчества Гоголя. («Я действую Анализом... Гоголь же берет прямо целое»,— скажет Достоевский.)

В ходе литературного развития все потом укрупнится и усложнится. Будут потеснены новыми писателями большинство авторов «Физиологии Петербурга», выполнивших скромную черновую работу. Важно отметить, что эти писатели — публицисты и полупублицисты — не столько наследовали гоголевской литературе, сколько готовили послегоголевскую. Начинаясь послегоголевская литература с публицистики, а фактически ее главой был Белинский. Недаром его статьи заняли немалую часть сборника.

В судьбах русской литературы есть еще одна сторона, которую публицистика выявляет. В известной коллизии слова и дела именно бессилие слова часто приводило к отказу от художественности для дела, которое мыслилось как слово публициста. Но есть ведь и дело как таковое. Публицистика Радищева, декабристов или, скажем, Чернышевского по-особому воздействует на наше восприятие, ибо она подкреплена человеческими судьбами авторов, их делами. Величие чеховского «Острова Сахалина», еще не до конца нами уясненное, заключается и в том, что публицистическое слово здесь прямо слито с гражданским подвигом писателя.

Серия, посвященная публицистике русских писателей,— в начале своего пути. Конечно, у издательства есть перспективные планы. И серии предстоит еще показать такие связи и выявить такие смыслы русской публицистики, которые значительно обогатят наше представление об этой важнейшей стороне деятельности выдающихся русских художников.

Николай СКАТОВ.

Ленинград.



ЧИТАТЬ ФЕЛЛИНИ

Федерико Феллини. Делать фильм. М. «Искусство». 1984. 287 стр.

Итак, еще один режиссер, пусть даже очень знаменитый, рассказывает о своей работе. Не слишком ли много в наши дни деятели искусств говорят о том, как они делают фильмы, спектакли и т. д.?

Но не нужно торопиться с подобными мыслями. Ибо в этой книге читатель найдет нечто большее, чем профессиональные комментарии и пояснения к сделанным фильмам. Феллини не из тех режиссеров, которые лишь «приставлены» к искусству кинематографа. В данном случае имеет место скорее обратная зависимость: вполне определенное отношение художника к жизни, равно как и способность высматривать в ней недоступное взглядам других, проявляются именно через кинематограф, хотя в принципе способ самовыражения для Феллини мог бы быть и иным. Главное не в средствах, главное — Феллини есть что сказать.

Читать Феллини (кстати говоря, в очень хорошем переводе Ф. М. Двин) — почти такое же пиршество, как и смотреть его фильмы. И это несмотря на то, что спорного в его творчестве довольно много.

Вспомним: лет полтораста и более назад у таких разных писателей, как Гоголь и Стендаль, сложилось особое отношение к Италии, где оба прожили значительную часть жизни. Прежде всего они подчеркивали в итальянцах «естественность» (понимаемую скорее как непосредственность), и русским и Французом полемически противопоставленную нивелирующим силам буржуазной цивилизации (эпицентром которых в те времена был Париж). Думается, что и творчество Феллини надо оценивать под этим углом зрения: именно такую «естественность» и самобытную внутреннюю культуру отстаивает он, активно выступая против распространяющейся главным образом из-за океана уравниловки «массовой культуры» и плоско-рационалистического образа мыслей.

Кант писал, что человечество — своего рода лес, из которого нельзя сделать ничего прямого. В этом лесу Феллини облюбовывает как раз то, что растет криво, но по-своему. У нашего зрителя свежи в памяти образы «Амаркорда», можно припомнить и другие фильмы: вряд ли где еще встретишь такие лица, характеры — странные, своеобразные, ни на какие другие не похожие. Феллини влечет все острохарактерное, экспрессивное, порою гротескное и грубо натуралистическое, но корнями своими глубоко уходящее в почву.

В данном случае почва — Рим и его окрестности (треугольник Рим — Остия — Витербо, как пишет сам Феллини) плюс еще родной город режиссера Римини. «Областничество» в литературе явление распространенное, в кинематографе — крайне редкое. Если верить Феллини, что римляне — провинциалы, тогда перед нами случай кинематографического «областничества», ибо почти все свои сюжеты и образы режиссер черпает здесь, на этом пятачке Европы.

В блестящем этюде, посвященном родному городу, Феллини сопоставляет два Римини: времен своего детства (смотри тот же «Амаркорд») и современный. Современный Римини, превратившийся в модный курорт, не имеет почти ничего общего со старым. Это пятнадцатикилометровая бетонированная полоса, протяннувшаяся вдоль берега моря, где никогда не замолкает магнитофонная музыка, никогда — от света реклам и вывесок — не наступает ночь, и лица людей становятся желтыми, красными или зелеными — не своими. «Свет, всюду свет: ночь исчезла, отступила в небо, в море» — это сказано, понятно, без всякого ликования.

Всепроницающий, бездушный свет торгашеской цивилизации — именно его имеет в виду Феллини, когда сетует на избыточную «освещенность» современной жизни. Когда свет падает на человека со всех сторон, тот перестает отбрасывать тень. У людей, например, исчезают карикатурные, смешные, уродливые черты, а это с точки зрения Феллини плохо. Потому что без таких черт, считает автор, слишком часто стирается индивидуальность. Отсюда парадоксальная «тоска по дуракам», которая ощущается в творчестве Феллини. Отсюда и то исключительное значение, какое он придает клоуну и клоунаде. Ибо клоун — кривая тень человека.

Расставим акценты должным образом. Наступление «массовой культуры» несет наибольшую угрозу в ином плане. Мы видим, например, что в капиталистической Европе идет на убыль книжная (в хорошем смысле) духовность, а с нею в исторической перспективе неразрывно связана традиция революционной, прогрессивной мысли. Но Феллини печется о том, что ему близко, — о традициях народной культуры, в частности народного, ярмарочного театра, необычайно живучего в Италии. Высшую ценность представляет для автора то, что пришло из глубин истории, что ею выношено, отшлифовано.

но. (К примеру, таков образ, создаваемый комиком Тото, этим современным Пульчинеллой: «...результат долгих веков голода, нищеты, болезней, удивительный итог длительного процесса седиментации — вот кем был Тото».)

Кажется, что и сама поразительная фантазия Феллини — ключ, бьющий откуда-то из глубин исторической памяти, из каких-то древних источников творческой интуиции.

Но попробуйте упрекнуть Феллини в том, что он пренебрегает светом просвещения, — и вы будете ломиться в открытую дверь. Неловко даже повторять эпитеты, которыми Феллини награждает своих любимых римлян, как, впрочем, и вообще итальянцев, за их, как он утверждает, традиционное «великое невежество» и инфантильность (фактически же Феллини в подобных случаях имеет в виду обывателя). Традиции здесь оборачиваются другой своей стороной. А точнее, обнаруживают свою силу иные традиции — бездумного следования установленному порядку вещей. Римляне (речь идет обычно о них) поражены этими традициями как болезнью, сетует Феллини, они не желают мыслить, привыкнув к тому, что кто-то думает за них, будь это, скажем, приходской священник, или дуче, или кто-нибудь еще.

Нетрудно заметить, что такие традиции облегчили итальянскому обывателю вращение в современное «потребительское общество» с его сосредоточенностью на гомосексуальных интересах и духовной выхолощенностью. Примечательно, что свое самое злое отображение этого общества Феллини дал через историческую фигуру знаменитого авантюриста XVIII века Казановы (фильм «Казанова»). В его интерпретации

это некая заводная кукла, существо, создающее одну только видимость жизненной активности, воплощение «не жизни».

Не следует, однако, думать, что Феллини четко разграничивает все «за» и «против». Очень противоречивый он художник. В ряде его фильмов, например, явно ощущается ностальгия по временам ушедшим или уходящим, сам режиссер этого не отрицает. И в то же время он утверждает, что ставит подобные фильмы лишь затем, чтобы «избавиться» от прошлого, «освободить место». «А корабль плывет» (название одного из последних фильмов Феллини), перегруженный воспоминаниями и реминисценциями, которые мало-помалу, так сказать, выбрасываются за борт.

«Куда ж нам плыть?» — на этот вопрос Феллини не дает ответа и не может его дать. Об определенной непоследовательности его мировоззрения, его творческого метода, его поэтики (как, впрочем, и о других вещах) исчерпывающе сказано в обстоятельном послесловии К. М. Долгова.

Да, многое из того, что происходит в современном мире, остается вне поля зрения Феллини. Многие режиссер намеренно исключают сам. Но даже эта его очень личностная избирательность так же, как и противоречивость, делает Феллини тем, что он есть. А само присутствие большого художника на театре итальянской и, шире, западной культуры вносит некую существенную поправку во взгляды на то, что в человеке важно и что важно человеку, что ему следует взять с собой из прошлого, а что отринуть.

Ю. КАГРАМАНОВ,



Политика и наука

НА ВЕСАХ ПУБЛИЦИСТИКИ

Шаги. Очерк и художественная публицистика. Выпуск десятый. М. «Известия». 1985. 416 стр.

В новую книжку «Шаги», где ежегодно собираются уже опубликованные в периодической печати очерки и художественная публицистика, вошли произведения (с точки зрения составителей, конечно, лучшие), впервые увидевшие свет в 1983—1984 годах. Можно ли, прочитав десятый выпуск ежегодника, ощутить общий уровень нашей нынешней «малой» документальной литературы? По-моему, можно, и выводы, которые напрашиваются после прочтения, в основном положи-

тельные: у нас есть боевая очеркистика и публицистика, все более наступательным становится ее дух, все более глубоким — проникновение в жизнь.

Сборник открывается разделом «Трибуна публициста». О чем ведут речь с «трибуны» наши известные мастера литературы? Вадим Кожевников — об облике современного рабочего, Сергей Михалков — о школьной реформе, Михаил Алексеев — о народных нравственных устоях, Роберт Рождественский —

о проблеме, которая объединяет всех, — о борьбе за мир. Не новые это темы, но важность, первостепенность их и в сегодняшней нашей жизни очевидны. Писательское же мастерство и уровень мышления авторов сделали разговор на эти темы интересным, острым и убедительным.

Есть в ежегоднике портретные и путевые очерки, публицистические статьи на так называемые моральные темы, статьи об опыте сотрудничества со странами СЭВ... Трудно сравнивать эти произведения: принадлежат они писателям разных поколений (есть среди авторов и молодые публицисты), разных талантов и разных темпераментов. И все-таки можно найти в них одну объединяющую их черту: перед нами литература, лишенная спокойной созерцательности или бесплодной описательности; литература в «Шагах» — страстная, борющаяся, нацеленная на главные болевые точки современной жизни.

В качестве примера (иллюстрирующего эту мысль и в более широком смысле — в качестве образца) назову публицистическое выступление Виктора Астафьева «Мусор под лестницей». В любом месте, на любой странице начните перечитывать это блестящее произведение, и вы опять и опять почувствуете, как искренне и страстно бьется сердце автора, а вместе с ним — от ненависти к мусору и под лестницей, и в мыслях, и в душах, и в делах людей — и ваше собственное сердце. «Я знаю шофера, который, завидев собаку на дороге, обязательно старается ее задавить. У самого у него есть собака — лайка, ухоженная, умная. «У меня собака путная, а этих... Всех передавить надо!» Я ему толкую, что лишь фашистам свойственно определять, кто «путный», кто «непутный», кому жить, кому не жить. А он мне: "Слюнтяи вы все!.. Вот и позасорили жизнь-то"». «Согласно морали такого вот блюстителя чистоты и порядка, стало быть, нужно вытирать ноги о коврик соседа — у него же на дома сидит, не работает. Если приспичит — разбить бутылку на чужой лестничной площадке, набросать окурков, да еще и написать на стене что-нибудь выразительными словами на добрую память собратьям и жильцам; коли старушка слаба и еле движется по автобусу или трамваю, давнуть ее молодецким плечом — пусть дома сидит, не путается под ногами...» «Я шибко покривил бы против истины, если бы окончательный сделал вывод, что пакость всегда интимна, локальна, единолична. Ее можно творить и масштабно». «Все мы хотим... нормальных, честных решений и их нормального, честного исполнения... Не один я, уже многие наши люди страшатся хитрых технических опера-

ций, экономных проектов, велеречивых статей, книг, кинокартин, где есть все, кроме искусства». Вот на таком накале вся статья...

По поводу недостатков у нас пишут немало. Но иногда, читая очердную «страшную историю», с досадой понимаешь, что автор не столько борется со злом, сколько зло радуется изображаемому: вот, глядите, читатели, какие глупости (подлости, низости) встречаются в в а ш е й жизни... Можно многое скрыть, кое-где успешно притвориться, но нельзя «изобразить» честную гражданскую позицию, если ее нет. Публицистика В. Астафьева — это заметный в нашем обществе гражданский поступок, продиктованный неравнодушием и любовью к людям.

В «Шагах» собраны произведения на многочисленные темы. Хотелось бы несколько подробнее остановиться на публицистике, посвященной наиболее актуальным, затрагивающим самые широкие читательские интересы проблемам, — на публицистике об экономической жизни страны.

Уже давно не только в журналах, но и в газетах не стало экономического очерка, где главными героями были бы быстროходный председательский «газик», романтически пылящий у полевого стана, или стройные березки, отбрасывающие нежную тень на плетень животноводческой фермы, или счастливые улыбки рабочих, идущих с ночной смены домой и радующихся восходу солнца. Нынешние очерки и статьи о тех, кто занят в так называемой производственной сфере, как правило, устремлены в более глубокие горизонты жизни, где, конечно, немало и романтики, и радости от побед, но есть и много нерешенного, тормозящего наше движение вперед, мешающего стране решать насущные социально-экономические проблемы. На этом пути документалисты добились уже немалых успехов, лучшие из них, можно сказать, создали свою школу художественной публицистики, а произведения этой школы, в порядке обратной связи, и нас, читателей, приучили судить о такого рода литературе, исходя из самых высоких критериев. Нас уже не устроит, например, рассказ о прекрасных результатах работы энского предприятия — нам подавай анализ, как оно добилось своих прекрасных результатов; нас не удивит, например, очерком об очердном «освобожденном» от высоких обязанностей, по словам газетной хроники «за злоупотребление служебным положением в корыстных целях» — нам подавай анализ явления, вот тогда не жаль потраченного на чтение времени.

Что же из публиковавшегося в периодической печати (в первую очередь в литературных журналах) в 1983—1984 годах на эконо-

мические темы предложили читателям составители десятого выпуска «Шагов»?

В книге опубликована публицистическая статья Василия Белова «Требуется доярка». Известный писатель рассказывает о положении дел в деревнях северного Нечерноземья — о лавине рукотворных бед, обрушившихся в последние десятилетия на эти деревни и приведших к тому, что теперь «городским шефам приходится не только картошку копать или завязывать лен, но и доить коров». Почему уезжают из деревень доярки, механизаторы, даже пенсионеры? Что за этим? Объективные и неизбежные трудности или чьи-то субъективные просчеты? На эти вопросы, оказывается, легко ответить — без статистики, цитат и прочих ученых премудростей. Достаточно подобно В. Белову взглянуть на некоторые «мероприятия», не лучшим образом повлиявшие на деревенскую жизнь, с не искажающей перспективу позиции — с точки зрения интересов живущего в деревне человека.

Об интересах человека слышим мы буквально на каждом шагу. Наверно, говорили о них и те, кто форсировал концентрацию деревенских населенных пунктов и составлял списки «неперспективных» сел. Говорить-то говорили, а думали при этом о чем? «Тот, у кого не болит душа за дело, — рассказывает В. Белов, — сразу убивает (в результате «концентрации». — В. К.) нескольких зайцев: ему не надо строить дорог, заботиться о торговом и бытовом обслуживании. Да и само руководство хозяйством в таком случае облегчается. Достаточно, скажем, позвонить по телефону или объявить с вечера наряд на работу по местному радио». Вот о чем была первая и главная забота! А вот как, читаем у В. Белова, рассуждали в отделах народного образования: «Зачем иметь малокомплектные школы на 15—20 человек, не лучше ли отправить детей в крупные интернаты? Лучше, конечно, но лучше для работников роно, а не для колхоза и не для самих детей».

Аргументы в защиту деревенского человека писатель находит в элементарном здравом смысле, они очевидны, и оттого статья приобретает особую публицистическую остроту. Позволю себе еще одну цитату: «Вот уже многие годы ближе к выгону скота на пастбища замечаю, что стоимость одного пуда сена держится наравне (а иногда и выше) со стоимостью пуда хлеба. И это при том... когда тысячи гектаров лесных покосов ежегодно уходят под снег! Со странным чувством смотрю я, как из магазинчика (куда хлеб возят за шестьдесят километров, поскольку пекарню закрыли) несут и несут

мешки с буханками. Семья в два-три человека покупает их по 20—30 штук, чуть ли не дважды в неделю. Ясно, что лишь малая доля идет в пищу. Остальное овцам, телятам и коровам. Напршивается вопрос: в чем же дело, почему не выкашиваются эти тысячи гектаров лесных лугов? Ведь для коров полезней как раз сено, а не хлеб. Не говоря уже о том, что разбазаривание хлеба — преступно, безнравственно». Ну кому это и подобное этому неясно? Неясно только тем, кто велеречиво разглагольствует с трибун о благе народа, а на самом деле глубоко равнодушен к людям и думает исключительно о себе.

Читая публицистику В. Белова, думаешь еще и вот о чем. Классики русской литературы — большинство из них — оставили нам в наследство не только образцы прекрасных художественных произведений, а и образцы публицистики. Она, очевидно, отвлекала художников от больших полотен, над которыми они работали, и в этом смысле мешала им. Но писатели шли на такие жертвы. Возникали в жизни ситуации, когда их перо неодолимо тянулось к публицистике, и тогда рождались огненные строки статей — например толстовской «Не могу молчать!». Не все современные писатели могут гордиться своей верностью этой замечательной традиции. Почему? Забыли, как это делается? Читайте Виктора Астафьева, Евгения Носова, Сергея Залыгина, Василия Белова...

В «Шагах» одним из наиболее серьезных произведений на экономическую тему я бы назвал и очерк Геннадия Лисичкина «Хлеб надо заработать». Вот тут уж не скажешь об очевидности ответов на вопросы, которые ставит автор, — ответы эти требуют и скрупулезного анализа фактов (в том числе и статистических), и научной концепции, подтверждаемой этими фактами.

Г. Лисичкин начинает с частного: в конце 60-х годов, когда в стране на душу населения производился 41 килограмм мяса, хозяйственники не знали... куда его девать, как сохранить его; через 10 лет, когда производство этого продукта увеличилось до 57 килограммов на душу, с мясом эти души стали стоять в очереди. «Почему 41 килограмм мяса — много, а 57 — мало?» Интересный вопрос, не правда ли? И как же, оказывается, непрост на него ответ! Чтобы найти его, надо раскрыть немалое множество экономических взаимосвязей.

Цифры, цифры... Куда от них денешься, если в них-то и зарыта собака? Оказывается, в 1965 году лишь у четырех процентов населения доходы на каждого члена семьи превышали 100 рублей в месяц, а в 1981 году таким бюджетом располагали уже более

пятидесяти процентов семей страны. Казалось бы, чего проще: бери законно полученные деньги, беги в магазин за продуктами. А за продуктами — очередь. И вот откуда она взялась. Оплата одного человека-дня в наших колхозах и совхозах за последние годы увеличилась в два раза — на сто процентов, а урожайность, например, зерновых выросла с 13,7 центнера до 16 — всего лишь на семнадцать процентов; удои на корову вырос с 1853 килограммов всего лишь до 2094. А «закон экономики не обойдешь: нельзя потреблять больше, чем произведено»... Так шаг за шагом Г. Лисичкин убедительно подводит нас к главной идее очерка: чтобы хорошо жить, в первую очередь нам всем надо хорошо работать. «И дело, конечно, не только в отдельных работниках. Дело и в общественной организации труда: планировании, финансировании, управлении. Ведь далеко не каждая доярка получает от коровы 2 тысячи литров молока потому, что не хочет или не умеет хорошо трудиться. Ей выгоднее, приятнее надаивать 3—4 тысячи литров, но на ферме не хватает для этого высококачественных кормов, а кормов не хватает потому, что в колхозе плохая структура посевов, а выбор структуры посевов зависит не от колхоза, а от вышестоящих руководителей, а вышестоящие руководители всего лишь выполняют предписания давным-давно принятой несовершенной методики планирования...» Так очерк, начатый с, казалось бы, частной ситуации, вдруг поднимается до самых широких обобщений. С научной убедительностью и писательской страстностью автор, раскрывая объективные процессы в экономике, вносит свой публицистический вклад в реализацию Продовольственной программы.

Аграрной теме в «Шагах» нынче повезло больше, чем индустриальной. Очерк Леонида Шинкарева «Своя земля» (как и рассматривавшиеся выше произведения) — наглядное тому подтверждение. А еще он подтверждает справедливость утверждения о том, что и положительный очерк может быть интересным.

С очерками о положительном деле в нашей публицистике, прямо скажем, обстоят неважно. Некоторые главные редакторы «выжимают» их из своих корреспондентов с помощью лишь административных прессов. Думаю, что дело тут не в отражаемой действительности, а в простой истине: о положительном писать трудно. Но надо — если публицисты хотят быть настоящими летописцами своего времени: в жизни много позитивных процессов, немало вокруг нас незаурядных людей — героев времени, чей опыт жиз-

ни, оставленный на журнальной или газетной странице, может взволновать и научить добру не одно поколение людей.

Л. Шинкарев рассказал об интересной организационной новинке, появившейся в последние годы в нашей аграрной экономике, — о подрядном звене. Конкретно об одном из них, работающем в алтайском совхозе. Чем интересен очерк? Языком? Да, написано крепко, точно, метко. Прислушайтесь: «...закружилась голова от нескончаемой ровности равнины. Можно представить, как снимали шапки переселенцы из малоземельных российских деревень, выгнанные нуждой в сибирскую даль, увидев эти немеренные вольные земли. Странное крестьянскому уху слово «Алтай» путалось со знакомым «алтарь», вызывая в поселенцах надежды и готовность к жертвам...» Но не только этим берет автор. Чем еще? Доскональным знанием проблемы? Да, и этого не отнимешь: очерк написан легко, популярно — в лучшем смысле этого слова, а это первый признак того, что автор хорошо владеет предметом. «Во-первых, совхоз и трактористы вступили в новые экономические отношения, им одинаково выгодные. У рабочих появилась возможность самим выбирать решения, нести за них ответственность, материальную в том числе... Во-вторых, передача земли трактористам создает ситуацию, когда выгодно работать хорошо. Более того, появляется охота работать хорошо и вообще работать... В-третьих, при взаимном общении «землевладельцев» укрепляется нечто новое, названное социологами культурой личностных отношений...» И все-таки из всех замечательных качеств, которые есть у очерка Л. Шинкарева, я бы в качестве главного назвал следующее: в очерке все правда.

Не тут ли, не в этой ли правде самая большая трудность, которую испытывает публицист, берясь за положительный очерк? В таком очерке так легко согрешить лакировкой — по незнанию жизни или из самых добрых побуждений, можно сказать, из душевной щедрости; утаить факт, который не укладывается в «положительность» героя; легко не рассказать правду обстоятельств, в которых приходится жить герою, не рассказать, чего ему порой стоит не сломаться и сохранить верность своим высоким моральным принципам. А это-то и разрушает реализм очерка, и он перестает быть литературой. Очерк Л. Шинкарева по праву занял место в очередной антологии писательской публицистики.

В «Шагах» немало и других интересных работ на экономическую тему. Всего же ей посвящено свыше 10 публицистических про-

изведений. По мастерству и глубине они не равнозначны, зато в сборнике представлен широкий круг периодических изданий — газеты «Правда», «Известия», «Литературная газета», журналы «Новый мир», «Знамя», «Дальний Восток», «Урал», «Сибирские огни», «Молодой коммунар» и другие. Хорошо это или плохо? Само по себе стремление составителей напечатать не только столичную, но и периферийную публицистику, безусловно похвально. Сомнение вызывает другое: похоже, что при отборе произведений оценка их качества производилась по разным критериям и кое-кто попал в сборник не потому, что заслужил это своим творчеством, а только в силу того, что составителям очень уж хотелось против названия того или иного журнала, стоявшего в их списке, «черкнуть галочку»... Думается, что так поступать не следует. У нас нет специального публицистического журнала, единственное периодическое издание, где публикуются только очерки и художественная публицистика, — ежегодник «Шаги». И надо тщательнее отбирать произведения для его страниц, чтобы сборник содержал образцы нелегкого жанра.

Тогда он будет интересен и тем, кто попал в него, и самому требовательному читателю.

Это замечание в порядке пожелания на будущее. В целом же экономическая тема в десятой книжке «Шагов» представлена интересно и весомо.

В заключение хотелось бы вернуться к датам первого появления в печати произведений, опубликованных в нынешнем выпуске, и высказать в связи с этим еще одно пожелание. Как свидетельствует аннотация к ежегоднику, сборник составлен из произведений «отобранных из... периодики в основном начинающей с середины 1983 года». Уточним: из 63 произведений около 50 впервые были прочитаны нами два года назад, остальные — в 1984 году. Не слишком ли запаздывают «Шаги»? Понятно, что должно пройти какое-то время, чтобы яснее стала степень долговременности произведения. Но не два же года! По-моему, тут есть над чем подумать составителям; чем скорее придет художественная публицистика к читателю, тем актуальнее она прозвучит.

В. КАЗАКОВ.



ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ

Культура Византии. IV — первая половина VII в. Ответственный редактор член-корреспондент АН СССР З. В. Удальцова. М. «Наука». 1984. 725 стр.

Не завела ли Византию в тупик ее тысячелетняя история? Не имеем ли мы тут дело с культурно-историческим промахом? Мыслимо ли для византийского начала возрождение, или его место только в прошлом? Чем глубже историческое исследование погружается в культуру Византии, тем менее вероятны однозначные ответы на эти вопросы, но тем более внятным становится для нас опыт византийского прошлого.

В 330 году император Константин провозгласил столицей город своего имени на окраине империи, бывший Византий. Ненатуральность «нового Рима», оторванного от тысячелетней почвы, подчеркивалась его этнической — греки, сирийцы, евреи, копты, армяне, грузины, славяне, — религиозной, географической пестротой. Об органике здесь не могло быть речи. Как и столицу, государство еще только предстояло отстроить. Но поражает мобилизующая сила мировой державы, завершённый образ которой, по существу, еще только маячил вдали. Инородцев, едва приобщавшихся к ее замыслу, она захватывала, пожа-

луй, еще сильнее, чем искусственных воспитанников античной цивилизации. Город в прочных стенах, искусное войско, флот, образцовая курьерско-дипломатическая служба, собрание ремесел и художеств... Как любили люди это перераставшее их детище!

Упрочение державы становилось делом страсти. «Пафос империи, порядка, законности, бюрократической цивилизованности», как пишет С. С. Аверинцев, был силой, перед которой стихала не только сенаторская аристократическая фронда, но и народная воляница. Для среднего жителя Византии привязанность к своей религии, племени, национальному преданию меркла перед почитанием государственного могущества. «Если какой-либо род мистики волновал его сердце, это был мистический восторг перед таинственным величием империи ромеев». Жертвенные усилия миллионов — реальность такого рода перед которой мало места для гаданий о ее исторической целесообразности или бесперспективности.

Авторы без усилия, чистым весом фак-

тов развеивают представления об определяющей роли христианства в формировании византийской государственности. Священную роль исполнителей божественных предначертаний, способность подарить народам мир и порядок приписывали себе еще эллинистические государства и Рим. Император-вероотступник Юлиан или монофиситский епископ Иоанн Эфесский, инквизитор Юстиниана, имели даже меньше внутренних преград для отождествления дела империи с волей бога или богов, чем православные византийцы. Не христианство открыло перед государствами древности всемирно-исторические перспективы, поставив человека организатором мира. Старый полис, опиравшийся на личное достоинство, телесное мужество, уместность и предприимчивость объединенных граждан, уже к III веку до н. э. уступил позиции социальной инженерии, искусному управлению народными страстями. Воздух эллинистических государств и позднего Рима был насыщен метафизикой. Правитель окружался божественным культом. Таков был размах поздней античности — речь шла тут о том, чтобы учить и вести народы, склонять миллионы к единодушию.

Победа христианства над язычеством, неизбежность которой показывают авторы коллективного труда, была подготовлена отрывом задач, в решение которых втягивались человеческие множества, от языческого почвенничества. Как ни комбинировала власть местные культы с египетскими, восточными, язычество не могло осмыслить сверхчеловеческую мощь цезарей иначе как сошедшую на землю божественность. Божество на троне было почти смешным в своем застывшем величии. Религиозный культ императора парадоксальным образом ограничивал свободу его власти, сковывал перспективы государства, не говоря уж об обществе. Христианство с этой точки зрения явилось поздним, но точным ответом на исторические перемены. Поняв и приняв совершившийся разрыв с органикой, оно находило опору во внутренней свободе. Человек тут был готов и к смирению и — в не меньшей мере — к отчаянному дерзанию, к сколь угодно смелому опыту, преодолению законов живой и неживой природы. Охранители язычества не зря уличали ранних христиан в атеизме и полном безверии. Христианин умел дышать как рыба в воде в атмосфере кризиса или хранить смиренную сосредоточенность среди самых безумных предприятий. Только христианство, не предрасположенное ни к одной власти, ни к одной существовавшей

идеологии и философии, стояло вровень с мировыми задачами. По своей сути оно было тотальной мобилизацией и вызывало к действию не некоторые, а все человеческие энергии. Оно бросило вызов античной цивилизации — но этим гальванизировало, мобилизовало и ее. Язычество поневоле берегло природу и культуру. У христианства оказалось до опасного мало уважения к устоям. Почти все социально-этические нормы были передоверены голосу совести. Отстраненность от мира давала небывалые права над ним, накладывая, по существу, только одну «обязанность» любви.

В этой отрешенности была соль христианства. Поэтому уникальное «избирательное сродство» между ним и мировой державой могло сохраниться только при условии их категорического разделения. Между тем в Византии церковь по первому приглашению власти вступила в альянс со своей прежней гонительницей. Ни та, ни другая после этого не могли остаться самими собой.

Плодом их смешения стал тот знаменитый византийский эстетизм, который согласно легенде решил в X веке выбор князя Владимира в пользу цареградской веры. На эстетике сошлись интересы державы и церкви. «Страна городов», передовое государство средневековья, единственная не разоренная наследница античной культуры ослепляла мир своим художественным, техническим, организационным совершенством. Опираясь на сконцентрированную силу знания, изощренной дипломатии, векового военного искусства, Византия высилась нерушимым храмом среди смятения переселяющихся народов. Варварству была противопоставлена гармония чинного строя. Все, от церемониального придворного балета до чекана на золотом солиде, международной валюте эпохи, должно было навевать ощущение прочности. Ведущим социальным заданием политической, идеологической литературы было завораживание сознания, настраивание умов на благолепный, умиротворенный лад.

Симфония церкви с государством дала «вечному Риму» форму для обрамления своей истории — жанр всемирной хроники. История здесь превращалась, по выражению С. С. Аверинцева, в задачу с приложенным ответом в конкретном образе христианской державы. И если на Западе непримиримый Августин называл «земной град» вертепом разбойников и Рим — свирепой волчицей, то в Византии Евсевий Кесарийский кромсал и правил свою «Цер-

ковную хронику» до тех пор, пока не благословил цезаря Константина и его права на церковь. А во второй половине VI века в колее тех же идей вечной гармонии Евагрий Схоластик, продолжатель Евсевия, как отмечает З. В. Удальцова, рисовал «картину благополучия, к сожалению немногую, якобы царящего в его время в Византийской империи», обходя молчанием наиболее острые проблемы своей современности. От этих гармонизирующих усилий выигрывала махина империи, укрепляясь посреди варварской стихии, но неприметно проигрывала в каждой живой клетке общественная ткань. Варварство и разделивший с ним свою судьбу латинский Запад пока не могли тягаться с компактной организацией великой державы, но зато оставляли простор для медленно набирающих размах новых сил.

В «золотой век» Юстиниана (527 — 565), законодательно закрепившего единство церкви и империи, обозначилась тревожная шаткость византийского сознания — оборотная сторона искусственно насаждаемой гармонии. Сенсационным примером служат сочинения Прокопия Кесарийского, центральной фигуры византийской историографии VI века. «Как жизнь, так и творчество Прокопия отмечены трагической и... бросающей тень на его нравственный облик двойственностью...— читаем мы у З. В. Удальцовой.— В трактате «О постройках» Юстиниан рисуется как добрый гений империи, творец всех великих дел. Он великодушен, милослив, заботится о благе подданных. Его главная цель — охранять империю от нападений врагов. В «Тайной истории» Юстиниан предстает как неумолимый тиран, злобный демон Византийского государства, разрушитель империи». Прокопий соединил в себе полярные крайности, которых уже редко избегали с тех пор византийские политико-идеологические писатели, полемисты, риторы, фатально впадавшие либо в неумеренные восхваления, либо в захлебывающееся, гротескное очернительство. Попытки осмыслить положение в стране сбивались или на восторги, или на зловещее нагнетание образов бедствия. Одним уклоном провоцировался другой.

Заметим, что сходная двоякость внешне гармоничного сознания неожиданно обнаруживается в литературе совсем другого рода. В «Тайнственном богословии», итоговом трактате псевдонимного Ареопагитического корпуса, первые упоминания о котором относятся к той же эпохе, провозглашается равнообоснованность как приписывания божеству всех мыслимых ка-

честв, так и отрицания за ним каких бы то ни было свойств вплоть до высших атрибутов благости, истины, красоты, троичности. Торжествующе выставив ряд утверждений и против него ряд столь же истинных отрицаний, последний великий богослов христианского Востока загадочно умолкает.

Терзающая современного исследователя амбивалентность проявилась и еще в одной сфере византийской культуры. Относительно едва ли не преобладающего числа византийских авторов и исторических лиц невозможно установить, были они язычниками или христианами. И дело не в нехватке материала, а в том, что мы навязываем византийцам вопрос, который они сами не спешили ставить, а поставив — решать. Правда, со времен Юстиниана православное вероисповедание стало официальным требованием. Но принудительная христианизация не означала, конечно, преодоления душевной раздвоенности. Спустя девять веков, с первым послаблением вероисповедного контроля, Византия дала целую школу девственного язычества Гемиста Плифона и его учеников.

Зато тем легче было византийскому искусству питаться — наряду с христианскими интуициями — и античным богатством. Один из авторов монографии напоминает о давно бытующем мнении, что если бы язычник Плотин в согласии со своей философской эстетикой разработал теорию живописи, он, пожалуй, подошел бы всего ближе к тому новому чувству сбраса, которое заставило христианских художников IV—VI веков ограничиваться одним изобразительным планом, располагать предметы по законам обратной перспективы, схематизировать человеческие фигуры, взвешивать их в пространстве, окружать световым облаком. Сложное переплетение прослеживается дальше: в «языческом» искусстве того времени, пишет О. С. Попова, формы тоже «утеряли пластическую естественность, стали резкими и контрастными, застыли в состоянии символической значительности... Пространство сменилось плоскостью, богатая красочная фактура — ровными, линейно обрисованными поверхностями... появилось тяготение к... геометрической условности, создающей ненатуральность и экспрессию» Искусство оставалось неделимым, «языческим» или «христианским» его делала только тема, да и тут в первые византийские века типичнее было смешение античного и нового.

Возраставшая идеологизация сверху говорила о слабости общества и, в свою очередь, усугубляла его упадок. Угасала со-

циальная энергия античного полиса. Люди уходили в личные и семейные дела. Менялся быт: торговля перемещалась с агоры в портики улиц, жилища строились менее доступными для посторонних, одежда шилась более закрытой (туники нового покрова доставали до лодыжек, появились длинные рукава, в моду входили варварские брюки). Художественный образ на памятниках VI века уже тронут изысканным искажением. «Уподобление через неподобие» начинали предпочитать прямой истине. Искусство слова все меньше полагалось на звонкий намек, все обстоятельнее одевало ускользающий предмет в многослойные покровы. Судьба готовила в это время Византии первое из трех великих испытаний ее истории — столкновение с восходящим исламом.

Авторы «Культуры Византии» не стремились к единству концепции, они даже, кажется, не слишком согласовывали между собой свои тексты. Тем замечательнее, что из статей, скрепленных только смежностью тем, складывается цельный образ истори-

ческого явления. Счастливо угаданное лицо византийской культуры — большое достижение коллективного труда. Последнего решения ее проблем здесь нет, да и как можно представить такое решение? Исследователей сближает понимание того, что вопрос важнее поставить, чем снять.

Можно еще добавить, что авторы монографии очень редко поддаются профессиональному соблазну историка — изображать людей давних веков добросовестными паяцами, старательно разыгрывающими пьесу своего бытия, будто бы заранее предопределенную тем обстоятельством, что события сложились так, как они сложились. Один из секретов успеха историка — неслабеющее сознание того, что деятельность людей прошлого вовсе не была похожа на прокладывание дороги к заранее выстроенной далекой станции; в исторических лицах серьезный исследователь предполагает как минимум частицу того искания и той открытости, которые оживляют его самого.

В. БИБИХИН.



БОЕЦ ЛЕНИНСКОЙ ГВАРДИИ

О Сергее Кирове. Воспоминания, очерки, статьи современников. М. Политиздат. 1985. 256 стр.

Открытое, простое лицо, лучистая улыбка, неизменный френч полувоенного образца... Таким запечатлелся Сергей Миронович Киров в памяти людей. Наш Мироныч — уважительно и любовно звали его в народе.

О Кирове написано немало: научные биографии, воспоминания, очерки. Но таково обаяние его личности, так велик интерес к его фигуре, что каждая новая работа читается с неослабевающим интересом.

Сборник, выпущенный Политиздатом, отличается разнообразием: здесь выступают крупные политические и государственные деятели, рабочие, ученые, писатели, журналисты. Воспоминания и статьи, собранные воедино, позволяют проследить основные вехи жизни и деятельности Сергея Мироновича, рассказывают читателю о его многогранной личности, его интересах и заботах.

Уроженец небольшого городка Уржума, Киров еще в детстве познал нужду и лишения. Стремление к социальной справедливости было лейтмотивом жизни будущего революционера. Рано определил он и свою политическую платформу, безоговорочно сделав выбор между меньшевиками и большевиками.

Судьба подпольщика забрасывает Кирова

во Владикавказ. Здесь он сплывает революционные силы, активно выступает против царского самодержавия. В статьях, которые публикуются в местной газете «Терек», Кирову удается провести мысль о неизбежности революции. Вокруг него группируется молодежь — рабочие, студенты, интеллигенция. Бывая в других городах Северного Кавказа, Киров устанавливает там связи с местными партийными организациями.

Сразу же после Февральской революции Киров включается в борьбу за большевизацию Советов, за подготовку социалистической революции. Его можно видеть на митингах, на собраниях рабочих и горской бедноты. По воспоминаниям друзей Сергея Мироновича, он в эти дни преобразился. Расцвели силы и способности, ограниченные прежде условиями конспирации, скованные жандармскими преследованиями. Даже далекие от политики люди, услышав его выступление, стремились попасть на следующий митинг, где будет говорить Киров.

Деятельность Кирова, а также возвратившихся во Владикавказ из ссылки и эмиграции большевиков Н. Буачиадзе, М. Д. Ораке-лашвили, Г. А. Цаголова и других укрепила позиции большевиков. К лету 1917 года Со-

вет рабочих и солдатских депутатов Владикавказа стал большевистским.

Октябрьская социалистическая революция застала Кирова в Петрограде. Сергей Миронович — делегат II Всероссийского съезда Советов. Вернувшись на Северный Кавказ, он выступает с рассказами о победе социалистической революции, о первых декретах советской власти. Его с восторгом слушают заводские рабочие, железнодорожники, казаки, горцы, учащиеся. Однако борьба за установление советской власти на Кавказе в обстановке национальной розни и религиозных предрассудков еще впереди. В этих сложных условиях Киров проявляет качества дальновидного политика, последовательно отстаивает национальное равноправие и братское единение всех народов.

Листаешь страницы воспоминаний, посвященных гражданской войне, и поражаешься не только мужеству и несгибаемой стойкости большевиков (эти качества мы уже привычно связываем с бойцами революции), но и их политической прозорливости, знанию стратегии и тактики борьбы, полководческим способностям. Киров не кончал военных учебных заведений и тем не менее показал себя незаурядным военным деятелем. Особенно ярко проявился его талант при обороне Астрахани. Здесь столкнулись две политических концепции, две линии поведения: ликвидаторская — Троцкого и последовательно революционная — Кирова. Троцкий приказал оставить Астрахань, Сергей Миронович обратился к Ленину с просьбой отменить этот приказ. Ответ Ленина был короток и ясен: «Астрахань защищать до конца». Воспоминания Ю. П. Бутягина, А. И. Микояна, В. А. Трониной и других переносят нас в осажденную Астрахань, показывают напряженную деятельность Кирова. Н. Н. Колесникова, председатель Астраханского губкома партии, пишет: «Он, кажется, совсем не отдыхал, но всегда дышал бодростью. Его кипучая деятельность не ослабевала ни на минуту. Ничто не ускользало от внимания С. М. Кирова».

О деятельности Кирова на посту члена Революционного комитета 11-й армии рассказал писатель В. В. Вишневский: «Он цементировал своей работой ряды красноармейцев, насыщая дух дисциплины и боевой отваги...» Киров следил за всеми сторонами жизни армии, от крупных стратегических задач до бытовых мелочей повседневной красноармейской жизни. Справедливость этих слов подтверждают документы того времени. Вот строки приказа, изданного Кировым в дни ожесточенных сражений: «В стране, где народ сам управляет государством, не должно и не может быть ни одного неграмотного

рабочего, ни одного неграмотного крестьянина».

С установлением советской власти в Закавказье Киров занимает пост секретаря ЦК КП (б) Азербайджана. На его долю выпала работа по созданию в республике крепкого партийного ядра, по восстановлению народного хозяйства, особенно бакинских нефтяных промыслов — важнейшего топливного источника страны.

В феврале 1926 года коммунисты Ленинграда избрали Кирова секретарем губкома и Северо-Западного бюро ЦК ВКП (б). Этому предшествовали драматические события в жизни Ленинградской партийной организации. На XIV съезде ВКП (б), принявшем развернутый план социалистического строительства в стране на индустриальной основе, был дан решительный бой так называемой новой оппозиции, во главе которой стоял Зиновьев, представлявший Ленинградскую организацию. Киров в числе других делегатов съезда был послан в Ленинград для проведения разъяснительной работы среди коммунистов. Первые недели его пребывания в городе оказались насыщенными до предела. Из множества способов борьбы с зиновьевской оппозицией Киров избирает самый трудный, но результативный: он убеждает, убеждает и убеждает. Сергей Миронович выступает перед членами партии, комсомольскими активистами, перед многотысячными коллективами ленинградских предприятий, отвоевывая у оппозиции одну партийную организацию за другой. В конце 1926 года Киров мог с удовлетворением констатировать: «генералы-от-оппозиции» в Ленинграде остались без армии.

С 1930 года Киров — член Политбюро ЦК ВКП (б). В 1934 году он избирается секретарем и членом Оргбюро ЦК ВКП (б), оставаясь одновременно секретарем Ленинградского обкома и горкома партии.

К моменту, когда Киров возглавил Ленинградскую партийную организацию, он был уже сложившимся политическим руководителем, крупным партийным деятелем. Сергея Мироновича отличали смелость принимаемых решений, последовательность и настойчивость в их выполнении. Эти качества полностью проявились в его разносторонней и кипучей работе на новом посту. Не было такого участка социалистического строительства, куда Киров не внес бы своего заметного вклада. Он сумел быстро охватить сложнейшие хозяйственные, социальные и культурные проблемы Ленинграда и всего Северо-Западного края. Реконструируются старые заводы, создаются новые. Открываются месторождения природных богатств и на их месте возводятся города. Многие сделал Киров

для освоения Кольского полуострова. Вместе с геологическими партиями обшаривает он полуостров и находит там алюминий, медь, вольфрам, свинец, ртуть, глиноземы. При нем строится Хибиногорск, начинается разработка апатитов и бокситов. С именем Кирова связаны получение первого отечественного алюминия на Волховском заводе, строительство Беломорско-Балтийского канала, выпуск первых советских паровых турбин на заводе «Красный путиловец» (ныне Кировский завод)... Благодаря ленинградцам страна перестала импортировать генераторы, электросварочную и нефтяную арматуру, ленточные, сложные обувные и текстильные машины.

За всеми делами и свершениями Киров видел людей, он боролся за лучшее в человеке, за такие условия труда и быта, которые бы помогали расцвету личности. Много сделал Киров для развития культуры, сохранения бесценных памятников Ленинграда, для роста и благоустройства города. Он находил время деятельно интересоваться проблемами искусства, литературы, с увлечением следил за созданием таких шедевров советского экрана, как «Встречный» и «Чапаев». Народная артистка СССР Е. П. Корчагина-Александровская пишет: «Мы все поражались, как он, большой государственный деятель, при всей своей загруженности, все же находит время, чтобы посетить театры, посмотреть новый спектакль или фильм, побеседовать с авторами по самому существу произведения, направить наше внимание на ту или иную тему, переключаясь с реальной практикой революционного строительства».

Сила Кирова, источник его энергии — в народе. «Он впитал в себя революционный порыв и энергию масс, их волю к действию», — писал А. А. Жданов. Кирову верили, за ним шли. Привлекали его простота, естественность, доступность. Он всегда оставался самим собой, не заигрывал, не искал дешевой популярности. Был требователен, беспощаден к лодырям и разгильдяям, бюрократам и очковитирателям. Лучшим средством борьбы с негативными явлениями, воспитания чувства ответственности Киров считал критику и самокритику. «Нам нужна критика революционная, — говорил он, — которая бы в результате обязательно имела за собой действие, чтобы эта критика была направлена в точку, а не в воздух. Другими словами, наша критика должна воспитывать. Критика и само-

критика — это дело не одного месяца или одного года, ею мы будем заниматься до тех пор, пока не войдем в царство коммунизма».

Киров был подлинным трибуном партии и народа. Прекрасный оратор, он захватывал любую аудиторию. Старые ленинградские рабочие вспоминают: позови Мироных куда угодно — на подвиг, в бой — за ним пошли бы не мешкая. Его ораторское мастерство было рождено революцией. Речь Кирова совсем не была похожа на замысловатые, украшенные искусственными ораторскими приемами речи буржуазных ораторов. Хорошо сказал об этом Д. З. Мануильский: «Он был выдающимся пролетарским оратором. Быть пролетарским оратором — это вовсе не то, что быть оратором вообще. Только рабочий класс в его суровой борьбе создает этот особый вид «красноречия», где нет лишних слов, где мысль находит отточенную, как кинжал, форму, где слово и дело скреплены безыскусственной пролетарской простотой». Об искусстве Кирова — народного трибуна читатель узнает из воспоминаний Ю. Либединского, Г. Серебряковой, А. Толстого, М. Кольцова.

Сергей Миронович был человеком необычайно эрудированным, обладал большими знаниями, которые постоянно пополнял. В свободное время он не расставался с книгой. Особое значение Киров придавал марксистско-ленинской теории, истории партии, подчеркивая, что каждая страница, каждая строка истории партии — это не просто хроника событий, это огромная глубокая наука, не зная которой нельзя делать пролетарскую революцию.

Кирова любили, поэтому весть о его трагической гибели была воспринята каждым как личное горе. В суровые дни блокады Ленинграда Николай Тихонов создал одно из лучших своих произведений — поэму «Киров с нами». Имя Кирова стало знаменем героических защитников города...

Прошло сто лет со дня рождения Сергея Мироновича Кирова — соратника Ленина, бесконечно преданного идеалам коммунизма, отдавшего всю свою энергию, все силы и знания народу. В этом обаятельном человеке воплотились лучшие черты пролетарского революционера, большевика, вождя рабочего класса.

И. КУЛИКОВА,

кандидат исторических наук.

КОРОТКО О КНИГАХ



МУСА ДЖАЛИЛЬ. Красная ромашка. Избранное. Перевод с татарского. Казань. Татарское книжное издательство. 1984. 543 стр.

МУСА ДЖАЛИЛЬ. Лирика. Перевод с татарского. М. «Художественная литература». 1984. 191 стр.

МУСА ДЖАЛИЛЬ. Моабитская тетрадь. 1942—1944. Перевод с татарского. М. «Советская Россия». 1984. 190 стр.

«В плену и в заточении — 1942.9 — 1943.11 — написал сто двадцать пять стихотворений и одну поэму. Но куда писать? Умирают вместе со мной». Эти горькие слова принадлежали политруку и военному корреспонденту М. М. Залилову — татарскому поэту Мусе Джалилю. У него были основания для тревоги. И сегодня не все тюремные стихотворения Джалиля обнаружены, была утеряна одна из моабитских тетрадей. Но главное произошло: из фашистского застенка — почти чудом — дошли до нас две маленькие, по словам современного исследователя, «размером с детскую ладошку», тетрадки со стихами. Ныне литературное наследие Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля — неотъемлемая часть советской многонациональной литературы. Слава его перешагнула рубежи нашей страны. Выходят новые издания Джалиля, исследования его творческой биографии (особенно скрупулезно восстанавливающие события последних лет жизни), воспоминания о поэте. Само имя Муса Джалиль приобрело уже символическое звучание.

В нынешнем году мы отмечаем восьмидесятилетие со дня рождения поэта-героя.

Разностороннее творчество Мусы Джалиля не исчерпывается его моабитским циклом (и нет нужды закрывать глаза на то, что далеко не все в довоенном творчестве Джалиля равноценно), но бесспорно именно «Моабитская тетрадь» является его высшим достижением — подвигом поэтическим и человеческим.

Порой душа бывает так тверда,
Что поразить ее ничто не может.
Пусть ветер смерти холоднее льда,
Он лепестков души не потревожит.

.. Пускай мои минуты сочтены,
Пусть ждет меня палач и вырыта
могила,—
Я ко всему готов. Но мне еще нужны
Бумага белая и черные чернила!

(Перевел С. Маршак)

Палач и могила не были для поэта отвлеченными образами. Он ясно сознавал, что его ждет (вместе с товарищами по подпольной группе) за активную и действенную работу среди военнопленных. Муса Джалиль оста-

вил выразительные стихотворные свидетельства о фашистской неволе, его поэтическая работа была и оружием в трудной борьбе за души пленных бойцов и глубокой внутренней потребностью. Он просто не мог не писать — в любых условиях («У него была страсть к писанию», — вспоминал его товарищ по заключению, бельгиец Андре Тиммерманс). Жизнеутверждающая сила лирики Джалиля проявлялась не только в героическом аспекте — об этом свидетельствует тематическое разнообразие моабитского цикла. Его тюремная лирика была не только непосредственным откликом на нечеловеческие обстоятельства; поэт — силой творческого воображения — пытался заглянуть и в «после войны», не сомневаясь, на чьей стороне будет победа; трудился он и над прежними своими замыслами.

Я вновь здоров. И мозг усталый мой
Очистился от мглы гнетущей.
Мой влажен лоб. Он будто бы росой.
Покрылся в час зари цветущей.
Я вижу вновь, как светом мир богат,
Я слышу счастья веянья живые.
Так дивно мне и так я жизни рад.
Как будто в эту жизнь вхожу впервые.
И вижу я в чудесном полусне
Лучистой юности сиянье,—
Сиделка наклоняется ко мне,
!! нежно рук ее касанье.

(Перевела А. Ахматова)

Стихотворение это датировано октябрём 1943-го. Жить поэту оставалось менее года. В своем «завещании» на последней странице одной из тетрадей он писал: «К другу, который умеет читать по-татарски и прочтет эту тетрадь. Это написал известный татарский поэт Муса Джалиль... Его присудят к смертной казни. Он умрет... Если эта книжка попадет в твои руки, аккуратно, внимательно перепиши их (стихи. — А. О.) набело, сбереги их и после войны сообщи в Казань, выступи их в свет как стихи погибшего поэта татарского народа». В августе 1944-го он был гильотинирован. «Я не боюсь смерти... Целью жизни в этом и заключается: жить так, чтобы и после смерти не умирать», — писал Муса Джалиль жене и дочери незадолго до отъезда на фронт. Поэт погиб — началось бессмертие его героического духа.

Андрей Орлов.



Г. Н. ЩЕГЛОВА. Жанрово-стилевое своеобразие драматургии Леонида Леонова. М. «Советский писатель». 1984. 239 стр.

Обращая внимание на исключительную одаренность Леонида Леонова, А. М. Горький утверждал, что своеобразие языка и стиля,

композиции литературных произведений тогда еще совсем молодого писателя следует изучать специально. Эта литературно-критическая задача насущна и сегодня. Потому что талант Л. Леонова развивался по восходящей — одновременно с движением жизни.

Динамизм творчества писателя хорошо просматривается и на материале его драматургии. Со времени появления первых пьес необычайно расширился их жанровый диапазон — от бытовой и сатирической комедии до социально-философской драмы и высокой трагедии; обогатились стилистика, речевые характеристики персонажей. Изучению жанрово-стилевой самобытности этой драматургической системы, этапов ее формирования, росту мастерства Л. Леонова и посвящена новая книга Г. Щегловой.

Особое внимание Г. Щеглова уделяет своеобразию индивидуального мироощущения писателя, отразившегося в его творчестве, что позволяет исследовательнице нетрадиционно подойти к анализу не только хорошо известных пьес драматурга, но и тех устоявшихся критических стереотипов, которые успели сложиться со временем. В частности, при определении жанровых характеристик «театра Леонова». «И хотя Леонов сам избегает жанровых определений, — замечает автор книги, — именно жанровые критерии раскрывают наиболее твердый путь к постижению идейно-эстетической сущности его пьес, их места и роли в общем развитии советской драматургической литературы».

Существенно при этом, что жанровые категории Г. Щеглова трактует не только как сумму формально-стилистических приемов и признаков (наиболее распространенный способ анализа жанровой природы драмы), а прежде всего как своего рода эстетическое выражение противоречий социально-исторической действительности. Вспомним, что Энгельс поступал именно так, определяя содержательный смысл комедии или трагедии. Тем самым стилистика художественного произведения логически предопределяется его содержанием, а не наоборот.

Г. Щеглова по-новому оценивает историзм «Унтиловска», «Провинциальной истории», «Усмирения Бададошкина» — произведений, в которых писатель активно выступил против идеологии воинствующего мещанства, показав историческую обреченность этого социального слоя общества. Органическое соединение средств художественной условности с бытовым жизнеподобием и психологическим реализмом служит в этих пьесах главной цели художника: разоблачению сил, оказывавших жестокое сопротивление новому общественному порядку, пытавшихся подорвать его изнутри.

Конкретные наблюдения над ранними сатирическими комедиями Л. Леонова естественно приводят критика к выводу о многозначности широко используемых Л. Леоновым комического и трагического гротеска, реалистического символа, прямого и скрытого диалога, детали и речевой интонации. Автор прослеживает, как в зависимости от художественной задачи эти средства выполняют многоплановую содержательную функцию, влияют на жанрово-стилевую эволюцию леоновской драматургии в целом.

Интересны суждения Г. Щегловой об эпич-

ности как существенном структурно-образующем факторе в творчестве Л. Леонова, обращенном обычно к явлениям, затрагивающим все слои общества (например, война). «Утверждая будущее в настоящем, философски осмысливая важнейшие конфликты эпохи во всей сложности их конкретного опосредования, — отмечает исследовательница, — писатель как бы совершает восхождение от частного и особенного к общему. Не навязывая читателю прямолинейных и однозначных выводов, он вовлекает его в драматический процесс эмоционально-интеллектуального соучастия и сопереживания. При этом Леонов-философ неизменно остается художником в высоком значении слова».

Убедительность обобщений Г. Щегловой обеспечена тщательным анализом художественных образов, психологической и речевой характеристики персонажей, сюжета, композиции и других изобразительных средств драматургии Л. Леонова. При этом критик как бы погружает нас в художественный мир писателя, живой и животворящий, неразрывно соединенный с миром исторической действительности. Это убергает Г. Щеглову от умозрительности и схематизма, придает ее исследованию авторскую индивидуальность, порой приводит и к естественной в подобной работе полемике, неизменно корректной по тону и аргументированной. Можно, пожалуй, пожалеть лишь о том, что заключающие главы книги, особенно касающиеся жанра трагедии, сами по себе содержательные, слишком уж лаконичны, оставляют впечатление торопливости, недосказанности. В целом же книга Г. Щегловой, думается, будет с пользой прочитана как специалистами, так и читателями, интересующимися вопросами литературы и искусства

Е. Горбунова.



ВИКТОР ЯКОВЕНКО. Вечерняя лыжня. Липрика. М. «Советский писатель». 1984. 94 стр.

Читая стихи Виктора Яковенко, лучше понимаешь характер его поколения, отмеченного войной: «Войны кровавой перекрестки, поныне приходящей в сны, где мы, суровые подростки, — с неясной горечью вины...» («Поколение»). Эти перекрестки и эта горечь рождают выстраданную жизненную программу, строки, которые сродни клятве:

Пусть тишина не будет краткой
И тот пожар не вспыхнет вновь.
Земля-печаль,
Земля-солдатка,
Земля-судьба,
Земля-любовь.

Судьба Виктора Яковенко имеет точку отсчета, общую для миллионов его сверстников. Пусть сам он с оружием в руках не сражался, но видел лицо врага, вместе со всеми испытал и горе народное и счастье победы. Потому так проникновенны стихи поэта о ветеране-генерале, что «на этот раз не дожидая Победы», о том, как служат солдаты сегодня («Сборы», «Вспоминание»).

Порой лирика Яковенко отмечена излишним пафосом, но в ней всегда есть личное тавро, обнаруживающее авторскую интонацию и позицию. Более удачны в этом смысле стихи конкретного содержания, такие, как «Чужой голос», «Гость», «Двое», «Живые камни», «Демон», «Рассказ старого суфлера», «Побратимы», «Старик», а также метафоричные, выразительные стихи о красоте русской природы. Все они очень разные по рисунку, но, собранные под одной обложкой, дают цельное представление о манере автора, его пристрастиях и даровании.

В книге много стихов, осмысляющих жизненный путь человека. Собственно, с вопроса: «А что такое годы?» она и начинается. И словно ответ — вся книга вплоть до последних ее строф:

Как можно жизнь представить сном,
Не летаргическим.
А вечным?
А сердце —
Слонно метроном —
В холодном ритме бессердечном?
И ты уже спешишь: скорей!
Спешишь,
Чтоб, ветром задыхаясь.
Вдруг распахнуть
Остаток дней,
Спешишь, о полдень спотыкаясь.

Эта внутренняя «распахнутость» автора, стремление заглянуть в собственную душу создает ощущение искреннего, дружеского разговора с читателем — о «непостижимом званье человека», о «негаснущей искорке волненья», о «святом бескорыстье», словом, о том, что важно для каждого.

Владимир Дагуров.



ВЛАДИМИР САПОЖНИКОВ. Родительская суббота. Повесть. «Сибирские огни», 1985, № 6.

Загадочна работа памяти! Почему бывшему старшине кавалерийского эскадрона, сибирскому писателю Владимиру Сапожникову, только в середине 80-х годов вспомнилась заросшая ромашкой полянка на нейтральной полосе раннего лета сорок четвертого года?

Она была густо заминирована и нами и фашистами: «...боялись ночных пластунов с гранатами». Но в тот солнечный день на поляне началось какое-то шевеление.

«Птица? Конечно, птица: не птица давно бы взорвалась на mine! Но это была не птица! Это был лесной олешек, пятнистая лань».

Чудом она проскочила через эту смертоносную поляну и провела за собой олененка. Конечно, и наши и немецкие окопы следили за ее полетами — прыжками! И потом весь день, уже в грохоте выстрелов, «все ликовали: пробежали! Сквозь войну пробежала ЖИЗНЬ!».

Эта сцена стала символом не только военного быта («Слышь-ка, а я загадал: пробегут олешки — довоюю, доживу»), но и горького детства лирического героя.

Владимир Сапожников о войне писал много. Первая его книга «Рассказы старшины Арбузова» вышла в Новосибирске в 1957 году, затем были «Белые кони», «На фронте затишье» и другие.

В повестях и рассказах писатель показал пот и героизм солдатской жизни. Новая повесть не о войне.

Не всем выпала доля гордиться отцами. У героя повести «Родительская суббота» отец — красный партизан гражданской войны — в год коллективизации отвел к сельсовету всю свою скотину, «даже Сивку, чистопородного орловского рысака... но той же ночью выкрал Сивку из общей конюшни, на нем и бежал куда глаза глядят», обрекая тем жену и детей на беду.

На больших стройках Кузбасса, в землянках, прошло детство героя.

Вырос, не погиб мальчонка и, чтобы исправить биографию отца, которого жалел «тайной сыновней жалостью», страстно мечтал «совершить подвиг в труде или в бою».

«Ни в авиацию, ни в танкисты я не попал. Я попал в кавалерию, но все потом было: и взорванные танки, и ночные рейды, и разведка боем — все, как у других тружеников войны, где подвиг — каждый прожитый день, даже час. Там, на войне, я впервые начал писать, хотя о писательстве никогда не мечтал и за перо взялся потому, что в один прекрасный день решил твердо, что знаю правду, которой еще никто не знает, а значит, я, и никто другой, обязан поведать ее миру, человечеству», — рассказывает о себе герой.

Война и сейчас еще не дает покоя памяти: во сне он часто видит ее. Может быть, эти сны «напоминание. О чем? Я спрашиваю себя: что я не сделал? Что еще не сделало наше поколение? Какое слово не сказано?».

Память заставляет героя поехать в родное село Согры. Сейчас принято говорить — на малую родину.

Лирического героя никто не ждал там. После отцовского поступка матери вместе с малолетним сыном пришлось уехать из села. Ни родных, ни друзей не осталось... Но память, память! И герой едет.

И мы вместе с ним будем разыскивать место, где был родной дом, людей, которые бы помнили его родителей. И разыщем! И почувствуем радость!

Там-то и вспомнится автору заминированная поляна. Не так ли спасалась и мать героя, уводя от обид и жесточения своего ребенка?

Эта повесть о Времени и о поколении, на юность которого выпали трудные предвоенные годы и Великая Отечественная. Не все оно уцелело, но тот, кто выжил, уцелел, знает, «какое счастье: тишина над родным небом».

Новое произведение Владимира Сапожникова невелико по объему, но как много человеческого горя, преодоления его, страдания и победы в нем: уместилось.

Н. Макарова.



ПЕТР СЕРЕБРЯКОВ. *Наяву. Стихи.* М. «Советский писатель». 1985. 110 стр.

«Наяву» — первая книга Петра Серебрякова. И хотя стихи его известны читателю давно по публикациям в периодике, именно с нее начнется серьезное знакомство с поэтом.

Стихотворные строки, открывающие эту книгу, сразу же вводят читателя в напряженную атмосферу нравственных исканий поэта. Он открыто делится с читателем всем, что у него есть, — от выношенных убеждений до поэтических пристрастий. Серебрякову веришь — подкупает доверительность его интонаций, негромкая, но точно найденная тональность всего разговора. И образы детства, возникающие в стихах как знак ясности, полноты и гармонии бытия, свойственные детскому восприятию, и фигуры людей уральского синегорья появляются в книге именно «по складу своей души, по самой строчечной сути».

Петра Серебрякова не смущает внешняя обыкновенность, порой даже заурядность и незаметность иной человеческой судьбы, эта обыкновенность не должна заслонять для нас, убеждает поэт, ценности каждой отдельной личности, высокого предназначения человека, самой красоты его земного бытия. Подмечая разные, порой мимолетные оттенки чувств, душевных состояний, поэт говорит о самом дорогом, не напрягая искусственно голос, и это нередко получается у него по-настоящему трогательно, поэтично. Стоит перечитать одно из лучших стихотворений книги — «По грибы». Здесь ведь не только о грибной охоте, но еще и о сегодняшнем литературном быте и о многом другом. А вот такое — короткое и безжалостное к самому себе — стихотворение хочется процитировать целиком:

Я притворяюсь, притворяюсь,
что важным делом занимаюсь,
что времени всегда в обрез,
что все в котел —
успех и промах.
Мне лестно видеть интерес
в глазах знакомых.

Какая дикая тоска —
болтать и знать, что все — иначе!
— Ну что ж, старик, пока.
— Пока.
Успеха и удачи!

Молчу и думаю опять:
а может, и не все пропало?
Лишь стоит завтра
раньше встать
и жизнь начать сначала...

В книге «Наяву» четыре раздела: «Добрые люди», «Есть берега...», «Уходим» и «На синих лыжах». По сути, это четыре достаточно крепко сбитых лирических цикла — о детстве и поисках своего места в жизни, о природе, подлинном искусстве, о переходящих и вечных ценностях бытия.

Очень часто у Петра Серебрякова в стихах оживает поселковый пейзаж, оживает таким, каким запомнился глазу послевоенного маль-

чугана или вновь возник перед пытливым взором сегодняшнего паломника в страну детства. Автор обращается к жизни природы, подчиняясь не неким «литературным приличиям», а в силу обостренного чувства всеобщей кровной взаимосвязи, ощущения сопричастности природы делам человеческим. Вот стихи о ландыше: «Двадцатый век. Размах. Масштабы. А он, не ведая о том, цветет, доверчивый и слабый, у новой тропки за кустом. — Гляди-ка, — скажем мы друг другу, — нашел же место, где цвести! — И с радостью протянем руку. А может, руку отвести?»

Доброта, внимательность, самоирония — именно эти качества лирики Петра Серебрякова делают ее интересной. Но буду объективен и скажу о том, что мне не по душе в этой книге. Некоторые стихи грешат заданностью, однообразной прямолинейностью решений, а то и просто поэтической неумелостью. Мелькают порой банальные истины, «жухлые слова», словесные клише 60-х годов...

И все-таки поэтический дебют состоялся. Пусть первая книга Петра Серебрякова несколько задержалась с выходом и кое в чем уязвима, но удачные стихи живо свидетельствуют о серьезном творческом потенциале автора. Будем надеяться, что ему удастся преодолеть инерцию стиля, расхожест интонации и следующая книга лирики продемонстрирует лучшие стороны его дарования.

Виктор Широков.



М. В. ПАНОВ. *Занимательная орфография.* М. «Просвещение». 1984. 159 стр.

Эта книга заставляет задуматься о роли орфографии в современной культуре. Откровенно говоря, для большинства людей орфография — громоздкий набор замысловатых правил, благополучно забываемых по окончании школы и оседающих в памяти лишь загадочными обломками вроде: оловянный, деревянный, стеклянный — или: уж, замуж, нетверпж. Орфографическая грамотность, естественно, считается нормой для культурного человека, однако при этом особым шиком признается автоматизм безошибочного письма: дескать, ни о каких правилах не думаю, а пишу правильно. Те же, кто безупречен в данном отношении, тем более не интересуются орфографической теорией, мало веря в ее практическую силу.

Книга М. Панова решительно направлена против узкопрагматического взгляда на орфографию. Речь здесь идет не о своде правил, а о науке, объясняющей единые внутренние законы русского письма, о науке, по-своему причастной к познанию мира. Подобно тому как география вопреки мнению госпожи Простаковой нужна не одним только извозчикам, а, скажем, закон Ома — не одним только электрикам, так и орфография в своих принципиальных основах является достоянием не только лингвистов и корректоров. Современному человеку необходимо орфографическое сознание — для того чтобы правильно писать,

чтобы глубже понимать природу языка, своеобразие письменной культуры.

Существуют разные способы популяризации научного знания. Бывает, что читателю сообщается множество любопытных фактов, поражающих воображение и легко воспринимаемых с чисто внешней стороны. Поднабравшись из таких книг парадоксов и курьезов, читатель вступает в легкий, фамильярный контакт с наукой, держится с ней на дружеской ноге, не подозревая, что от него утаили самое главное: трудную, будничную, но важнейшую и необходимую сторону науки (надо сказать, что популяризация языкознания нередко выражается как раз в легко-мысленных прогулках по миру слов). Совершенно иной путь разъяснения основ науки избран в книге М. Панова. Здесь упор сделан на то, чтобы донести до сознания читателя главный принцип русской орфографии, определяющий 90 процентов ее написаний. Популярность же изложения — в отказе от мелочей и частностей, в целеустремленности разговора с читателем, в подчиненности каждого сообщаемого факта основной мысли.

Это мысль о фонемном характере русского письма. Ясно, что для понимания ее приходится овладеть представлением о фонеме. Это непросто, но иначе нельзя. Невозможно постигнуть законы физики и химии, не зная, что такое молекула и атом. Точно так же фонема — необходимейшее понятие для овладения орфографией, его не заменить никаким популяризаторским суррогатом. Зато автор книги нигде не бросает читателя на полдороге, заботится о том, чтобы мысль усваивалась постепенно и до конца. Никакой зыбкости и приблизительности! Не машинально помнит, как пишется, а понимает, что это в каждом случае — такова стратегия диалога автора с читателем на протяжении всей книги.

Строгая научность книги М. Панова сочетается с четкостью ее литературного построения, свободой непринужденной беседы с читателем. Книга остроумна, причем ирония и юмор выполняют не развлекательную роль — они работают на разъяснение авторской мысли. Есть, например, в книге комический персонаж — Иван Семенович Полупшенный, то и дело спорящий с автором. Это не просто условный прием для оживления диалога. Полупшенный — персонифицированное воплощение полукультуры, вырастающей на почве недостаточной грамотности. В первых главах Полупшенный еще проверял слово «тащить» формой «тощут», а после нескольких встреч с автором уже свысока рассуждает о категориях лингвистики. Персонаж этот — юмористическое предостережение читателям: не спешите считать себя специалистами.

Чрезвычайно компактная структура книги М. Панова включает еще и афористичные портреты крупнейших теоретиков русской орфографии — от Третьяковского и Ломоносова до Р. Аванесова, В. Сидорова, И. Ильинской. В этих маленьких очерках раскрывается история орфографии, свойственная ей, как всякой настоящей науке, напряженная «драма идей».

Вл. Новиков,
кандидат филологических наук.



КИТАЙСКАЯ ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА III—XIV вв. Стихи, поэмы, романсы, арии. М. Издательство Московского университета. 1984. 320 стр.

Мы раскрываем красивый — красивый с золотом — том и читаем:

Прояснилась на миг
Полноводного озера ширь.

Тут же дождь... В пустоте
Горы дальние еле видны,

Я пейзажи Сиху
Уподоблю прекрасной Си Ши:

Без помады, без пудры —
А как неподдельно нежны!

Даже не зная, где находится Сиху, и только догадываясь о несравненной красоте Си Ши, мы по достоинству можем оценить это творение замечательного китайского поэта XI века Су Ши, проникнутое высоким лирическим чувством, истинным поэтическим восторгом от возникшей перед ним картины.

Китайская поэзия «гор и вод», «садов и полей», традиционно именуемая у нас пейзажной лирикой, обстоятельно представлена в сборнике. Он составлен из произведений, созданных с III до XIV века. Это, собственно, хронологические рамки китайского средневековья: сборник предлагает читателю как бы срез истории культуры, точнее — лирической поэзии нашего восточного соседа. Практически речь идет о китайской средневековой поэзии вообще, ибо поэзии не лирической в старом Китае не существовало. Поэтические строки звучали как голос сердца поэта, да и само представление о поэзии эпической зародилось намного позднее.

Разные авторы встретились на страницах этой книги. Рядом о именованы корифеи мы видим имена поэтов, менее известных у нас, поэтическая сила которых делает встречу с ними подлинным открытием. Важно, что достойное место отведено таким гигантам, как Ли Бо или Ду Фу, что достаточно разнообразно и ярко представлены все этапы китайского средневековья: период Шести династий, период Тан и Пяти династий, периоды Сун и Юань.

Китайская культура во всем своем многообразии, глубине, противоречивости — органическая составляющая мировой культуры, и китайская лирика мощно вливается в русло мировой поэзии.

Подлинное лирическое чувство, мудрая созерцательность древней китайской поэзии находят благодарный отклик у современного читателя. Эта книга предполагает чтение вдумчивое и сосредоточенное, с ощущением весомости каждого слова. Сборник много дает читателю, что называется, для души и сердца.

Песня яшмовой флейты
Из тучи слышна,
Кто-то внемлет.
К перилам склоняясь.
Занавески дрожит бирюза,
На платане застыла роса,
Бьются тени цветов,
И луна —
В пол-окна.

Поэтическая сила таких, казалось бы, простых и ясных стихов непостижима, что, собственно, и отличает истинную поэзию.

Размышляя об этом издании, нельзя не упомянуть добрым словом коллектив переводчиков и И. С. Лисевича, автора интересного предисловия и добротных комментариев к стихотворным текстам. Фактически это маленький справочник по культуре эпохи.

«Китайская пейзажная лирика...» обогатила нашу культурную сокровищницу. Еще одна хорошая книга появилась на полках любителей поэзии, читателей, интересующихся китайской литературой и историей.

С. Свойский.

Таллин.



Ф. СОПРУНОВ. Своим путем. М. «Молодая гвардия». 1985. 239 стр.

Простой перечень жизненных событий, дошедших на долю автора этой автобиографической книги, не может не поразить читателя. Даже для людей его поколения, которым выпали тяжелые военные испытания, судьба Федора Федоровича Сопрунова представляется удивительной.

Родился в России в семье инженера. В 1922 году родители приняли латвийское подданство и семья переехала в Германию, а потом во Францию. Юность, проведенная в Париже, живо помнится автором. По воскресным дням семья отправлялась в маленький загородный домик на старом автомобиле, набитом бесчисленным множеством узелков, кастрюлями с гречневой кашей и русским борщом. Домашнее хозяйство вел отец, который так и не смог найти работу по специальности. Только по вечерам отец садился за свои никому не нужные проекты. Деньги зарабатывала мать — врач. Студенческие годы Теодор провел на медицинском факультете Сорбонны. Однако образование, приобретенное в эти годы, оказалось более универсальным. Помимо обязательного изучения специальных предметов, это еще и самостоятельные студии: «...в Латинском квартале были две любимые библиотеки: Сорбонны и святой Женевиевы. Там легко читалось. Просто так, для себя. Бескорыстно. Ламарк и Тейяр де Шарден, Бергсон, схоластики средневековья и витиеватый Аристотель — они оставили глубокий след в моей памяти». Необычайно выразительно описана веселая свободная жизнь студенческого братства. Но состояла она не только из развлечений: «...возмущались ультиматумом Чехословакии, радовались мобилизации в Праге и во Франции, поддерживали твердую позицию Советского Союза... И вдруг — германо-советский пакт о ненападении! Тут события захлестнули нас, вышли за пределы нашего понимания».

Угроза фашистской оккупации побуждает родителей принять решение о переезде из Европы в США. Наступает время глубоких

внутренних поисков. Автор предельно искренне говорит о том, почему он выбрал другой, свой путь: «Сделал я это не из идейных побуждений — они были тогда уж очень расплывчаты и шатки — и не потому, что меня неудержимо тянуло на Родину, — что я знал о Родине? — а просто потому, что мне все надоело и опротивело. Хотелось уйти от семьи, от среды, в которой я жил, от себя самого и где-то теплилась надежда найти Тильду». Глубокое чувство к Тильде, дочери эмигрантов из России, возвратившихся затем из Франции на родину, автор сравнивает с нитью Ариадны, во многом определившей его жизненный путь. Как латвийского подданного, Теодора призывают в армию, и он оказывается в Латвии в непростой период 1940—1941 годов. Служба в буржуазной латвийской армии с присущей ей рутинной составляющей резкий контраст с жизнью студента Сорбонны. Затем приход советских войск, падение правительства Ульманиса. Бесплатные концерты и просмотры советских кинокартин — «Чапаев», «Веселые ребята». Время перемен, столкновение различных сил («...нереальная весна моей жизни. Она промелькнула как один миг»). Когда на землю Латвии пришли немцы, Сопрунов принимает первый бой в рядах Красной Армии. Ранение, четыре года немецкого плена в концлагерях Гаммерштейн и Штуттгоф. Неудавшийся побег, на второй уже не хватило сил. Автор опять же с поразительной искренностью пишет: «Я не смог. Нет, никакого подвига я не совершил». Подвигом стало то, что в этих испытаниях автор сохранил человеческое «я», свою «бессмертную душу», верность гуманизму.

После войны автор возвращается в Россию. Но первые месяцы он одинок. Знакомство с родиной началось с русской культуры — Третьяковская галерея, консерватория. «К счастью, был Прокофьев и Шостакович, и Бетховен в исполнении Юдиной. Юдиной я многим обязан. Она поддержала меня». Вскоре автор находит Тильду, и она становится его женой.

Это можно было бы назвать романтической историей, если бы не все те «круги ада» фашистских концлагерей, которые пришлось пройти автору.

Читателю важно, что перед ним свидетельство человека высокой русской и европейской культуры, обладающего несомненным литературным даром живого, рельефного изображения событий.

Откровенность и психологизм рассказчика придают ему в глазах читателя черты литературного героя, ведущего повествование.

Жизнь автора прошла в открытом столкновении с фашизмом. И сейчас член-корреспондент АМН СССР, директор Института медицинской паразитологии и тропической медицины Федор Федорович Сопрунов много работает в Советском комитете ветеранов войны, часто видится со своими друзьями из разных стран — бывшими узниками фашизма. Автобиографическая книга, написанная этим сильным и необыкновенным человеком, служит тому же делу.

Н. Долотова.



С. О. ШМИДТ. Российское государство в середине XVI столетия. М. «Наука». 1984. 277 стр.

Книга советского историка и археографа посвящена крупнейшему государственному архиву России XVI—XVII веков — так называемому Царскому архиву.

Большинство документов, перечисленных в описи конца XVI века (самой ранней из сохранившихся), известно нам только по названиям, они сгорели в пламени московских пожаров. «Мартирологом погибших для нас исторических источников» называет эту опись С. О. Шмидт. Пометы дьяков и подъячих на полях описи позволяют судить о судьбе тех или иных документов, о степени их важности и тем самым об отношении современников к отраженным в них событиям.

Вопрос о том, велись ли протоколы на заседаниях Боярской думы, дает возможность уяснить роль этого органа (достаточно спорную) во внешней и внутренней политике. А состав личного архива Ивана Грозного помогает лучше понять особенности мировоззрения и деятельности этого человека, который «властно вмешивался в обычный порядок государственного и государева (дворцового, придворного) обихода, определяя самый ритм (а иногда и аритмию) его». И редактирование Иваном Грозным летописей (об этом говорится во второй части книги), и столь удивлявшее иностранцев знание им генеалогии соседних монархов и всех дворян многолюдного московского двора, и использование исторических документов в полемике с Курбским и польским королем Стефаном Баторием — все это прямо связано с отношением царя и его ближайшего окружения к архивному делу. Создание государственного архива неотделимо от подъема исторического самосознания русского общества в XVI столетии.

Когда-то С. О. Шмидт употребил термин «самодержавство», заимствованный из лексики времен Ивана Грозного и призванный подчеркнуть различия между единовластием московских государей и самодержавием российских императоров XVIII—XIX веков. В новой книге автор вводит еще одно понятие — «хранила царские». Это своего рода «эмоциональная» терминология, ни в коей мере не отвергающая традиционно принятые в научном обиходе понятия («самодержавие», «архив»), но уточняющая их применительно к данной эпохе. Еще не произошло разделение на собственно архив и библиотеку. Более того, книги и документы составляли одну «государеву казну» вместе с иконами, посудой, одеждой и «иной рухлядью», ибо на практике происходило сращение понятий «государево» и «государственное». К концу жизни Ивана Грозного значительная часть правительственной документации сосредоточилась в его Постельной казне. Такое же отношение к архивам было характерно и для Западной Европы. В Дании рукописи античных авторов лежали на одних полках вместе с дипломатическими договорами, а в Англии при Елизавете I важнейшие документы входили в сокровищницу короны наряду с деньгами и слитками драгоценных металлов.

По мнению автора книги, «все более заметен разрыв между современной цивилизацией, современными формами мышления и поведения» и «шкалой ценностей» людей средневековья. Но острое, «вещное» зрение ученого способно сократить этот разрыв. Личность исследователя выступает на передний план и в тех случаях, когда в повествование вплетаются историографические мотивы. Мы присутствуем не просто при столкновении взглядов историков прошлого, а при споре живых людей, один из которых сам автор. Не остается ни малейшего сомнения в том, например, на чьей стороне автор книги в академической полемике В. О. Ключевского и Н. В. Калачова по вопросу о документации Боярской думы: в старых спорах читатель явственно слышит отзвуки современных дискуссий по проблемам источниковедения, чувствует накал сегодняшних страстей.

Книга С. О. Шмидта — итог многолетнего труда (достаточно вспомнить, что первое советское издание «Описи Царского архива» автор подготовил еще в 1960 году), благодаря которому социально-политическая история России середины XVI столетия предстает в новом, неожиданным ракурсе, рассмотренная с точки зрения архивов — овеществленной памяти народа и государства.

Л. Юзефович.



К. А. ХМЕЛЕВСКИЙ. Сыны степей донских. О Ф. Г. Подтелкове и М. В. Кривошлыкове. М. Политиздат. 1985. 128 стр.

Имена Федора Григорьевича Подтелкова и Михаила Васильевича Кривошлыкова знакомы широкому читателю главным образом по шолоховскому «Тихому Дону». Картина их трагической гибели была воссоздана писателем с потрясающей художественной силой. Однако путь, который привел Подтелкова и Кривошлыкова в революцию, остался за пределами романа.

Подтелков, едва окончив два класса церковно-приходской школы, пошел традиционной казацкой дорожкой. Женатый на дочери зажиточного казака, он в 1912 году явился «конно и оружно» на призывной пункт и за свой богатырский рост был определен в гвардию. Вначале — служба в артиллерийской бригаде под Петербургом, затем — фронт, участие во многих боях. Здесь жизнь и преподала ему первые уроки классовой борьбы.

Кривошлыков поступил в 1909 году в Новочеркасск в Донское сельскохозяйственное училище. Занятия естественными науками, чтение книг Чернышевского и Добролюбова, Писарева и Кропоткина, общение с прогрессивно настроенными преподавателями и слушателями училища способствовали формированию революционного мировоззрения юноши. Война изменила течение его жизни. В 1916 году он был зачислен на ускоренные курсы прапорщиков при Новочеркасском казачьем юнкерском училище, а затем попал на фронт.

В начале 1918 года судьба свела Подтелкова и Кривошлыкова в станице Каменской. На съезде казаков-фронтовиков первый из

них был избран председателем казачьего Военно-революционного комитета, а второй — его секретарем. С тех пор они были неразлучны. Жить им оставалось всего пять месяцев.

Содержание книги К. А. Хмелевского далеко выходит за рамки чисто биографического жанра. Читатель окунается в атмосферу своеобразной жизни донского края с ее патриархальными устоями. В огне революции и гражданской войны рушились сословные перегородки, уходили в небытие предрас судки. Трудовое казачество вместе с рабочими и крестьянами вставало на защиту советской власти.

— Отцы и братья, — говорил Подтелков старикам станичникам, — я ни в какую партию не записан и я не большевик. Я стремлюсь только к одному: к справедливости, к счастью и братскому союзу всех трудящихся... Чем я виноват, что и большевики этого добиваются и за это борются! Большевики — это рабочие, такие же трудящиеся, как и мы, казаки... Выходит, значит, что и я большевик, но я в партию большевиков не записан.

В марте 1918 года была создана Донская советская республика «в ряду других республик Федеративной Социалистической России». Совет Народных Комиссаров Донреспублики возглавил Ф. Г. Подтелков. Комиссаром по делам управления стал М. В. Кривошлыков.

Между тем над юго-востоком России нависла смертельная опасность. С запада через Украину на Дон двигались австро-германские интервенты. Во многих станицах вспыхнули антисоветские мятежи. В конце апреля ЦИК Донреспублики решил направить в северные округа специальную комиссию, чтобы провести там мобилизацию и собрать силы для отпора интервентам и мятежным бандам. 1 мая из Ростова по железной дороге на север края двинулся отряд казаков-фронтовиков и красногвардейцев. Возглавили его Подтелков и Кривошлыков. На пятый день вблизи станицы Белая Калитва подтелковцы встретились с красными частями под командованием К. Е. Ворошилова и Е. А. Щаденко, отходившими с Украины к Царицыну. Подтелков отклонил предложение двигаться вместе, рассчитывая пробыть в Усть-Медведицкий округ кратчайшим путем. Это было ошибочное решение. Волны контрреволюционных мятежей захлестнули уже и северные округа. 10 мая у хутора Калашников красных бойцов окружили белоказаки. Поверив лживым обещаниям пропустить отряд, Подтелков приказал сложить оружие. Обезоруженных подтелковцев пригнали на хутор Пономарев. Тут же состоялся «суд». Приговор был безжалостным: всех захваченных расстрелять, а вожakov — Подтелкова и Кривошлыкова — повесить...

На чудом сохранившейся фотографии, сделанной местным учителем, запечатлены они у виселицы в последние минуты жизни. Подтелков, в неизменной кожанке, стоит, твердо упираясь ногами в землю. Рядом в расстегнутой шинели, повернув исхудавшее лицо к другу и боевому товарищу, — Кривошлыков... Спустя год красноармейцы, освободившие хутор, сложили на могиле героев кирпичный памятник. На нем было на-

чертано: «Вы убили личности, мы убьем классы». Ныне на высоком холме близ хутора Пономарева высится 11-метровый мраморный обелиск...

Книга К. А. Хмелевского написана увлекательно и рассчитана на массовую аудиторию. Автор правдиво рассказывает о гражданской войне на Дону, вносит новые штрихи в одну из страниц ее истории.

А. Грунт,
доктор исторических наук.



УСКОРЕНИЕ. Актуальные проблемы социально-экономического развития. М. «Правда». 1985. 415 стр.

Есть давняя поговорка: газета живет один день. Придумали ее, судя по всему, сами газетчики, подчеркивая суть своей профессии — быть всегда в гуще событий, мгновенно откликаться на каждое значимое явление в нашем многообразном и изменчивом мире. И хотя актуальные статьи, сменяя одна другую на газетной полосе, уходят в прошлое, след их остается в сознании читателей, в их отношении к проанализированному журналистом явлению.

А если собрать под одной обложкой статьи, опубликованные, скажем, в течение нескольких месяцев после апрельского (1985) Пленума ЦК КПСС? Проявится удивительный, хотя и закономерный факт: это уже не однодневки. Это летопись ключевого отрезка нашей эпохи, всесторонний анализ экономических и социальных сдвигов в стране, решительно вставшей на путь интенсивного развития. Это взволнованный рассказ о людях, активно добивающихся перемен к лучшему, о явлениях, мешающих им.

Надо признать удачей опыт издательства «Правда», поместившего в один сборник материалы, опубликованные в «Правде», «Известиях», «Советской России», «Социалистической индустрии», «Сельской жизни», «Экономической газете», «Труде», «Литературной газете», «Комсомольской правде», в журналах «Коммунист», «Плановое хозяйство» и других изданиях. Авторы их — рабочие и колхозники, советские и хозяйственные руководители, ученые и специалисты. И, разумеется, журналисты. Их выступления наполняют реальным жизненным содержанием важнейшие пути ускорения социально-экономического развития: совершенствование инвестиционной политики; наведение порядка, повышение трудовой, технологической и государственной дисциплины; дальнейшее развитие социалистического соревнования, позволяющего сделать опыт передовиков достоянием широких масс; учет человеческого фактора; экономия и бережливость; совершенствование структуры управления.

Зачем нужен рекорд? Мы так привыкли к ударничеству, что порой упускаем его суть. А ведь не просто человек выдвигает почин, становится лидером, постоянно перевыполняет нормы. Этому предшествует большая, кропотливая работа других людей. Чаще всего именно эти другие люди и придумывают почин, а потом подыскивают под него лидера, «вычисляя» его с математической

точностью. И это приносит огромный экономический эффект.

А бригадный хозрасчет? Сейчас его преимущества неоспоримы. Но все ли резервы мы в этом направлении используем? И надо ли забывать, как шли к бригадному хозрасчету, что было до него и что стало после? Нет, не канула в прошлое газетная статья. Читаешь ее сейчас и заново переосмысливаешь опыт липецких станкостроителей, умело использующих права трудового коллектива для укрепления дисциплины и порядка, дальнейшего развития производства. И книга снова несет этот опыт по всей стране, делая его достоянием каждого.

Далеко не везде приветствуют прогрессивные новшества. Инерция мышления, инерция привычек, инерция кратких успехов, наконец, создают иллюзию, что все нововведения — это лишь временная «дань моде», а дело как шло, так и будет идти. Некоторые руководители разных рангов упрямо живут только сегодняшним днем, решают только сиюминутные задачи в ущерб дню завтрашнему. Для них призыв к изменению хозяйственной деятельности так и остается призывом.

А что выгоднее — реконструкция или новое строительство? Не торопитесь с ответом: это ведь с чьей точки зрения подходить к проблеме. По-настоящему, по-государст-

венному реконструкция, конечно, предпочтительнее: на тех же площадях, с меньшим количеством работающих давать больше продукции лучшего качества — какие могут быть сомнения? Только у директора предприятия сомнений уйма. Несовершенство действующих экономических показателей, помноженное на многочисленные финансовые инструкции, создает порой такие лабиринты, из которых можно выбраться разве что с нитью Ариадны. Но нити-то нет. И кумекает себе директор, которому очень не хочется прослыть консерватором: уменьшишь затраты на освоение выпуска продукта — и новостройка станет просто... капитальным ремонтом, а под него материалов не добиться. Зато на новое промышленное строительство средства выделяются полной мерой. Вот так передовая концепция спотыкается о сложившуюся практику материального обеспечения.

Обо всем не расскажешь. Сборник надо прочитать. Семь десятков газетных и журнальных материалов, собранных в нем, — это семьдесят прожекторов, каждый из которых высветил какую-то одну актуальную проблему нашего времени. А все вместе — это живая картина борьбы нового со старым. Борьбы бескомпромиссной, порой драматической, может быть, затяжной. Но ее исход предreshен.

А. Валентинов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные произведения В 3-х тт. Т. 3. 639 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. И. Ленин. Избранные произведения. В 4-х тт. Т. 1. 646 стр. Цена 1 р. 30 к.

Я. Драбинн. Четверо стойких. К. Либкнехт, Р. Люксембург, Ф. Меринг, К. Цеткин. Документальная повесть. 367 стр. Цена 1 р. 80 к.

Г. Комраков. мост в бесконечность. Повесть о Федоре Афанасьеве. («Пламенные революционеры») 383 стр. Цена 1 р. 30 к.

Д. Фрэйзер. Фольклор в Ветхом завете. Перевод с английского. Изд. 2-е исправленное. 511 стр. Цена 2 р. 80 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Малдонис. Избранное. Перевод с литовского. 263 стр. Цена 1 р. 50 к.

Ораторы Греции. Сборник. Перевод с древнегреческого. 495 стр. Цена 2 р. 80 к.

Слово о полку Игореве. («Классики и современники»). 222 стр с илл. Цена 55 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Адамович. Ничего важнее. Современные проблемы военной прозы. 288 стр. Цена 1 р. 40 к.

В. Азерников. Профессионал жизни. Комедии, драмы. 288 стр. Цена 1 р. 10 к.

Б. Можжев. Дождь будет Роман, повести, рассказы. 503 стр. Цена 2 р. 50 к.

К. Симонов. Софья Леонидовна. Повесть. 140 стр. Цена 45 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Н. Лугинов. Песни белых журавлей. Повести, рассказы. Перевод с якутского. 223 стр. Цена 60 к.

А. Макаренко. Педагогическая поэма. 640 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Порудоминский. Жизнь и слово В. Даль. Повествование. 222 стр. Цена 45 к.

К. Раш. Лето на перешейке. Повесть-быль. 224 стр. Цена 75 к.

«РАДУГА»

А. Бодельсен. Дотла. Роман. Перевод с датского. 223 стр. Цена 1 р. 20 к.

Ф. Нягу. Властелин дождя. Рассказы. Перевод с румынского. 268 стр. Цена 1 р. 80 к.

Т. Череш. Холодные дни. Повести. Рассказы. Перевод с венгерского. 416 стр. Цена 2 р. 90 к.

ВОЕНИЗДАТ

Н. Задорнов. Война за океан. Роман. 510 стр. Цена 2 р. 40 к.

Р. Маггихи. Смерть и ложь. 25 лет в ЦРУ. Очерк. Перевод с английского. 236 стр. Цена 55 к.

Б. Михалков. Проблемы героического. Перевод с болгарского. 144 стр. Цена 35 к.

Ю. Платоновичев. А дальше только океан. Роман. 302 стр. Цена 1 р. 60 к.

«СОВРЕМЕННОК»

А. Абу-Банар. Ты земле, человек поклонись. Очерки, статьи. 222 стр. Цена 80 к.

Д. Давыдов. Сочинения. Составитель Е. Н. Лебедев. Художник А. Голицын. («Классическая библиотека «Современника») 302 стр. Цена 1 р. 60 к.

Легенды и мифы Севера. Перевод и составление В. М. Санги. («Библиотека литератур народов Севера и Дальнего Востока») 400 стр. Цена 2 р.

В. Маяковский. Сила класса, слава класса. Стихотворения, поэмы. Составление, вступительная статья А. Н. Владимирского. («Сыновья века. Серия книг о коммунистах») 333 стр. Цена 1 р. 70 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Дин. В дубрах Кара-Вумбы. Избранное. 526 стр. Цена 1 р. 20 к.

Стендаль. Красное и черное. Роман. Перевод с французского. 573 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Стажеры. Фантастические повести. 542 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. Шаров. Волшебники приходят к людям. Книга о сказке и сказочниках. 320 стр. Цена 1 р. 30 к.

«ИСКУССТВО»

К. Станиславский. Работа актера над собой. Ч. 1. Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. 479 стр. Цена 2 р. 70 к.

М. Шатерникова. «Синие воротнички» на экранах США. Человек труда в американском кино. 253 стр. Цена 1 р. 70 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Воинские повести Древней Руси. Составление Н. В. Лопырко. («Страницы истории Отечества») Лениздат. 495 стр. Цена 2 р. 90 к.

Крылатые слова. Собиранье, составитель А. Гусейнзаде. Перевод с азербайджанского. Баку «Азербайджан» 163 стр. Цена 40 к.

Латышские даины. Перевод с латышского, составление Ф. Скюдра. Рига «Лиезма» 414 стр. Цена 1 р. 50 к.

Путешествие Элиаса Леннрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828—1842 гг. Перевод с финского. Научная редакция, вступительная статья У. С. Конкка. Петрозаводск «Барелия». 320 стр. Цена 1 р. 30 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103798, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. Н. Коваль-Волков, В. Н. Крупин, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Муддагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806 ГСП Москва, К-6 Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

дано в набор 19.12.85 г. Подписано к печати 06.02.86 г. А 11609
Формат бумаги 70×108^{1/8}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л.)
27.10.85 изд.

Тираж 423 000 экз. (1-й завод 1—213 000 экз.) Зак. 4576

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798 Москва, К-6 Пушкинская пл., 5

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636